

# ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 4 | 2020





*Надежда Кобыльцова* (Республика Хакасия) | Оглахты | 120 × 150 | 2018



*Герман Паишов* (Красноярский край) | Сентябрь | 94 × 190 | 2002–2012

# ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №4 | 2020

---

## В номере

.....

### ДиН КРАЕВЕДЕНИЕ

- Юрий Ромашков  
3 Аркан золотого бога  
Владимир Шанин  
13 Мир запомнит...

### ДиН ДИАЛОГ

- Юрий Беликов, Егор Холмогоров  
17 Трёхглавые коршуны,  
или Дефицит одной головы

### ДиН ВРЕМЯ

- Елена Акимова  
23 Мои шестидесятые...

### ДиН ПАМЯТЬ

- Георгий Кольцов  
31 Причал

### ДиН ЮБИЛЕЙ

- Сергей Хомутов  
34 Есть заклятья знаменей, знамён...

### ДиН СТИХИ

- Сергей Князев  
36 Куда девался весь народ?  
Анастасия Порошина  
38 Над тёплой чашею земной  
Андрей Новиков  
39 Крестом осенив  
Станислав Колчин  
42 Властью Севера

Олег Ващаев

- 109 Жизнь коротка,  
хотя и вечна  
Одиссей Шаблахов  
112 Верхний город  
Татьяна Ческидова  
114 Пройдут бураны

### МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

- Елена Данченко  
45 Облатка с ангелом

### ДиН ПРОЗА

- Елена Басалаева  
49 Девушка из города  
Любовь Макеева  
92 Не мыслившие зла

### ДиН СИММЕТРИЯ

- Максимилиан Волошин  
91 Северовосток  
Вера Инбер  
113 Время винограда  
Иван Бунин  
115 Роза Иерихона  
Осип Мандельштам  
157 Над Курою есть духаны...  
Демьян Бедный  
166 День прозрения  
Саша Чёрный  
177 Скорбная годовщина

СТРАНИЦЫ СОВЕТА  
МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Александра Климова  
116 Скосить рудбекию

Кира Османова  
119 Переплетенье  
длинных коридоров

Эльза Хусаинова  
121 Нехорошая почта

ДиН ФАНТАСТИКА

Олег Харебин  
144 Разведчик

БИБЛИОТЕКА  
СОВРЕМЕННОГО  
РАССКАЗА

Анатолий Бимаев  
158 Золотая рыбка

Наталья Потапова  
167 Накануне Дня Победы

ДиН ДЕБЮТ

Екатерина Леонидова  
171 Будет ли утро?

ДиН АНТОЛОГИЯ

Владимир Луговской  
172 Гуниб

Илья Сельвинский  
189 Ты—убежище муки моей...

ДиН ВЗГЛЯД

Дмитрий Косяков  
173 «Мухи» Сартра—  
для бунтаря  
двадцать первого века

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Миясат Муслимова  
178 «...И настанет время,  
и это сейчас»

ДиН РЕВЮ

Дмитрий Кадочников  
35 Воздушная тревога  
184 Раздвигая горизонты

ДиН АРТЕФАКТ

Марьям Вахидова  
185 Интервью с Гоголем  
о литературных  
журналах и газетах

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

191 Сон перед пробуждением

195 ДиН АВТОРЫ

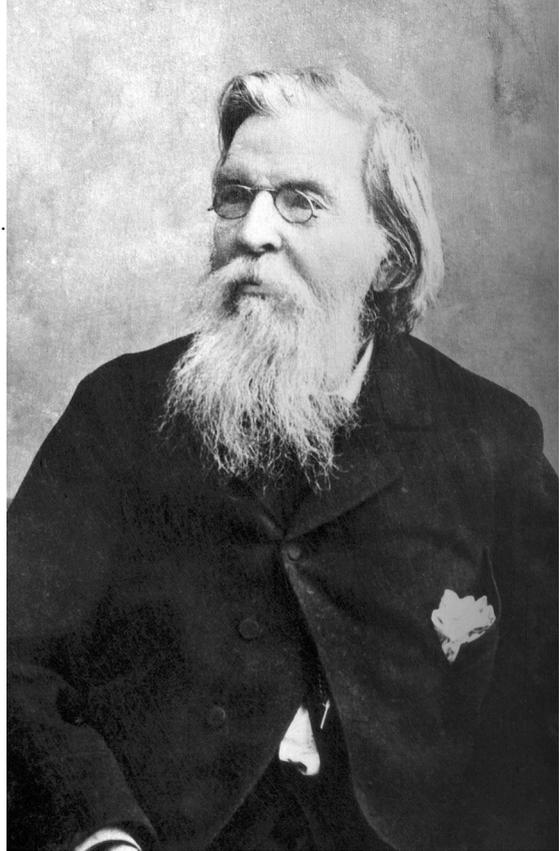
## Юрий Ромашков

# Аркан золотого бога

*Я тот, кому акциз не страшен,  
Кому не нужен и кабак,  
Чей бюст медалью не украшен!  
Кого не любит и табак...*  
А. И. Тарасов<sup>1</sup>

Для тех, кто интересуется эпохой промышленной добычи золота в Енисейском округе, давно не секрет, что данная сфера не терпела случайных людей. «Вывернувших шубы», как здесь именовали разорившихся золотопромышленников, Енисейск увидел немало, а новости об очередном банкротстве того или иного дельца даже становились достоянием либеральной сибирской прессы. Некоторые периодические издания той поры специально даже выделяли колонку или рубрику, посвящённую злободневной теме. В плеяде удачливых предпринимателей постоянно убывало, и дело здесь не только в пресловутой удаче, а, скорее, в успешном внедрении новых технологий, удачном распоряжении полученными капиталами и маневрировании на внутреннем рынке рабочей силы, которая тогда ещё представляла собой неоднородную массу вышедших на заработок крестьян. Всё это требовало от золотопромышленника как «природного» чутья», так и профессиональных навыков в знании отрасли. А если всего вышеперечисленного не хватало, чтобы быть успешным в делах добычи драгоценного металла, то арсенал средств пополняли скандалы и судебные тяжбы, которые и запечатлели в истории Енисейска купца Алексея Ивановича Тарасова, о непростом жизненном пути которого и пойдёт рассказ в настоящей статье. Далее по тексту все даты указываются по старому стилю.

Алексей Иванович Тарасов происходил из купцов города Вышний Волочёк. Его отец, купец III гильдии Иван Тарасов, в 1846 году выдал сыну доверенность на ведение торгова. А. И. Кытманов приводит любопытную деталь из данного свидетельства: «Убедившись в опытности твоей, я решил дать тебе случай заняться делами по званию купца III гильдии»<sup>2</sup>. Несмотря на столь серьёзную опеку со стороны отцовского капитала, наш герой не всегда оправдывал чаянья отца. Интересно, что в ранних источниках он фигурирует



А. И. Тарасов в начале 1900-х гг.

не как купец III гильдии, а как купеческий сын. И в последующем, куда бы ни вводили его торговые пути, он всегда будет помнить свою малую родину, оставив в фотографическом альбоме, хранящемся в Енисейском краеведческом музее, несколько видов Вышнего Волочка. К сожалению, это всё, что мы можем сказать на сегодняшний день о семье Алексея Ивановича, который ни в личной, ни в деловой переписке её не упоминает.

Итак, получив от отца свидетельство, Алексей Иванович начинает самостоятельные операции. В 1840-е годы Енисейская губерния служила местом активного вовлечения капиталов в набравшую обороты золотопромышленность. Компании И. В. Базилевского, Н. И. Маливинского, Д. Е. Бенардаки, Зотовых активно осваивали регион, вовлекая в процесс и здешнее купечество, которое в этой сфере оставалось довольно пассивным, .....

1. Подпись к «Портретам и видам разных лиц и мест, снятых фотографически А. И. Тарасовым в разное время». 1878–1880 гг. ОФ. 4898. С. 3.
2. Кытманов А. И. Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губернии 1594–1893 гг. Красноярск, СФУ, 2016. С. 286.

ограничиваясь лишь подрядами на поставку продовольствия на прииски. С разрешением правительства частным лицам заниматься золотым промыслом, который до 1828 года не выходил из пределов Уральской горной области<sup>3</sup>, наметится новый этап и в становлении енисейского купечества. А. И. Тарасов также решил попробовать себя в этой отрасли, но, не имея опыта в разработке золотых месторождений, на первое время ограничился снабжением приисковых партий. Однако первые же подряды обернулись судебными тяжбами.

Первый известный нам контракт был составлен между ним и золотопромышленником Соловьёвым. Контракт предполагал продажу с доставкой Тарасовым на прииски Соловьёва трёхсот пудов муки и трёх тысяч пудов овса. При этом в договоре была допущена «лазейка», которой наш герой не преминул воспользоваться. Когда цена на хлеб поднялась ещё выше, он, получив задаток от Соловьёва, продал приготовленный хлеб в другом месте. «Лазейка» заключалась в том, что Соловьёв не включил в условие конкретных сроков доставки припасов, что можно расценить как его юридическую неграмотность, давшую возможность Тарасову манипулировать исполнением обязательств по своему усмотрению, доставив только часть припасов на соловьёвские прииски. В 1847 году уполномоченный Соловьёва мещанин Морозов подал на Алексея Ивановича в Енисейский городской суд, который присудил ему выплаты в пользу обманутого золотопромышленника. В этом же году А. И. Тарасов записывается во II гильдию енисейского купечества. Это покажется странным, но при всём сохранившемся массиве документов мы не можем ничего сказать о его семейном положении и близости к близким. Скорее всего, наш герой всю жизнь был холост, иначе в его фотолюбительском альбоме нашлось бы место для изображений жены и детей.

После разбирательств с Соловьёвым, практически без перерыва, наш герой включается в новую тяжбу — на этот раз с ачинским II гильдии купцом Александром Даниловым. Тарасов, согласно условиям договора, обязался доставить хлеб из Иркутской губернии. И вновь операция не была выполнена им в полной мере. Купец Данилов подал



А. И. Тарасов во время поездки на один из своих приисков. Фото 1879 г.

жалобу в Енисейский городской суд. В 1848 году суд начал рассмотрение дела, из которого, со слов потерпевшего Данилова, выяснялось следующее. Алексей Иванович Тарасов получил сумму на приобретение хлеба в Иркутской губернии в десять тысяч рублей. Хлеб был удержан, поэтому Данилов сначала пришёл с заявлением в Енисейскую городскую управу, утверждая, что зерно удержано приказчиком купца Тарасова, крестьянином Анциферовской волости Фёдором Кытмановым<sup>4</sup>. А. И. Тарасов же, в свою очередь, парировал тем, что он «поручил приказчику Кытманову сделать с Даниловым окончательный расчёт, на что последний, приняв от Кытманова счёт, не выдал следующих денег. Потом он просил лично рассчитаться, но Данилов отказался, так как он являться к Тарасову не обязан»<sup>5</sup>. Исходя из того, что Тарасов израсходовал все даниловские деньги, так и не выполнив условий договора, Енисейский городской суд вынес решение в пользу ачинского купца. Но наш герой, как пишет А. И. Кытманов, «пропустил сроки апелляции, и началось обширное дело по взысканию этих денег»<sup>6</sup>. Интересно, но незадолго до этого инцидента оба купца успешно сотрудничали, что подтверждается актовыми соглашениями: «1847 г. марта 19 дня принято от господина А. И. Тарасова овса в кулях и мешках чистого весу двадцать пудов двадцать фунтов купцу Александру Данилову. Кули и мешки обязуюсь доставить. Принял приказчик Пётр»<sup>7</sup>.

В 1848 году Алексей Иванович Тарасов именуется I гильдии керченским купцом. Однако новый статус не принёс его владельцу спасения от череды судебных разбирательств, словно его личность сама притягивала скандалы, частым инициатором которых являлся он сам. Теперь он уже самостоятельно решает заняться золотодобычей, купив семьдесят девять паёв из ста, принадлежавших большой компании Першкикина — Бенардаки. Изначально компания планировала продать девяносто пять паёв, но в последующем изменила своё решение. Покупка стала своего рода прологом к большой тяжбе, которая длилась

3. *Раселли Ф.* Материалы. Сведения о частном золотом промысле в России. С.-Петербург, 1863. С. 3.

4. мку «Архив города Енисейска». Договоры, заключённые купцом Кытмановым с купцами Тарасовым и Штерк, о продаже и передаче приисков. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.

5. Там же. Л. 2.

6. *Кытманов А. И.* Ук. соч. С. 286.

7. мку «Архив города Енисейска». Переписка купца Тарасова с горным исправником по вопросу денежных расчётов с рабочими. 1846–1907 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 7. Л. 7.

двадцать пять лет и закончилась победой героя этой статьи. После покупки паёв начинающий золотопромышленник А. И. Тарасов приступил к разработке приисков Григорьевского и Александровского, находившихся в Северной системе Енисейского округа. Попутно он сделал заявку на Михайловский, который так никогда и не разрабатывался. Интересно, что и месторождения Александровского рудника оказались незначительными, послужив, по данным В. М. Внуковского, «причиной отказа от владений этими приисками»<sup>8</sup>. Прииски были проданы по цене девятью тысячами рублей, а расчёт должен был производиться с добычи золота с последующих операций<sup>9</sup>. Но добыча производилась не столь продуктивно, чтобы позволить Алексею Ивановичу исправно выплачивать стоимость покупок. К тому же сам Першкин в 1851 году заявил претензию на проданные прииски. Параллельно было возбуждено ещё два дела, которые были в итоге соединены Правительствующим Сенатом в одно. Не менее ярким явилось разбирательство по поводу ссуды, взятой Тарасовым в Сибирском банке под кватцанции Алтайского горного управления, очевидно, чтобы пораньше расплатиться с долгами. Компаньоны Першкина Устрялов и Бенардаки заявили, что Тарасов, получив ссуду, превысил свои полномочия. Обстоятельства разбирательств осложнялись встречными мелкими заявлениями Тарасова и Першкина друг на друга: о клевете, о взломе замков першкинского амбара и прочими незначительными происшествиями. Дошло до того, что А. И. Тарасов был временно помещён в дом для несостоятельных должников в Петербурге, что дало повод Енисейскому городскому суду в одном из постановлений «прозвать» неудачливого золотопромышленника мещанином. По возвращении в Енисейск наш герой был настигнут в Мариинске товарищем директора Сибирского банка, который отобрал у него ценные бумаги<sup>10</sup>.

Поразительно, но обстоятельства судебных интриг не мешали Алексею Ивановичу гибко передвигаться по гильдиям то одного города, то другого. В начале 1860-х годов он состоит в I гильдии Царскосельского купечества. В 1862 году он подаёт жалобу в Департамент горных дел и в Департамент соляных дел всё по тем же вопросам о тяжбе с Першкиным, а также в Правительствующий Сенат, но остаётся недоволен их решениями. Тогда Алексей Иванович решает написать императору Александру II:

*«Августейший монарх! Всемилостивейший Государь! Настоящую верноподданническую жалобу я, бывший керченский, а ныне царскосельский I гильдии купец А. И. Тарасов, осмеливаюсь принести Вашему Императорскому Величеству на неправомерное определение Четвёртого департамента*

*Правительствующего Сената 1 февраля, 15 мая, 6 ноября 1867 г. по трём делам, соединённым в одно»*<sup>11</sup>. Как видим, в своих стремлениях к завершению тяжб он был готов доходить до самых высоких инстанций. К тому же часть рудников отошла обратно в казну, и Тарасов вполне справедливо заявлял, что *«ввиду этого я в половине 1851 г. не только имею полное основание не считать себя должником компаньонам Першкина за проданные ими мне паи, но, напротив, имею право считать их должными мне излишне удержанные Устряловым и Бенардаки за золото мои деньги»*<sup>12</sup>.

А работа на приисках тем временем шла своим чередом. И здесь золотопромышленнику Тарасову также приходилось решать многие вопросы: наём рабочей силы, провиант и доставка оборудования. Также необходимо было налаживать отношения с приисковой администрацией в лице горного исправника и его помощника, что, к сожалению, не всегда успешно выходило. Особенно часто возникали трения, когда исправник начинал обязывать золотопромышленников выделять средства на обустройство приисковых дорог. В 1852 году Алексей Иванович получил следующее послание: *«Господину керчь-енископольскому купцу I гильдии купцу Тарасову. Для отправления в нынешнем году казённой почты с приисков в Енисейск и обратно назначена от вашей компании одна лошадь на станцию Понимбу, которая должна быть поставлена к 1-му апреля и находиться по 5-е июня. Уведомляя Вас, милостивый государь, о сём, я покорнейше прошу распорядиться, чтоб к назначенному времени лошадь на Понимбу непременно была поставлена с конюхою. И запастаи заблаговременно потребное количество припасов, по исполнению сего меня уведомить»*<sup>13</sup>. Данный документ ещё раз наглядно иллюстрирует, что частный промысел золота зачастую накладывал множество обязательств

8. Внуковский В. М. Отчёт по статистико-экономическому и техническому исследованию золотопромышленности Северной части Енисейского округа. С.-Петербург, 1905. С. 49.
9. мку «Архив города Енисейска». Контракты о работе на приисках А. И. Тарасова и его жалобы на изъятие у него в Сибирском банке банковских билетов. Ф. 6. Оп. 1. Д. 19. Л. 33.
10. Кытманов А. И. Ук. соч. С. 304.
11. мку «Архив города Енисейска». Контракты о работе на приисках А. И. Тарасова и его жалобы на изъятие у него в Сибирском банке банковских билетов. Ф. 6. Оп. 1. Д. 19. Л. 33.
12. Там же. Л. 41.
13. мку «Архив города Енисейска». Переписка золотопромышленника Тарасова с горным исправником о доставке продуктов на прииски. 1852 г. Ф. 6. Оп. 1. Д. 18. Л. 6.

на предпринимателей со стороны государственных органов. Немаловажным оставался вопрос о найме рабочих, технических специалистов и управляющих. На тот период времени уже существовали закреплённые нормы по найму, которые нередко на местах корректировались в пользу хозяина приисков. Важным был контракт с управляющим, обязанности которого имели широкий спектр. Вот какие обязательства давал нанимаемый на прииски в сезонные операции 1857 года: «Я, нижеподписавшийся мещанин И. Я. Кельберер, дал сей контракт господину золотопромышленнику купцу 1 гильдии А. И. Тарасову в том, что поступил на службу в должность приказчика на следующих условиях: все поручения, какие он, хозяин, мне прикажет, на золотых ли его приисках, в поисковых ли партиях, в разведках ли, так я, Кельберер, обязан все те поручения на себя принять»<sup>14</sup>. До нас дошла только копия данного контракта, состоящего из четырнадцати пунктов. Об ответственности приказчика как раз гласит последний пункт: «За неисполнение возлагаемых на меня поручений, за леность и другие предосудительные поступки господин хозяин или его уполномоченный имеют полное право от должности мне отказать во всякое время. Я же, Кельберер, до истечения срока сего контракта от должности отказываться не имею права»<sup>15</sup>. Нетрудно заметить, что условия найма были далеки от равных, что касалось, разумеется, и аналогичных договоров с рабочими.

В 1853 году случился новый скандал. На этот раз наш герой отличился в баталиях с горным исправником Зыбиным. К тому времени Енисейский городской суд вынес постановление о взыскании с него 5720 рублей по предыдущим делам. Тот пропустил срок апелляции, и решение вступило в законную силу. Тарасов, конечно, платить не собирался. Тогда горный исправник Зыбин решил поставить точку в этом деле, лично отправившись в тарасовскую резиденцию, располагавшуюся в деревне Назимово, чтобы описать на взыскиваемую сумму имущество. Перед приездом исправника злостный неплательщик получил

14. мку «Архив города Енисейска». Контракты о работе на приисках А. И. Тарасова и его жалобы царю на томского и западно-сибирского губернаторов об изъятии у него в Сибирском банке банковских билетов. 1853–1879 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 19. Л. 1–2.

15. Там же. Л. 1–2.

16. Кытманов А. И. Ук. соч. С. 324.

17. Там же. С. 324.

18. мку «Архив города Енисейска». Переписка золотопромышленника купца Тарасова с Енисейским губернским управлением и горным исправником Северной части Енисейского округа о найме рабочих. 1848–1881 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 8. Л. 23.



Компаньонка  
А. И. Тарасова  
по делам добычи  
золота Г. Ф. Штерк.  
Фото 1878 г.

несколько повесток, в ответ на которые писал «дерзости». По приезде исправника Алексей Иванович всё же был к нему доставлен местными крестьянами, которым досталось в короткой схватке с ретивым золотопромышленником. Интересно, когда потом земский суд вызывал Тарасова для разбора бумаг, тот отвечал, что ему «не в чем явиться», так как исправник Зыбин отобрал всю одежду по описи резиденции в Назимово. Тогда земский суд предложил ему явиться в том одеянии, в котором тот приехал с резиденции Ермака. Наш герой и здесь попытался выкрутиться, заявив: «Ехал почти без брюк, в чужом пальто, колпаке и спальных сапогах, в таком костюме он явится в суд, когда последний употребит меры, какие принимал Зыбин»<sup>16</sup>. Параллельно этим событиям произошёл инцидент Алексея Ивановича с управляющим княгини Горчаковой Николаем Харченко по поводу квитанций на деньги за присковый хлеб. Городская управа потребовала от Харченко, чтобы тот не выдавал эти квитанции, а предоставил их управе. А. И. Тарасов решил, что это может быть опасным: квитанции могут быть утеряны, — поэтому выступил против передачи. Тарасов жаловался на Харченко, тот — на Тарасова. Началось разбирательство в окружном суде, который нашел, что «оскорблений не было, а была взаимная неприязнь, и обоим отказал с тем, чтобы они не употребляли больше таких выражений, а Тарасову — чтоб он такими жалобами не обременял присутственные места»<sup>17</sup>.

Но далеко не всегда наш герой выглядел как подлинный скряга, судящийся за каждый амбарный замок. Порой он предлагал весьма неожиданные для современников, но действенные меры. Например, в январе 1857 года он откровенно высказался по вопросу о строительстве и содержании Новонифантьевской приисковой дороги, резонно предложив остальным золотопромышленникам: «Не лучше ли нам ходатайствовать, чтобы дорога к приискам была устроена и содержалась из сумм,



Панорамный вид на Александровский прииск А. И. Тарасова. Фото 1880 г.

взымаемых с золота и отчисляемых в пособие к земскому сбору?»<sup>18</sup> Действительно, суммы государственного налогообложения частной золотопромышленности вкупе с многочисленными сборами на содержание приисковой администрации и прочих служб вполне бы хватило для улучшения таёжных коммуникаций. Но, увы, предложение осталось без поддержки. В этом же году он заключил контракт с енисейской купчихой Г. Ф. Штерк о доставке на её прииск припасов.

Об этой особе стоит сказать отдельно, так в последующем её участие в енисейской золотопромышленности и в жизни Алексея Ивановича будет иметь не последнее значение, хотя до конца неясно, объединяло ли их, кроме добычи золота, что-то ещё. Примечательная деталь: в сохранившемся альбоме А. И. Тарасова присутствует фото Генриетты Фёдоровны и даже место её погребения на Крестовоздвиженском кладбище, а газета «С.-Петербургские ведомости» именовала её не иначе как «сожительницей». Но опустим данные подробности и немного расскажем о её личности. Генриетта Фёдоровна Штерк родилась в 1818 году и происходила из города Виндава (сегодня латвийский Вентспилс) Курляндской губернии. Как записано в источниках, «в 1856 г. девица Генриетта Каролина Штерк обратилась в Енисейскую казённую палату с прошением о причислении её

в енисейское купечество»<sup>19</sup>. Её прошение было удовлетворено, и под именем Генриетты Фёдоровны она была зачислена во II гильдию. В этом статусе она пребывала до 1862 года, а затем выбыла в енисейские мещане. Известно, что в 1865 году она снова подала прошение в Енисейскую казённую палату—о зачислении её малолетней дочери Татьяны во II гильдию местного купечества. Вопрос рассматривался долго, поэтому Штерки получили временное право на торг «с сохранением настоящего звания». Однако сама Генриетта Фёдоровна перечислена в купечество не была вплоть до начала 1870-х годов, когда она снова упоминается как купчиха II и даже I гильдии. На тот момент она активно разрабатывала небогатый Александровский прииск, арендуемый у А. И. Тарасова. Это подтверждает заключённый 17 декабря 1875 года договор между нею и енисейским купцом Игнатием Петровичем Кытмановым, в котором указывается, что Александровский прииск именно арендуется у героя нашей статьи. И. П. Кытманов по договору обязался в операции 1876 года поставить семьдесят рабочих для вскрытия «торфов» и .....

19. мк «Архив города Енисейска». Переписка золотопромышленника Тарасова с горным исправником частных золотых приисков о найме рабочих. 1842–1865 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 4. Л. 11.



А. И. Тарасов. Фото 1869 г.

промывки<sup>20</sup>. В том же году Генриетта Фёдоровна сдаёт Игнатию Петровичу в аренду Лидинский прииск, располагавшийся в Северной системе тайги. Интересно, что этот прииск был куплен ею с торгов в 1872 году, на которых она единственный раз упоминается как енисейская купчиха I гильдии. Примечательно, что дочь золотопромышленницы Татьяна в последующем, окончив Красноярскую женскую гимназию, стала преподавательницей в церковно-приходской школе при Енисейском Иверском монастыре. В 1874 году корреспондент газеты «Биржа», повествуя о деятельности золотопромышленника Тарасова, отмечал: «У него управляет госпожа Штерк, сам же он более живёт в Петербурге, уже несколько лет имея тяжбу с Бенардаки и Пермикиным»<sup>21</sup>.

Но вернёмся к событиям 1857 года. На Чернореченской была сооружена застава, где служащие золотопромышленников Зотовых брали «пропуски» с проходящих на прииски транспортов. Таким образом, они решили взять «пропуск»

и у тарасовского приказчика, у которого эти документы, конечно, оформлены не были. Транспорт был задержан и простоял несколько дней, пока приказчик советовался со своим хозяином. Алексей Иванович заявил, что дороги на прииски свободны и никакие бумаги для передвижения не нужны. Тем временем люди Зотовых временно арестовывают тарасовский товар и, зная его, под расписку складывают в своих амбарах. Расписку передают анциферовскому сельскому старосте. Разумеется, начинается судебная тяжба. Эти припасы предназначались для госпожи Штерк, и наш герой предъявил компании Зотовых иск на 218 400 рублей. Но проиграл все дела: ему отказал окружной суд, а в 1866 году — и губернский суд, который постановил взыскать с Тарасова за неправильную апелляцию ещё и 21 880 рублей пошлины<sup>22</sup>. Кстати, основными поставщиками провианта на рудники самого Тарасова были купцы И. П. Кытманов и Н. Е. Дрямин. Не обходил стороной он и более мелкие интриги, став самым настоящим за всегдатаем судебных палат. В 1860 году он «завёл тяжбу» с горным исправником Третьяковым. Случилось так, что Тарасов, будучи в гостях у Двинянинова, увидел там зеркало, некогда подаренное Третьякову, который, в свою очередь, справедливо считая его своей собственностью, продал его Двинянинову. Теперь наш герой требует себе зеркало обратно, пользуясь тем, что подарил его Третьякову без всяких расписок, которых тот не взял, считая Тарасова порядочным человеком. И всё же, в небольших перерывах между судебными слушаниями, у него находилось время для общественной работы. Ещё в 1859 году он был избран в состав отделения Попечительства о тюрьмах.

Не всегда всё гладко выходило у Алексея Ивановича и в контактах с рабочими и служащими. В марте 1872 года на его Царскосельском прииске, разрабатываемом Генриеттой Фёдоровной Штерк, произошёл пожар. Из письма Алексея Ивановича горному исправнику следовало, что в деле о поджоге замешаны рабочие и заведующий прииском — тюменский мещанин Степан Евгеньевич Черноколпаков: «По приезде на Царскосельский прииск енисейской купчихи Штерк заведующий этим прииском мещанин С. Е. Черноколпаков, в ответ на отказ 2-жи Штерк идти с ним осмотреть новое помещение служащих, выразился так: не пренебрегайте нами, поживите и в нашем помещении. На другой день после этих слов от 23 марта в 2 или 3 часа пополудни, без всякой видимой причины, дом, в котором помещалась 2-жа Штерк (в нём было сложено моё имущество и документы мои и конторы моей, привезённые с Александровского прииска), загорелся с той стороны, где было сложено моё имущество и документы и где никакой топки печей не производилось»<sup>23</sup>. Дом сгорел до основания вместе со всеми документами, ущерб

20. МКУ «Архив города Енисейска». Договоры, заключённые между купцом Кытмановым и купцами Тарасовым и Штерк, о продаже и передаче приисков. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10. Л. 23.

21. Газета «Биржа» // №124, 1874.

22. Кытманов А. И. Ук. соч. С. 351.

23. МКУ «Архив города Енисейска». Переписка золотопромышленника купца Тарасова с горным исправником частных золотых промыслов Северной части Енисейского округа по доставке фуража на северные прииски. Ф. 6. Оп. 1. Д. 13. Л. 7.



А. И. Тарасов во время поездки на один из своих приисков. Фото 1879 г.

составил до двух тысяч рублей. Был ли привлечён к ответственности Черноколпаков, на сегодняшний день неизвестно. Сам Царскосельский прииск был во владении Г. Ф. Штерк, сдававшей его енисейскому купцу Алексею Софроновичу Баландину, который уплачивал ей по триста рублей с добытого пуда<sup>24</sup>. Разработка прииска велась успешно А. С. Баландиным до 1880 года. Затем владельцем прииска значится наш герой, работавший на нём до начала 1900-х годов.

Безусловно, при найме рабочих у золотопромышленников существовали риски. В первую очередь они были связаны с побегами рабочих во время приисковых операций, что грозило срывом работ и кражей золота. Не меньшим был риск поступления на службу разных асоциальных элементов. Так как допускался наём на работы лиц из ссыльных, то конфликтные ситуации становились неизбежными. И Алексей Иванович на собственном опыте смог в этом убедиться. В письме горному исправнику он рассказал такую историю: *«Месяц тому назад повадился ходить в контору 2-жи Штерк, под предлогом найма на прииски, поселенец с Яланской волости Павел Гусев, которому более двух недель постоянно отказывали, но убедительные просьбы и мольбы Гусева склонили меня выдать ему 25 руб. в задаток и 4 руб. на проход до прииска. Получив эти деньги, Гусев на прииск не пришёл, вследствие чего был отправлен*

*к Вашему Высокоблагородию для принятия мер к отправлению его на прииск 2-жи Штерк, и уже несколько дней считал себя от него свободным. Но вечером сего числа Гусев явился в мою квартиру с угрозами, требуя от меня ещё денег, если же я не желаю себе погибели, и что он на прииски не пойдёт, и если его и отправят насильно, то он постарается там свернуть мне шею»*<sup>25</sup>. Ещё один любопытный казус случился со специалистом по сборке золотопромывальной машины. А. И. Тарасов писал горному исправнику следующее: *«Вашему Высокоблагородию имею честь объявить, что 2-го числа настоящего месяца находившийся у меня в услужении для сбора паровой машины рижский гражданин Аминиус Фридрих Дольвец неизвестно куда скрылся, оставив машину несобранной, а быть может, даже испорченной»*<sup>26</sup>. Бывали и встречные иски. В 1875 году жалобу на золотопромышленника подал крестьянин Канского округа Рыбинской волости Андрей Зелинский, сообщая, что ещё в 1874 году нанимался на работы к Тарасову в составе артели из двадцати трёх человек. По завершении работ Тарасов не вернул паспорта под предлогом долгов, оставив их в своей конторе<sup>27</sup>.

В 1876 году Алексей Иванович потерял свою компаньонку: 1 октября умерла Генриетта Каролина (в святом миропомзании Александра Фёдоровна) Штерк. А. И. Тарасову действительно была близка эта женщина, что им неоднократно доказывалось. В 1879 году он вышел в Енисейскую городскую думу с предложением внести три закладных листа Харьковского банка в пользу женской прогимназии. Проценты с этих бумаг должны быть выдаваемы самой способной из учениц по окончании ею курса прогимназии. Также, по условиям жертвователя, имя Александры Фёдоровны должно было украшать собой лучшее место в этом учебном заведении. Однако благое намеренье было неосуществимо, так как закладные листы банка не являлись бумагами, гарантированными правительством. А. И. Тарасову было предложено

24. Внуковский В. М. Ук. соч. С. 46.

25. мку «Архив города Енисейска». Переписка золотопромышленника купца Тарасова с Енисейским губернским управлением и горным исправником Северной части Енисейского округа о найме рабочих. 1848–1881 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 8. Л. 15.

26. мку «Архив города Енисейска». Переписка золотопромышленника Тарасова с горным исправником частных золотых промыслов о найме рабочих, о расхищении имущества и припасов с приисков. 1851–1877 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 14. Л. 5.

27. мку «Архив города Енисейска». Переписка золотопромышленника Тарасова с горным исправником о найме рабочих. 1848–1914 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 9. Л. 10.

обменять на гарантированные, но он отказался<sup>28</sup>. В 1880 году Алексей Иванович на свои средства поставит большой красивый памятник на могиле своей компаньонки по золотому промыслу на Крестовоздвиженском кладбище.

Переживая утрату, наш герой, тем не менее, находил возможность продолжать судебные процессы. В 1879 году в тайге разгорелся новый скандал. После смерти Г. Ф. Штерк Тарасов сдал свои прииски — Александровский и Григорьевский — в аренду енисейским купцам Грязновым. В частности, арендатором выступал Ефим Грязнов. Параллельно Тарасов подал жалобу на А. С. Баландина и его управляющего — колыванского купца Ксенофонта Фёдоровича Старцева, заявляя, что те якобы занимались расхищением припасов с его Иоанно-Предтеченского прииска. Видимо, чтобы поскорее отвязаться от Тарасова, Старцев поспешил написать объяснительную горному исправнику. Возвращаясь к делу о судебном процессе с Грязновыми, важно отметить, что претензии Алексея Ивановича в этот раз имели под собой основания. Арендую тарасовские прииски, Ефим Алексеевич обязался выплачивать все необходимые пошлины государству. Грязновы ничего не заплатили, и над приисками нависла угроза отчисления в казну. Видя это, Алексей Иванович подаёт на Грязновых жалобу в Енисейский городской суд, а затем — и в губернский. Но, не дождавшись нужного решения, он пишет в Правительствующий Сенат. Во всех этих инстанциях, вставших на сторону купцов Грязновых, он не добивается успеха. Между прочим, они заявляли, что «не собираются уплачивать, потому что эти прииски не разрабатывали, не получив их планов и чертежей»<sup>29</sup>. Разумеется, А. И. Тарасова не устроило такое объяснение, поэтому обманутый золотопромышленник пишет письмо императору Александру II, в котором замечает: «Грязнов по-саженно платит за прииски, а не за пользование

оними, и не со дня выдачи планов, а со дня принятия им на себя этой обязанности и поступления в его распоряжение приисков, имущества, о котором Грязнов испросил Енисейскую полицию <...> что он и просил от меня принять, а если у него ничего этого не было и он таковым не пользовался, то, разумеется, он бы не просил об этом»<sup>30</sup>. Сын Ефима Грязнова, Гаврил Грязнов, продолжал настаивать на том, что тарасовские прииски «за ним не перечислены, и время работ на них упущено»<sup>31</sup>. Интересно, но составленная жалоба на Грязновых была отправлена от имени просителя енисейским мещанином Василием Шипуновым, как сказано в документе, «жительствующим в доме просителя в собственном доме по Успенской улице, 14»<sup>32</sup>. Жалоба была написана в 1890 году, и её результат нам, к сожалению, неизвестен. Видимо, чтобы избавиться от многострадальных приисков, Алексей Иванович передаёт их в аренду в 1885 году. Сохранился документ, проливающий свет на эту сделку: «От Горного отделения Главного управления присылаемое потомственным почётным гражданином, 1 гильдии купцом И. П. Кытмановым и должатовским купцом И. З. Комякиным прошение о перечислении за ними приисков Александровского по р. Безымянной и Григорьевского Северной части Енисейского округа, приобретённых от царскосельского купца А. И. Тарасова по условию от 31 января 1885 г.»<sup>33</sup>. В 1880 году он снова отличился, привыкнув, как говорил М. П. Миндаровский, «поступать казуистически». В этом году золотопромышленники Северной тайги составили смету на содержание горного исправника, его помощника, казаков охранной команды и местных арестантов. Данную смету подписал и А. И. Тарасов, но затем, видимо, раздумав, заявил о недействительности своей подписи. Как обычно, началась длительная переписка по этому вопросу, продолжавшаяся не один год. В конце концов помощник енисейского полицейского пристава третьего участка и окружное полицейское управление подвели черту, признав подпись заявителя действительной<sup>34</sup>.

Всё же Алексей Иванович, оклемавшись от очередной тяжбы, возвращается к общественной жизни. Ещё в 1876 году он предложил городской Думе свою библиотеку старых собраний 1840–1860-х годов. По его предложению, книги могли быть доступны в шкафах рядом находившейся городской управы. Но Дума, не найдя места для книг, вынуждена была отказать. В 1890 году он выступает за улучшение енисейской пожарной команды, снабжение её самым современным инвентарём. Тогда же он пробует себя в роли гласного городской Думы. Правда, первые же его проекты вызвали много дискуссий и не состоялись на благо города. В частности, А. И. Тарасов предлагал взамен обветшалого Толчгейного моста через реку Мельничную (сегодня район улицы Ленина)

28. Газета «Санкт-Петербургские известия» // №13, 1879.

29. мку «Архив города Енисейска». Переписка золотопромышленника Тарасова с горным исправником по вопросу денежных расчётов с рабочими. 1846–1907 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 7. Л. 31.

30. Там же. Л. 32.

31. Там же. Л. 33.

32. мку «Архив города Енисейска». Переписка купца Тарасова с горным исправником по вопросу денежных расчётов с рабочими. 1846–1907 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 7. Л. 33.

33. мку «Архив города Енисейска». Договоры, заключённые купцом Кытмановым с купцами Тарасовым и Штерк о продаже и передаче приисков. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10. Л. 25.

34. мку «Архив города Енисейска». Переписка купца Тарасова с горным исправником по вопросу денежных расчётов с рабочими. 1846–1907 гг. Ф. 6. Оп. 1. Д. 7. Л. 26.

построить новый со стороны улицы Успенской (сегодня район улицы Рабоче-Крестьянской). Остальные думцы не поддержали инициативу, сочтя её нецелесообразной. Как писал А. И. Кытманов, «Тарасов был впервые гласным Думы и, как привыкший всю жизнь вести тяжбы и судебные дела, так и в дела Думы вносил свой любимый взгляд на дело»<sup>35</sup>. Ещё одна немного странная благодетельность от А. И. Тарасова должна была осчастливить Енисейскую мужскую гимназию. При этом жертвователю настаивал, что коллекция уральских минералов должна быть выставлена только в этом учреждении. Как писал М. П. Миндаровский, «с надписью на витринах, в которых помещена будет данная коллекция, о том, что она привнесена в дар таким-то и таким-то»<sup>36</sup>. К коллекции прилагался алфавитный указатель с двумястами наименованиями, который сегодня хранится в Енисейском краеведческом музее. По иронии, указатель оказался в музее вопреки воле владельца, так как Алексей Иванович не особо сочувственно относился к детищу А. И. Кытманова, Н. В. Скорнякова и М. О. Маркса. Тарасов ошибся. Пока шла передача минералов в гимназию, Алексея Ивановича не стало. Его душеприказчик отдал их в городскую управу, где они и хранились до начала революционных событий 1917 года, после которых тарасовский дар канул в Лету, сохранившись только на листах алфавитного указателя.

Важно осветить ещё одну сторону жизни господина Тарасова — любовь к фотоделу. Действительно, как сообщают источники, он владел собственной фотографической мастерской, подарив истории два альбома с изображениями золотопромышленных приисков и построек города Енисейска. Идя в ногу с прогрессом, он сам любил фотографироваться, часто оставляя под снимком собственноручные комментарии. В это время он выбывает во II гильдию и сдаёт свой дом крестьянину под постоянный двор<sup>37</sup>.

Не оставался он в стороне от общественных нужд и позднее. Так, при открытии в 1899 году новой городской лечебницы была организована общественная подписка на приобретение для неё медицинских инструментов и оборудования. И первым, кто на неё откликнулся, был наш Алексей Иванович, пожертвовавший некоторые хирургические принадлежности и часть аптечного инвентаря.

Годы неотвратимо обременяли таёжного бунтовщика, но Алексей Иванович ещё неоднократно доказывал, что способен жить по раз и навсегда заведённым принципам. Правительствующий Сенат приговорил его к семи дням ареста за оскорбительные выражения в официальной бумаге в адрес присутственных мест. А. И. Тарасов начинает отбывать наказание в местном тюремном замке и на первой же вечерней поверке заявляет

смотрителю, что тот должен отпустить его ночевать домой, так как приговорён судом на семь дней, а не суток. В итоге на объяснения с необычным арестантом прибыл сам полицейский чиновник, чего, собственно, наш герой и добивался, вволю поглумившись над неточными формулировками приговора. В 1880–1881 годах на его приисках прошли волнения рабочих. В целом это даже походило на небольшую аферу. Так как к этому времени ещё довольно сильно было послевкусие двадцатилетнего суда с компанией Першикина, поэтому Горное управление не выдало книг на запись золота. Тогда маститый золотопромышленник придумывает интересный ход — он телеграфирует Горному отделению, что на его приисках происходят волнения рабочих, которые требуют эти книги. Началась активная переписка. Представители властей, приехав на дознание, бунтов не обнаружили, за что Алексей Иванович был обвинён в ложном доносе. Как видим, всё в духе золотоискательных интриг.

Постепенно о нём стали слагать городские легенды, передаваемые через мемуары современников. Сегодня сложно судить о том, насколько реальность граничит там с вымыслом. Например, утверждалось, что А. И. Тарасов был единственным, кто не платил один рубль с каждого своего рабочего на содержание горного исправника и инженера, таким образом протестуя против сильного налогообложения частных промыслов. Конечно, такие выходки не могли не стать причиной частых визитов приставов. Вот и пожаловали однажды приставы с исполнительным листом об уплате очередного штрафа. Алексей Иванович отказался. Приставы предупредили, что в таком случае будет сделана опись имущества на данную сумму. Тарасов указал на свою библиотеку. Порядка недели корпели чиновники над тарасовской библиотекой, набирая на нужную сумму, и вот, наконец, предлагают владельцу принять опись на согласование до дня продажи. А. И. Тарасов расписывается в принятии, получает копию описи и тут же вручает чиновнику требуемую с него сумму, заявляя: «Давно я уже собирался составить опись своей библиотеки, да всё как-то не удавалось»<sup>38</sup>. Или вот ещё одна история. Тарасов был вызван к мировому судье по повестке ровно на десять часов. Придя ровно к назначенному времени и не обнаружив судью на месте, он тут же

35. Кытманов А. И. Ук. соч. С. 634.

36. Миндаровский М. П. Мои записки и воспоминания 1891–1916 гг. Машинопись. С. 58.

37. Быконя Г. Ф., Комлева Е. В., Погребняк А. И. Енисейское купечество в лицах XVIII—начала XX вв. Новосибирск, 2012. С. 256.

38. Миндаровский М. П. Ук. соч. С. 61.

пишет письмо письмоводителю примерно такого содержания: «*Был точно в назначенное время, но, к сожалению, не застав судьи и не имея времени дожидаться, свидетельствует ему своё почтение*»<sup>39</sup>. Но эпоха многолетних судебных тяжб подходила к концу, и теперь нашему герою приходилось вести судебные баталии по всяким мелочным поводам. В 1891 году таким поводом стала корова. Дело в том, что Тарасов опекал семью енисейских мещан Акимочкиных, снабжая их припасами и деньгами. После смерти главы семейства, Ивана Фомича Акимочкина, он продолжил опеку над ними, передав вдове Ефросинье с двумя детьми корову. Но женщина бросила и детей, и корову. А в 1891 году скотина вернулась во двор купца. И здесь обнаружился претендент — крестьянка Россихина, якобы ранее получившая эту корову от Акимочкиной. Дело тянулось до 1892 года, завершившись победой Тарасова.

В конце 1890-х годов это был уже не тот известный городу и округу скандалист и завсегдатай судебных процессов. «*Тарасова я стал знать уже во времена упадка золотопромышленности, и видел его всегда скромным, степенным старичком, ведущим скромную, уединённую жизнь в собственном деревянном доме в нагорной части по Успенской улице. Это был довольно интеллигентный человек, по своей оригинальности, собеседник, владелец весьма солидной библиотеки 40-60-х гг.*»<sup>40</sup>, — вспоминал о нём М. П. Миндаровский. В 1900 году А. И. Тарасов продаёт свой Григорьевский прииск, некогда выстраданный в судебной саге у компании Першикина, купцу II гильдии Арсению Фёдоровичу Петрову за десять тысяч рублей. А. Ф. Петров в этот же год начинает там работы при команде рабочих из двадцати человек<sup>41</sup>. Интересно, но,

практически не занимаясь добычей золота, Алексей Иванович в начале двадцатого века оказался в реестре неблагонадёжных кредиторов, находясь там даже после своей смерти. По данным отчёта, его долг составлял пятьдесят рублей восемьдесят копеек<sup>42</sup>. Больше не упоминается и его проживание в Петербурге — видимо, отойдя от дел, он расстался и со столичной жизнью.

В 1902 году Алексея Ивановича Тарасова не стало. Он умер 13 апреля, как записано в источниках, «от старческого истощения»<sup>43</sup>. Был отпет в Успенской церкви, прихожанином которой являлся, и похоронен на Крестовоздвиженском кладбище. Могила на сегодняшний момент утеряна. Также была утеряна и его деревянная усадьба, погибшая в пожаре 1905 года. Тогда же Енисейским общественным музеем был приобретён большой архив купца, который после революционного лихолетья оказался в других учреждениях. Сегодня большой фонд документов А. И. Тарасова находится в Енисейском городском архиве.

Личность купца Алексея Ивановича Тарасова была столь противоречивой в глазах общественных деятелей того времени, что в последующем это противоречие переключалось на страницы воспоминаний, заложив окончательно прочный фундамент представления о нём как о буяне и скандалисте, утопившем в море апелляций своих оппонентов. Всё это так, но вместе с тем это был интереснейший, просвещённый человек, разносторонний по своим интересам, идущий в ногу со временем и никогда не отступавший от своих жизненных принципов. В конце концов, наш герой был ребёнком своей эпохи, пойманным, как и многие его современники, в аркан золотого бога.

39. Там же. С. 61.

40. Там же. С. 60.

41. Внуковский В. М. Ук. соч. С. 245.

42. Отчёт распорядителя бюро золотопромышленников Северо-Енисейского горного округа А. Т. Востротина. 1905. С. 10.

43. мку «Архив города Енисейска». Метрическая книга Градо-Енисейской Успенской церкви за 1902 г. Ф. 273. Оп. 1. Д. 302. Л. 59.

Владимир Шанин

## Мир запомнит...

### Сказ о «грешном» Петре

Инженер связи на Ачинской железной дороге Борис Холкин привёз на краевой семинар молодых писателей Красноярья объёмистую рукопись романа «Августейший посол».

Накануне он появился в редакции узкоспецифической газеты «Телевидение и радио» («ТиР»). Это был человек среднего роста, в очках, с усами, плотный телом, спокойный, даже несколько медлительный, и он предложил для печати главу из своего романа. Редактор «ТиРа» Виталий Кузнецов (ныне покойный), человек сложный, с характером, отчаянно смелый в поступках, журналист, несомненно, талантливый, уже в этой главе увидел произведение, заслуживающее повышенного внимания, а главное—с исторической новизной. Как известно, всякое новое—хорошо забытое старое: кто теперь помнит, как проходило посольство Петра Первого в запредельные страны?

Виталий тут же поставил тот кусок романа в номер, только спросил меня, какое-то время ходившего у него в помощниках: «Как думаешь, начальство возмутится?»— «Наверное, не одобрит,—качнул я головой.— Газета должна пропагандировать радио, телевидение, кино, давать анонсы, программы—и вдруг роман... И, конечно же, с продолжением?»— «А, будь что будет!—Виталий махнул рукой.— Зато читателям понравится...»

Главные герои романа «Августейший посол»—реально существовавшие исторические лица. Сам автор признался, что его поразила «столь редкостная компания выдающихся личностей прошлого, словно бы по заказу собравшихся в одно и то же время». А журналист из Ачинска Сергей Кардаш, рассказывая о Борисе Холкине, написал в «Красноярском рабочем» о том, как писатель «мечтал встретить живого полуцаря-полумальчишку, погрязшего в полувоенных забавах, а увидел киноикону» (фильм С. Герасимова «Юность Петра».— В. Ш.), как мысленно ругал Алексея Толстого за то, «что тот „промахнул“ становление Петра, что лишь мимоходом тронул ключевую пору яростного ученичества. За то, что не завершил свой чудороман...» (А. Толстой, «Пётр Первый».— В. Ш.). «Вот тогда,—писал Сергей Кардаш,—в терзаниях и муках, его осенило: написать своего—настоящего, дышащего, грешного Петра... Он собирал слова

истины—факты из жизни Петра. Он добывал их, как рудокоп. Он искал детальные подтверждения своим сомнениям, догадкам, гипотезам...»

Рукопись была обсуждена семинаром, тепло принята и рекомендована издательству «Красноярский рабочий». Борис Холкин признан вполне состоявшимся писателем со своей темой, своим голосом, хорошим знанием истории российской, способным скупые характеристики персонажей того далёкого времени оживить, очеловечить. И тогда же я с лёгким сердцем дал Борису рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР.

На том семинаре одну из глав романа Борис передал в готовящийся коллективный сборник, который в том же 1992 году вышел в свет и назывался необычно игриво, с оттенком неуважения к его авторам—«Собачий вальс». Это было начало разнузданного реформаторства, когда многие стали писать в угоду времени и низменным вкусам невзыскательного читателя, перешли на язык бульварщины—словом, занялись простым сочинительством, лишь бы развлечь раздражённую публику. По мысли Никола Себастьяна де Шамфора, «немало литературных произведений обязаны своим успехом убожеству мыслей автора, ибо они сродни убожеству мыслей публики»,—такой вижу я ныне отечественную литературу. А Борис Холкин из провинциального Ачинска писал серьёзный роман о Великом посольстве Петра Первого в страны Европы в 1697–1698 годах.

Наконец в Красноярском книжном издательстве роман «Августейший посол» вышел в свет—довольно приличная толстая книга в двадцать пять печатных листов, тиражом в десять тысяч экземпляров,—и сразу же завоевал популярность. По прочтении романа профессор Красноярского госуниверситета Г. М. Шлёнская с удивлением заметила: «Так знать, так видеть Англию той эпохи может только англичанин. Откуда в нём это?..» Не знаю, как работалось писателю, но, говорят, писал он свой роман урывками, между дежурствами на узле связи и коротким сном, похожим на глубокое забытьё, а перед тем изучив и осмыслив массу исторических документов и материалов, перерошив уйму книг и журналов. Работа адская. И Борис Холкин блестяще справился с ней.

Роман получился интересным, а интригующий сюжет держит читателя в напряжении до последней страницы. Ведь события, образы русских и иноземных политиков конца семнадцатого века узнаваемы и исторически достоверны. В авторском предисловии Борис Холкин сказал: «История, словно сделав виток, повторяется через 300 лет. Сравните: миновал тот же „суматошный век“, началось новое хождение в ученичество на Запад. Нас раздрают те же волнения, противоречия, бунты... Даже день возрождения России мы отмечаем в день рождения Петра. И, наверно, впереди нас ждут сокрушительные „нарвские“ конфузии, но не забудем — вслед им грядут „Полтава, Виктория!..“ Может быть, и так. Посмотрим. Однако роман Бориса Холкина вышел в свет как раз вовремя, он как бы подсказывает сегодняшним политикам верный путь к реформам. И надо отдать должное автору, сумевшему разглядеть аналогию между прошлым и будущим. «Не слишком ли дерзко, не слишком ли вопреки общеизвестному? — спрашивает Сергей Кардаш и отвечает: — Слишком. И в этом соль...» Но где же, где сегодняшний Пётр?..

Борис Викторович Холкин родился в 1960 году в Омске, окончил среднюю школу с математическим уклоном в городе Ангарске Иркутской области, куда переехали родители. В школе занимался в литературном клубе, и тогда же были написаны им первые рассказы. Окончив Омский транспортный институт, в 1982 году Борис поселяется в Ачинске, работает инженером связи на железной дороге и пишет, пишет рассказы. В 1990 году они были опубликованы в местных газетах «Ленинский путь» и «За ачинский глинозём». Через семь лет Борис вплотную приступил к работе над романом о посольстве Петра Первого в Англию.

Стоит отметить, что книга вышла из-под пера молодого, талантливого писателя, имевшего свой взгляд на историю. Язык романа чист, не засорён «газетчиной» и канцеляризмами.

Пока мы читали поистине любопытный исторический роман, Борис Холкин завершил и, как я слышал, отдал в то же издательство новую рукопись под тем же названием — продолжение или окончание дилогии.

И вдруг — безвременная кончина Бориса Холкина, смерть на взлёте... Только-только был вручён ему членский билет Союза писателей России, от него ждали многого, ведь Борис успел заявить о себе как талантливый исторический романист... В феврале 1999 года ему исполнилось бы тридцать девять лет. У него внезапно остановилось сердце, не выдержав колоссальной нагрузки: не согнулся, не сломался, а просто умер. Но он не затерялся в нашей памяти. Стоит лишь взять в руки его роман и окунуться в события трёхсотлетней давности — и мы всё вспомним.

## Мир запомнит...

Позволил Михаил Атласов, с которым я знаком почти полвека. Человек он хороший, славный и как художник помечен «искрой Божьей».

...Наше знакомство состоялось при печальных обстоятельствах — после похорон его пятилетней дочки. Тогда, правда, знакомством это назвать было нельзя, потому что и Миша, и его жена Оля, почерневшие от горя, никого не могли запомнить. Дом новый, только что заселён, и эта нечаянная смерть как-то сразу сблизила всех. Мы жили в одном подъезде.

Жили мы на разных этажах: я на втором, а Михаил на пятом, — дружили семьями, но встречались нечасто. Михаил работал в Худфонде, «сидел» на заказах, вечерами писал картины «для себя». Их двухкомнатная квартира походила скорее на художественную мастерскую, чем на жильё. Всякий раз, когда я забежал на минуту к Атласовым, Михаил долго меня не отпускал. Расставлял на полу, прислоняя к стульям, к столу, к стене, к одежному шкафу, свои многочисленные готовые полотна и с жаром рассказывал, как он «схватил» тот или иной сюжет и как нашёл тот или иной выигранный ракурс. Небольшие картины, на подрамниках или уже вправленные в багетовую раму, оконченные или ещё не прописанные, он то доставал из-за шифоньера, то снимал со шкафа, ставил так, чтобы выгодней падал свет от окна — если это был день, от электрической лампочки — если это был вечер. Туговаты́й на ухо, Михаил говорил громко, может, даже слишком громко. Я тоже стал говорить громче, и так мы орали на весь дом.

— Папка мне со слухом подпортил, зато глаза посадил как надо, и я с детства всё вижу не как все смертные, — говорил он. — В возрасте семи лет я заболел корью, многие тогда болели, и был на грани смерти. Целую неделю держалась высокая температура. Врачей в деревне не было, только ветеринар. И он-то, на свой страх и риск, поставил мне «лошадиную» дозу стрептомицина. Выжил, поправился, но частично потерял слух. Верю, что Господь выручил, чтобы я выполнил то, ради чего Он дал мне жизнь.

В пятилетнем возрасте у Миши впервые появились карандаши — отец купил. Было их немного, штук шесть или семь, но зато цветные! На коробке рисунок — гладиатор Спартак с копьём и круглым щитом в руках. Когда Михаилу исполнилось пятнадцать лет, он поступил в вечернюю художественную школу в Красноярске, однако с учёбой пришлось расстаться. Отец сказал: «Ты, конечно, сынок, молодец, но пока поживи дома, сил наберись, да и средств на обучение у нас пока нет». Родители работали в колхозе, а время было послевоенное, строгое, не очень-то и сытное, и послушный мальчик уехал в деревню. Но мечту о художественном образовании не оставил.

Поступил заочно в Московский народный университет искусств имени Крупской, высылал рисунки на рецензии. Окончив два курса, понял, что такая форма обучения ничего ему не даст. Бросил. Окончил школу ФЗО, стал трактористом, работал в леспромхозе, райпотребсоюзе. Учился рисовать самостоятельно, для чего выписал журнал «Художник». Статьи и репродукции с картин живописцев, помещённые в журнале, подкрепили его сознание: надо учиться. В 1969 году приехал в Красноярск, работал землекопом, трубоукладчиком, жил в общежитии, а вечерами учился в художественной школе, через два года поступил в художественное училище. Учёба давалась нелегко, ведь, кроме дисциплин по искусству, приходилось изучать предметы общеобразовательной школы за десятилетку. Нагрузка была колоссальной.

— В училище больше всего любил рисунок, — рассказывал Михаил. — По этому предмету получал пятёрки. А вот живопись давалась труднее, и не потому, что не понимал...

...Моя семья вскоре переехала на другую квартиру, и мы встречались от случая к случаю: иногда Атласовы гостили у нас, иногда — мы у них. Михаил показывал новые работы, и разговоры наши касались, как всегда, творчества. Жёны секретничали в комнате или на кухне, а мы, азартные и возбуждённые, бывало, так разорёмся, что кто-нибудь из женщин не утерпит, заглянет к нам с выговором: — Ну что это такое, господи! Орёте как оглашенные. Что соседи подумают?..

Мы затихали, но постепенно повышали голоса, и всё начиналось сызнова: орали, спорили...

Прошли годы. Атласовы переехали жить на Взлётку. И теперь чаще телефон заменял нам непосредственное общение. Михаил обижался в трубку:

— Хоть бы приехал, посмотрел: я тут новую картину закончил. Отдам в «Диану», может, кто купит. Тебе первому хочу её показать. Приезжай.

Михаил встречает меня радостным возгласом, обнимает, ведёт в зал — всё в ту же мастерскую: везде картины, картон, рамы, багет, рейки, холсты в рулонах.

— Ну нет у меня мастерской! — Михаил разводит руками. — Не положено, потому как не член Союза художников...

Вероятно, из-за проблемы со слухом он скромно живёт, рисует и ничего ни у кого не просит. А мог бы, наверное, и в Союз вступить, и персональные выставки обеспечить... Пробыться в наше время непросто, нужны протекции и деньги. Денег у простого художника нет, а протекция... Да кому это нужно?! Всяк самого себя тешит, потому что новый «моральный кодекс» нынче негласно действует: человек человеку — не друг, не брат и вообще неизвестно кто. То и дело слышишь: «Это ваши проблемы...»

— Но ведь ты художник, Миша! — я уже теряю терпение. — Ты настоящий художник! И школа — старая, и манера письма — классическая. Сейчас так не пишут, а всё больше — мазками... Может быть, это и неплохо на больших полотнах...

Михаил согласился:

— Да, любил я всё прописывать в картине — подробности, детали. А в то время всю гулял абстракционизм. Философия была такова, что просто надо было брать кисть, макать в краски и мазать холст. В Америке привязывали кисть к ноге обезьяны... И, предвкуше, находились теоретики, преподносили эти «творения» как гениальность. И ведь люди покупали эту мазню. Делалось это специально, чтобы люди не знали истинную цену искусства.

— И сейчас то же самое делается...

— Художник должен выразить своё видение мира, это моё мнение, сделать так, чтобы его произведение было знакомо людям, подано с неожиданной стороны, в другом ракурсе, но понятное, доступное, — продолжал Михаил. — И совсем не претендую, чтобы художник в точности изображал на холсте то, что увидел в природе, такого просто не может быть. В искусстве этого и не требуется. Но я и против шарлатанства в искусстве. Картина сродни театру, только на одном листе.

И вдруг я начинаю понимать, почему Михайловы картины такие маленькие, продольные, не больше полуметра в поперечнике, и мазок тонкий, изящный, не комковатый и броский, как, скажем, у Сурикова или Руйги. Всю жизнь Михаил работал в стеснённых условиях, в ограниченном пространстве: не отойти, чтобы посмотреть, как ложится краска, — потому и выработалось близкое зрение, потому и мазок мелкий, тонкий, чистый...

Вспомнилась одна из давних в Красноярске художественных выставок (выставочный зал в те годы располагался в Покровской церкви), на которую Атласов представил одну-единственную картину: берёзовая роща, ярко освещённая солнцем, и робкие тени прячутся в её глубине. Возле неё-то чаще всего и останавливался зритель, отходил и возвращался. Ведь что-то притягивало его к полотну! Ту картину я помню до сих пор.

Михаил опять выставляет передо мной картины — пейзажи, пейзажи, пейзажи... Небо, земля, вода — три ипостаси живописца. По реке идёт далёкий-далёкий пароход. Над зелёным лесом и синими горами плывут густые облака, и солнце брызжет в прореху во все стороны. А вот стоит на уснувшей земле домик со светящимся окном, над ним — полная луна, и призрачное сияние от неё заполняет всю округу. Всматриваюсь в живописное полотно — и ощущаю себя там, перед этим сказочным домиком; очарованный, я вошёл туда, где этот блёклый, рассеянный свет и эти рыхлые тени на розоватом снегу под окном, и мне чудится,

что здесь я уже когда-то бывал, и не раз. Не знаю, сколько времени я так простоял, пока Михаил не тронул меня за плечо:

— Понравилась? Мне тоже нравится.

Ту самую картину («Лунная ночь зимой») купила моя дочь Оксана. Михаил долго упирался, предлагал ей другие полотна, но Оксана оказалась крепким орешком — не отступилась. Теперь Михаил пытается заново писать «Лунную ночь зимой» — и не может. Получается совсем другой пейзаж. И впрямь, в одну реку нельзя войти дважды.

— Состояние художника — это такое волнение, такое нервное напряжение, — говорит Михаил. — Для меня очень тяжело приступить к работе, это так же, как открыть новую книгу: обложка есть, а что там внутри? Начинаешь читать — и возникает волнение. Происходит процесс вживания в литературный образ. Это психическое состояние, когда надо найти то, чего ещё нет у тебя, но оно существует. Процесс идёт в голове, процесс идёт на холсте. Бывает так, что болят и напрягаются все мышцы. Происходит контакт твоего «я» с холстом. Наносишь мазок, другой, третий — и включается сознание, что где-то там, на холсте, получается мозаика. Сознание символов в красках, которые ты кладёшь на холст, создаёт нужный образ. В процессе работы происходит момент усталости от «перегрева» сознания и мышц. И этот процесс идёт постоянно. Иногда на работу тратишь больше года, а она не поддаётся. А бывает и такое, что напишешь картину на одном дыхании...

Уроженец небольшой деревеньки Грибово в Казачинском районе, Михаил Атласов не только любит природу, он её боготворит. «Кругом лес, поляны, много грибов, ягод. Красота всюду. Природа была на виду, рядом. Желание рисовать зародилось естественно. И ещё дом наш был бревенчатый, побелённый изнутри белой глиной. Поскольку помещение тесное, матери приходилось белить его несколько раз в году — побелка осыпалась. Зимой, когда на улице мороз, лежал или сидел на кровати, смотрел на осыпавшиеся стены, возникали фантазии и образы. А летом, когда выходил босиком на траву, — вокруг лес, облака, большое небо, солнце, цветы — симфония бытия. Зимние фантазии превращались в реальность».

В нём, городском жителе, много крестьянского чутья, смётки, старательности. Этот его природный дар всегда приводил меня в восхищение. Наделён он и литературным даром. В «Красноярской газете» читаю его статью, местами похожую на фрагменты из художественного рассказа.

Вдумайтесь — вот какой образ создал художник: «Я часто любовался небом, оно было для меня всегда интересно, окружало меня, как шатёр, от горизонта до горизонта... Небо было — как букварь с картинками и как театр, каждый раз новое, фантастическое, красочное, оно давало повод для размышлений и фантазий. Было интересно знать, как формируются облака, почему так, а не этак. Мои наблюдения за природой помогли мне предсказывать погоду на завтра... Сейчас невозможно предсказать. Климат в Сибири стал изменяться... Наблюдая природу в силу своей профессии, я и писал её в красках, восхищался закатами, раскатами грома, сверкающими молниями, причудливыми облаками».

Художники, как и писатели, пишут образами. Они и думают образами. Я знаю немало живописцев, заявивших о себе как талантливые литераторы. Художник из Дивногорска Борис Туров — поэт, член Союза писателей России. Оригинальные, необычные нашему восприятию стихи писал художник Владимир Капелько из Абакана. Удивительные стихи и по сей день пишет старейший художник, живущий ныне в Финляндии, русский финн Тойво Ряннель. А покойный Владимир Леонтьев, окончивший художественное училище (потом он завершил своё образование в Иркутском университете), стал писателем, автором книги очерков «Широкий прокос» и повести «В горах Путорана», вышедшей уже после его смерти. А живописцы-классики... Репин, Васнецов, Нестеров, Мясоедов... Почитайте их мемуары. Да это же великолепная художественная литература! Даже в письмах они — художники слова.

— Образное мышление, — подсаказал Михаил.

— Художники, и этим всё сказано, — согласился я и спросил Михаила: — Сколько же времени прошло с той нашей первой встречи? Мне кажется — вечность.

Михаил пожал плечами:

— Мы были молодыми, а сейчас... Вон и ты уже поседел, да и я давно на пенсии.

Да... мы были в плену у времени и не заметили этого. Людвиг Фейербах писал: «...Мир совершенно правильно ценит человека лишь согласно тому, что он имеет, чего он может достигнуть». Картины Михаила Ивановича Атласова висят в домах ценителей живописного искусства не только в России, но и за рубежом: в Швеции, Югославии, Японии, Китае, Германии, Польше, США, Южной Корее. Труд талантливого художника Атласова любители живописи приравнивают к трудам великих мастеров кисти — Шишкина, Левитана, Куинджи.

Юрий Беликов, Егор Холмогоров

## Трёхглавые коршуны, или Дефицит одной головы

Поначалу его трость вызвала у меня недоумение: для чего этому сравнительно молодому человеку (на тот момент Холмогорову было тридцать шесть) дополнительная опора? Я даже забеспокоился: не после инсульта ли мой новый знакомый? И тут же подумал: «Не рановато ли?» Потом прочитал в его «Барселонских заметках», что, будучи в Испании, он «обзавёлся очень удобной тросточкой с перламутровой ручкой». И дальше: «Не понимаю, как я предыдущие тридцать шесть лет жизни провёл без трости».

Я облегчённо выдохнул. Если помнить, что шестнадцатилетний Пушкин оставил зарубку о Николае Карамзине: «В комнату вошёл старик лет тридцати», — то всё становится на свои места: трость придаёт Холмогорову больше солидности. Впрочем, теперь-то, когда ему сорок пять, когда Егор Станиславович пусть не завсегдатай (завсегдатаи утомляют), но признанный эксперт федеральных телеканалов — от нтв до «Царьграда», нужна ли и важна ему эта самая солидность?

На мой взгляд седовласого юноши, он и так выглядит умудрённей своего возраста. И дело тут не только в ношении бороды, а в демонстрируемых сполохах ума и эрудиции, токующей речи персоны вполне узнаваемой, медийной. Но, очевидно, не хватало единственного — трости.

И вдруг, по окончании нашего разговора, меня осенило, для чего Холмогорову трость. Получив эсэмэску, которая свидетельствовала о нервной реакции небезызвестного галериста Марата Гельмана на пребывание моего собеседника в Перми, Егор с ликующим возгласом: «Я всё-таки Гельману впарил!..» — произвёл своей тростью русского националиста движение, равноподобное удару бильярдного кия, загоняющего шар в лузу!.. Однако!

— Егор, меня всегда интересовали свойства. Например, существует ли тайна крови, её магнетизм? Или это — из разряда, когда желаемое принимают за действительное? Тогда отчего же в народе нашем так живучи и любимы анекдоты, где обязательно насъянс — американец, немец, француз, еврей и русский? В чём тайна русской крови, если учесть, что она такого же цвета, как кровь представителей других национальностей?

— Помню, как мы с одним молодым автором из Новгородской области обсуждали телесериал «Раскол». И он вдруг начал говорить совершенно странные вещи, не соотносящиеся со Священным преданием. Например, что двуперстное перстосложение — это ересь и несторичество. В общем, повторял абсурдные тезисы никоновской пропаганды первых десятилетий начала раскола. И когда я привёл довод, что в соответствии с современным учением Русской православной церкви оба обряда равночестны и вообще так крестились наши предки Сергей Радонежский и Иосиф Волоцкий, мой собеседник воскликнул: «Сразу видно, что у вас — старообрядческая кровь и происхождением вы из староверов!» И — угодил в точку.

Дело в том, что, приехав в Пермский край, я в каком-то смысле прибыл на свою историческую родину. Потому что мои бабка и дед — отсюда. Мой отец родился в Краснокамске. И был первым человеком в нашей семье, которого крестили в господствующей церкви, а не в старообрядческом беспоповском согласии. А до того многие поколения нашего рода были исключительно старообрядцами. Моя бабка Олимпиада Денисовна Кузеванова рассказывала мне об этом в тысяча девятьсот девяносто пятом году. В том числе — как её пороли в детстве, если она, будучи на базаре, забывала и покупала мирские ложки (так она говорила), а не ложки у старообрядцев. И, если вернуться к нашему обсуждению телесериала, конечно, мне было забавно услышать упрек о наличии во мне старообрядческой крови...

— Получается, даже у русских — две крови, а может, даже больше? Что же тогда говорить о других нациях и народностях?!

— Знаете, в данном случае это даже не кровь, а воспитание и направление ума, которые передаются человеку с кровью...

— Стало быть, кровь — как метафора?

— Да. Но если рассуждать без метафор, я могу сказать точно: кровь важна в том смысле, что она является основанием для духовного братства. Если человек отрицает людей собственной крови

и своего народа, если он делает презрительный жест: «Это — алкаши, недостойные меня, высококультурного человека, твари, а вот, скажем, есть расчудесные лезгины, великолепные таджики, умопомрачительные норвежцы, и они мне — истинные братья по духу, а с этим русским быдлом я ничего общего иметь не могу и не хочу!» — то на самом-то деле либо у автора этих слов у самого нечисто с происхождением (он просто его скрывает, а в действительности — торгует своей идентичностью), либо он глубоко духовно повреждённый.

Потому что каждый, самый большой, наш брат по крови, спившийся и сколовшийся, опустившийся до преступления, всё равно остаётся для нас братом. И мы должны потратить все силы, чтобы его спасти. Пусть даже для его спасения нужно будет его побить и сковать наручниками, чтобы он слез с иглы. Но при этом мы не можем сказать, что вот есть чудесный лезгин и он для нас ближе, чем свой, русский. Эта черта — отречение от братства по крови во имя мифических братств по духу — очень чётко характеризует тех, кто не может или не хочет по тем или иным причинам называться русским.

— Тогда возьмём классические примеры: Пушкин с разбавленной эфиопской кровью, Лермонтов — с шотландской, Блок — с немецкой. Между тем, думаю, никто не будет оспаривать, что все они — наиболее яркие выразители русской сути. Тот же немец Владимир Даль, составивший уникальный словарь великорусского говора. А текст песни «Поле, русское поле», которая в известном смысле стала воплощением русской души? Его написала Инна Гофф. Музыка — Ян Френкель. Выходит, чужая кровь усиливает эхо титульной крови?

— Я так сказать не могу. На каждый приведённый вами пример можно найти примеры с чисто-кровными русаками. Но давайте разберём пример Пушкина. Когда мне говорят, что Александр Сергеевич по происхождению эфиоп, я всегда отвечаю: «Пушкин по происхождению Пушкин». Потому что и его мать, и его отец — из древнейшего боярского рода, идущего аж от Гаврилы Алексича — соратника Александра Невского.

— Но Ганнибала-то сбрасывать со счетов вы не будете?

— Когда существует такая мощная семейно-бытовая традиция, человек вырастает прежде всего в ней. И его корни от Ганнибалов обернулись настолько забавной экзотикой, что Пушкин по молодости, когда он был поэтом-романтиком, подражающим в некотором роде Байрону, сам в эту экзотику заигрался. Есть же знаменитая гравюра Геймана, где поэт очень похож на юного африканца.

Но существует оригинал этой гравюры — акварель, которая написана непосредственно с Пушкина, позировавшего перед художником. Это такой

белокурый, романтичный, но совершенно славянский мальчик. То есть превращение под кистью художника Пушкина в негритёнка — это не более чем романтическая игра. Никто не мог себе тогда представить, что в конце двадцатого века наши, извиняюсь, «толерасты» начнут эту игру воспринимать всерьёз и даже — как инструмент атаки на русскую идентичность. Дескать, ваш величайший поэт — и тот негр!

Хотя понятно, что Пушкин даже по самым черепомерным расовым законам и то бы считался стопроцентным русским, каковым, собственно, он себя и ощущал. Прочтите «Мою родословную». Это стихи донельзя спесивого представителя старого боярского рода, который очень издевательски называет себя мещанином. Да, я — мещанин, но по сравнению с кем? Дальше он перечисляет: «Не торговал мой дед блинами, в князя не прыгал из хохлов...» То есть — по сравнению с новым дворянством петровской эпохи, богатыми и «сиятельными» князьями, которые на самом деле были выскочками из ниоткуда. На этом фоне почему бы не побыть мещанином из рода, которому почти тысяча лет?

Здесь чувствуется своеобразная гордость человека, знающего, что у него в шкафу — на столетия запас родовых грамот, у которого настолько всё хорошо с идентичностью, что он может себе позволить кокетничать с Ганнибалами — то, чего человек, менее уверенный в своей идентичности и происхождении, не мог бы позволить себе. Пушкин же не случайно издевался над Фаддеем Булгаринным, польским дворянином и русофобом, который, напротив, всё время пытался выгородить себя как истинно русского. Безусловно, это было связано с его собственной неуверенностью. И Пушкин всегда тыкал в эту неуверенность.

Вот вы спрашиваете: кровь усиливает... или — ослабляет? Иногда она, может быть, сообщает некий внутренний драйв, но этот драйв возможен только тогда, когда человек прочно стоит на основании своей идентичности. Тому же Владимиру Далю, настолько внутренне русскому, немецкое происхождение придавало его рускости дополнительную динамику. А мы сейчас живём в другой век — век этнических протеев. Людей, которые, входя в какую-то компанию, начинают выторговывать себе более высокий статус. Вот-де, я так-то, конечно, русский, но и немножко армянин, поэтому давайте вы будете со мной возиться. И если в этой компании заявляются яркие и резкие русские тезисы, сразу возникает: «А как же быть со мной?» И вот должно собраться много миллионов русского народа и не заниматься собственными проблемами, а решать, как самоопределился сему индивиду. Классический пример — Дмитрий Львович Быков, который очень любит порассуждать на эту тему. В течение более

чем десятка лет, сколько я с ним знаком, большей частью этого времени я его не знаю и знать не хочу как, впрочем, и он — меня. В своих романах Дмитрий Львович пишет бесконечные пародии на Холмогорова...

— В том числе и в поэме «ЖД», как он по-гоголевски именуется равновеликий ему фолиант?

— В «ЖД» его главный отрицательный персонаж — это прежде всего Холмогоров, он же — Косогоров. Я вообще сыграл видную роль в творчестве Дмитрия Львовича. Но настолько не почувствовать никаких бытовых черт, дать вместо живого обезличенный, карикатурный образ?..

— Ну, может, так ему изначально хотелось?

— Хотелось, но не получилось. Потому что это сделано на редкость бездарно. Так вот, Дмитрий Львович очень любит, чтобы все сто пятьдесят миллионов русских на всём пространстве СНГ занимались проблемой его идентичности. Вот это неправильно. Если человек хочет поддерживать нацию, он её поддержит. И тогда для него эти вопросы: кто ты? какая у тебя кровь? — не принципиальны.

— А что касается есенинской обмолвки: «Затерялась Русь в Мордве и Чуди»?.. Про вас-то в этом смысле я что только в Интернете не читал: и что «у него мордвинские скулы», и что «он — из цыган», и что «дедушка у Холмогорова — еврей». Может, действительно русские «затерялись», и Холмогоров иже с ними?

— Как я уже сказал, мои дед и бабка — из Краснокамска. Но откуда возникла эта история, что Холмогоров — еврей? Моего деда звали Осип Холмогоров, получается — Иосиф. Это чисто старообрядческое имя. Это оттуда же, откуда на Руси было полно Абрамов и Абрамовичей. Абрамовичей, которые никогда не становились Абрамовичами. А дальше уже разыгрывается фантазия. Кто обычно этим занимается? Скажу честно и открыто: прежде всего — сотрудники антиэкстремистских управлений соответствующих правоохранительных органов. Им не хватает эмоциональной сдержанности для того, чтобы просто наблюдать за русским национальным движением, отслеживать, чтобы не было никаких откровенных террористических проявлений, и они пытаются выстраивать провокации — бить по лидерам, компрометировать. И эта контора пишет, пишет и пишет... Причём — под копирку. Уже скучно читать: «Цыган, еврей...»

Со мной почему сложно? У меня как раз нет никаких проблем с идентичностью, в отличие от того же упомянутого Дмитрия Львовича. Это — настолько мимо, что я не понимаю, почему они тратят на это время. Возможно, целевой их аудитории — начальству — сие просто-напросто нравится.

И они работают не столько на результат, сколько на то, чтобы доставить удовольствие своим начальникам.

— Вы помните тот момент в своей жизни, когда чётко себе сказали: «Я — русский националист!»?

— Это произошло довольно естественно. Перестройка пришлось на мои двенадцать-шестнадцать лет. Но уже в ту пору я был, скорее, такой национал-демократ. А моим кумиром — генерал де Голль, политическим идеалом — демократическая Франция, сильное национальное самосознание. И я испытал большой шок, когда выяснилось, что наши доморощенные либералы строят в России не национальное демократическое государство, а глубоко, тяжело и агрессивно антинациональное.

Мне было двадцать три. Я уже начал достаточно активно выступать в Интернете — сначала как православный автор, потом — постепенно всё больше затрагивая политические вопросы. И тогда я себя спросил: «Какая, собственно, твоя политическая позиция?» И никаких слов точнее, чем «Я — русский националист!», для определения того послания, с которым я решил обращаться к внешнему миру, у меня не нашлось. И до сих пор среди разнообразных понятий — консерватор и младоконсерватор, патриот и младопатриот, имперец и национал-имперец — всё равно ничего вернее, чем «русский националист», я не нахожу.

— А ежели расшифровать?

— Когда ты произносишь: «Я — русский националист!» — ты принимаешь очень важное обязательство не предавать русского братства. Тех людей, которые оказались слабее тебя, беднее, менее образованными, иногда — испорченнее тебя по каким-то нравственным качествам, людей, которым плохо, тяжело и они беззащитны. И если ты согласился с формулировкой: «Я — русский националист!» — ты принял этот принцип братства по крови.

Значит, ты уже не можешь отречься от этого братства. С любой другой позиции тебя можно легко перевести на то, что есть какая-то более важная идея, ради которой всех этих людей не жаль пустить под бульдозер и проехать по окровавленным костям, наматывая на его гусеницы трупы, к какому-то там светлому будущему. Но как только ты сказал: «Я — русский националист!» — ты отказываешься ехать бульдозером по людям, пускать под нож своих братьев по крови ради какой-то очередной великой, но абстрактной цели.

— Любопытно, как на этот вопрос в своё время ответил главный редактор журнала «Москва», писатель Леонид Бородин, приезжавший до вас в Пермь, как и Егор Холмогоров, в рамках проекта «Русские встречи». «Что касается меня, — заметил

он, — *то я никогда русским националистом не был. Потому что считаю для себя это унижительным. Национализм может быть у малых народов».*

— Это старый имперский взгляд. К сожалению, весь наш имперский патриотизм превратился в имперский иллюзионизм. Представьте: здесь и сейчас стоит негодяй и режет голову русскому подростку, а кто-то, глядя на этого негодяя и на то, что он вытворяет, рассуждает о том, что наша имперская миссия вынуждает нас всё это терпеть, не идти ни на какие радикальные решения.

Ситуация, когда нужно действовать, помогать и уже потом — понимать, как вписать результаты своих действий в какую-то идеологическую имперскую парадигму, заменяется на упрёк в адрес тех, кто бросается на помощь и предлагает какие-то конкретные шаги вплоть до очень умеренных, например — фиксацию в Конституции России статьи о праве русского народа на Российское государство. Оказывается, что уже даже это неприемлемо с точки зрения имперских идеалов! То же самое — с малым народом.

— *Я сейчас подумал: может, русские уже начинают превращаться в малый народ, если сегодня требуется их защита?*

— Давайте осознавать реальность: если мы будем продолжать нынешнюю национальную и миграционную политику, русские превратятся в малый народ. На самом деле нас уже сейчас нужно защищать, в том числе и методами малого народа тоже. Нам уже нужны акции по компенсации понесённых потерь, потому что те потери, которые русские понесли за двадцатый век, — культурные, исторические, в плане самосознания — они совершенно чудовищные. Сначала рушила советская власть, потом она просто давила плитой, затем эта плита рухнула сама, и начался новый антирусский поход — та бесовщина, что была представлена, в частности, Маратом Гельманом на подмостках Перми.

Отсюда — одна из важных вещей, к которой мы пришли с моими друзьями примерно в две тысячи пятому году. Это то, что по отношению к русским людям нужно очень чётко заниматься правозащитной деятельностью. То есть брать конкретные ситуации и в этих конкретных ситуациях защищать каждого конкретного русского человека.

— *Тогда существует ли для вас разница между понятиями «националист» и «патриот»? Или это — синонимы?*

— Мне бы очень хотелось, чтобы никакой разницы не было. Для меня всегда очевидно, что если я — русский националист, значит, я за русскую нацию, соответственно, я — патриот России как государства русского народа. Очень болезненная и опасная тенденция, когда коррумпированные

элементы власти проводят коррупцию идеи и принципов русского патриотизма. Когда достаточно громко провозглашается: если ты — патриот, ты должен быть за начальство, которое давит русских, и ты не должен защищать практических интересов русского народа.

А если ты — за русских, ты не патриот, ты вообще наци или какой-нибудь национал-оранжист (выдумали и такую дразнилку!). Если человек, называющий себя патриотом, переходит в эту команду, начинает костерить своих собратьев-националистов и хвалить и брать под защиту самое антинациональное в нашем государстве, на мой взгляд, этот человек уже перестал быть патриотом в том смысле, который был для нас актуален и в девяностые, и большей частью в нулевые годы. Это уже что-то другое. По сути — очередная риторика и ширма всё той же войны против русского народа.

— *А как вы тогда трактуете расхожую фразу, которую приписывают Льву Толстому, а на самом деле она принадлежит англичанину Самюэлю Джонсону: «Патриотизм — это последнее прибежище негодяя»? Я заметил, что при любом споре о национальных узлах противная сторона в качестве «последнего аргумента» швыряет вот эту козырную карту, на поверку оказывающуюся краплёной...*

— Вы правы: это любимая карты демшизы. Они просто не знают, по поводу чего была произнесена и что практически означала эта фраза. Дело в том, что в Англии восемнадцатого века не существовало призывной армии. Она была наёмной. Грубо говоря, ты берёшь у вербовщика королевские сорок шиллингов — и ты теперь солдат Его Величества. Идёшь воевать под Ватерлоо, в Индию, в Америку — куда угодно. Кто шёл в эту армию? Преступники, мелкие и крупные жулики, люди, по которым плакала виселица. Те самые негодяи. И вот ты, даже если ты негодяй и по тебе плачет виселица, становишься патриотом, потому что теперь на тебе красный мундир и ты проливаешь кровь за короля.

Ясное дело: эта фраза не имела ничего общего с утверждением, что патриоты состоят из негодяев. Но её начали потом использовать в своих хитроумных целях те, кому это было выгодно.

— *По одному из ваших утверждений, русская культура замерла в конце семнадцатого столетия. Дальше, с приходом Петра Первого, начался (цитирую) «трёхсотлетний шизофренический разрыв». Петра, конечно, сложно назвать русским националистом, но в звании патриота России ему, по крайней мере, не отказывают. Однако, по-моему, разрыв, о котором речь, — более чем трёхсотлетний. А двадцатый век? А первое десятилетие двадцать первого?*

— В русской истории было много разрывов. Понятное дело, что существовал страшный разрыв, связанный с монгольским нашествием, когда было уничтожено огромное количество материальных и духовных ресурсов, носителей культуры, когда фактически русские были поставлены на грань жизни и смерти. В то время как Западная Европа развивалась и из своей дифференцированной сложности вырабатывала высокий феодализм, капитализм, Ренессанс и так далее, Русь была вынуждена в эти столетия выживать.

И то, что наши евразийцы любят с современных позиций заявлять, что вот-де мы жили в гармонии с монголами и наконец-то обрели с ними свою самобытную государственность, с моей точки зрения—набор тяжёлого бреда. Русские выживали. Но выживали так хорошо, что в конечном счёте выжили степняков со всей территории Великой степи и отовсюду.

И вот миссия некоего идеального Петра Великого состояла бы в том, чтобы взять эту русскую культуру, каковой она была в семнадцатом веке—в переплетении собственно русского, византийского и монгольского начал, вынуть монгольское начало и вернуть на его законное место начало европейское. Пётр сделал прямо противоположное. Он извёл византийское начало и на его место поставил европейское. То есть в итоге вместо России, Руси как византийско-европейского синтеза, которым она была при Владимире Мономахе, мы получили жутковатую Евромонголию—ситуацию, при которой европейские ценности и культура высшего класса осуществляются через монгольское пренебрежение личности и народа.

Вместо органичного русского синтеза мы получили двойное отрицание. Отрицание русского мира и русского начала—и с точки зрения Азии, и с точки зрения Европы. В модификации этого страшного двойного отрицания мы в каком-то смысле находимся и по сей день.

— *И перспектива преодоления «трёхсотлетнего шизофренического периода» у нас невелика?*

— У нас не столько невелика перспектива, сколько мало времени. Ясно: русская национальная революция, мирная или немирная в зависимости от того, насколько жёстким будет сопротивление верхушки,—она назревает. От неё никуда уже не деться. Первые её раскаты на Манежной площади сегодня уже слышны очень отчётливо. И я прекрасно знаю, что во всевозможных кабинетах этой революции боятся и пытаются осознать, что с ней делать. Но я боюсь, собственно, одного: мы потеряем время, не успеем до того, как нашу страну охватят те демографические катастрофические процессы, которые просто убьют Россию и русский народ окончательно. У нас есть запас буквально

ещё в несколько лет. Причём к концу этих лет ситуация будет утяжеляться и утяжеляться.

— *Вы называете себя «врагом номер один всех русофобов». В своё время на этот статус претендовали создатель общества «Память» Дмитрий Васильев, лидер РНЕ Александр Баркашов, даже благословлённый Кремлём Дмитриий Рогозин, стоявший у руля партии «Родина». Их либо третируют, либо дискредитировали, либо отсылали на «исправление», поманив калачом нового назначения... Где гарантия, что Егора Холмогорова не постигнет та же участь? И вообще—всех тех, кто называет себя «врагом русофобов»?*

— Понимаете, это не столько всё-таки я набился на этот статус, сколько они сами для себя так определили. Я этот вывод сделал не из того, что, условно говоря, с нынешнего дня решил, что буду главным врагом всех русофобов. А из того, что именно русофобской частью нашей общественности была развязана кампания, не сопоставимая по степени грязи ни с чем. Она велась против меня. Не щадили никого: ни меня самого, ни семью, ни предков, ни маленьких детей. И если была бы возможность схватить меня и сжечь, меня бы, конечно, схватили и сожгли. И в этом смысле верить не надо никому. В том числе—не надо верить и мне. Я не могу бить себя в грудь и кричать: «Русские люди, я вас никогда не предаю!»

Есть такой фильм—«От заката до рассвета». Там группа героев борется с вампирами. Но если вампир кого-то чуть-чуть куснёт, тот сам неминуемо превращается в вампира. И протестантский священник, который участвует в этой схватке, говорит, что если вампир укусит меня, убивайте меня, не задумываясь. Знайте, что это уже не я. Поэтому любой честный русский лидер должен сказать: «Не верьте мне до конца! И если я предал, если вы увидите во мне следы поведения вампира, убивайте меня». Значит, в дальнейшем не надо воспринимать этого человека в качестве лидера.

Возьмём того же Рогозина. Однажды он заявил: дескать, русским националистам хватит мёрзнуть на русских маршах—надо идти в кабинеты, где принимаются решения. Я написал в блоге: «Ребята! Ой-ёй. Очень плохая, опасная фраза. Она означает, что этот человек начал нами торговать». Причём торговать не лояльностью к Владимиру Владимировичу Путину (пусть они любят друг друга «от заката до рассвета»)—он начал нами торговать по практическим вопросам. По вопросам конкретных правозащитных акций и конкретной протестной активности.

Проходит два дня. И как, вы думаете, ведёт себя господин Рогозин в принципиальнейшем для русских националистов деле «достоиния дагестанского народа» борца Расула Мирзаева?

— Это — который убил в Москве русского юношу Ивана Агафонова? Известный боец смешанных единоборств?

— Да, того самого Мирзаева, которого вся дагестанская диаспора пыталась вытащить из тюрьмы, где он сидел под стражей только потому, что фактически русская молодёжь пригрозила новой Манежной площадью (в противном случае он был бы отпущен под залог и скрылся бы где-нибудь за границей). Рогозин заявил примерно следующее: «А мне кажется, что Мирзаев поступил по-человечески оправданно, и русская молодёжь на провокации не поддастся, и никаких новых Манежных не будет».

Причём я прекрасно понимаю, что Дмитрию Олеговичу не выкручивали руки, не отбивали пальцы, чтобы он это сказал. Человек сам вызвался выступить в качестве штрейкбрехера. О чём это говорит? О том, что, в принципе, может предать любой лидер. Что прочность у каждого человека своя и подчас её ресурс очень ограничен. Поэтому не нужно верить в лидеров — нужно верить в принципы.

— Возможно ли в России возникновение «Русской партии», которая реально бы смогла преодолеть пресловутый процентный барьер для прохождения в Госдуму? Или русский народ настолько пассионарно надломлен и зомбирован, что не в состоянии различить, где для него благо, а где — зло?

— Дело вообще не в русских. Это чисто административный барьер. Со стороны партии власти

есть чёткое осознание того, что если появится сила, серьёзно выражающая русские националистические настроения, она будет одной из доминирующих даже при нашем не очень честном голосовании. Поэтому эти партии до голосования не допускались. Во всяком случае, так было. В две тысячи третьем году возникла, что называется, экстренная ситуация, когда сразу несколько партий купил Ходорковский, и тогда поступила срочная команда: создавать блок «Родина», который в значительной степени был проводником и националистической идеологии тоже. Однако «Родине» не дали дожить даже до следующих выборов. Уничтожили, не дожидаясь. На выборах две тысячи седьмого года была такая довольно таки слабенькая сила — «Народный союз» Сергея Бабурина. И её сняли с предвыборной дистанции!

Что касается дальнейшего, то даже не попытались дать политическое оформление и представительство националистическим настроениям. Но это не вопрос политической неспособности и пассионарной ослабленности русского народа. Это вопрос исключительно того, что наша административная система построена на категорическом репрессировании любых попыток русских получить прямое политическое представительство. Вы прекрасно знаете: вот есть пермский звериный стиль. И когда ты постигаешь его знаки и символы, то, полюбовавшись на трёхглавых коршунов, начинаешь сомневаться: нет ли у российского орла дефицита одной головы?

Елена Акимова

## Мои шестидесятые...

### *Вместо предисловия*

Я никогда не читала Александра Герцена. Ну, кроме «Сороки-воровки» в сборнике сценариев для школьного театра. Можно написать «к стыду своему», но зачем врать-то? Никакого стыда я не испытываю. Как говорил один умный человек, «просто ты читала другие книги». В общем, цитату из Герцена, что писать мемуары может каждый, потому что никто не обязан их читать, я увидела у Александра Городницкого. Так что путеводная звезда для Александра Моисеевича стала за компанию и моей. Я просто хочу рассказать про те самые шестидесятые годы, которые называют «оттепелью» и которые мне повезло не просто застать, а повезло запомнить, пусть даже и в масштабе всего лишь шаговой доступности трёх улиц...

Родилась я в Красноярске в июне 1960 года. Когда кто-то говорит, что ребёнок ничего не помнит до трёх лет, то просто переносит свой склероз на всё человечество. Я помню. Как раз до трёх моих лет мы жили в двухэтажном деревянном доме на улице Ломоносова. Квартира наша имела номер восемь и располагалась направо от лестницы на втором этаже. Лестница была деревянная, с сильно заглаженными коричневыми перилами. Впрочем, перила, как и ступеньки, всегда были коричневые и заглаженные в любом доме и даже в папиной конторе, которую сейчас бы назвали «офисом». Квартира у нас была коммунальная, то есть, кроме наших двух комнат, была ещё одна маленькая комната, где жила девушка с папиной работы. Там была такая теснота, что шкатулка со стеклянными бусиками всегда стояла на подоконнике. Во всяком случае, когда я забредала в гости, меня интересовала только она.

Ещё у нас не было горячей воды, и титан в ванной надо было нагревать дровами, хранившимися в отведённом нам сарае, который мы называли стайкой. Таких стоек во дворе был целый ряд, соответственно числу квартир в наших двух домах, объединённых общим двором, палисадником и плотным забором.

Кухню, казавшуюся мне по тем временам огромной, мы честно делили с соседкой, плотно придвинув наш столик к стенке недалеко от входа. И я точно помню, как залетела на кухню и сшибла

со стола папин стакан с горячим какао. Какао вылилось на меня и ошпарило руку. Помню, как мама с трудом тащила меня в больницу, а бедный папа бегал вокруг нас и уговаривал меня пойти к нему «на ручки». Но я гордо держалась за маму, ведь стакан был папин, и из шума, который наделала эта история, я уяснила, что именно папа был во всём виноват. Потом в больнице с моей обожжённой руки снимали лохмотья кожи. Судя по пытливым и недоверчивым взглядам врачей, я вела себя героически. Позже, лет после десяти, когда я начинала ныть и жаловаться, мне говорили: «Ты же была такая терпеливая в полтора года!» Так что в том «ломоносовском» хронологическом диапазоне рубеж «полтора года» мне запомнился намертво.

Как-то в Сети выловила тест: «Ответьте на вопросы, и мы скажем, сколько вам лет». Ответив честно, я получила потрясающий ответ: восемьдесят-девятьносто. С экрана на меня смотрела благообразная седая бабушка, которой я ещё пока не являлась. Видимо, среди кучи мусорных вопросов был один-единственный, на котором и строился расчёт: «В какое десятилетие вы хотели бы жить?» Да, я хотела бы пожить в шестидесятые годы, а не в «мои восьмидесятые», в годы моего раннего детства, а не замотанной молодости. Именно в тот «ломоносовский» период я уже знала, что такое счастье и к чему надо стремиться. Счастье—это когда ты, взрослая, идёшь по нашей улице в белом платье чуть ниже колена, а рядом парень в белой рубашке и пиджаке, свисающем с одного плеча! И рядом с тобой такие же взрослые ребята, цветёт черемуха... или ветер замечает тополиный пух... Научиться носить пиджак на одном плече было моей мечтой того времени. Я усиленно тренировалась удерживать на плече кофточку, завидуя тем парням и не понимая, как именно они ухитряются не ронять пиджак при ходьбе.

Наша семья состояла из мамы, папы, моего старшего брата Виталия и меня. Есть фотографии, где мы все вместе гуляем по парку Горького, взявшись за руки, счастливые, счастливые... Как я хочу вернуться в шестидесятые...

Именно тогда, в мой «ломоносовский» период, я пережила своё первое горе. Мне показали фотографию, где Виталик стоит рядом с двумя чужими

девочками в нашей комнате, на фоне нашего настенного ковра. Я горько плакала, повторяя: «Нет у меня больше братика...» Сейчас мне интересно, что я не обвиняла его в «измене», не злилась, а просто смиренно оплакивала свою потерю. Борец из меня, видимо, уже тогда был никудышный...

Совсем недавно была война. Рождённые в 1945-м только-только заканчивали школу. И хотя вокруг постоянно говорили «до войны», «после войны», мне казалось, что война ещё где-то идёт. Сказала же я во втором классе, что мечтаю быть санитаркой и вытаскивать раненых с поля боя. При этом недалеко от нас находился гарнизонный госпиталь, и солдатики в халатах, перекуривающие в палисаднике, казались мне именно теми самыми ранеными бойцами. Да и песня «Вьётся в тесной печурке огонь», которую мы, детсадовцы, распевали для них двадцать третьего февраля, казалась мне очень актуальной.

Ещё одним знаком нашего времени был переход на «новые» деньги. Вернее, говорили именно про «старые» деньги, которые были явно лучше новых. Типа: «А ведь на старые деньги это было бы...» Это всегда означало, что вещь, которую пришлось купить, была жутко дорогая («это тысяча рублей на старые деньги!»). И когда в «Брильянтовой руке» Семён Семёныч Горбунков, получив пятьсот рублей двумя пачками, потрясённо спрашивает: «Новыми?!» — это совсем не означало, что его интересует, как давно их напечатали.

Я помню, как счастливый папа принёс домой радио, помню, как надевал его на гвоздь в углу «большой комнаты». Кстати, никаких «залов» и «гостиных» не было и в помине. Были «большая комната» и «маленькая комната», которую тоже никто не называл спальней. Символом достатка нашей семьи был телевизор «Енисей», стоявший на комод в большой комнате. Передачи шли, кажется, только вечером... Почему-то мне запомнились художественная гимнастика (упражнение с лентой) и солдатский хор. Парни в гимнастёрках стояли друг за другом, чуть выставив одно плечо вперёд, и, покачиваясь в ритме, пели: «Когда поют солдаты, спокойно дети спят». И ещё: «Ой, милок, ой, Вася-Василёк!» Мне чудилось, что они пели именно про моего папу — кто же ещё мог быть Васей?

В том мире эстрады начала шестидесятых была одна таинственная песня, которая позже, в подростковом возрасте, стала для меня наваждением. Она пелась где-то внутри меня, но я не могла вспомнить слова. Но я точно помнила чужую маленькую комнатку с кроватью и радио на стене. Я, совсем маленькая, лежу на этой кровати и слушаю красивый женский голос, летящий из круглой коробки. Я помню, что стена была жёлтого цвета, а комнатка была настолько крохотная, что походила на встроенный шкаф. Только через много лет я услышала случайно: «Ты о чём поёшь,

золотая рожь?..» Да, именно этот голос, эти слова звучали из репродуктора на жёлтой стенке! Могу поклясться, что в семидесятые годы её точно не передавали. Впрочем, её и сейчас не передают. Но иногда звуки и строчки всплывают в моей памяти, и я мысленно оказываюсь в том закутке какого-то чужого дома, маленькая, маленькая...

Наша улица шла почти вдоль Енисея. Во всяком случае, если пойти от угла Ломоносова — Декабристов, то можно было спуститься вниз по деревянной лестнице, выходящей прямо на берег. Красноярскую гэс ещё только строили, и Енисей был невероятно, непостижимо широким. Где-то в тумане терялся остров Посадный, а правый берег, простирающийся где-то там, казался вообще другим миром. Сейчас есть широченная набережная, а до Посадного можно дойти при низкой воде, замочив брюки только до колена...

Енисей был виден и из окна нашего дома — далёкий, призрачный, туманный. И там, в дымке, виднелся железнодорожный мост, сотканный, как паутина, из серебристых струй. Мне говорили, что это просто мост, что он железный и по нему ходят поезда... Он настоящий, он просто очень далеко, и мы не можем сходить к нему, чтобы потрогать его руками. Мечта потрогать его руками возникла у меня в тот самый «ломоносовский» период. Она была чем-то сродни мечте постоять в радуге, появившейся намного позже, но была столь же пленительной и зовущей и казалась столь же недостижимой... Когда через много-много лет мост разобрали и отправили на переплавку, кроме потрясения от этого непостижимого уму варварства, меня давила и моя персональная тоска, тоска по той детской мечте, которая звала меня, трёхлетку, куда-то далеко-далеко за горизонт...

На спуске к Енисею, в самом начале улицы Декабристов, был большой деревянный дом, куда мои родители ходили голосовать. В самые первые годы, когда меня надо было ещё таскать за собой, меня таскали и на выборы. Там было очень тесно, ящик с прорезью стоял совсем рядом со столом, где выдавали бюллетени. Достаточно было только развернуться. Мама с папой вручали мне эти два листка, и я старательно пропихивала их в прорезь ящика. Помню, что всё было празднично, кругом висели красные флаги и транспаранты, и наверняка — спорить готова, что наверняка, — висел транспарант «Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!». Ну и «Народ и партия едины», конечно. Так что выборы тогда воспринимались не как именно *выборы*, когда и от тебя зависит, какой из портретов на стенке выберут, а просто как символ поддержки решений далёких «партии и правительства». Поэтому всё было так легко и просто.

Года в два меня отдали в садик. Теоретически с садиком нам повезло. Одну из моих приятельниц

со двора каждое утро возили на Злобино. Это было не просто далеко, это было невообразимо далеко. А учитывая, что личных машин тогда не было ни у кого, добираться надо было с пересадками на автобусах. Наш же садик располагался в полутора кварталах от нас. Раньше там был какой-то особнячок для начальства из «Красутля», но очень скоро его передали гороно. Главной особенностью здания была круглая главная комната. Там ели, играли, праздновали, на тихий час перебираясь в три квадратные спальни. Но эта — главная — была круглой. Единственный реальный угол, в который могли поставить, образовывался между стеной и пианино. Других вариантов не было.

Садик я ненавидела. Вернее, я категорически не хотела ходить в садик, до тех пор пока мне не вбили мысль, что ходить *надо*. То есть принять садик как неизбежность мне удалось годам к трём. До этого, как рассказывала мама, каждое утро становилось кошмаром для родителей. Папа вытаскивал на руках меня из дома и отправлялся «на прогулку», нарезая круги по окрестным улицам. Задачей являлось попасть в садик неожиданно, когда я потеряю бдительность и запутаюсь в поворотах. Если же я осознавала, что мы опять идём в ненавистном направлении, я устраивала такой рёв, что папа разворачивался в любую сторону, изображая продолжение «прогулки». С каждым днём пройти этот квест становилось всё труднее, а я успешно тренировала зрительную память, запоминая все ориентиры в районе.

Кстати, я была права. Ничего хорошего этот садик мне не дал, и в тёплых воспоминаниях о моих «ломоносовских-боградовских» годах есть единственное противное тёмное пятно — детский сад на углу Горького и Бограда.

Воспитательницей в нашей группе была некая Неля Васильевна (вообще-то Нелли, но выговорить тогда это было трудно, так что пусть так и останется). Мама часто говорила: «Как вам повезло! Она и поёт, и танцует!» В общем, она была очень хорошая, и её надо было слушаться. А если ты не будешь слушаться хорошую Нелю Васильевну, ты, соответственно, будешь плохой девочкой. Когда меня забирали вечером, она глядела на маму глазами великомученицы («А ваша Лена...»). Что уж я такого творила страшного, я не понимала ни тогда, ни теперь. Ведь меня даже ни разу не ставили в угол! Ни между стеной и пианино, ни в квадратных спальнях! Но я была виновата в том, что чем-то расстраивала нашу хорошую воспитательницу и тем самым была плохой девочкой. И это стало ловушкой.

Я разрывалась от желания рассказать родителям о том, насколько мне плохо, как меня обижает Неля Васильевна, как меня дразнят девчонки, безошибочно почувствовавшие «нелюбимца», но я понимала, что нельзя, потому что тогда мама

и папа узнают правду обо мне, о том, что я плохая девочка... Именно тогда и началось то, что огорчало мою маму потом многие годы. Я отштыфовалась от объятий, от поцелуев, подсознательно чувствуя себя недостойной любви. Даже когда забылась причина всего, осталось и прочно укоренилось чувство несоответствия «идеалу»...

Впрочем, некоторые приятные воспоминания всё же были. Так, на последний новогодний утренник меня назначили на единственную отрицательную роль — Лисы, которая хотела сделать что-то плохое, чтобы сорвать праздник, но ей помешали Дед Мороз и Снегурочка при содействии героических зайцев. Выбор Нели Васильевны, наверное, объяснялся не только моим «отрицательным имиджем», но и хорошей памятью, способностью с лёгкостью запоминать «слова». Зато на фоне однотонных снежинок и зайчиков я гордо выделялась ярким оранжевым платьем с настоящим лисьим хвостом, при том что три мои самые главные врагини изображали всего лишь тройку лошадей в санях главного положительного героя.

Апофеозом наших взаимоотношений с Нелей Васильевной стала история с сарафанчиком. Наш садик имел свою дачу в посёлке Удачный на берегу Енисея. То есть летом нас вывозили «на природу», где мы жили «на свежем воздухе» — со спальнями, столовыми, умывальниками и туалетами на улице и резервом горшков в деревянных корпусах. Почти что нормальный пионерский лагерь нашего недалёкого будущего, с учётом только того, что нам было всем по пять-семь лет.

Мне было тогда шесть. Перед той поездкой на дачу мама сшила мне жёлтый сарафанчик. Каждое утро начиналось с того, что дежурная нянечка открывала наши чемоданы, вытаскивала подходящую, по её мнению, на сегодня одежду и развешивала на спинки кроватей. До сарафанчика очередь всё как-то не доходила. Мама, приехавшая ко мне чуть ли не каждый вечер, предложила просто попросить нянечку выдать мне этот сарафанчик. Если бы она знала, чем всё это закончится...

Тем утром мы лежали в кроватях, ожидая подъёма, и я шёпотом поделилась с соседкой своей надеждой попросить и получить. Моя наивность столкнулась с её уже сформировавшимся интриганством. Соседка хмыкнула и обратилась к проходившей мимо нянечке «Тётя... а Лена Акимова вам что-то сказать хочет». Нянечка обратила ко мне тяжёлый взгляд. Заикаясь, я выговорила: «А мама просила... сарафанчик жёлтый...» Сначала ничего не произошло. Мне что-то кинули на спинку кровати. Всё началось во время завтрака. Нянечка подошла к Неле Васильевне и что-то сказала ей, махнув рукой в мою сторону. Та развернулась ко мне: «Заканчивай есть. Пойдём надевать сарафан». Чемодан был уже раскрыт, вещи

вывалены, мой несчастный жёлтый сарафанчик висел на крышке. С меня содрали утреннюю одежду и закинули в сарафан.

Утро было прохладным. Все наши ходили в костюмчиках «с начёсом», меня же вытолкнули из корпуса почти раздетую. Я помню своё состояние в те минуты. Напротив стоит моя хохочущая группа, показывая на меня пальцами, а я гордо иду вдоль ограды, собирая разлетающиеся прозрачные одуванчики. Я не редела, я была камнем... Маме я рассказала эту историю только несколько лет спустя.

В своё последнее дetsадовское лето на дачу я не поехала. Именно в этот год погибла девочка из нашей группы. Она играла под обрывом, который и рухнул на неё. Только через несколько часов мальчишка, сын «подменной» воспитательницы, ковырявшийся вверху и, по сути, устроивший этот обвал, рассказал взрослым, что Олю засыпало землёй. Сама же Неля Васильевна спохватилась, что ребёнка нет, только когда стала собирать группу на обед. Не сомневаюсь, что всё это время она сидела под кустом, наклеив на нос подорожник. Она мама на суде не винила воспитательницу... Она такая хорошая, она поёт и танцует...

Все первые годы моей жизни, свободные от «садика», я проводила в Ачинске. Из Ачинска были мама и папа, там прошло их детство, там жили их родители. Папиного папу — Дмитрия Филипповича — я уже не застала, а мамино папу — собственно дедушку, деду Броню, Бронислава Викентьевича, — я помнила из того же самого раннего моего детства: мы идём с ним по улице мимо штакетника чужого дома, из-за которого выглядывает добрая бабушка и дарит мне цветочек. А дедушка бережно держит меня за руку, улыбается и передаёт мне этот цветочек, до которого я сама бы не дотянулась... Он умер в возрасте пятидесяти восьми лет, когда мне было три года. Мы приехали с мамой и Виталиком в Ачинск. Все суетились, она плакала... Были телега с соломой, лошадь в оглоблях и самый молодой из моих дядей — дядя Миша, с которым меня оставили. Помню, что было очень много людей — «пол-Ачинска», как потом говорила мама. Ту потерю я не осознавала — пугала сама обстановка сосредоточенности и разлитого в воздухе состояния страха и растерянности.

Вообще, Ачинск был частью нашей жизни. Мы всегда ездили в Ачинск — сначала на ночном «абаканском» поезде, позже на электричке, в Ачинске были все наши родственники, а улица Свердлова в Ачинске, казалось, была единственной улицей Свердлова на свете. Именно на улице Свердлова расселилась вся наша родня по маме — все Альхимовичи, Посницкие, Целинские, Грицуки... До папиных Акимовых надо было идти на улицу Ленина, где был их маленький домик с высокой лестницей и крохотным палисадником на две

грядки. Кроме кухоньки с печкой и кладовки, там была малюсенькая комната, куда, по моим понятиям, никак не могла вместиться папина семья из семи человек.

Мамин дом — дом Альхимовичей — был намного просторнее. Кроме веранды, кухни, чуланов, были ещё две комнаты, по которым можно было бегать. На окнах стояли разноцветные герани, а на полу в кадке — огромный фикус. Во дворе — стайка, сарай, летняя кухня и огромный огород. Этот огород и спасал их семью во время войны, когда дедушка ушёл на фронт, а бабушка осталась с тремя маленькими детьми. В общем, это был мой «домик в деревне», о котором мечтают современные любители сметаны.

Образом жизни того времени были визиты к родственникам. Я почему-то не помню визиты к соседям, но вот по бабушкиным сёстрам мы ходили постоянно. Меня, по малолетству, баба Маня таскала с собой. Кстати, обращались мы к ней именно так: баба Маня. Наверное, чтобы не запутаться в обилии бабушек. Мы двигались вдоль улицы Свердлова, заворачивали к нужным домам и долго-долго гостевали у бабы Нюры, бабы Рузи, деды Стаси, дяди Лёвы, тёти Оли и «бабушки старенькой», моей прабабушки, которую все по-польски называли бабчей. Бабушки пили чай и беседовали, а я занималась всем, что подворачивалось под руку или глаз, — кошками, курами, деревяшками, тряпочками... У меня было детство! Правда, в этом детстве не было велосипеда и меня не подпускали к лошадям. Мой брат даже ездил с дедой Стасей в ночное... Понятно, что меня не брали. Я вообще даже не сидела ни разу на лошади! Даже в парке Горького не было у нас тогда добрых лошадок и пони, катающих мальчиков и девочек по кругу.

На улице Свердлова было много детей моего возраста, и старше, и моложе, и вся бурная наша жизнь — с прятками, догоняшками, «колечко-колечко, выйди на крылечко» — протекала вдоль улицы. Когда мой сродный брат Серёжка подрос до того, что смог резво ковылять вокруг дома, мы отправлялись с ним «смотреть Бабая». Для этого надо было осторожно (на цыпочках!) пробраться до конца стены нашего дома и заглянуть за угол. Там через проход начинался двор соседей с воротами вытянуто-округлой формы, из-за вырезанных наверху овальных отверстий чем-то напоминавшими огромное человеческое лицо. После этого надо было громко заорать и ринуться назад. Так как эту процедуру мы проделывали по несколько раз на дню, баба Маня переставала реагировать на наши вопли. Иногда к нам с Серёжкой присоединялись более мобильные соседи, и тогда орущая толпа неслась по всей улице Свердлова.

Где-то недалеко, но уже «за Свердлова», был авиагородок с курсантами в голубых тужурках,

а совсем далеко были Чулым с Типтяткой. Чулыма, в отличие от Енисея, я очень боялась, потому что там были «ямы», в которых регулярно кто-то тонул из ачинских детей, в том числе и с нашей улицы.

Телевизоров на улице Свердлова не было ни у кого. Помню, как собирались мы всей роднёй у проигрывателя и в который раз слушали пластинку Райкина («Я флюгер, поставлен я на крыше...»). Я тогда знала все эти интермедии наизусть и могла повторить от начала до конца, полностью копируя райкинскую интонацию.

Ачинск начала шестидесятых стал для меня, говоря официальным языком, мощнейшей школой интернационализма. На нашей улице жили вперемешку русские, поляки, евреи, и национальный вопрос не поднимался никогда. Вся моя польская родня никогда не обсуждала при мне свою «особость». Жили и жили... Кто-то сохранил язык, кто-то ограничивался кратким спектром ругательств, но в любом случае в русской речи встречались привозные словечки, звучавшие вполне органично. По крайней мере, бабушкина угроза: «Как по душе надаю!» — в переводе не нуждалась. Так что только в школе до меня дошло, что некоторые слова мои одноклассники не понимают. А я не понимала, почему говорить «катушка ниток» — правильно, а «юрок» — неправильно. В общем, национальная принадлежность воспринималась как цвет волос: кто-то блондин, кто-то брюнет. Даже традиционный польский антисемитизм в Сибири как-то растворился. Во всяком случае, рассказ, как дядя Фрейман говорил: «А мы — коренные сибиряки!» — воспринимался как забавное чудачество.

Как-то мимо нашего дома шёл пьяный мужик и вовсю горланил «Черемшину». Баба Маня, вышедшая на улицу, дала нам с Серёжкой сигнал заткнуться и с наслаждением слушала русифицированную мову, то ли упиваясь самим пением, то ли звуками, чем-то напоминающими родную речь.

Некоторые проблемы моей польской родне доставляла верность католической церкви. Костёла в Ачинске тогда не было, и по домам висели чудом сохранившиеся иконы, перед которыми бабушки и шептали молитвы вечерами на чужом языке. Также по домам тайно крестили. Через много лет я узнала, что меня, совсем маленькую, крестила прабабушка, при этом мой папа — русский, атеист и член партии — «был в курсе». Так и жили на компромиссах: коммунисты разрешали крестить детей, а католики по праздникам шли в православную церковь... Но все эти религиозные вопросы проходили мимо нас. Нас, детей, никто не принуждал, не заставлял, но и выказывать неуважение к вере считалось недопустимым. Можешь не верить, не молиться, но крестик твой — вон в коробочке, а если заболеешь, то между приёмами лекарств бабушка пошепчет в баночку с водой.

Во время семейных разговоров иногда проskalзывало что-то об истории польского рода, заброшенного в Сибирь, как, впрочем, и о том, что в начале двадцатых годов вся многочисленная семья Посницких сделала попытку уехать в Польшу. Попробовали, пожили, побатрачили и вернулись в Ачинск, который уже считали своим домом. Про тридцатые годы мама мне рассказала чуть позже. Тридцать седьмой перемолол многих, просто у поляков список вражеских разведок был несколько шире... Даже в шестидесятые мама ещё панически боялась милиционеров, давние предшественники которых когда-то волокли к «воронку» моего парализованного прадеда... Но всё это я узнала чуть позже, в семидесятые годы, сильно отличаясь этим знанием от абсолютного большинства своих ровесников.

Польскому языку нас никто не учил, хотя баба Маня владела им свободно. От мамы я запомнила только коротенький стишок: «Пишла една пани до други пани и муви: „Я пишла до вас, пани, почижите лёндра. Мая пани таки флэндра, же не купи соби лёндра“». В общем, «лёндра» — кастрюля, а «флэндра» — неряха. Остальное всё понятно. Передавалась легенда, как кто-то из дедов в Польше перепутал слова «куфэлек», «кувэлек» и «кубэлек», попросив в какой-то забегаловке вместо кружки пива ведро. Вроде бы никто не удивился: из Сибири, чай, приехали...

Кстати, признание себя сибиряками не имело никакого отношения к какой-то там «национальной гордости». Ну, живём мы в Сибири, да, морозы у нас, — ну и что? Поэтому в те годы фильм «Сказание о земле Сибирской» вызывал у меня, как, впрочем, и у всех остальных, независимо от национальности, чувство некоторого непонимания. Что уж за такие особенные «сибирские песни», что уж за такое поклонение Ермаку? Чего эти тепличные москвичи придуриваются?... Хотя москвичей на улице Свердлова никто живём и не видел, отношение к ним было традиционно снисходительно-пренебрежительным.

Нравы на нашей многонациональной рабоче-крестьянской окраине были довольно простыми и суровыми. Пошли к соседям старшую дочь сватать, а той дома не оказалось, ну и сосватали младшую. Какая разница?... Зато, когда мама робко призналась родителям, что вообще-то собирается замуж, причём знает за кого, это было воспринято как крушение устоев, вплоть до лишения непокорной дочери (и племянницы всех тёть и дядей) хоть какого-нибудь приданого. Во всяком случае, обещанный одною из тёток кружевной накомодник маме так и не достался...

Но Ачинск — это было лето. Всё остальное время года мы жили в Красноярске, на своей улице Ломоносова. Впрочем, на третьем году моей жизни мы получили квартиру на улице Бограда. Это

было совсем близко—улицы шли параллельно, и если бы не было заборов и стаяк, то пробежать от старого дома до нового можно было бы за две минуты. Начинался «боградский» период моей жизни, более осознаваемый, чем «ломоносовский», но, наверное, не менее счастливый. До сих пор, проходя мимо дома номер девяносто семь по улице Богграда, я испытываю желание вернуться... Пусть не в детство, просто в ту нашу хрущёвку с низкими потолками, тонкими стенками, совмещённым санузлом...

Совсем рядом с нашим домом по Ломоносова и через дворы от дома по Богграда была школа номер девятнадцать, где работала моя мама, Анна Брониславовна. Как бывают дети, выросшие при театре, так я выросла при школе. Когда в садике объявляли очередной карантин, я перебиралась в школу «с вещами». Чуть ли не весь последний год перед школой, богатый на такие карантинные, я просидела за последней партой в первом классе у Веры Львовны в статусе то ли дополнительного вольноопределяющегося ученика, то ли внештатного надсмотрщика («Лена, кто себя плохо вёл, пока меня не было в классе?»). Я очень стеснялась таких вопросов и, к стыду своему, тыкала пальцем в тех, кто, по моему разумению, «плохо себя вёл». Впрочем, претензий ко мне не было... К другим «посидеть» меня не пускали, и я поневоле больше крутилась вокруг ребят из маминого класса. Они уже оканчивали школу и казались мне очень большими и взрослыми. И все они слушались мою маму. Моя мама была учительницей! Однажды, уже лет в семь-восемь, я оказалась свидетелем разноса, который устроил папа Виталику за двойку по географии («Это что же такое?! Мать—географ, а сын географию не знает!»). Мама молча сидела за столом и не опровергала эти слова. Но ведь она же учительница, а не географ!!! Я чуть не разревелась от обиды, от осознания того, что меня обманывали всю жизнь!

Повседневная жизнь девятнадцатой школы в середине шестидесятых была отмечена бедой. Я не чувствовала её, бегая по коридорам, я просто знала, что она есть. В конце августа 1964 года, пытаясь спасти маленькую девочку из огня, погибла пятиклассница Лида Прушинская. Её портрет висел в самой широкой части коридора. Иногда в школе появлялись корреспонденты, которые пытались вытянуть воспоминания из учителей и одноклассников. Как я поняла чуть позже, им рассказывали, немного стесняясь, что Лида не была отличницей, была просто тихой, незаметной девочкой с длинными косами...

Школа была очень маленькой, и вскоре её сделали начальной, а потом и вовсе закрыли. Учителей распределили по другим школам, и мама несколько лет бегала по пронизываемому всеми ветрами виадуку над железной дорогой, чтобы

попасть в школу номер семьдесят пять «на горé». Автобусы туда не ходили. Девятнадцатая же потихоньку сворачивала свою деятельность, сокращая набор первоклассников и медленно уходя из нашей жизни. Люду Бублик—мою соседку и по Ломоносова, и по Богграда, бывшую на два года старше меня,—ещё отдали в первый класс в девятнадцатую, а меня уже записали сразу в седьмую школу на Красной площади. Мне тогда казалось, что между нами пропасть: если ей ещё выпало носить в тряпочном чехле чернильницу-непроливашку, привязанную к портфелю, то нас учили уже писать авторучками. Так что носить непроливашку судьба меня миновала, хотя писать в те карантинные времена я училась именно так, тыкая перьевой ручкой в чернильницу.

Иногда во время детсадовских карантинных меня приводили не в школу, а на работу к папе. Их контора находилась на улице Марковского, в двухэтажном доме с широкой деревянной лестницей и буфетом под ней. Меня сдавали женщинам в машбюро. В треске пишущих машинок я не мешала никому.

Папа мой, Василий Дмитриевич, работал в управлении хлебопродуктов главным инженером. Времена, когда он месяцами мотался по целине в Хакасии, строя там мелькомбинаты и хлебоприёмные пункты, видимо, я не застала. Наверное, это была середина—вторая половина пятидесятых. При мне папа ездил в недельные командировки на «газике»—первой и долгое время своей единственной служебной машине. Города и посёлки края становились моими первыми географическими названиями, что нередко выручало при игре «в города»: Канск, Заозёрный, Ачинск, Абакан, Минусинск, Уяр, Назарово, Шарыпово, Сухобузино, Камарчага... Впрочем, тогда, в шестидесятые, символом папиной работы для меня был, пожалуй, чёрный чугунный лось, украшавший его стол в кабинете.

Улица Богграда с детским садом на углу упиралась в парк имени Горького. Его так и звали все: парк имени Горького. Тогда не было этой широкой аллеи, появившейся к столетию Ленина вместе с памятником на площади Революции. По идее креативщиков из крайкома партии, Ленин должен был смотреть на Енисей, а узкие тенистые аллеи парка этому явно мешали. И вот перед этим эпохальным юбилеем вековой парк был реконструирован... В шестидесятые же он был другим: уютным, домашним, с маленькими фонтанами, украшенными копиями скульптур Эрмитажа и фигурами героев басен Крылова. Точно помню, был «Мёртвый мальчик на дельфине» Лоренцо Лоренцетто. Выбор, наверное, не самый удачный для парка, поскольку дети ревели, несмотря на уговоры родителей, что мальчика непременно спасут, как только добрый дельфин доставит его

на берег. По крайней мере, мне объясняли именно так. Только несколько лет спустя, увидев путеводитель по Эрмитажу, я с грустью узнала, что всё совсем не так хорошо закончилось. Ещё были волк и журавль, запечатлённые в самый кульминационный момент басни. И были памятники Пушкину, Кирову и самому Горькому, единственные, кажется, дожившие до сегодняшнего дня. Впрочем, машущего руками Кирова потом убрали. В парке были карусели с фигурками осёдланных животных разных пород, качели в виде лодок, что-то ещё. Но самой главной гордостью парка была детская железная дорога. Она была подлинно детской, потому что и машинистами, и проводниками были школьники. Так как девятнадцатая школа располагалась ближе всех к парку, а многие из её учеников были детьми железнодорожников, то основным контингентом железной дороги были именно они. Когда нас, детсадовцев, выводили гулять в парк, пользуясь его непосредственной близостью к садику, я автоматом переключивалась в ведомство детской железной дороги в сопровождении кого-нибудь из маминих учеников. Фраза: «А можно Лену покатасть?» — всегда вызвала гримасу на лице воспитательницы, но так как предварительная договорённость была, меня отпускали. В то время я не знала, что называется это «блат», и с наслаждением пользовалась своей привилегией учительской дочки.

В противоположном направлении улица Богграда шла мимо комбайнового завода прямо к железнодорожному вокзалу. Это было очень удобно, учитывая необходимость и уезжать в Ачинск ночью, и возвращаться из Ачинска гружёнными банками с клубничным вареньем. Напротив комбайнового завода располагался магазин, носивший неофициальное название «стахановский». Говорили, что после войны там отоваривались заводские стахановцы. Время это давно миновало, но название закрепилось прочно. Это был главный магазин моего детства. Во время наших регулярных походов в «стахановский», когда мама стояла в очередях, я смиренно ждала её у подоконника. Однажды, истомившись в ожидании, я машинально засунула палец в металлическую решётку, закрывавшую батарею. И застряла... Не помню, кому удалось меня выволотить, но помню, как целая толпа покупателей всех возрастов сгрудилась вокруг нас, успокаивая, уговаривая, одновременно пытаюсь найти виноватых и какого-нибудь слесаря с инструментом.

Сегодня я смутно припоминаю небогатый набор товаров в «стахановском», но был магазин, богатство выбора в котором запечатлелось в моём сознании намертво. Уже в семидесятые годы, выстаивая огромные очереди в «Диете», чтобы сразу купить на месяц масла и на три дня молока, заодно сдав набитую сетку пустых бутылок, я вспоминала

молочный магазин на углу Богграда — Робеспьера как детскую сказку, в которую уже перестаёшь верить... Там было масло солёное, несолёное и шоколадное; кроме молока разной жирности и кефира, были варенец и ряженка; густая сметана на разлив; сгущённое молоко плюс кофе и какао со сгущённой. Всё это изобилие закончилось в конце шестидесятых...

А вот некоторое изобилие с детской одеждой, как ни странно, закончилось как раз в начале шестидесятых. Как рассказывала мама, если у Виталика ещё были всякие разные костюмчики, то со мной уже начались проблемы... Шубку, курточки и штанишки я донашивала за братом, всё остальное надо было шить самим. При мне мама записалась на курсы кройки и шитья в парке, что на долгое время обеспечило мне скромный, но вполне приличный девчачий гардероб. Памятью же о пятидесятых годах в нашей семье оставались китайские комплекты «Дружба», в которые мы наряжались в холодные ночи. Последние кальсончики ушли на тряпки где-то в восьмидесятые, прожив с нами чуть ли не тридцать лет...

Где-то к середине шестидесятых пропали и фрукты. Тогда же был разрушен и магазинчик на перекрёстке Богграда и Робеспьера, среди всего прочего унеся с собой вид, цвет и запах бананов. Они были там, точно были! Родившиеся на пару лет позже меня видели бананы только на картинках, а я помнила эти жёлтые гроздьи, помнила движение руки, сдиравшей шкурку, которая сразу же разваливалась на три длинных лепестка... А потом стали исчезать и овощи. Продовольственная проблема встала перед нашей семьёй в полный рост... Сначала она как-то решалась поездом из Ачинска, а потом на папиной работе стали выделять участки земли под огороды на окраине города. В тот самый первый день, когда протаптывали первые тропки вдоль деревянных кольшков, родители привезли меня «в сад». Огромное чёрное поле, разделённое на шестисоточные куски, с десятками людей, лихорадочно осваивающих это пространство. Я носилась вдоль своего прямоугольника, отмеченного кольшком с нашей фамилией, ошарашенная атмосферой восторга и растерянности вокруг. Сейчас мне кажется, что за всю жизнь я не видела такого выражения счастья на маминим лице. Так начинался наш кормилец Бугач, отрада и каторга нашей семьи, который никогда и никто не называл «дачей».

За несколько лет до этого садовый участок получили наши родственники в Ачинске. Разрешённые размеры домика позволяли впихнуть одну кровать, столик «а ля вагон» и место для хранения инструментов. Нам уже повезло. В наш дом можно было бы поставить уже целых шесть кроватей с железной печкой! А ещё были веранда и крыльцо. Но никаких двухэтажных домиков не было и в помине.

Так что когда в фильме «Москва слезам не верит» показывали неосвоенный участок Колиных родителей с мощными новостройками на заднем плане, это свидетельствовало всего лишь об отсутствии в Подмоскovie подходящей натуры. Не было этого! Кровать, столик и лопаты с граблями в углу...

Одним из главных символов жизни шестидесятых был комбайновый завод, расположенный на той же улице Богграда. На комбайновом работали наши соседи и родители моих одноклассников. Комбайновый завод строил дома в нашем районе и шествовал над нашей школой. Колона комбайнового завода была самой главной на парадах первого мая и седьмого ноября, и на каждый праздник именно на фасаде комбайнового завода располагалась самая красивая и самая богатая по тем временам иллюминация. Однажды, осенью 1968 года, брат вёл меня из школы в то самое время, когда около проходной завода из грузовика выгружали разноцветные лампочки. Виталик пихнул меня в спину, и я со всей мерой кокетливости, которую могла из себя выдать, проговорила, глядя прямо в глаза мужчине, руководившему разгрузкой: «Какие лампочки красивые...» Не могла же я сказать: «Дядя, подарите, пожалуйста, лампочку»? Но он понял меня совершенно правильно... Как же я благодарна ему до сих пор за то ощущение счастья, с каким неслась домой, прижимая к себе трофей! Пристроить лампочку удалось в туалет-ванную, где она и светилась обалденно малиновым цветом. Конечно, видно было плохо, но какое значение это имело?! Через несколько месяцев мама решила эту лампочку помыть — на этом счастье и закончилось...

Окна нашей квартиры выходили на радиозавод, занимавший целый квартал между Богграда и Карла Маркса. Но, в отличие от комбайнового, радиозавод был только ориентиром на местности: «вокруг радиозавода», «за радиозаводом», — хотя, наверное, у него тоже были и красивые колонны на праздники, и иллюминация на фасаде... Впрочем, вдоль радиозавода были устроены узкие цветочные клумбы, ставшие для меня начальной школой ботаники. Во всяком случае, анютины глазки были, наверное, первым декоративным цветком, название которого я выучила.

Шестидесятые годы для всей страны были временем освоения космоса. По моим же понятиям, космос был освоен давно и прочно. С балкона нашей квартиры я всматривалась в ночное небо и по бортовым огням самолётов «угадывала», что именно летит — самолёт или ракета. Задаться мыслью, почему ракеты не летают в дневное время, я почему-то не смогла... Космос стал обыденностью. Можно было мечтать стать лётчиком, моряком,

космонавтом, врачом, учителем... Может, поэтому я очень удивилась (именно это чувство было более сильным), когда весной 1968 года услышала разговор соседок на скамейке: «Какой человек был! Как же не уберegli то?..» Погиб Юрий Гагарин.

Вообще, история тогда была очень спрессованной и хронологически, и географически. Я была уверена, что мама видела Ленина, а баба Маня — царя. Какого-нибудь. Где-то совсем рядом была война, а полвека от Октябрьской революции — почти позавчера. И освоение космоса было столь же близким и столь же далёким по сравнению с моей ещё такой маленькой жизнью. И гибель Гагарина не укладывалась в мозг, поскольку его полёт был тоже где-то там... далеко за гранью сегодняшнего дня, вместе с революцией и войной.

Таким же спрессованным был и мир. И хотя благодаря маме я много раз держала в руках глобус, вертела его и даже кидалась им, как мячом, мой мир был всё же совершенно другим. При переезде на Богграда в нашу с братом комнату переехал старый книжный шкаф. Две полки в нём мне выделили для игрушек. И хотя и глобус, и карта полушарий, да и здравый смысл говорили мне, что мир широкий и простирается далеко-далеко, уходя за горизонт, но мне всё же упрямо чудилось, что Красноярск находится на одной полке, а выше — на другой полке — Ачинск. А чтобы попасть в Москву, надо перелететь на ещё какую-то полку. Ни поезда до Ачинска, ни небо над головой не убеждали в обратном. Это были как наука и религия. Да, я всё понимаю, Земля — шар и так далее, но мы живём на одной полке, а баба Маня с тётей Лёлей, дядей Толей и Серёжкой — на другой. В общем, без слонов и черепахи никак...

Мир шестидесятых был стабилен и понятен. Он был прозрачен, как те кинофильмы, снятые не в цвете, а «в градациях серого». Да, я хочу на немножко вернуться в шестидесятые, чтобы хотя бы просто пройти по нашей улице Ломоносова с необрезанными тополями вдоль деревянных заборов, вдоль кирпичного здания девятнадцатой школы. И пусть на её фасаде будут растянуты красные полотнища «Ленинизм — это будущее планеты» или «Партия — наш рулевой», пусть... Можно просто пройти по улице, ощущая покой и ту веру — не в коммунизм, конечно, а просто в счастливое будущее, право на которое мы получили победой в войне, прорывом в космос и освоением целины, памятью разрушенного комбайнового завода, девочкой Лидой Прушинской, орденами отца и деда, нашими октябрятскими звёздочками и пионерскими галстуками, нашей наивной и искренней верой в то, что руководят нами самые благородные и умные люди на свете...

Георгий Кольцов

## Причал

### Родной дом

*Валентину Распутину*

Снова в тесном доме соберёмся,  
Три окошка — к реке под бугор...  
А причина, возможно,  
Лишь в том вся,  
Что здесь мамка живёт до сих пор.

Мы смолистых дровишек наколем,  
Засучив до локтей рукава.  
На зелёном картофельном поле  
Отцвела и пожухла ботва.

С чем сравнить материнскую старость?  
С тяжкой участью тихих берёз,  
На которых листья не осталось —  
Всю по свету ветрище разнёс!..

Старший соль добывает в Усолье.  
Младший брат обживает Москву.  
Да и я в городок невысокий  
Мать давно безнадежно зову.

Рвётся нитка в том месте, где тонко.  
Ну а если она не тонка?!  
Наша мать, коренная чалдонка,  
Дом бросать свой не хочет пока.

Сердцем чует:  
Пока он не продан,  
Каждый связан надёжным узлом  
И с землёю,  
Откуда мы родом,  
И с закатом за синим селом...

В доме, где не нажили богатства,  
Где пока ещё мама жива,  
Заставляет нас всех собираться  
Неизбывная сила родства.

### Причал

Показался за мысом  
Дощатый причал.  
«Здравствуй!» — крикнуть хотелось,  
Но я промолчал.

Переплавил ли чувства  
В скупые слова?  
И к лицу ли, как в детстве,  
Кричать в тридцать два?

Рябь студёной волны.  
И по коже — мороз!  
В горле вдруг запершит  
От непрошенных слёз.

Ветер, славя простор,  
Над рекою крепчал...  
От тебя расходились дороги,  
Причал!

И скрипел твой настил,  
Как солдатский ремень.  
Ты всегда по-мужски  
Чувства прятать умел.

Провожая людей,  
Крепче в берег врал.  
Так не каждый из нас  
Верен отчим местам.

Ты распутывал здесь  
Узел встреч и разлук...  
Вот и дым над избой —  
Как спасательный круг.

## Светлой памяти моей матери

Самолёт у трапа замер.  
Взгляд скользнул по землякам—  
Воспалёнными глазами  
Я тебя средь них искал.

Подойду сейчас поближе  
И, как в прошлую весну,  
Ту слезу, что ветер выжал,  
С твоего лица смахну.

Не один, а с младшим братом  
В зал, где ты ждала, войду.  
Там в полёт зовёт с плаката  
Серебром обшивки «Ту».

Близость встречи или ветер  
Подгоняют, торопя...  
Неужель на этом свете  
Больше нет уже тебя?!

Вышло так, что мы с годами  
Разлетелись кто куда.  
А вернуться опоздали  
Не на день,  
А навсегда.

Как бы падать ни спешило  
Под колёса полотно,  
Довезти к тебе машина  
Не успела всё равно...

В темноте белеет ставень.  
Брату, что ль, в конце пути  
Это право предоставить—  
В двери первому войти?

Но, ссутулившись угрюмо,—  
Отрешённо одинок—  
Он о том же самом думал,  
На родной взойдя порог.

В нетерпенье—не в испуге—  
Он потребовал: «Входи»,—  
Чтоб скорей увидеть руки  
На твоей сухой груди.

Так частенько ты держала  
В них, задумавшись, иглу.  
А теперь в цветах лежала  
Под иконкою в углу.

Настрадавшееся тело  
Прикрывала простыня.  
А в ногах твоих сидела  
Наша близкая родня.

Причитала тётя Клава,  
Как старухи в старину:  
«Кто тебе, сестра,  
Дал право  
Оставлять меня одну?»

Ни тепла в избе,  
Ни дыма...  
Порвалась надежды нить...  
Как теперь я буду мимо  
Этих окон проходить?!»

Плач, ознобом пробивая,  
Разгулялся по избе...  
Почему она,  
Живая,  
Так печётся о себе?

Но когда не голосила,  
Обессилевши, она,  
То совсем невыносимой  
Становилась тишина.

Тишины такой пугался,  
Молча сам себя ругал.  
Горло сдавливал не галстук—  
Подступивших слёз  
Аркан.

Зябко вздрагивали плечи,  
Хоть я к плачу не привык...  
Может, вправду  
Мёртвым легче,  
Чем оставшимся в живых?

Телеграммы срочной выстрел  
Их не ранит, не убьёт...  
Мать, прости мне эти мысли.  
Здесь мы с Саней. Видишь?  
Вот!

Поделюсь я новостями,  
Что привёз издалека.  
Ну а Саня вновь растянёт  
Для тебя огонь-меха!

Ты спляши цыганский танец,  
Приглуши разлуки боль.  
А захочешь, я останусь—  
Буду рядышком с тобой.

Ведь тебя мне не заменят  
Ни работа, ни жена...  
Бьётся раненым тайменем  
В сетях ночи  
Тишина.

## Деревня

То гнев свой меняла на милость,  
То вновь становилась строга.  
Я вырос в деревне.  
Я вырос  
В краю, где до неба стога.

Где звёзды мерцали в затоне,  
Где рук не хватало в страду,  
Где исстари,  
Как на ладони,  
Всегда человек на виду.

Настырный —  
Наивный по сути! —  
Да и на подъём не тяжёл,  
Чтоб в городе «выбиться в люди»,  
Я рано отсюда ушёл.

Дорогой проверен на зрелость,  
Я дело искал по плечу...  
Мне многое в жизни хотелось,  
Но честно признаться хочу,

Что, как бы мир ни был огромен,  
Как наш ни оправдан побег,  
В стенах деревенского дома  
Душа остаётся навек!

## У Могилы Неизвестного солдата

*Его зарыли в шар земной...*

Сергей Орлов

А на земле ручьи звенели,  
Цвела сирень,  
Старела мать...  
Ему б сейчас лежать в постели,  
А не на площади стоять.

Продут позёмкой  
Зимний вечер.  
Проулки, улицы — пусты.  
И стыннут каменные плечи  
Под плащ-накидкой темноты.

Его в Орле  
Или в Иркутске  
Ждать перестали земляки.  
Ему бы сесть,  
Переобуться  
И, похоронке вопреки, —

В тот край,  
Где пролетело детство,  
Вернуться на исходе дня,  
В избе родимой отогреться,  
А не у Вечного огня.



С отвоёванного детства,  
Пережитого сполна,  
Мне досталась в наследство  
Только Родина одна,  
С речкой,  
С лугом,  
С голосами  
Птиц, поющих надо мной,  
С городами и лесами,  
Опалёнными войной.  
Жизнь свою по воле сердца  
Прожигая на бегу,  
Неделимое наследство  
От пожарищ берегу.  
И одна забота только:  
Всё наследие моё  
Передать своим потомкам,  
Уходя в небытие,  
С речкой,  
С лугом,  
С голосами  
Птиц, поющих в вышине.  
С городами и лесами,  
С добрым словом обо мне.

## Колокольчики

Колокольчики,  
Колокольчики —  
Ни конца вам, ни края нет.  
То ли морюшко,  
То ли полюшко —  
Этот пляшущий синий цвет...

Озорная пора,  
Озёрная!  
Я и вспомнить теперь не смогу,  
Сколько их,  
Колокольчиков, сорвано  
На ребячьем моём веку.

Я их ставил в стакан.  
Подравнивал.  
На пол стряхивал муравья.  
Каждый —  
Словно птенец подраненный —  
Крылья медленно расправлял.

Снова в детство  
Вернуться хочется  
И по синему полю брести...  
Колокольчики,  
Колокольчики,  
Обеззвученные в горсти.

Сергей Хомутов

## Есть заклятья знамений, знамён...



Есть заклятья знамений, знамён,  
И примеры такого известны...  
Повторением страшных имён  
Мы вернём их однажды из бездны.

Потому воспевать не хочу  
Властолюбцев ушедших столетий—  
Засветить бы навечно свечу  
Над явлением тёмных наследий.

Позабить, а точнее, предать  
Всех своим временам и законам...  
Сколько можно минувшим страдать,  
То к проклятьям сходя, то к поклонам?

Глупо в прошлом спасенье искать,  
Уповать на всесильных пытаться.  
..Их вторично потом закопать  
Нам, возможно, уже не удастся.



Поздновато искупать  
Похожденья дерзкие—  
Нынче странно проступать  
Стали шрамы детские.  
И припоминаешь ты,  
Где они получены:  
Тот—в полёте с высоты  
У речной излучины,  
Этот—в пыльной борозде,  
Где стекляшку бросили,—  
Вдоволь выпало везде,  
По весне и осени.  
Ну а летом больше всех—  
В наслажденье волею...  
Были слёзы или смех,  
Но того не более.  
Не такая уж беда—  
Эти метки ранние.

..Хорошо, что в те года  
Нам сердца не ранили.



Здесь удивляться вряд ли надо—  
Жизнь теплится в ином укладе:  
С кем ты сидел в пивной когда-то,  
Сейчас лежишь в одной палате.

Пока укольчик принимаешь  
И капельница над тобою,  
Былые дни припоминаешь:  
Изрядно поиграл судьбою.

Глядишь, как в трубочку стекает  
Не пиво—снадобье другое,  
И что-то всё же предрекает,  
Пусть и неясное такое.

А что ещё случится завтра,  
Сегодня даже не гадаем...  
Тогда—братались мы азартно,  
Теперь—задумчиво киваем.



Одноклассница в Сети  
Появилась, как виденье,  
Прямо рядышком почти—  
Дорогое обретенье.

Хорошо, коль человек  
Жив,—приятны ощущенья,  
Только слишком часто век  
Нам приносит огорченья.

Открывает Интернет,  
Предъявляет мне с укором  
Улицу, которой нет,—  
Мир, не побывать в котором.

А потом не станет нас,  
И уже потомков дети  
Вскрикнут, видимо, не раз:  
«Тятя, тятя, наши Сети...»



Скорбных судеб поэтических довольно—  
 Слава Богу, у великих всё сложилось,  
 Но по-прежнему за них сегодня больно,  
 Лучше было бы, чтоб иначе решилось.

Сколько их из темноты крошечной светит.  
 Никого уже никто не проклиняет.  
 «Почему?»— скажи, Россия. Не ответит.  
 Потому что и сама того не знает.



Что глупо или безобразно—  
 Конечно же, не по душе,  
 Да всё высмеивать развязно  
 Теперь не хочется уже.

Признаюсь, иногда чернила  
 Я тратил на дурной удел,  
 Но жизнь угрюмо разъяснила  
 То, что и знать бы не хотел.

Не привлекает роль паяца,  
 Коль жить приходится всерьёз,  
 И лучше вовсе не смеяться,  
 Чем смехом, что печальной слёз.



Бесполезно больным отдаваться словам  
 И проклятья бросать на пути—  
 Если эта житуха не нравится вам,  
 Попробуйте другую найти.

Только где он, такой удивительный край,  
 Где всё к месту и все по местам?..  
 Это Ева с Адамом покинули рай,  
 Ну а мы-то и не жили там.



Хоть излишне и не горячился,  
 Но простую мудрость не впитал:  
 На чужих ошибках не учился,—  
 Синяков да шишек нахватал...

И, конечно, сожаленье гложет,  
 Избежать бы мог, наверно, их...  
 Утешает лишь одно— что может  
 Кто-то поучиться на моих.

ДиН РЕВЮ



Дмитрий Кадочников

## Воздушная тревога

Красноярск: «День и ночь», 2020



На плечо уселась птица-печаль,  
 С этой ношею ни петь, ни молчать.  
 Приходи ко мне на чай невзначай,  
 Вдруг согнать её удастся с плеча.

Птица-радость надо мною кружит.  
 Она встречу нам с тобой ворожит,  
 На плечо вот только сесть не спешит.  
 Буду слушать песнь её. Да и жить.



Девочка, девочка, где ты сегодня?  
 Лёгкие крылья трепещут... над кем?  
 Так ли, как верим мы, стала свободна?  
 Так ли, как думаем, меньше проблем?

Девочка, девочка, где я сегодня?  
 Тонкую снова сжигаю свечу.  
 Так ли живу я, как Богу угодно?  
 Плачу зачем и зачем так плачу?

Сергей Князев

## Куда девался весь народ?

## Притча о слепых

Откуда вы, каких вы стран жильцы?  
Какого толка, времени какого?  
Коварств каких вы крёстные отцы?  
И страшно мне: слепой нашёл слепого.

Слепая цепь, и поводырЬ слепой.  
Окраиной брабантского селенья  
Идут они, и каждый сам собой  
Безмолвье превращает в отупленье.

Но вот свершилось: рухнул поводырЬ,  
Идущий следом потерял дорогу,  
А третий смотрит в небо как в пустырь,  
Как будто бы прислушиваясь к Богу.

Четвёртые ещё отделены  
От этих мук на расстоянье шага.  
И страшно мне: мы все обречены,  
Когда—впотьмах, без доблести и флага.

И страшно мне: когда гляжу на них,  
Когда в тиши вынынчиваю слово  
И думаю над притчей о слепых—  
Я слышу: то продвинется, то снова,  
Забуксовав, проскальзывает стих:  
Сидит слепой и пишет про слепого,  
И жерло Бездны смотрит на слепых.

● ● ●  
Ни листа, ни холста... Хоть и двадцать,  
Хоть и двадцать ещё, не полста,—  
Так уже не должно оставаться:  
Ни листа, ни холста, ни листа...  
Это будет опять повторяться,  
Как опавшие листья с куста.  
А когда и холсты покорятся—  
Вдруг окажется вновь: ни холста,  
Ни листа, ни холста... И не двадцать,  
И, пожалуй, уже—не полста,  
И уже всё трудней—оставаться,  
Но ещё—ни листа, ни холста.

..Может, краска была не густа,  
А листы полюбили сжигаться,  
Не успев ни смолчать, ни признаться,  
Что лишь смерть, как улыбка, проста.

## Лидер

По выжитым лесам, гнилым селеньям  
Проходит человек, почти поэт.  
И, наделённый сумеречным зреньем,  
Вдали он видит тёмный силуэт,  
Но перед силуэтом не пасует.  
Любуясь трезвым ликом темноты,  
Его воображенье дорисует,  
Придаст виденью светлые черты.  
И будет верить до самосожженья,  
Вести и звать на выдуманный свет  
Он, наделённый сумеречным зреньем,  
Вдали узревший тёмный силуэт.

● ● ●  
Я когда-то был в доме одном.  
Там у маленькой девочки грустной  
Черепашка живёт под столом  
И питается белой капустой.

Я спросил: «Почему ты грустна?»  
Но она отшатнулась со страху  
И чуть слышно сказала: «Весна...»  
И прижала к груди черепаху.

● ● ●  
«Нас было много на челне...»  
А нынче—в тыщу раз поболее!  
Поэтому досталось мне  
Быть благодарным этой доле—  
Уплыть в сторонку от челна.  
Да, от спасенья дармового.  
Полным ты, лодочка, полна!  
А здесь—волна! Свобода! Слово!..

● ● ●  
В миру завсегдатают наглые,  
Но в храме порядок таков,  
Что к Чаше подходят ангелы  
Прежде седых стариков.  
И мамы, и мы вместе с ними  
(Но, правда, лет до семи)—  
Мы тоже были святыми,  
А после стали людьми.

● ● ●  
 Внимайте цветенью сердца—  
 Тревожного георгина!  
 Врага и единове́рца,  
 Всех тварей оно любило,  
 Всех скрытых шатром абсента,  
 Всех бедных, причастных злу!  
 Внимайте цветенью сердца,  
 Вмурованного в скалу!

Оно не предаст восторга,  
 Оно не приемлет торга  
 На благо цветущих тел.  
 Пусть жизнь моя в заусенцах,  
 Пусть я невысок, но сердце  
 Я вырастил, как хотел!

Когда я умру—не плачьте!  
 Когда я умру—не плачьте!  
 Когда я умру—не плачьте—  
 Мы все лишь вовне глядим!  
 А в каждом, как флаг на мачте,  
 Смотрите—как флаг на мачте,  
 Всмотритесь—как флаг на мачте,  
 Качается георгин!

Качнитесь и улыбнитесь  
 Навстречу цветным рассказам,  
 Навстречу седой косе—  
 Тогда вы другим приснитесь,  
 И вспомнят вас лучшей фразой:  
 «Он прожил свой век как все!»

● ● ●  
 Дорогою убогой  
 Метелица бредёт,  
 А рядышком с дорогой  
 Черёмуха растёт.  
 Кто мысли разгадает  
 Печальных этих мест,  
 Где птица прилетает  
 На православный крест?  
 Где я прошу прощенья  
 Перед крестом отца  
 За грубые кочевья,  
 За чёрточки лица,  
 Привитые скитаньем  
 Мне по земле родной,—  
 Перед крестом кристалльным  
 С черёмухой грудной.  
 Метель бредёт дорогой  
 В посёлок Кудряши.  
 Лишь ей да птице строгой  
 Дан ключик от души.  
 А место здесь такое,  
 Что—ты уйдёшь домой,  
 А кладбище живое  
 Размоет берег свой.

● ● ●  
 О вы, благословенные моря  
 Солёных глаз—простор души любимой!  
 И, звук молчанья сократив: «Моя»,—  
 Произнесу—и станет соль сладимой,  
 И сменится земное торжество  
 Попранья света—светом покаянья:  
 Названья звёзд, следивших путь Его,  
 Мы вспомним после грешного познания.  
 Душе, в себя приявшей Божий страх,  
 Ещё не совершенной, но желанной,—  
 Легко в благословенных плыть морях,  
 Припав лицом к любви обетованной.

● ● ●  
 О доблести, растерянной в пути,  
 О кривизне и шаткости следа,  
 О близости... О Господи, прости—  
 А не об этом—так о чём тогда?  
 Влюблённость—вот наука из наук:  
 Горящий взгляд, обоже́ствлённый звук...  
 Нет, не о них, оставьте, ерунда!  
 Любовь мудрей, любовь есть расставанье  
 С немислимыми толками о ней,  
 Она сама—задумчивое знанье  
 По черновой истории своей  
 И пишущая вновь и начистую  
 О доблести, о шаткости следа,  
 О жажде возрождения стыда,  
 О близости—  
 Вот я о чём толкую!

● ● ●  
*Я не молюсь никогда,  
 Я не умею молиться.*  
 И. Анненский

В каком году, в каком строю,  
 Какому господу в угоду  
 Мы исковеркали свою  
 Простую, добрую природу?  
 Мне перед ним не жечь свечей—  
 Ведь даже и в мороз трескучий  
 Он ждёт плода с сухих ветвей,  
 Надломленных на всякий случай.

### Метро Зябликово

Здесь выход или переход?...  
 Ещё не так уж поздно, вроде—  
 Куда девался весь народ?  
 Мы передохли в переходе.

Анастасия Порошина

## Над тёплой чашею земной



Я помню, как пьют ранним утром из тёплых рук  
Высокие яблони, взятые под уздцы.  
Я знаю, что где-то зимою замкнётся круг,  
И будет им сниться опять молоко росы,

И будут им сниться наездники хрупких лет,  
Сдирающие сандаликами кору,  
И будут мечты и сны улетать в рассвет,  
И будут плакать не принятые в игру...

Я знаю многое. Жалко, что всё не так,  
И яблони спилены. Но над землёй светло!  
И юные всадники, спрыгивая с седла,  
Встречают ветер упругим своим крылом.



Вырастут листья размером с твою ладонь,  
Небо зайдётся в безудержной синеве.  
Лето поманит желаннейшей из погонь,  
Только ему не верь.

Красным и сладким вспыхнет в твоей горсти  
Пёстрых ковров земляничных живая дань.  
С неба звезда сорвётся — не упусти...  
Только не загадай.



Безумные канатоходцы  
На всепронзающем ветру,  
Раскачиваем гулкой космос  
Вибрациями лёгких струн.

Пусть затаившаяся бездна  
Украдкой тянется к ногам,  
Хранима памятью созвездий,  
Струны дрожащей не отдам —

И купол выгнется небесный  
Незатихающей волной  
В неуловимом равновесье  
Над тёплой чашею земной.



На землю опустился тёмный август,  
И звёзды заблудились меж деревьев —  
Заплыли рыбки в лиственные сети...

Смотри без грусти, как они уходят  
Туда, где кроны обрастают небом,  
Где дышит ночь прошедшим и грядущим...



Веду тебя на глубину.  
Теряя дно, поверь инстинкту,  
Скользни с заезженной пластинки  
На шелестящую волну.

Стремись над бездною за мной —  
Иного нет ориентира,  
Лишь дуло солнечной мортиры  
Восходит грозно за спиной...

И в этом золотом кольце,  
В просвете между двух ладоней,  
Между бескрайним и бездонным  
Мы вдруг взмываем под прицел.



Взметая пыль словесных троп,  
Мы уходили от погони.  
Стремилась в яростный галоп  
В строку запущенные кони.

Вращалась чаша в глубине  
Непостижимого заката.  
Уставших мы вели коней  
На водопой. А там, за кадром,

Дышала илистая мгла,  
И всё, что было в ней живого,  
От сотворенья и дотла  
Незримо обращалось в Слово.

## Андрей Новиков

# Крестом осеню

### Школьник

Солнце жарит; в настроенье глупом,  
Показав смазливое лицо,  
Выжигает на скамейке лупой  
Школьник нехоршее слово.

Жаждет чадо молодое воли.  
Хорошо одно в борьбе со злом:  
Он не ловит покемонов в школе  
И бычки не курит за углом.

Но во всём видна первооснова,  
Пусть невелико творенье рук.  
Тянется дымок с доски сосновой,  
Кривизна обугленная букв.

Теменем качает рыжеватым  
И сопит, сосредоточен весь  
Истиной простой и тороватой,  
Неприлично лишь её прочесть.

Полдень тонет в мареве, в подбое  
Раскалённом, так прими в строку  
Грешное, знакомое, любимое  
Это приобщенье к языку.

### Мгновенье

Зло, цепко кадром разграничил  
Дерева, зарево и дым.  
Бессмыслица фотогенична,  
Фотограф этим уязвим.

Под зонтиком — линиялой крышей —  
Сосредоточен, угловат.  
Выходит тень из серой ниши,  
Надейся, что надолго, брат!

Мгновенье чиркнет в эпатаже,  
В формат замкнётся цифровой.  
Ещё невидимы пейзажи,  
Детали в данности живой.

Возникновенье тянет вью,  
Створ распахнёт печаль её,  
И выпадет в периферию  
За явью — инобытиё.

### Запах мира

Светится зелёная ограда,  
Тени расплзаются, шутя.  
Розовыми пятками по саду  
Мнёт растенья малое дитя.

Изнывая в первозданном зное,  
Ощущают приступ духоты  
Брошенные в марево земное  
Синие и красные цветы.

Наблюдай за малышом и робко  
Ощущай библейскую тщету,  
Леденцов душистую коробку,  
Запах мира, сада красоту.

### Крестом осеню

Открой деревянные ставни,  
Прохладу под вечер ищи.  
Земля перемешана с камнем.  
Крапива у дома на щи.

Здесь твёрдые помнят ладони,  
Нехитрый и бережный труд,  
И лёгкую лодку в затоне,  
Где птицы на ветках замрут.

Над дверью прибита подкова,  
Но счастье здесь было вчера.  
И новая жизнь бестолково  
Томится в прихожей с утра.

И дымка — в ней вера и горечь,  
И отрок мужской говорок  
В словесном попробует соре  
И взрослым уйдёт за порог.

А следом и мне — удалиться,  
Июня покой обрести.  
В него мне осталось влюбиться,  
И лето осталось спасти.

И дождь неожиданный выждать,  
В котором дорога суха,  
Крестом осеню себя трижды  
Под каверзный крик петуха.

## У окна

Под чердачными балками где-то  
Жизнь с мансарды острее видна.  
Посмотри, ты же чёрный от света,  
Потому что стоишь у окна.

Тенью—гордый, а профилем—жалкий,  
Бытие на текущем счету.  
Пахнут остро бензином фиалки,  
Небеса предъявят наготу.

Так скажи этой оптике: «Здравствуй»,—  
Потому что на все времена  
Стал невольной причиной контраста,  
И душа в черновик вмещена.

Город виден, хранит содержанье  
Хмарь над жестью изогнутых крыш,  
И стихию несут горожане  
На работу, а ты промолчишь.

Только, к далям бесплотным готовясь,  
Отправляешь сиротски мольбу,  
Уместив в некрасивую совесть  
И в свою и в чужую судьбу.

## Башня

Нам достался Господь бесшабашный,  
Трудоголик, водитель калек.  
Вавилонскую строили башню—  
Был такой у страны нацпроект.

Он стоял у корыта с цементом,  
Он дразнил октябрятским значком.  
Осыпалась листва позументом,  
И лежала природа ничком.

Шлакоблоки замешивал потом,  
И пока вырастала стена,  
Польский спирт разбавляли компотом,  
И его разливал Сатана.

Он шумерам кидал караваи  
И над ними глумился без слов.  
Подъезжали к подножью трамваи,  
Доставлявшие новых рабов.

Помолись в производственном цикле,  
Непорочный осваивай план,  
Будет солнце—серебряный сикель—  
Опускаться в дырявый карман.

Так росла до небес без возврата—  
Белым камнем над миром сиять,  
В окруженье рабочего мата  
Языки и себя забывать.

## Мелкий на асфальте

На асфальте—цветными мелками  
Нарисованный домик с трубой,  
Неказистый корабль с парусами,  
Небосвод небольшой голубой.

Голенастое дитяtko, здравствуй!  
Дай вернуться в твой возраст на миг.  
У курносого облика странствий  
На лице торжествующий блик.

Простота накануне улыбки,  
На качелях взлетает восторг,  
И кузнечик играет на скрипке  
В пёстрой клумбе, похожей на торт.

Но упрямое время верстает,  
Упрекнув фантазёра во лжи,  
Мальчуган дураком вырастает  
И, зарёванный, дальше бежит.

Так какой мы помазаны кровью,  
Если, гостем случайным в дому,  
Вера общая схожа с любовью,  
Но противна хмельному уму?

## Передовица

лЭП чернеют на закате  
Среди просеки к реке.  
Свет последний солнце тратит,  
Исчезая налегке.

Спит ржавеющий бульдозер,  
Вахта брошена в тоске,  
И душа—в анабиозе  
На сухом речном песке.

Острый ветер производства  
Двинет крана рычаги,  
Трудовое первородство  
Загудит среди тайги.

И, в платке явившись красном,  
Крановщица, знатна вся,  
Миражом скользит прекрасным,  
Колыхая телеса.

Жизнь былая с убежденьем  
Ставит памяти вопрос,  
Тлен мешая с вождельнем  
В лязге тросов и колёс.

Снова оживают лица,  
Кочегарный запах мест,  
А в башке—передовица  
С запозданием мысли ест.

## Богомаз

Моленья предвечерняя волна,  
Качается лампада откровенья.  
Душа, как прежде, истиной больна,  
Истерзанная с миросотворенья.

Пусть светится от золота оклад,  
И в паутине красок римский отрок  
Пронзает змия, попирает смрад,  
Являя подвиг мировой и кроткий.

Левкас никак не отпускает кисть  
Из чаши дня или из чаши ночи,  
Желтком яичным краски занялись,  
Отображая перечень пророчеств.

Есть истина сакраментальных фраз,  
Есть бытия распавшиеся части.  
День нарисует новый богомаз  
Без участи, тоски и сильной страсти.

## Ночь

Дует ветер дел заплечных  
Буйной голове в висок,  
Путь— и тот явился Млечный  
Набекрень, наискосок.

Отчего смертельна свежесть  
И поставлена в вину?  
Волки, кровожадно нежась,  
Скалят пасти на луну.

Клювы, вороны, прочистив,  
Больше очи не клюют.  
На душе светло и чисто,  
Да и в душу не плюют.

Только чья-то тень святая  
Тает в медленном огне,  
Крылья больно вырастают  
На истерзанной спине.

Порч и почестей небесных  
Узелком связать невмочь.  
За слезой простой и честной  
Отправляйся в эту ночь.

## Слон

Скрипел бамбуковый салон  
Под тайской пальмовою крышей.  
Но бережно мне серый слон  
Мял спину среди джунглей пышных.

Животный холодок свежѐй  
По телу шѐл буддийской вязью,  
А лопухи его ушей  
Казались сотовою связью.

Страх мир перевернул вверх дном,  
Усердствовал погонщик лихо,  
А я лежал живым бревном  
Под этой процедурой тихо.

Но жизнь соединяла нас  
Никем не видимой проводкой,  
И солнышка слоновий глаз  
Пах крепкой рисовою водкой.

## Тихий свет

Я встану спозаранку,  
Пойму, что день нелеп,  
Бычков открою банку,  
Нарежу чѐрный хлеб.

Где утро в темя дышит  
И брезжит тихий свет,  
Садись, избранник свыше,  
На скромный табурет.

И будет стол, поверьте,  
Гостеприимно прост.  
Так выглядит бессмертье,  
За это— первый тост.

На середине лета  
Зачем такой сарказм  
И неживых предметов  
Несуетный соблазн?

Черна под утро зелень,  
Двора угрюмый свод.  
Лишь остаѐтся верить  
До дрожи: всё пройде́т!

## Станислав Колчин Властью Севера

### Куликово поле

Каждый путь, как бы ни был он сложен,  
Начинается с малого шага.  
Только меч вылетает из ножен —  
Страх и робость сменяет отвага,

И Непрядва тебе по колено  
Даже после слияния с Доном.  
Жребий брошен. Ждала ты смиренно  
Этот день, и подняли знамёна

Твои витязи в поле раздольном,  
Бросив вызов врагам-басурманам.  
Русь, твоя возрождённая воля  
Прозвучала во тьме окаянной,

Ты проснулась — окрасились дали  
Алым заревом сечи кровавой.  
В первый раз ты Орду побеждала,  
Чтоб грядущую выковать славу.

Горечь ига на долгие годы  
Суждено будет снова изведать,  
Но дорога к желанной свободе  
Начинается с малой победы.

.....

1. Нинчурт — гора на берегу священного для саамов Сейдозера, на которой находятся несколько сейдов и много камней необычной формы, похожих на древний мегалитический комплекс.
2. Сейд — священный объект североевропейских народов, может представлять собой особенное место в горах, тундре, тайге, чем-то выделяющуюся скалу, приметный камень, а также сооружение из камней.
3. Белая лебедь — в легендах и сказаниях северных народов Руси именно в образе белоснежного лебеда предстаёт мудрая и прекрасная дева, владеющая различными тайнами, знаниями и чудесами.

### Нинчурт<sup>1</sup>

Белая лебедь сейды<sup>2</sup> заденет крылом.  
Круглые сутки солнце на небе висит.  
Долго идти по несметным камням напролом —  
Только б коснуться самой заветной стези

И осознать: грозный Север ещё сохранил  
Здесь Светорусье в исконной своей чистоте.  
Тайные тропы хранят путеводную нить  
К давним руинам, застывшим в хмельной красоте.

Стены Арктиды, возможно, уже не видны.  
Камни теперь только ветру даруют приют.  
Скрытое прошлое нашей печальной страны  
Пусть бережёт для потомков сакральный Нинчурт.

Может, не зря образ девы был запечатлён  
В этой горе, что расскажет ещё о былом?  
В сумрачный Север станешь безумно влюблён,  
Если незримая лебедь<sup>3</sup> коснется крылом.

### Истоки

Когда-нибудь тоска возьмет своё —  
И я вернусь к молчанью древних стен...  
Седая Русь пред взором предстаёт  
Здесь юной девой в башне — из легенд.

И стережёт то место страшный Змей,  
Которого и нет, но как бы есть.  
Найди его в себе и одолей:  
Проснётся Русь, твою услышав песнь.

И слёзы радости с водой семи ключей  
Сольёшь ты бережно в желании узреть  
Иконный лик той девы, блеск очей,  
Улыбку светлую, — но судеб круговерть

Закружит... Не ищи той девы здесь.  
Она лишь в памяти, как та былая Русь,  
Что дремлет в замке, ждёт благовую весть,  
И ждёт меня, и знает, что вернусь.

Молоди<sup>4</sup>

Молоди... Здесь  
 решалась судьба России  
 Травы забыли  
 запах горячей крови,  
 Чтобы однажды  
 мы у себя спросили:  
 Как же исчезло  
 под вековым покровом  
 В недрах времён  
 имя великой сечи?  
 Сладостный звук его  
 сердце волнует нежно.  
 На Молодинском  
 поле готовит встречу  
 Прошлое наше;  
 с прошлым мы так небрежны...  
 Штурмом отчаянным  
 смело неслись татары—  
 Конными, пешими—  
 на разгуляйный город.  
 Город из пушек,  
 досок, телег составлен,  
 Слит нерушимую  
 волей в стальную гордость—  
 Гибнуть в бою,  
 но врага убивать и ранить.

Нифльхейм<sup>5</sup>

Никогда мне не видеть лазурной зари  
 И в зыбучих песках не оставить свой след,  
 Там, где солнце иначе на небе горит,  
 Погружая весь мир в красно-розовый цвет<sup>6</sup>.  
 Не искать мне дороги в один из миров,  
 Тех первичных миров до создання Земли,  
 Где рождаются мифы, а древний покров  
 Схоронил тайны прошлого, мёртв и велик.  
 Не взойти мне на гору Великий Олимп<sup>7</sup>.  
 Бесполезно искать тут всеильных богов,  
 Что утратили веру,—божественный нимб  
 Их погас в безвоздушности тех берегов,  
 Где века не шумит полновольно вода  
 И разносят ветра кремнезёмную пыль.  
 В тех суровых краях не бывать никогда,  
 Не узнать тайну сказок и горькую бль.  
 Но и здесь, в царстве сосен и белых берёз,  
 Вопросал о судьбе—лишь молчанье в ответ  
 На вопрос, где Она, и безмолвный прогноз:  
 Ты скорее увидишь лазурный рассвет!

Степь опрокинуть  
 лесу пророчит поле.  
 Астрахань взята,  
 наши войска в Казани,  
 Каждой Орде  
 жалкая светит доля:  
 Больше не быть  
 и городов не грабить.  
 Крымское войско  
 дрогнуло в день четвёртый.  
 Русский удар  
 был для него внезапен.  
 Скачут татары  
 прочь, не считая вёрсты.  
 Вот и окончен  
 спор, и закрыты темы.  
 Вновь спасена  
 Москва, в этот раз надолго.  
 Не одолел  
 Ивана ордынский демон,  
 Но победитель  
 будет потом оболган.  
 Битва при Молодях  
 будет совсем забыта,  
 Но возвратится  
 тьма, и наступит вечер.  
 Вспомнит земля  
 вкус крови, что здесь пролита,  
 Травы зашепчут  
 имя великой сечи.

- .....
4. Молодинская битва, или битва при Молодях (29 июля—2 августа 1572 года)—битва, в которой русские войска нанесли сокрушительное поражение многократно превосходящим силам Крымского ханства. По своему значению некоторые историки приравнивают её к битве на Куликовом поле.
  5. Нифльхейм—туманное ледяное царство великанов, которое существовало ещё до сотворения мира.
  6. Во время восхода и захода Солнца марсианское небо в зените имеет красновато-розовый цвет, а в непосредственной близости к диску Солнца—от голубого до фиолетового.
  7. Гора Олимп (*лат.* Olympus Mons)—потухший вулкан на Марсе, вторая по высоте гора Солнечной системы, её высота—21,2 км от основания.

Аркаим<sup>8</sup>

Восходит солнце  
над Арианой<sup>9</sup>,  
Волнуясь, гнётся  
к земле ковыль,  
Меняет время  
ландшафт и страны,  
Следы народов  
стирает в пыль.

И даже Слово,  
сливаясь в Веды,  
Не знает правды  
про Аркаим.  
Его историю  
помнит ветер,  
Её из пепла  
мы возродим

В своём стремленьи  
домой вернуться.  
Не важно, что мы  
увидим здесь:  
В степи сольются  
века в минуты,  
В простор, где знаки  
смогли прочесть.

По ним понять,  
что не эти сопки  
Исполнят грёзы,  
что так храним  
Под самым сердцем.  
Наступят сроки,  
И мы вернёмся  
в свой Аркаим,

Что власть простёр  
над седым Уралом.  
Пускай у власти  
солёный вкус,  
От предков предков  
с тех пор осталось  
Потомкам славное  
имя Русь<sup>10</sup>.

- .....
8. Ариана— гипотетическое самоназвание «Страны городов» (синташтинской культуры), исходя из вероятного протоиндоиранского происхождения её населения.
9. Аркаим— укрепленное поселение рубежа 20/18—18/16 вв. до н. э. на Южном Урале со сложной архитектурой и фортификацией, относящееся к т. н. «Стране городов».
10. Русь— по версии О. Н. Трубачёва и других лингвистов, восходит к индоиранскому слову «gussa» или «rukса»— «светлый».
11. Китеж— скрытый город, куда могут войти лишь избранные, чистые сердцем.
12. Голунь— столица докиевской Руси (по версии Иванченко).

## До встречи в Гиперборее

Все мои стихи— разговор с тобой  
Через десять лет или пять веков.  
Может, мы прошли разною тропой,  
Жили и росли слишком далеко,

Но я понял вдруг: ты не родилась  
На Земле сейчас, но ещё придёшь  
И увидишь, как мрак окутал нас,  
И омоет боль с глаз солёный дождь.

И когда тоска твой погубит сон,  
Помни, знай и верь: ты здесь не одна.  
Скованы мечтой мы со всех сторон,  
И открыта нам тайная страна.

## Властью Севера

Властью Севера заклиная вас,  
Явь минувшая, правь свободная.  
Призываю я в этот страшный час  
Силы древние, мощь природную.

Заклинаю вас, рощи тёмные,  
Реки чистые, рвы глубокие,  
Небо звёздное, безобъёмное,  
Скалы грозные и высокие,

Лавы огненны в недрах родины,  
Землю милую— мать предвечную,  
Бури, молнии многосотенны,  
Звёзды дальние, звёзды млечные.

Заклинаю я кровь уснувшую,  
Память горькую, совесть давнюю,  
Злость, свободу нам не вернувшую,  
Честь, величию предков равную.

Но останется весть из прошлого—  
Кровь, что впитана в поле клевером.  
Всё, забвением что запорошено,  
Заклинаю я властью Севера!

## Освобождение

Ты так же, как я, видишь:  
Засыпана правда насыпью.  
Входишь в мой город Китеж<sup>11</sup>,  
Единственной будешь названа,

Кто смотрит сквозь морок в Правь  
Всех сущностей, новыми красками  
Мир высвечен, путь избрав,  
Пойдём нитью Рода красною. . .

И ложных понятий валун  
Развалится с грохотом страшным:  
Да будет отныне Голунь<sup>12</sup>  
Сердцем сердца нашего!

Елена Данченко

## Облатка с ангелом

### Больница в Андалусии

В октябре мне не повезло: я попала в испанскую больницу. На самом юге Испании, в провинции Алемрия. Туда мне совсем не хотелось, но в лёгких скопилась жидкость, и наш земский врач дал направление в медицинский центр в Куэвас-дель-Альмансора. Там меня осмотрели, смерили давление, взяли анализ крови и быстренько спровадили в больницу в Уэркаль-Овера. Мы с Янриком понадеялись, что мне выпишут инъекции и я буду лечиться амбулаторно: это мне ободряюще пообещали врачи из Куэвас и выписали направление — уже в больницу. В больнице Уэркаль-Овера меня снова погнали по привычному кругу: анализы крови, рентген, кардиограмма, сначала обычная, за которой последовала более сложная эхокардиограмма. . . Молодой врач вынес вердикт: — Амбулаторному лечению не подлежит.

Врач, как на грех, не говорил по-английски, тем более по-голландски, а я до сих пор не говорю по-испански, — в общем, Янрику пришлось поработать переводчиком. Врач убедил мужа согласиться на моё лечение в больнице — по причине моего не самого лучшего состояния. Но не самое лучшее состояние — ещё не самое худшее, и я, в свою очередь, долго и упрямо убеждала Янрика увозить меня домой. Врач оказался упрямым, Янрик — не менее упрямым, между двух упрямец моё доблестное сопротивление было обречено. . .

В андалусские больницы просто так не пускают: если нет своей пижамы, то заставляют надеть больничное — штаны в три четверти длины и просторную кофту голубого цвета, — и лишь после обряда переодевания выпускают из предварилочки и препровождают в отделение. Янрика переодеваться не принудили, пустили в чём был, что несколько удивило: а в чём тогда смысл моего принудительного переодевания?

Палата оказалась очень хорошей — всего лишь на двоих, и я была одна. Янрик обрадовался, сказал, что привезёт мне сегодня же вечером пижаму, компьютер и всё необходимое, и исчез, а я стала оглядываться. Оконные рамы замечательные, новые, чистый туалет, совмещённый с не менее чистым душем, на полу настоящий мрамор — обычное дело в Альмерии: здесь его добывают. В палате всё как в обычной европейской больнице, но у стены,

противоположной кроватям, почему-то стояли два тяжёлых, каких-то угрюмых раскладных кресла. «Зачем это?» — промелькнуло в голове. Появилась сестра, сделала укол фуросемида и что-то сказала, чего я не поняла. Из нескольких знакомых мне испанских слов я соорудила фразу и донесла до сестры, что говорю *inglés*, она поняла и куда-то ушла. Вместо неё появилась другая сестра, на этот раз англоговорящая. Она спросила, как мои дела, как я себя чувствую, и сказала, что уколы фуросемида будут делать часто, а еду мне принесут. Еду на самом деле принесли на подносе, и она оказалась вкусной: мисочка протёртого овощного супа, кусок рыбы с рисом, тушёные овощи, йогурт и яблоко. И стакан сока.

Вечером приехал Янрик, как и обещал, привез всё, что нужно для больничного времяпровождения, а главное — компьютер, и жизнь наладилась. Я пообещала Янрику очень скоро поправиться и выйти из больницы, и он снова уехал с лёгким сердцем. Счастье моё продолжалось ровно сутки: с субботнего вечера по вечер воскресный. . .

В воскресенье поздно вечером привезли в палату пожилую женщину. Женщина была подключена к кислородному баллону, в носу две трубочки. Ничего, и я такая лежала (в Голландии), причём в гораздо худшем состоянии. Вновь прибывшая глазами хлопает, улыбается, разговаривает, вполне вмняема. Знаю по себе, что если пациент так выглядит и реагирует, значит, состояние пациента не критичное.

С ней заходит ещё одна женщина, совсем здоровая, в обычной повседневной одежде, и. . . не уходит. Час не уходит, второй. Я даже попросила её купить мне воды в автомате на этаже. Янрик забыл привезти мне питьё, а от фуросемида постоянно хочется пить — это лекарство высушивает так, что гортань слипается от жажды, говорить трудно, и даже во сне снится вода. . . Родственница болящей соседки купила мне бутылку минералки за девяносто пять центов по моей просьбе: у меня не было монет, а бумажку в двадцать евро никто не сумел за целый день разменять. Но. . . родственница всё равно не уходит, и я не понимаю почему. А потом со страшным грохотом сдвигает тяжеленные кресла и. . . укладывается спать. Сёстры на это

спокойно смотрят и приказывают мне выключить свет. Я человек тихий, понимающий: достучиваю фразу на компьютере, архивирую документ, выключаю инструмент, свет. Иду в сестринскую и прошу объяснений. Мне на слабом английском языке заявляют:

— А у нас в Испании так положено, — и тут же спрашивают: — А что, у вас в Голландии не так разве? — У нас и в России не так. В больницах ночуют только больные, а родственники приходят лишь в часы посещений. Не хотите ли мне показать документ, в котором написано, что в Испании такое возможно?

Меня ведут к стенду, который я даже успела сфотографировать. Там на многих языках мира, в том числе и на нашем родном языке, написано: «Пациенты могут сопровождаться в больницах родственниками на протяжении всего курса лечения, если это не входит в противоречие с медицинскими показаниями». И ни слова о соседях пациентов и о противоречиях с их соседскими медицинскими показаниями. Хитро закручено. И ни слова о ночёвках родственников под носом у пациентов-соседей по палате. Излагаю им всё это на английском и на нескольких испанских словах. Понимают меня плохо, настаивают на своём.

— Покажите, — говорю, — детальные правила.

Правил в деталях мне не показали.

Возвращаюсь в палату.

Хочется спать, я всё ещё задыхаюсь, слабость валит с ног, в палате дышать нечем, здоровая родственница пользуется туалетом для больных, гремит тяжёлыми креслами, бабка рядом громко булькает жидким кислородом, они о чём-то вслух болтают. Мило. На мои потребности не реагируют.

Снова иду к сестринскому пункту.

— Хорошо, — говорю, — а если я завтра сюда мужа приведу и ещё десять родственников, что тогда? Будем все вповалку спать?

— Нет, — отвечают, — не будете, палата только на четверых. На втором кресле может спать ваш муж.

Удивляюсь про себя: «А почему только на четверых? Штук десять родственников на полу разлюли-малина разместятся. Туалет, душ, горячая вода — всё есть в палате! Еду по-соседски поделим, порции здесь хорошие». Прошу:

— Позовите врача.

— Врач занят, — отвечают.

— Хорошо, позовите ассистента. Я имею право на сон, а здоровая родственница соседки его постоянно нарушает.

На меня шикают. Шикаю в ответ. Звоню мужу и прошу его немедленно забрать меня домой, потому что желание жить пока ещё не иссякло. Муж поговорил с испанцами по телефону и пообещал приехать. А я уже почти плачу и прошу сестёр показать мне хотя бы одну палату с родственниками пациентов. Меня ведут по коридору и показывают

палату, в которой находится молодая мать с ребёнком. Они что, издеваются?!..

— Знаете что, — сообщаю сотрудникам больницы, — документ вы мне адекватный и детальный показать не можете. Ваш стенд демонстрирует мутное и странное правило, которое трудно назвать законным. Пока здоровая женщина не покинет палату государственного учреждения, я спать отказываюсь и буду кричать на весь этаж. Моя соседка не умирает, и я пока что не умираю, но если вы превратите палату в проходной двор, то умру, что никак не входит в мои планы.

Затем попросила привести полицию. Полицейские пришли, объясняю им по-английски, они не понимают ни черта... Но я говорю, говорю на непонятном им языке...

— Правее, конечно, испанка, что логично: эта страна принадлежит ей по праву рождения. Роль «понаехавшей» мне и в Голландии обрыдла, если честно. За нашу испанскую квартиру заплачено полностью, хотя мы всё ещё выплачиваем за неё кредит банку, но это не смертельно — платим же! Мы тут легально зарегистрированы, мы не отдыхающие туристы.

Говорю им:

— No pasarán, — шустро вспомнив лозунг доблестного чилийского народа в борьбе за свободу и равноправие.

И заодно пункт о недопустимости дискриминации в лечебном заведении, который мои глаза успели выхватить со стенда.

Вероятно, мой речевой поток, интонации, эмоции и отдельные испанские слова дошли до полицейских. Происходит чудо... вторую больную с её здоровой членшей семьёй срочно эвакуируют. Уходя, тётка схватила бутылку, вылила её содержимое в раковину с проклятьями в мой адрес. Саму пустую бутылку энергично смяла и бросила на пол. Без слов я начинаю демонстративно жевать принесённое из дома яблоко. Яблоко оказалось сочным, сок потёк по подбородку, пришлось утираться рукавом казённой пижамы. Утираюсь так же демонстративно. Темперамента мне не занимать — могу составить конкуренцию местным. Полицейский что-то угрожающе мне говорит про Мурсию. На всякий случай обещаю устроить международный скандал, если они только посмеют замести меня в полицейский участок. Звоню Янрику с настоятельной просьбой меня забрать как можно быстрее, потому что, кажется, мне угрожают посадкой в тюрьму. На глазах изумлённой публики пакую сумку. Тут же прибежал врач, владеющий английским языком, бледный как полотно. Не было, значит, никакой у них ургенции (срочного вызова)! Так, голову морочили сёстры «туристке» понаехавшей. Про правила родственного жития в андалусских больницах никто толком ничего не смог объяснить... С таким же успехом и я могла

бы рассказать, что «а у нас в Гонулулу можно не только по ночам в палатах здоровым людям ночевать, но и любовью заниматься с больными», и ткнуть пальцем в размытый текст инструкции, отпечатанной на ксероксе и вдохновенно сочинённой мною самой.

Пять раз ко мне подходили с какой-то бумажкой на подпись. Я качала головой и говорила: — Вот придет «ми маридо» (мой муж), переведёт текст, и если всё корректно, я подпишу.

Интересное дело: ко мне, сердечнице, в палату, не спросив моего согласия, подсунули совершенно здоровую тётку вместе с больной, громко хлюпающей кислородным аппаратом, но при этом вполне весёлой, разговорчивой и живой, не предоставили ни единого документа о том, что родственники могут жить в палатах даже по ночам, наговорили про несуществующую ургенцию, а врачи в это время уютно чаи гоняли в ординаторских! И вообще не захотели лечить амбулаторно. И ещё какие-то бумаги непонятные подсовывают.

Я ждала врачей. Вот пусть и они теперь подождут. Янрик скоро возник — второй раз за воскресенье, перевёл бесхитростный документ о том, что я отказываюсь от лечения (слава Богу, хоть за решётку не посадят), я подписала, и мы оправились домой. Вооружённые полицейские провожали меня до самого выхода. На часах было два часа ночи... А в три часа утра я уже благополучно спала в своей деревне.

### Облатка с ангелом, или Как попасть в Таллин вместо Вильнюса

Очень просто. Сначала надо собрать в дорогу объёмистые чемоданы с вещами на пару месяцев и отправить с ними мужа на машине с прицепом, договорившись встретиться в вильнюсском аэропорту через три дня. Потом привести квартиру в порядок, не особенно заморачиваясь упаковкой последнего чемоданчика — ручной клади (компьютер, зубная щётка и больше почти ничего). Написать записку с последними ценными указаниями Трауди, приятельнице и соседке, которая присматривает за домом в наше отсутствие. Встать рано утром (самое трудное), стряхнув ночной кошмар (а снилось, что я не могу попасть на свой рейс), дождаться такси и выехать в Схипхол. Бодро встать в очередь к регистрационной стойке, отстоять её, внутренне насвистывая, и, только подойдя к регистраторше, понять, что... забыла паспорта. Все до одного, у меня их три. Караул полный, но паниковать, тем более плакать, некогда.

Пришлось побеспокоить Трауди и попросить её привезти паспорта. Трауди идея не понравилась. Ещё бы — ехать из Дрибергена в Зейст, карабкаться на третий этаж, искать паспорта, потом везти их

за сто километров в аэропорт... а у неё встреча с подругой. Она очень не хотела, но обещала привезти.

Сообразив ещё у стойки, что мой самолёт улетит через час двадцать и Трауди в любом случае не успеет, пошла к кассам «Last minute» — купить новый билет, по дороге попытавшись узнать, где и как сдать пропавший билет. Насчёт улетевшего билета сказали:

— Звоните в Ригу, в Air Baltic. А по поводу нового билета — станьте во-он туда, в другую очередь.

Перешла, стою в новой очереди, не дёргаюсь — видно, суждено мне сегодня в очередях стоять. Заодно позвонила в Ригу. Дозвонилась с пятого раза (вечное «занято» и «ждите ответа» с последующим срывом связи) и услышала, что билет куплен через компанию KLM и обращаться надо туда. Стою кариатидой, не шелохнувшись. Симпатичная молодая китаянка за стойкой (по-голландски не говорит, перехожу на английский) сделала всё возможное и невозможное, перелопатив все авиасайты. На девятнадцатое июля почти всё оказалось распродано, остались кое-какие билеты на завтра... На двадцатое — билеты в бизнес-класс по семьсот-восемьсот евро (кхм-кхм), и даже их смели перед носом, пока я обалдела думала. Чудом нашлись два билета: один — на завтра в Вильнюс с пересадкой в Таллине, за триста восемьдесят, другой — на сто евро дороже, но на сегодня и в Таллин. — Резервируйте оба, и срочно! — пискнула я. — А паспорт мне скоро принесут.

Надо было советоваться с Янриком. Позвонила ему. Успела сказать два слова, и... телефон сел. Пошла побираться по аэропорту. Одна из сотрудниц в синей форме согласилась дать трубку, но строго на один короткий разговор. Кое-что успела сказать мужу. Трауди позвонить уже не удалось. А вот девушки у стойки «Last minute» любезно согласились дать трубку рабочего аэропортового аппарата на сколько угодно, протянув её на шнуре над стойкой. Янрик спросил только, где «этот Таллин». Просветила его, что где-то у границы с Финляндией, столица Эстонии вообще-то.

За то время, пока искала ещё одну возможность позвонить, Янрик успел остановить машину на польской трассе, заглянуть в Google Earth и понять, сколько километров ему придётся ехать до Таллина. На самом деле — шестьсот дополнительно, а потом ещё столько же на юг, к Латвии и Беларуси, но я тогда этого ещё не знала.

— Доеду, — бодро пообещал Янрик, — лети в Таллин.

Паспорта пока не было, и я сказала добрейшей китаянке Тинг, что пойду сдавать билет. У всех стоек аэропорта меня дружно посылали с моим просроченным тикетом Air Baltic. Голландцы слабо понимают, что значит слово «Таллин» и где такой населённый пункт находится.

Оглянулась и увидела бегущую по людским волнам Трауди в сопровождении полисмена. Она сунула мне в руки паспорта с озабоченным и, я бы сказала, озлобленным лицом, буркнув при этом: — Ты ввергла мой день в хаос. И я немедленно убегаю, потому что не могу стоять у аэропорта.

Побежала в обратную сторону, не дожидаясь ответа... А ведь паспорта-то привезла—аллилуйя! Потом я долго строчила ей эсэмэски с объяснениями, и она даже что-то из них поняла. Но ведь—чёрт!—я всё равно сорвала ей—встречу! С подругой!!! Наверняка они собирались пить чай с тортом выпечки самой Трауди. Наша смотрительница—знатный пекарь. Две женщины собирались рассказывать друг другу свои нехитрые новости, неторопливо и с паузами перемывать кому-нибудь косточки... такие встречи назначаются порой за месяц.

Теперь я внимательно огляделась. Основная голландская компания KLM находится в конце второго зала отбытия, а я—в начале первого... Мама, роди меня обратно!—чтобы я не тащилась через две кишки немереной анаконды породы «Отбытия. Схипхол»... ведь я так плохо себя чувствую и падаю от усталости. Но поплелась. Пришла. Взяла билетик своей очереди, дождалась её—чтобы услышать несколько деловых бесчеловечных фраз: — Мы денег не выдаём. Вы билет заказывали через Интернет, вот через Интернет и обращайтесь. Шансов мало, но, возможно, что-то вернут. Не забудьте заpastись справкой от врача. Всё, следующий!

«Это во сколько же мне обойдётся экскурсия в таллинский аэропорт? И о чём должна быть справка от врача—о том, что у меня малярия?»—застучали в голове невесёлые и простенькие мысли, в то время когда ноги, заплетаясь и спотыкаясь одна о другую, несли меня к Тинг, за билетом.

— Давайте, — говорю, — билет.

Тинг защёлкала клавишами, спросив, как я буду платить—наличными или картой.

— Картой, — и сую ей банковскую карточку.

Она мне—аппаратик. Ввожу карту, код, получаю чек, почему-то на десять евро дороже. Тинг объясняет, что в «Последней минуте» такие порядки: при оплате картой всё дороже. И тут выясняется, что аппарат по распечатке билета не работает. Тинг вежливо просит подождать, пока она сходит в соседнее окно и распечатает билет. Возвращается. Берёт чистый лист бумаги и пишет цифири и буковки. Протягивает со словами:

— Извините, и там аппарат не работает. Но вы не волнуйтесь, вы есть в системе, билет куплен.

— Нет, это вы меня извините, но я никуда не уйду без билета. Я заплатила почти пятьсот евро, совсем мне не лишних, и мне нужен билет.

— Тогда я пойду с вами на регистрацию—она скоро начнётся.

И мы бодро зашагали в непонятный и до последнего времени несуществующий терминал 1А, в котором я пока ещё не была. Оказывается, в этом году его только-только сдали—для рейсов на север.

Билет, кстати, в том терминале мне всё-таки распечатали, чем хоть как-то душу успокоили. Настала пора отпустить Тинг и хоть как-то возместить ей недоверие издёрганной пассажирки—меня. Денег нет, конфет и шоколада тоже нет, и тут я вспоминаю про красивый металлический овальный знак в кошельке. Такая серебристая облаточка с девочкой-ангелочком в платьице и гольфах. У девочки крылышки, в руках корзинка, а сверху написано: «Ваш ангел всегда с вами». Купила я бляшку на выставке ангелов в музее религии Утрехта, довольно давно. Вынимаю облаточку-ангелочка и, взглядевшись в образ девочки... вижу явное сходство с Тинг! Те же две косички по бокам, тот же острый подбородочек и раскосые глаза.

— Возьмите, она ваша. Больше у меня ничего нет, но она принесёт вам удачу.

Обнялись и попрощались, и я пошла в новый, совсем новый зал—ждать очереди на посадку в неизвестный мне доселе город Таллин.

Елена Басалаева

## Девушка из города

*Я видела страдания во тьме, но я также  
видела, как в самых неожиданных  
местах рождается красота.*

М/ф «Тайна Келлс»

## Лето первое

## Мама и тётя

Каждый год, когда кончались уроки, были сданы учебники и отработана практика, я уезжала в лагерь. Как ребёнку матери-одиночки, мне полагалась бесплатная путёвка. Полагалась, однако, до четырнадцати лет включительно, а после десятого класса мне уже было пятнадцать с половиной. Шансов, что в таком солидном возрасте меня опять пригласят петь отрядные песни и маршировать на ужин в «Бирюсинку» или «Сказку», не оставалось никаких.

Дома заняться было нечем. Десятый класс благополучно — ну и пусть, что с четырьмя тройками за год, — остался позади. Одно время, ещё весной, я начала подумывать, что пора завязывать со всей этой школой и пойти получать какую-нибудь профессию. Хотя бы, например, повара. Кормить людей. Разве не полезное дело?

Я даже заикнулась об этой своей задумке маме. — Мам, а что, если я заберу документы прямо сейчас, не пойду в одиннадцатый и буду учиться на повара?

Она поморщилась, как от какого-нибудь неприятного звука:

— Чего?..

— Ну, поваром стану, там, ПТУ закончу...

— Чего-чего?

Чувствуя себя на редкость глупо, я повторила:

— На повара пойду, в училище выучусь...

Мама подняла глаза к потолку и произнесла только одно слово, зато с чувством:

— Гос-споди!

— Я знаю, что не очень хорошо готовлю... Так ведь там научат. Целых два года учиться. Практика же будет... — залепетала я.

— Сиди уже! — внезапно крикнула мама. — Чушь какую-то мелет. Повар с шести утра на ногах! Картошку путём пожарить не можешь. В школу

пойдёшь. Не выгнали — и слава Богу. К репетитору по математике будешь ходить.

Слова были привычные, но всё-таки мне стало обидно.

— Я ещё суп из сайры умею варить! И песочное печенье мы с Ольгой делали по книжке!

Я закончила десятый класс и весь июнь томилась дома.

Мама была постоянно чем-то занята. Даже сейчас, в отпуске, она перебирала, протирала и перекладывала на другие места всяческие нужные вещи, вычищала грязь на обоих балконах, кипятила в громадной кастрюле воду, когда отключали горячее водоснабжение, и делала массу других полезных дел.

Она всегда работала, а мне долго отводила роль наблюдательницы. «Смотри и учись!» — советовала мама. Я и вправду смотрела, но большего мама мне не разрешала, дабы я ничего не испортила, не разбила, не разлила. Но в седьмом классе мама как-то до обидного внезапно стала требовать приготовленной еды, чистого пола, глаженого белья. Понятное дело, что ничего такого я не умела, хотя и смотрела на то, как это делается, целые годы. К тому же я привыкла, что сравнительно уютное существование мне всегда обеспечивает некто пусть вредный и ворчливый, но по-своему заботливый, и не могла привыкнуть к мысли, что этот порядок изменится.

Всё же, видя, что мама злится и упрямо требует от меня хозяйственных дел, я вооружилась книжкой «Для вас, девочки» и по ней стала учиться готовить простенькие салаты, жарить картошку, стирать носки и даже мыть полы. Я старалась, но мама обычно была недовольна. Однажды, когда я мыла обувь в коридоре, она начала кричать, что смотреть не может на это безобразие, выхватила у меня тряпку, пару раз больно хлестнув меня ею, велела убираться прочь и принялась домывать всё сама.

Готовить мне, впрочем, понравилось, и мы с подружкой Ольгой, вооружившись книжками, собирались у неё дома и колдовали на кухне. Первые блины пришлось выбросить собакам, песочным печеньем можно было заколачивать гвозди, зато однажды мы испекли такие шедевральные конверты из слоёного теста с сыром, что Ольгин

отец съел сразу четыре штуки. Кроме готовки, мы, как тогда было модно, плели разные «фенечки» из бисера, но в праздники и каникулы в основном, конечно, занимались дуракавалянием. Мы звонили по телефону и говорили на разные голоса, разыгрывая незнакомых тётенек, шарахались по улицам, переделывали на свой лад заданные в школе стихотворения и рассказы и потом хохотали над этими пародиями.

Мама у меня вставала раним-рано даже в выходные и работала практически всегда. С восьми до двух она трудилась на основной работе, с трёх до шести подрабатывала в детском центре, после ужина дома пельменями или варёной овощной смесью, а в восемь часов отправлялась мыть полы в небольшом офисе на первом этаже соседнего дома. В эту контору я частенько ходила вместе с ней, и по сей день слово «офис» у меня ассоциируется с мусорными вёдрами, пылесосом и тряпкой для пыли, с которой я ползала по верхам шкафов.

Мама жаловалась на то, что ей никто никогда не помогал и не помогает, но в то же время (как я стала понимать лет с двенадцати) гордилась этим. Даже вернувшись домой где-нибудь в половине десятого, она долго не ложилась спать: стирала и развешивала бельё, ставила варить курицу для супа, а иногда проверяла мою школьную сумку. Все самостоятельные работы на листочках, если там стояли двойки или тройки, я предусмотрительно выкидывала, но из тетрадей вырывать листы не рисковала, и тут-то мне попадало. Обычно несчастная тетрадка летела мне в голову с нелестными комментариями о моих умственных способностях. В воскресенье я покорно садилась за уроки, делала задания, в которых сколько-нибудь смыслила, а те, в которых не смыслила, всё равно выполнить не могла и поэтому с отрешённым лицом сидела за раскрытой книгой, пока мама рядом смотрела телевизор. И мечтала о своём, о девичьем.

Но больше всего я радовалась, когда приходила тётя Люба.

На самом деле она, конечно, не была для меня никакой тётей. Всего лишь маминой приятельницей. Мама сама говорила, что подруг у неё нет, потому что подруг имеют только те, у кого слишком много свободного времени, но всё-таки две хорошие знакомые у неё были. Я звала их тётей Томой и тётей Любой.

Тётя Люба жила в том же самом подъезде, что и мы с мамой, в такой же однокомнатной квартирке. Дома у неё стояли ничем не примечательные мебельный гарнитур и холодильник «Бирюса». Она покупала помаду того же цвета, что и мама, ела те же молочные сосиски и колбасный сыр, ездила в таких же автобусах и надевала на работу совершенно такие же, как у мамы, чёрные туфли-лодочки.

Но насколько же она отличалась в моих глазах от мамы, да и вообще от всех остальных людей!

Любовь Ивановна казалась мне очень красивой, хотя я никогда не могла бы точно объяснить почему. Она была невысокой, полноватой, с большой грудью и постоянно пыталась худеть. Но я считала, что худеть тёте Любе совсем не обязательно — она была сильной, гибкой, двигалась как-то очень ловко и гармонично.

У неё не было денег на дорогие украшения, и она покупала себе бижутерию из поделочных камней или вовсе пластмассовую. Бусики, серёжки, колечки были для неё как игрушки для ребёнка. Какую-нибудь очередную безделушку она показывала мне, хвасталась, примеряя, и в её зеленватых глазах сверкали лукавые искорки. Но особенно я любила её голос: из него струилась какая-то магия; слушая тётю Любу, хотелось, чтобы она подольше была тут и продолжала говорить, причём неважно что.

Она иногда забывала вещи. Бывало, что опаздывала. На большом столе, где Любовь Ивановна кроила одежду (она работала швеей на дому, хотя по образованию была учительницей математики), часто валялись разные лоскуты ткани, булавки, нитки. В квартире у тёти Любы вообще никогда не наблюдалось идеального порядка, который так старалась вести у нас моя мама. Уборка у неё была быстрой: одной и той же тряпкой она могла протереть окна, потом стол, потом пол, а после всего вытряхивала с балкона коврик.

Однажды мама попросила её помочь с поклейкой обоев в коридоре. Тётя Люба заверила, что в этом деле она спец, и управилась за пару часов. Отужинала у нас, нахваливая мамину стряпню, и счастливо отправилась домой, не слыша, как мама причитает над криво обрезанными снизу полосками и вздувшимися пузырями.

У тёти Любы не было детей: один раз, как мне рассказывала мама, она родила мёртвую девочку, потеряла много крови и с тех пор не могла иметь ребёнка. У неё были только племянники от братьев и сестры, да ещё я.

Она была рядом с тех самых пор, как встретила мою маму из роддома. Мама считала, что я недоедаю, допаивала меня овсяным отваром, а оставшуюся кашу, чтобы не выбрасывать, додала тётя Люба. Потом тётка ходила для меня за кефиром на молочную кухню. Ещё позже — шила наряды на Новый год.

Но сильнее, чем Новый год, я ждала тёти-Любины дни рождения. Я звала маму спуститься на пятый этаж как можно раньше, чтобы подольше подышать этим воздухом предвкушения праздника, побыть среди всех этих улыбчивых приятельниц тёти Любы — не таких красивых, как она, но тоже по-своему славных. Некоторые из них приходили с мужьями, и после ужина всегда были танцы. Если ставили что-нибудь весёлое, я тоже плясала, как могла, или (когда была поменьше) просто-напросто бегала от радости из комнаты

в кухню. Если ставили музыку медленную, то садилась на диван, обнимала колени и заморожено смотрела на то, как танцуют взрослые. Тётя Люба обычно танцевала со своим Рустамом. Я была в курсе, что они неженаты и не живут вместе, а только встречаются, но почему это так — не знала, да никогда и не интересовалась. С меня было достаточно, что дядя Рустам почти такой же весёлый, как тётя Люба, и, кажется, любит её. Мне очень хотелось, чтобы мамину подругу любило как можно больше людей.

Я замирала от тихого восторга, когда на этих днях рождения тётя Люба выводила меня за руку из-за стола и шуточно объявляла:

— Ну а теперь, дамы и господа, товарищи, выступает народная артистка Октябрьского района Анастасия Инякина!

Совсем маленькой, лет до восьми, я лихо на-ривала Азизу:

Милый мой, твоя улыбка  
Манит, ранит, обжигает,  
И туманит, и дурманит,  
В дрожь меня бросает!

Меня и правда бросало в дрожь — понятное дело, не от милого, которого ещё быть не могло, а от сладкого волнения, оттого, что на меня смотрят люди и дарят мне свои улыбки, взгляды, нежность, называют Настенькой...

Тёте Любе тоже нравилось петь, но получалось у неё не очень стройно. Гораздо лучше она танцевала цыганочку под музыку из «Жестокое романса» или какой-то неизвестной мне мелодии с магнитофонной кассеты. Гости хлопали ей в ладоши, потом тётя Люба, царским жестом взмахивая бордовой с кистями шалью, кричала:

— Танцуют все! — и мужчины принимались притопывать и кружиться вокруг неё так, что в шкафу вздрагивали и позванивали рюмки.

Тётя Люба манила, кружила, лихо притоптывала каблукочками красных туфель. Воздух комнаты насыщался запахами пота и разгорячённых тел, одеколона и духов, душистых роз и сваренного кофе. Цыганский хор рвался наружу из музыкального центра, ему вторили порывистые возгласы мужчин и женщин, и в хмельной круговерти праздника моё взволнованное, колотящееся сердце чьюло какую-то безумную попытку преодолеть, прорвать этим гомоном, этой пляской мрачную темноту давившей в окна январской ночи. Музыка ставили по два и три раза, но рано или поздно обессиленная хозяйка падала на диван, вытирая влажное раскрасневшееся лицо, и вслед за ней все другие останавливались тоже. Потом румяная, немного захмелевшая тётя Люба наливала мне, наравне со всеми гостями, кофе, приносила торт. За тортом одна из подруг Любови Ивановны, маленькая женщина с чёрными глазами, пела песню про город

золотой, кто-нибудь обязательно читал стихи, кто-то рассказывал про своих детей. Наконец, наступала пора разъезжаться, и гости, обнимаясь в прихожей и желая ещё и ещё раз имениннице всяческих благ, уходили один за другим в морозную чёрную стынью — до следующего праздника.

Я мечтала, что, когда вырасту и начну зарабатывать деньги, непременно принесу тёте Любе самый лучший подарок, что-нибудь такое, чего достойна только она. Пока что я рисовала ей пышные красные розы на сложенных в виде открытки листках.

До шестого класса мама проверяла все мои уроки, а математику и вовсе делала наполовину сама. Но после того, как она устроилась подрабатывать в офис, даже у неё не хватало сил на то, чтобы объяснять мне формулы и графики. Я стала ходить по вторникам и четвергам заниматься к тёте Любе.

Мы учились с ней два года, а потом почему-то прекратили, и после этого встречи с тётей Любой стали до обидного редкими. Она почти не заходила к нам: наверное, в её насыщенной жизни и без нас было много интересных дел. Даже когда мама случайно сталкивалась с ней в магазинчике или возле подъезда, они перекидывались лишь несколькими фразами.

— Что тёте Любе до наших проблем? — стала говорить мама. — У неё жизнь другая, детей нет. А у меня ребёнок, ты. Она не поймёт никогда, что ребёнок — это всё!

— Но у неё же есть племянники, — возражала я. — Это другое. Пришла, поводилась, в цирк сводила — это совсем другое. А ночей не спать, лечить, учить, одевать...

Я не слушала мамины рассуждения. Только грустила.

### Моя эльфийская родина

Почти случайно узнав, что я в это лето скучаю дома, тётя Люба предложила взять меня к своей родне в деревню Мальцево, и моя родительница неожиданно согласилась.

Проснувшись в восемь утра, я поехала на вокзал, а потом, уже к обеду, пошла вместе с мамой в рейд по рынку. На наводнённом людьми жарком базаре запах был как из моего детства — пахло солнцем и пылью от асфальта, едкой резиной и сладковатым удушливым ароматом пластика от китайских шлёпок и костюмов.

Мы накупили самые разнообразные вещи для всех живущих в Мальцеве тёти-Любиных родственников. Возраст родни существенно колебался — от грудного до старческого. Мама взяла ползунки и кофточка, шампунь и мыло, колбасу и грецкие орехи. Волновалась она чрезвычайно и от этого засыпала меня наставлениями:

— Едешь к чужим людям... Кто знает, как они тебя примут? Плохо будет — звони и возвращайся! Мало ли что... Слушайся там тёту Любу. Попросят

что-нибудь помочь—помогай, не сиди. В огороде там, полы помыть, посуду... Ты, конечно, не умеешь ничего путём, ну хоть не отказывайся всё-таки... На улице там побольше будь, дома не торчи, гуляй, в лес ходи. Только в лес не одна, с тётей Любой!—спохватилась мама.—Да, главное—ешь там! Я тебе тысячу дам с собой...

Я послушно продолжала кивать, понимая, что чем активнее соглашаешься, тем быстрее кончится наставление.

— Так, ну что ещё?.. Всё вроде. Ох... Ну, поезжай. Да смотри, очень долго-то там не сиди. Не к родной бабушке едешь...

Большая синяя сумка с надписью «Coca-Cola», просторный автобус красно-белого цвета—старомодный, как в советских фильмах, ритмичный, убаюкивающий гул диктора из динамиков, ласковый свет предвечернего солнца, шелест тополей— всё это складывалось в уютную картину тихого вечера, наполненного радостным предвкушением чего-то доброго и близкого сердцу.

Мы с тётей Любой устроились на креслах с высокими спинками.

Отодвинув синюю плотную шторку, я принялась смотреть в окно. Высокие дома уступали место одноэтажным избушкам, оживлённые улицы—зелёным картофельным полям, весёлым бело-розовым клеверным лугам, убегающим в лес широким земляным дорогам. Вместо городских тополей вдоль трассы стали всё чаще появляться берёзы и сосны, пока, наконец, автобус полностью не выехал из города, оставив где-то позади в сизой дымке строгие прямоугольные корпуса старого завода. Добрые солнечные лучи пронизывали насыщенную зелень сосен, трава мягко сияла изумрудным светом, на трассу ложился золотистый отблеск. Всю дорогу мир был для меня зелёно-золотым. Я вспоминала английскую легенду про Томаса-Рифмача, который однажды в лесу встретил королеву эльфов, облачённую в шёлковое зелёное платье и изумрудный бархатный плащ. Он сыграл ей на лютне, а потом поцеловал, хотя и знал, что за этот единственный поцелуй ему придётся служить королеве целых семь лет. Томас и королева оказались на развилке трёх дорог: одна, узкая и тернистая, была дорогой праведников; другая, нарядная и украшенная цветами,— дорогой порока; а третья, сплошь обрамлённая зелёным папоротником,— дорогой в зачарованную Эльфландию. Но прежде, чем они достигли прекрасной страны эльфов, им пришлось переходить вброд стремительные ручьи, наполненные кровью...

Тётя Люба убрала газету в сумку и задремала. Для неё эта поездка была одной из сотен. Она родилась в Мальцеве и жила там, пока не окончила школу. Потом поступила в педагогический, попала по распределению в какой-то посёлок и, поработав там положенные три года, снова

вернулась в Красноярск, да так и стала жить в городе. При этом почти вся её довольно обширная родня осталась в Мальцеве и других деревнях по соседству. Я знала в лицо далеко не всех, но имена приблизительно помнила: её родственники не раз бывали в городе, да я и сама после первого и второго класса приезжала в Мальцево, и уже потом мама стала отправлять меня по собесовской путёвке в загородные лагеря. Эти мои первые приезды были так давно, что я помнила от них совсем мало: красно-белый автобус, взволнованный стук сердца и всепоглощающий аромат луговых трав по пути к дому.

У тёти Любы были два брата и сестра, шестеро племянников и одна племянница, их мужья, жёны, прочие родственники и свойственники, а самое главное—мать.

Тёти-Любину маму звали баба Зоя, и она жила в Мальцеве уже больше чем полвека, начиная с послевоенных лет. Там она вышла замуж и овдовела, там родила тётю Любу и других своих детей, там несколько десятков лет отслужила продавцом в местном сельпо. Теперь у неё уже было два правнука, ожидался третий, а тут ещё приезжали мы.

Вечерний ветер мягко перекачивал волны золотисто-зелёного травяного моря. Под ногами тихо, словно что-то шепча, шуршал гравий. Мне не хотелось ни о чём говорить, и тёте Любе, видно, тоже: она только пару раз останавливалась отдохнуть и размять руки, затёкшие от тяжёлых сумок.— Ну что, почти пришли,— сказала она немного уставшим голосом, когда, наконец, показались первые деревянные дома.— Во-о-он наша старушка Божия сидит!

Баба Зоя и впрямь сидела на скамеечке у низкого серенького забора палисадника. Её большие руки с узловатыми венами спокойно лежали на коленях: похоже, она вышла на улицу уже давно и загодя поджидала дочку. При виде гостей старуха мимолётно улыбнулась тонкими выцветшими губами. Тётя Люба, опустив наземь сумки, подбежала к матери, бережно приобняла её за плечи и рассмеялась:

— Ну, бабушенька, привет!

«Бабушенька» затряслась от тихого, почти беззвучного смеха и радостно посмотрела на дочь. Тётя Люба звонко поцеловала её в одну, потом в другую щёку.

Я смотрела на них с немалым удивлением, потому что совсем уже не помнила, когда в последний раз целовала маму или даже хотела это сделать.

— А это Настя, соседка моя с девятого этажа. Помнишь ведь её? Я тебе говорила, что возьму с собой...

Баба Зоя, опершись сзади левой рукой о край заборчика, медленно приподнялась и внимательно оглядела меня с ног до головы.

— З-здрастье...— промямлила я.

— Ух, какá ты высокая, — покачала головой хозяйка дома то ли удивлённо, то ли слегка неодобрительно. — Ну, идите, заходите...

— Насты́кка — она умница! — неожиданно похвасталась тётя Люба. — Через два года школу закончит, пойдёт куда-нибудь учиться. Не курит, не ругается, спокойная, добрая...

— Ну и хорошо. Ну и слава Богу, — кивнув, согласилась баба Зоя. — Чё в ей плохого? Я её помню, она же, маленька была, приезжала.

— А мать боится, что будет нам в тягость.

— В тягость? С чего? Нянить её не надо, не два года ей. Картошка всегда у нас есть, крупа, рожки. Силосы всяки... Когда и конфетка бывает. Чай-то будете?

Я с удовольствием согласилась. От тёплого чая стало уютней, и тут я вспомнила про свои сложенные в одной из сумок дары. Я не знала, как надо их преподнести, что говорить, но как-то всучивать было надо.

— Это вот... Это вам... всем, отдали, то есть купили... в подарок, от моей мамы, — смущённо и бестолково объясняла я, выкладывая на стол пакеты с едой и вещами.

Баба Зоя спокойно и деловито стала принимать гостинцы, изредка отпуская какой-нибудь одобрительный комментарий наподобие «пригодится» или «пойдёт тому-то». Продукты она оставила на столе, набросив на них чистенькое вафельное полотенце, а одежду сложила обратно в сумку и отдала дочери.

— Матери своей кланяйся за нас, — сказала баба Зоя и потихоньку, осторожно ступая босыми набрякшими ступнями по расстеленным всюду половикам, перешла из кухни в комнату, к старенькому телевизору.

Тётя Люба тоже села смотреть телек, по очереди щёлкая то на первый, то на второй канал.

— Давайте стс включим? — предложила я.

— Так у нас два канала. У бабушки тарелки нет, ей как-то незачем.

Баба Зоя обернулась к ней с вопросительным выражением лица:

— Люба, чё она спрашивает?

Та принялась громко объяснять:

— Я Насте говорю, что телевизор у тебя много каналов не кажет! Только первый и второй!

— А-а, ну, это да...

Смотреть чёрно-белую картинку мне было скучно и непривычно. Я посидела со взрослыми всего несколько минут из вежливости, а потом, легонько скрипнув тяжёлой деревянной дверью, скользнула обратно на улицу.

Мои босые ноги переступили с шершавых досок крыльца на мягко пружинящую траву. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Казалось, будто воздух здесь такой густой, что им не дышать нужно, а пить его. Напротив скромной

бабы-Зоиной избушки стояла ещё парочка домов поновее и побольше, а дальше, чуть правее, начинался привольно шумящий берёзовый лес. Сейчас его окутывал сизый сумрак, на глазах стущающийся в плотный покров ночи. От щедро расточаемого солнцем золота осталась одна тусклая оранжево-розовая полоса, рассеянная среди лёгких тёмных облачков. Кругом было затишь, только где-то вдаль, с реки, слышался глухой шум мотора, и оттуда тянуло свежестью.

Я стояла до тех пор, пока лес совсем не погрузился в темноту и из сонного оцепенения меня не вывел тёти-Любин окрик:

— Настёна, поздно, давай домой!

Точно стряхнув чары, я поспешно убежала в дом, заперев дверь на крючок.

Мне приготовили в дальней комнатке деревянную кровать, непривычно высокую, с большой подушкой в белоснежной наволочке. Здесь, внутри, запахи были уже другие: сухого дерева, мебельного лака, старого белья, пыли — но они мне тоже нравились и вместе с прохладным лёгким одеялом убаюкивали меня, заставляли смеяться веки. Уже сквозь сон я угадывала шаги тёти Любы и бабушки, слышала, как был выключен телевизор и дом погрузился в безмолвие. Тишина теперь была повсюду. И я плавно вошла в неё.

Назавтра я открыла глаза только в половине десятого и сильно смутилась, что проспала так долго. Наскоро одевшись и стянув свои длинные волосы в хвост, я вышла на кухню. Бабушки там не было, а тётя Люба катала из теста какие-то галушки.

Мы сделали ленивые вареники и поели их со свежайшей сметаной. После завтрака тётя Люба вскипятила в чайнике воды, вылила её в тазик, разбавила холодной.

— Здесь мой, а потом в чистой ополоснёшь.

С этими словами она ушла куда-то по своим надобностям. Я с удовольствием принялась за работу. Надо же, только объяснили в первый раз — и уже поручили дело!

Тарелки поскрипывали под нажимом полотенца. Я бережно составила их в буфет, так же аккуратно протёрла ложки.

— В гости не хочешь пойти? — спросила меня вернувшаяся тётя Люба.

— А то!

— Тогда бегом!

Мы пошли по шуршащему гравию, подставляя лицо лёгким порывам встречного ветра. Я глазела по сторонам. Всё здесь было слишком непохожим на город — вернее, на места, где мне приходилось жить до сих пор, потому что всего города я, конечно, не знала. Домики вдоль по улице стояли все одноэтажные, кроме старого здания клуба в четыре этажа, выкрашенного тёмной зелёной краской. Рядом с клубом, сбоку, примостили какую-то

облезлую статую девушки, да по центру перед входом красовался неработающий фонтан.

У придорожного магазина играли ребятишки: качались на цепях—заграждениях для автомобилей, возились в сером, смешанном с камешками песке. Все они были в цветных китайских сланцах, с загорелыми лицами, быстрые, как маленькие молнии. Взрослых было мало.

Мы остановились напротив места, которое в старых книжках называется яром. Это была высокая площадка, покрытая буйно растущей изумрудной травой, откуда начинался обрыв. Через просветы в листве берёз виднелись воды Енисея.

Стоило чуть тронуть калитку серого, ничем, кроме своей величины, не примечательного дома, как меня оглушил лай собак. Я поневоле вздрогнула и вцепилась тётке в руку.

— Не бойся, не бойся,— подбодрила та.— Ты просто иди за мной.

Псов во дворе оказалось с добрый десяток, но все они, кроме круглобокого чёрного щенка, были привязаны. Самого грозного я заметила в углу—лохматое серое существо в добрую половину человеческого роста, с горящими глазами и уж, наверное, клыками не тупее пары хороших перочинных ножииков. Ни дать ни взять Серый Пёс из скандинавских легенд, который наводил ужас на всю округу.

— Цыц! Тихо!

Голос внезапно появившейся хозяйки заставил собак мгновенно улечься. Вслед за тётей Любой я вошла в дом через холодные просторные сени и присела к широкому боку светло-голубой печки.— Чай будете?

— Давай,— охотно согласилась тётя Люба.— Знакомьтесь, девочки: это соседка моя, Настя, а это Лена, Саши, племянника моего, жена.

Я с робким интересом взглянула на девушку. На вид ей казалось не больше двадцати лет. Лена была одета в просторный спортивный костюм, явно с чужого плеча, скрадывавший очертания фигуры, но по хрупким запястьям и тонкой шее можно было понять, что она стройная, если не сказать, что худая. На овальном загорелом лице больше всего выделялись тёмные, плавные и широкие дуги бровей, про которые в книжках говорят «соболиные». Босые ноги девушки были запачканы землёй.

Дверей внутри дома не было, из маленькой кухни проходы вели в две комнатки: одну тёмную, из которой я видела лишь диванчик, заваленный одеждой, и другую, поменьше, но посветлей. Пока пили чай, в доме стояла тишина, только во дворе изредка мычала корова да кудахтали куры. Казалось, будто в доме, кроме нас троих, нет никого. Но потом послышался лёгкий шорох и стук, и из второй, светлой, комнатки в кухню вышла маленькая девочка, одетая в голубенькое мягое платьице.

— Анюта, доча,— хриловатым, но ласковым голосом позвала её Лена и поманила к себе рукой.

Опять мне пришла пора удивляться. Такая молодая—и уже с ребёнком? Чудеса!

Девочка взяла на верху печки бутылочку с молоком и блаженно растянулась вместе с ней на ногах у матери, пока не выпила всё до капли.

Она была так похожа на большую куклу, что мне страшно захотелось взять её себе на колени, чтобы убедиться, точно ли это живая девочка. Я протянула к ней руки и замерла в ожидании. Анюта поднялась на ножки и медленно, но уверенно зашагала ко мне.

Я обняла её, зашептала какие-то хорошие слова. Перебирала льняные прядки, пахнущие молоком и какой-то особой сладкой свежестью.

— Ты смотри, как она уютно устроилась,— с удивлением заметила Лена.— Не помню, чтобы к кому-то вот так шла. Наверное, человек хороший.

Налив себе ещё чайку, они стали вспоминать каких-то незнакомых мне людей, обсуждали их, говорили что-то насчёт ремонта в доме, насчёт растущих цен—словом, вели обычный женский разговор.

— Хорошо с вами сидеть, да дела ждут,— наконец заявила Ленка.— Огород, свиньям наварить, полы помыть... Давай, тётка, покурим да пойдём. Будешь?

— Я-то буду, а тебе не хватит ли, мать? Рожать скоро...

Только после этих слов я увидела под Ленкиной безразмерной олимпийкой круглый живот.

Она потянулась за коричневой пачкой «Тройки». — Нет, тётя Люба, не уговаривай. Пить бросила в семнадцать лет ещё, как решила тогда—не пью и не буду, а от этого отказаться не могу, хоть и Сашка ругается. Но я иначе психовать начну. Сама же не бросаешь? Ну вот...

Покуриив, Лена проводила нас до калитки. Ещё долго, идя по улице, я слышала её хриловатый сильный голос, которым она сзывала собак, а потом выкрикивала что-то через забор соседке.

Через пару-тройку дней я выучила по именам всю тётю-Любину родню. Братьев звали Павел и Виктор: первый жил в другой деревне, а второй не уезжал из Мальцева, женился и родил двоих сыновей, на время первого моего приезда уже взрослых лбов старше двадцати лет. Всю жизнь провела в родных местах и тётю-Любина сестра Зина, недавно схоронившая мужа. Она была на четыре года младше Любови Ивановны, но выглядела старше: возраста прибавляли острые скулы, набухшие нижние веки да сильно потрескавшаяся кожа на натруженных руках. У братьев были сыновья, и тётя Зина тоже вначале родила Александра и Николая, прежде чем в младшем поколении бродниковской родни появилась наконец девочка Дарья.

Я в то или иное время видела всех шестерых племянников тётки Любы. Все они были людьми одного типажа: с широкими скуластыми лицами, рыжеватыми или светло-русыми мягкими волосами и светлыми глазами.

После того визита к Ленке тётя Люба сводила меня к своему младшему брату — дяде Вите, потом к сестре, потом ещё к сватам — тихим старичкам, которые жили неподалёку в пропахшем кошками домике. Сваты были родителями жены тётки Любиного брата. Встречаясь со всеми этими людьми, я удивлялась, сколько же у человека может быть сродников. Своего отца я не знала совсем, тем паче его родственников, а у мамы из родни была только сестра в Комсомольске-на-Амуре да её муж и сын.

Здесь, в Мальцеве, меня никто не воспринимал в качестве ребёнка, и меньше всего — баба Зоя. Через три месяца, в середине сентября, ожидалось моё шестнадцатилетие, а для старухи это был вполне себе брачный возраст. В глазах бабы Зои никак не считался ребёнком и родной внук, младший сын тётки Зины Николай, у которого в восемнадцать с половиной лет родился маленький Виталька, самый первый бабушкин правнук. А за старшего внука Сашку, которому несколько лет назад стукнуло двадцать пять, баба Зоя всерьёз начала переживать и поговаривать: «Ох, не женится». Успокоилась она только тогда, когда тот привёл в дом Ленку, тогда ещё едва шестнадцатилетнюю, и стал с ней жить в той комнате, где я теперь ночевала.

К своим пятнадцати годам я успела прочитать книжку Дюма про королеву Марго, да потом ещё посмотреть сериал, и про себя окрестила бабу Зою королевой-матерью. Понятно, не из-за коварных интриг, какие плела при французском дворе старшая Медичи, а из-за того, что она была родоначальницей такого огромного, по моим понятиям, семейства. На восьмом десятке она прекрасно помнила и знала почти всё про своих детей, внуков и правнуков и пыталась устроить их бытьё так, как ей казалось верным. А верной, как я скоро поняла, баба Зоя считала семейную жизнь: одинокий человек был для неё как бы и не совсем человеком, потерявший жену или мужа — несчастным, живущий без детей — несчастливцем вдвойне.

Меня никто не окружал особенным вниманием, не расспрашивал о школе. Иногда я могла сесть на крыльцо и задуматься о чём-нибудь на полчаса, и никто не говорил мне, что давно пора вставать и куда-то мчаться. Никто не одёргивал меня, не поправлял. За своей одеждой я следила сама. В самые первые дни было немного непривычно, что мне дают столько свободы, но скоро я начала чувствовать огромную благодарность за такое отношение. Чем больше мне разрешали быть одной и делать то, что я хочу, тем больше меня тянуло к людям, к их разговорам и делам.

Понятно, что я практически ничего не смыслила в тракторах, сортах помидоров, породах лошадей, но мне хотелось чувствовать себя на равных с приходившими в дом людьми. Хотелось чувствовать свою причастность к этой трудной, но интересной для меня жизни. Я полюбила мыть посуду и втайне радовалась, когда на ужин к бабе Зое приходило побольше человек или тётя Люба затевала какую-нибудь готовку: тогда посуды оставалось много, и, перебив её всю, я знала, что сделала полезное для всех дело. Мне нравилось кипятить воду в старом, облепленном серовато-белой накипью чайнике, окуная ковш в свежую ледяную воду из бака в сенях, где пахло молоком и скошенной травой.

Но больше всего я полюбила ходить босиком по ласковой мягкой земле, чувствуя, как из неё поднимается живительное тепло. Я мяла пальцами шершавые листья земляники и пахучей мяты, гладила ветки смородины, собирая с них в небольшое пластиковое ведёрко агатовые крупные ягоды. Смородиновые, малиновые, крыжовенные кусты казались мне такими красивыми, что хотелось заботиться о них, как о живых существах. — Девка все сорняки подчистую в огороде выполла, ягоду побрала, — хвасталась тётя Люба Ленке, Саше, бабе Зое. — Настька, слушай, у нас же ещё вон ирга стоит необобранная. Ты бы залезла на неё завтра да пособирала, а то птицы склюют... — А где? — удивилась я. — Я смотрела, там вроде зелёные ягоды...

— А наверху-то! Там только с лестницей забираться.

— Ты у нас девка высокая, глядишь, и лестницы не надо, — улыбнулась Лена.

Над моим высоким ростом уже не раз подшучивали: со своими ста семьюдесятью шестью сантиметрами я была на полголовы, а то и на голову выше всех представителей бродниковской родни.

В тёплый пасмурный день мы поехали за грибами. Мы — это тётя Люба, Настя, Санька, младший тёткин племянник Никола с женой Полинкой и ещё одна, незнакомая мне до того дня, женщина с весёлым круглым лицом. Лена осталась дома с ребятишками.

Выйдя из дома, я в ступоре встала перед гудящим трактором.

— Ну, забирайся, чё ли, — сказал Санька.

— А как забираться-то?.. — замаялась я.

— О-о! Видно городскую барышню, — добродушно фыркнула тётя Люба. — Давай на руках подтягивайся — и за борт.

— Прямо так?! — изумилась я. — А вдруг не дотянусь?..

— С такими-то ногами! —

Я подтянулась на руках, ступила ногой на колесо и, к своему удивлению, легко оказалась внутри

трактора. Впрочем, сказать про этот трактор «внутри» можно было очень условно—бортиков у него не имелось.

— А как держаться-то?—решилась я спросить, когда все уже аккуратно расселись: кто на полупустой мешок, кто на ящик, кто—прислонившись к задней стенке кабины трактора.

— Зубами за воздух цепляйся,— посоветовал Санька.

Мы долго ехали по сырой дороге. Жирные пласты земли прилеплялись к колёсам трактора, мимо лиц летели чёрные комки. Потом сырость кончилась, дорога стала ровной, красивой, ровные молодые берёзки убаюкивающе шумели густой листвой. Трактор потряхивало на кочках, но не до такой степени, чтобы поминутно думать о том, как бы не свалиться, и очень скоро я почти совсем перестала бояться; правда, крепко вцепилась на всякий случай в верхушку наполненного чем-то тяжёлым целлофанового мешка.

Когда добрались до места, грибов оказалось столько, что я могла срезать их, даже не поднимаясь на ноги. Нежные синие, белые, светло-жёлтые цветы остались в подарок весне и раннему лету. Теперь наступила пора уверенных цветов, ярких красок. Опушки пестрели рыжими пятнами лисичек, пышными тёмно-розовыми саранками. Чуть пореже встречались крупные лиловые колокольчики с листьями, похожими на крапивные.

По грибы я никогда не ходила, но от подружки Оли знала, что её отец брал на даче маслята и подберёзовики. Изредка ему попадались белые, но их всегда было немного. А тут—настоящее пиршество! Срезанные лисички мы складывали вначале в пакет, а потом высыпали в большой рогожный мешок. Через пару часов и мешок оказался полон—настала очередь второго.

Домой вернулись к вечеру. Ужин сготовила тётя Люба: жареная картошка, салат из огурцов, редиски и зелёных перцев. Санька ворчал, что редиска уже старая и дряблая, а перцы можно было бы не трогать, побережь. Никола с Полинкой ели всё молча, накладывали добавки, пили чай, жадно жуя пряники, а потом как-то очень быстро подскочили и ушли, сунув в карманы ещё по прянику. Вослед им Санька полуснисходительно-полупрезрительно обмолвил:

— Голодающие с Поволжья.

Баба Зоя ещё раз оценивающе поглядела на грибной урожай, коротко одобрила:

— Ничего.

Я уже была уверена, что старуха всегда так скупа на похвалу, всегда сдержанна, но вдруг увидела, как она подошла к Саньке и ласково, даже с каким-то трепетом, погладила его сухой рукой по груди.

— Как живёшь-то, внучек?—с той же лаской прошепестела она.

— Живём, хлеб жуём!—отозвался он словами моей мамы.

— И то ладно. Сашенька... Погляди, чё это на губе у меня? Болячка кака?

Санька бросил острый, пронизательный взгляд на лиловое пятно над губой и ядовито усмехнулся: — Сифилис, баба!

Старуха ничуть не рассердилась и даже ничего не возразила, просто так и осталась около Сашки, может быть, наблюдая, не нужно ли будет ему ещё чего-нибудь принести. Не то чтобы видя, а скорее, угадывая её услужливость, Санька смягчился и почти ласково произнёс:

— Баба, я пошутил. Простуда, наверное. Иди отдохни.

— А-а,—кивнула старуха и послушно побрела в своё кресло.

На кухне нас осталось трое—Санька, Настя и тётя Люба.

— Как у вас, для ребёночка всё готово?—поинтересовалась тётка.

— А чё ему надо? Конечно, всё. Кроватку вторую у Кармановых купил, собрал. Тряпки там Ленка взяла, что надо. Мать пелёнок ещё нашла.

— Ждёшь?

Санька яростно забрякал ложкой о край стакана. — Ждёшь, не ждёшь... Один раз родила—другой раз родит. Чё делов? Раньше в поле рожали.

— Пацана хотел, да?

Санька вскинулся:

— Тётка, чё ты вот в душу лезешь? Кто родится, тот родится. Ты если хочешь встрять—лучше собралась бы да помогла. Стайку надо почистить, Ленка не может уже, то болеет, то устала, то ещё чё. Вот пошли лучше, чем вопросы задавать!

Тётя Люба спокойно встала из-за стола, оправила кофту.

— Ну, пошли.

Я начала убирать со стола, складывать масло, сметану, остатки салата в холодильник. Тётя Люба взяла меня за руку.

— Доченька, я, может, долго не буду... Похоже, я им там нужна... Ты грибами займись, ладно? Чистить же умеешь? Почисти все, в кладовке у бабушки там тазы стоят у входа, я уже пригостила. Почисти, в воде холодной сполосни и порежь. А потом я вернусь, мы их сварим и заморозим. Ладно, Настёна?

— Да, тётя Люба, конечно!—пообещала я.

Дома, на полу летней веранды, грибы выглядели скромнее, чем в лесу, но всё равно их количество поражаало воображение. Я высыпала в таз половину первого мешка и, усевшись на низкий стульчик, начала работу. Чистить лисички было легко: знай убирай прилипшие листья да сухие сосновые иголки. Однако через какое-то время стала побаливать спина, оттого что приходилось долго сидеть в наклон.

— Чаю нальёшь мне стаканчик? — позвала баба Зоя.

Я вскипятила и налила ей чаю, принесла к телевизору, но сама отдыхать не стала, боясь, что не успею управиться к приходу тётки Любы и подведу её. Второй мешок пошёл не так легко, а впереди была работа сложнее — резать грибы.

«Чёрт их знает, — думала я, — как их резать-то: крупно, мелко?!»

Решилась спросить у бабушки, но та ответила непонятно:

— Как хошь, так и режь. Всё съедим.

За все свои пятнадцать лет я не привыкла, чтобы мне доверяли хоть какое-нибудь серьёзное дело. А тут, оказывается, режь как хошь! Сама!

Я накромсала партию, встала со стульчика, размялась немного. За окном потихоньку темнело, перестали облаивать прохожих соседские собаки. Тётя Люба не возвращалась.

— Чё-то её долго нет, — слегка обеспокоилась бабушка. — Позвонить ли, чё ли?

— Нет, не надо! — неожиданно для себя воскликнула я. — Не надо звонить. Она... она предупредила, что будет поздно, сказала не волноваться.

— А. Ну ладно. Я пойду тогда, маленько телевизор погляжу — да спать...

Я прекрасно понимала, что если тётки Любы всё ещё нет, то варить лисички придётся самой. Но мне как раз этого и хотелось. Если люди уже в семнадцать лет рожают живых настоящих детей, то кто же буду я, если не справлюсь с какими-то жалкими грибами?!

— Ничего-о, ничего, — подбадривала я себя. — Сейчас потихоньку разберёмся.

Дома у бабы Зои была маленькая электрическая плитка в тёплой кухне и большая газовая — на веранде. Я с газом никогда не имела дела, но в тот день пришлось с ним познакомиться: не ставить же огромную тяжёлую кастрюлю на одинокую хрупкую конфорку?

Я видела несколько раз, как тётя Люба готовит на газовой плите, но не помнила, что надо сделать вначале — то ли поджечь плитку, то ли повернуть рукоятку на баллоне. Логически поразмыслив, я включила газ и поднесла спичку. Расцвели синеватые огненные лепестки. Я возликовала и водрузила на плиту кастрюлю, в которую чуть не до верха наложила грибов и залила их водой. Ждать пришлось недолго, плитка работала на удивление шустро. От грибов поднялась пена, шапкой полезла через край кастрюли. Вскрикнув, я стала бегать по кухне, искать какую-нибудь чашку, в которую можно было бы скинуть часть грибов. Потом я, наконец, догадалась убавить огонь.

Когда первая партия лисичек сварилась, я загрузила в кастрюлю вторую. За окном давно стояла темень. Я уже перестала думать, почему так задержалась тётя Люба. Мне даже, наоборот, хотелось,

чтобы она не приходила ещё хотя бы полчаса — тогда я успела бы всё доделать и порадовать её.

Так оно и вышло. Тётя Люба пришла уже ночью, когда я успела не только сварить все грибы, слить с них воду, но и расфасовать сваренное по пакетам. Зайдя в кухню, она увидела плоды моего труда и удивлённо воскликнула:

— Ты всё сделала! Умница! А я-то знаешь почему так долго? Ленка родила. В больницу отвозили, в райцентр.

Я кинулась ей навстречу и обняла. Тётя Люба была меньше меня ростом сантиметров на десять, и, чтобы стать с ней наравне, я положила голову ей на плечо. От неё слегка тянуло запахами стайки, молока и пота, которые плохо заглушала дешёвая туалетная вода. Я была счастлива, что она вернулась, и горда собой, потому что выполнила задачу, почти такую же важную, как и у неё. Если бы я не занялась тогда этими чёртовыми лисичками, они могли бы пропасть, и пропал бы весь труд людей, которые целый день их собирали и везли сюда. Ах, эта памятная ночь! Кто бы мог подумать, что взрослым человека делают грибы.

### Чудо на руках

Грибной азарт у тётки Любы после той поездки только разошёлся. Через пару дней она потащила меня куда-то к востоку от деревни за подберёзовиками и белыми. Дорога до нужного места была долгая, и мы разговаривали. Мы прошли мимо длинного тёмно-зелёного здания с заколоченными окнами, не похожего на обычный дом, и я спросила:

— Что это такое?

— Это больница была. В позапрошлом году закрыли. Теперь придётся в райцентр ездить.

Я в слух посочувствовала местным больным, вынужденным терпеть такие неудобства, на что тётя Люба сказала:

— Люди как только не живут. Наша-то деревня всегда обустроенная была. Как брат мой, Витя, говорит: недеревенская деревня. А вот я после распределения попала учительницей в Двинку. Так я там захожу в магазин — одни конфеты-карамельки! Я ими неделю питалась, пока местные не стали подкармливать...

Чувствуя мой интерес, она углубилась в воспоминания о своей молодости.

— Там выходцы из Белоруссии жили. Я их сперва не всегда понимала, а потом приоровилась. Выйдет пацан к доске отвечать: «Гэта праямая прайдзэ чэрэз точку Гэ». Я ему: «Нэ прайдзэ». — «Чаво дразнытэсь?»

Я смеялась, слушая её весёлые байки, хотя они, по сути, не были такими уж смешными.

— Там, в этой Двинке, меня как-то пригласили на праздник. Я сижу за столом, а тут же рядом со мной ученики мои, семиклассники. Себе самогонку наливают, и им наливают. Почти что наравне.

А в восьмом классе у меня ученица забеременела. Я, как классная руководительница, к ним домой пошла. Встречает меня ейный батька: рослый, пузатый такой, с усами. Я что-то мямлю им там: мол, как же вы так?.. Он меня послушал молча да и говорит: «Моя Валька хутка замуж выйдет и ребёнка родит, а ты, чуе моё сердце, так и помрэшь одна». И ведь, чёрт побери, оказался прав!

Мне стало немного не по себе.  
— Давай лучше песню споём, — предложила тётя Люба. — Я буду петь, а ты подпевай.

Во субботу Янка  
Ехав ля раки.  
Пад вярбой Алёна  
Мыла ручники...

Я не знала слов и вообще не слышала раньше этой песни, но с первого раза влюбилась и в мелодию, и в этот певучий язык, причудливо похожий на русский. Грянул дождь, от которого мы не прятались, продолжая петь. Промокшие и счастливые, мы добрали по раскисшей дороге до самого Мальцева. Там нас встретили охающая бабушка, которая уже посчитала, что мы если не умерли, так заблудились, и ворчащий Санька, которого баба Зоя снарядила на поиски, как только услышала за окном грохот начинающейся грозы.

Мы с тётей Любой переоблачились в чистое, сели греться возле включённого «камина», — таким гордым именем здесь величали обыкновенный масляный обогреватель. Сашка осыпал нас заботливой бранью:

— Твою мать, вот надо же было придумать в такую погоду куда-то переться. Тётка, ты всегда была сумасшедшая. Ещё девчонку утащила. А я, значит, ходи за имя, бегай...

Через день Сашка поехал на соседском «уазике» в райцентр — забирать из больницы Лену с ребя-тёнком. Мы с тётей Любой с утра отправились к ним в дом и вместе приготовили обед. Понятное дело, что готовила тётка, а я была только её скромной ассистенткой, но волнение у меня перехватывало через край. Расставив по местам блюда и тарелки, я переходила из комнаты в комнату, перебирала вещи, выглядывала в окно.

Часам к трём прибыли молодые родители, а с ними — тётка Зина, маленькая Аня, незнакомые мне соседи. Застолье было коротким и не очень весёлым. Я подумала, что по дороге, наверное, из-за чего-нибудь поругались. Дело оказалось в другом. Ленка, оставшись наедине с тётей Любой, горестно шептала ей:

— Ну что я сделаю, если это девчонка и в меня уродилась? Что я сделаю?!

Тётя Люба обнимала её, похлопывала по спине.

Из их разговора я поняла, что Санька мало того что был расстроен из-за появления второй девочки вместо желанного пацана, так ещё и окончательно

вышел из себя, увидев, что новорождённая дочь нисколько на него не похожа. Прямо в роддоме он закатил Ленке сцену ревности, кричал, не стесняясь, что она якобы ему изменила.

— Успокойся он. Молодой ещё... дурак, — оправдывала племянника тётя Люба. — Отойдёт...

Лена взяла Анютку за руку, увела тётю Любу на кухню. Маленькая девочка осталась лежать на широкой кровати. Я осторожно села рядом с ней. Она спала, стиснутая фланелевой пелёнкой, недовольно причмокивала во сне толстыми губами. На лобик девочки падали прядки тёмно-русых волос. Я прикоснулась к ним только одним пальцем и вздрогнула, когда девочка открыла глаза. Пробудившись, она заворочалась в своём тканевом коконе и ещё недовольней, как мне показалось, зашлёпала губами. Повинуясь какому-то инстинкту, я дала ей нащупать свой указательный палец. Девочка мгновенно втянула его верхнюю часть в ротик и принялась сосать, крепко прижимая палец к ребристой поверхности своего нёба. Я поразилась силе, с которой такое маленькое существо цепляется за то, что может дать ей пропитание — пусть даже она жестоко ошибается, приняв мой палец за бутылочку или материнскую грудь.

Я всмотрелась в глаза девочки, ожидая увидеть, что они будут светло-каримы, как у Лены. Но они были синевато-серыми. Это немного меня разочаровало, зато удивил нос: крупный, хорошо выделяющийся на лице, даже как будто с небольшой горбинкой.

— Ух, какая носатая, — улыбнулась я. — Хваткая.

Стоило мне отобрать у девочки палец, как она разразилась плачем. Прибежала Лена, села кормить дочку на стуле возле окна. Она казалась уже спокойнее, чем в первое время после приезда из больницы.

— Как девчонку-то назовёте? — спросила тётя Люба.

— Марина.

— Пена морская, — непонятно почему сказала тётка. — Красивое имя.

— Нежное, — согласилась я.

Маринка выпростала ручонку из жаркой фланели. Пальчики у неё были крохотные, тонкие, чуть ли не прозрачные. Я подумала, что не такая уж она хваткая, как показалось мне сначала.

— Хочешь подержать? — предложила мне Лена.

Ещё бы не хотеть! Я закатала рукава кофты и с нетерпением протянула руки. Девочка оказалась совсем лёгкой. Внутренний голос подсказал мне, как нужно её держать, как покачивать. Насытившись материнским молоком, она не кричала. Я слегка наклонила голову, чтобы лучше слышать её частое дыхание.

— Когда-нибудь у тебя будет дочка, — сказала тётя Люба.

— Да,—согласилась я.—У меня... Дочка.

Я покачивала ребёнка и думала, что она со своими тёмными волосами, наверное, будет похожа на Русалочку из сказки Андерсена. Не зря же и тётя Люба сказала что-то про морскую пену... Эта девочка пришла домой в такой пасмурный, дождливый день, в котором было много печали — но и радости. Когда она вырастет, то обязательно кого-нибудь очень полюбит.

— Мариночка,—ласково произнесла я.

Мне не хотелось от неё уезжать.

Мы с тётей Любой прожили в Мальцево ещё дней десять или двенадцать, а потом поехали в город. Она собиралась в первых числах сентября опять вернуться к своим — там уже наступало время копать картошку, а я, естественно, должна была оставаться в городе и идти учиться в одиннадцатый класс.

Моя закадычная подружка Оля сама стала спрашивать, как я отдохнула в деревне. Она весь август провела у своих родственников на Урале, в маленьком городке, где, по её словам, было решительно нечем заняться и некуда пойти.

— А что есть в этом Мальцево? — любопытствовала Оля.

— Там много лесов! — сказала я. — Большие берёзовые леса, и в них полно грибов.

— Шурик за этими грибами у нас на даче каждый год таскается. Я раньше с ним ходила.

— А теперь что — не ходишь?

— Нет... Уже не интересно. А что ещё есть в этой деревне?

Я рассказала, что там есть три магазина — два продуктовых и универсам, почта, школа в два этажа и больница, которую вот-вот хотят закрывать. Все эти факты звучали не очень-то занимательно. Рассказала немного про бродниковскую родню. Подруга в ответ напомнила мне, кто из родственников живёт у неё в уральском городке.

— Я с тоски маялась там. В парк ходила гулять. Немножко с племянником сидела.

— Я тоже с ребяташками сидела! С двумя. Чуть побольше года каждому.

— Ужас, — посочувствовала Оля. — Как ты с ними не чокнулась?

Я, разумеется, показала ей фотографии, рассказала про грозу, про рождение девочки, но поняла, что почему-то с трудом нахожу слова, почти не могу передать то, что пережила, так, чтобы подружке это стало понятно.

Как и положено в шестнадцать лет, ко всему я относилась архисерьёзно и настроена была радикально. Чем больше я смотрела на людей вокруг, тем больше убеждалась, что город всех портит, а в деревне — хорошо. Честнее сказать, я заранее привила себе эту мысль, а потом уже подыскивала факты, её подтверждающие. К концу

февраля у меня созрел план: нужно найти себе спутника жизни, такого же молодого, честного и непонятого, как я, и вместе с ним переехать в деревню — может, и не обязательно в Мальцево, тут уж пусть он выбирает, куда! Присмотревшись к своим одноклассникам, я только рукой махнула: нет в них романтики, нет порыва! С воплощением моих бурных фантазий помогла не вовремя под-вернувшаяся газета «Комок», где я углубилась в раздел объявлений о знакомстве.

Тот факт, что некий восемнадцатилетний Александр пребывал, судя по скупой информации в заметке, в местах не столь отдалённых, меня не то что не испугало, а, можно сказать, вдохновило на подвиг. Я написала ему пространное письмо о том, что заканчиваю одиннадцатый класс, впереди широкая дорога, свершения и открытия. Кто, как не он, с юности уже отверженный обществом, может понять и разделить мой порыв? Нам обязательно стоит познакомиться, я приеду к нему на свидание, потом дождусь, пока его отпустят на волю, и после этого мы вместе начнём новую, полную свободы и любви, жизнь где-нибудь на лоне русской природы.

Я видела, что свой адрес почти никто из авторов объявлений не указывает, но, увы, при бурном полёте мысли мне не хватило ума догадаться, что таинственные цифры, стоящие при каждом объявлении, — это номер паспорта. Пришлось написать наш настоящий домашний адрес. Я проверяла почту утром и вечером и была уверена, что если письмо придёт, то обязательно попадётся мне в руки. Не позже чем через неделю, когда я тихо и мирно сидела за уроками, мама вдруг подошла и объявила:

— Знаешь, тут пришло письмо к нам по ошибке. Да ещё и не одно. Из такого странного адреса.

— Какого? — спросила я, начиная ощущать себя как в фильме ужасов, когда после вот такого невинного вопроса на секунду воцаряется тишина, а потом начинается ад.

— Да из тюрьмы.

Глубоко вздохнув, я призналась в том, что написала это письмо.

Мама вскрикнула пронзительно, подскочила ко мне и, схватив за волосы, резко ударила головой об стол. Я взвизгнула от ужаса... Первые минуты прошли как в тумане: я совсем ничего не соображала, только сжалась внутренне, пытаюсь превратиться в ничто и не чувствовать боли.

Спустя, наверное, полчаса я сидела на полу и, заикаясь, подвывала:

— Прости меня...

— У-у, скотина! Ты зачем адрес наш написала?! Ты зачем нас подвела под монастырь? Эти зеки сейчас будут знать, где мы живём!

Я поняла: мама больше всего злится на меня именно за адрес и почему-то уверена, что теперь

к нам заявится целая вооружённая банда. Они выломают дверь, «унесут последнее — и тебя, проститутку, изнасилуют»!

Мама ещё долго хлестала меня полотенцем. Размазав слёзы, я пригладила свою разлохмаченную шевелюру, и мне в самом деле сделалось страшно. А ну как и правда придёт банда?!

Почти неделю мать со мной совершенно не разговаривала, потом всё больше стала отмякать и через месяц вспоминала о моём поступке уже с усмешкой. Она сказала, что прочитала все письма из колонии (было их три — от самого Александра, к которому я обращалась, и от двух его приятелей). — И ты почитай, — предлагала родительница. — В общем-то, ничего такого страшного не пишут.

Но я при одном упоминании об этих злосчастных письмах яростно мотала головой и в страхе умоляла мать, чтобы она при мне порвала их и выбросила остатки в мусорное ведро. Уж очень я была перепугана возможным приходом банды.

Проклиная себя за глупость, я решила пока оставить эту идею с замужеством и заняться учёбой. Благо приближались экзамены. Я сдала ЕГЭ по русскому и биологии, подала документы на биофак и на филологический. Логика у меня была проста: если поступить на биолого-экологический, можно, наверное, будет поехать в Мальцево как какой-нибудь ветеринар. Русский и литература мне нравились больше, с ними можно было стать учителем — и опять-таки поехать в Мальцево работать.

Когда наступила настоящая весна, я стала часто уходить на улицу, бродила по дворам, трогала нарождающуюся траву, любовалась даже грязью и лужами, пытаюсь найти в неприглядном окружающем пейзаже какие-нибудь отголоски того, что я видела в деревне. Я купила себе кассету «Любэ» и слушала песни «Конь», «Не смотри на часы», «Расся» и особенно часто «Позови меня тихо по имени», воображая, как мы с тётей Любой идём по широкой просёлочной дороге или как я собираю малину и смородину в каких-то садах, похожих на райские, — и этими фантазиями порой доводила себя прямо до иступления.

«Я знал одной лишь думы власть, одну — но пламенную страсть», — признавался Мцыри у Лермонтова. Такую страсть знала и я. С мая по август я только и думала что о Мальцево, о том, как поеду туда и найду способ там остаться.

После школы нужно было ещё проходить устный экзамен и сочинение на филфаке. Я готовилась к ним усердно, страстно мечтая о том дне, когда, наконец, сяду в автобус и поеду в деревню. Экзамены я выдержала успешно и узнала, что поступила на бюджет. На следующий же день я поехала на вокзал и купила билет до Мальцева. Отходя от кассы, я ещё долго не верила, что действительно все дела окончены, а свобода и держу билет. Чудо было у меня в руках.

## Лето второе

### Работница

Мы поехали в Мальцево вместе с Дашей, тёти-Любиной племянницей. Она была на четыре года меня старше, училась на четвёртом курсе института, всю дорогу поздравляла меня с поступлением и угощала солёным сыром.

Тётя Люба встретила нас радостно и с порога заявила:

— Ну, девки, вас-то мы и ждали. Надо завтра на покос ехать. Наши не успевают сено убирать.

— И меня возьмёте? — встrepенулась я.

— Тебя? Тебя в первую голову! — засмеялась тётя Люба.

Я видела, что она волнуется не меньше моего. Тётка приготовила мне ситцевую рубашу, пояс, косынку, но подходящих штанов не нашла. Пришлось надевать старые джинсы.

Я думала, что нам нужно будет брать с собой косы (в деревне их называли литовками) и весь день ходить по лугу, срезая высокую траву. Такое приходилось раньше видеть только в фильмах. Вопросов возникало много, но задавать их не хотелось. Я решила, что завтра сама всё увижу и пойму.

На покос мы поехали не очень рано, расселись в добротном тракторе дяди Толи Ушакова, Сашкиного соседа. Они с Санькой часто косили сено сообща, а потом делили его на две семьи. Ехать в кузове большого трактора с бортиками было удобно, вольготно. Мы стали петь песни: «Коробушку», потом «Виновата ли я», потом ещё что-то из застольного репертуара. Санька вначале только ухмылялся, потом и сам стал подпевать.

— Откуда твоя девчонка все песни знает? — вопросом похвалила меня ушаковская жена.

— Она с детства с бабушкой пела, со мной! — гордо ответила тётя Люба.

Погода стояла жаркая, безветренная. Трактор, умело ведомый Петровичем, объезжал канавы, а на кочках если и подскакивал, то легко, не заставляя нас цепляться за борта.

Оказалось, что косить траву не надо — подвяленное сено лежало в валках, скошенное накануне трактором. Я с нетерпением ожидала, когда мы начнём работать, но вся наша компания двинулась к лесочку с явным намерением разводиться костёр. Мужики быстро разожгли огонь, набрали в ручье воду, поставили котелок.

Часам к одиннадцати зной усилился, скошенная трава стала сильно пахнуть мёдом, солнцем; так и хотелось окунуться в неё, как в ароматное море, и грести в нём, грести руками.

Мне выдали какие-то диковинные деревянные вилы в полтора человеческих роста и позвали

на середину поляны. Тётя Люба надела перчатки, стала учить, как брать сено.

— Спагетти же ела? Вот так, тыкаешь вилами в эту кучу сена, напружинилась — подымаешь на вилы!

Я попробовала сделать всё, как объясняли. Вышло поднять наверх смехотворно маленький клочок. Второй раз, наоборот, зацепилось так много сена, что я вынуждена была опустить его наземь.

— Счас пристреляешься, — успокоила тётка.

Поначалу я боязливо озиралась, не будет ли кто смеяться над моими неловкими попытками. Но все давно были заняты делом. Кроме тёти Любы, никто не обращал внимания на меня, да и та скоро отошла, предоставив мне возможность потренироваться самой, без оглядки на остальных.

Скоро я приловчилась и стала более или менее удачно схватывать сено и складывать его в копну. Усталости я почти не чувствовала, только плечи немного ныли от непривычной тяжести. Скоро мы с Дарьей и ушаковской женой, которую все звали Петровичева — по отчеству её мужа, поставили первую копну. Пока мы делали копны, мужики по очереди управляли трактором, прицепив к нему грабильку, которая напоминала мне полусмешные-полустрашные зубы какого-то чудовища.

До вечера мы поставили несколько копён, а потом опять отправились к костру, обедали консервами, хлебом, холодной варёной картошкой. Раньше я была уверена, что сенокос — это тяжёлая работа, а выходило, что хотя и побаливают от усталости спина и руки, но, по сути, покос — это праздник. В чём именно был этот праздник, сказать мне пока было трудно. Может быть, в яркой солнечной радости, в ароматах лугового разнотравья; может — в ощущении своей силы и ловкости, умелости; может — в чувстве радостного единства от того, что делаешь вместе со всеми что-то важное, нужное для многих людей. А скорее всего, во всём сразу.

На другой день после покоса я увидела Маринку. За год она превратилась из завёрнутого во фланель комочка в весьма шустрое темноволосяе и темноглазое создание, уверенно сползающее со ступенек крыльца. Я протянула к ней руки, но Маринка надула бровки и на всякий случай, развернувшись, поползла в другую сторону. Баба Зоя засмеялась дребезжащим смехом.

— Подальше от вас, городских, уползла!

Ползая по деревянным мосткам тротуара, Маринка пользовалась огромной свободой: стучала кулачишком в деревянную стену дома, прислушиваясь к глухому звуку, сгребала пальчиками песок, хватала в рот траву, резиновые игрушки.

— Лен, смотри, съест ведь ненароком что-нибудь, подавится, — предупредила тётя Люба.

— Да беда с ей. Всё в рот тащит. Дома с печки штукатурку коврыет и ест.

— Кальция не хватает, значит, — наставительно заметила тётка.

Жизнь у меня потекла весёлая. Санька на несколько дней уехал, Лена осталась одна на хозяйстве, а девчонки, Марина и Анютка, были со мной. Тётя Люба ездила на покос, а бабушку я, разумеется, брала в расчёт, но с неё и так хватало готовки: завтрак и обед баба Зоя желала делать самостоятельно, и только ужин в виде жареной картошки или рожек по-флотски для покосных работников доверяла мне.

Мы с девками облюбовали малину и смородину. Анютка лазила в кустах сама, пробивая себе дорогу среди колючих веток, а Марину я держала на руках. Иногда ко мне приводили понячиться ещё и Виталю. Самое первое время он боялся меня, но быстро привык.

— Вот и Виталя меня полюбил, — похвалилась я однажды тёте Любе.

— А что ж тебя не любить, милая? — ответила она.

Но скоро пришлось поплатиться за своё хвастовство. Меня попросили перевести всех трёх ребятшек к бабке Зине, а для этого надо было топтать на другой конец деревни. Я посадила Маринку в лёгкую коляску-трость, а Витальку и Аню одела в чистое и взяла за руки. Казалось, что мы потихоньку-полегоньку пройдем этот путь. Но стоило только пропасть из виду дому бабы Зои («старенькая баба» — так всегда называли её родители «моих» ребятшек), как Виталька рванулся и побежал назад. — Не-ет! Виталя! Идём! К бабе Зине идём!

Я схватила его за ручонку и поволокла обратно. Метров через двести парень покорился судьбе, и какое-то время мы шли спокойно. Но тут на повороте показался магазин.

— Ба-нан! — проскандировала Анюта.

— Банан! — повторил Виталя.

Маринка деловито сжала и разжала кулачок, демонстрируя, что и она бы не прочь что-нибудь ухватить от жизни.

Наличности при себе у меня было — кот наплакал. Чтобы войти в магазин, я сначала планировала оставить коляску с Мариной на улице, но потом побоялась, что она поднимет крик. Пришлось волочь всех троих в магазин. Моих копеек хватало на то, чтобы купить один банан и две маленькие конфетки.

Банан по-честному разделили на четверых. Свою часть Маринка со счастливой улыбкой размазала по футболке, и тут я заметила, что в коляске под ней плывёт лужа. Запасных колготок у нас с собой не было. С минуту я стояла в раздумье, гадая: то ли снять с ребёнка колготки, пользуясь летней погодой, то ли оставить сидеть в мокром, но хотя бы в одежде?

Подумав немного, я стащила с Маринки колготки и сунула их в низ коляски, а у себя с головы сняла панамку и постелила девке под задницу.

Новое приключение ждало нас при виде коз, к которым Витала тянул руки, а Анютка, наоборот, испугалась их и захныкала.

Последнюю часть пути мне пришлось взять Анютку на руки: она устала и ныла. Я шла, толкая впереди себя коляску с закемарившей Маринкой, Анька довольно сидела сверху, обхватив мою шею руками, а пацанёнок, уверенно держа мою руку, шёл с правой стороны.

Так, с приключениями, мы добрались до тёти Зины. На другой день мне пришлось повторить поход, только уже в обратную сторону. На сей раз я захватила с собой погремушки, мелочь, запасные шмотки в пакете и чувствовала, что мне уже ничего не страшно.

По вечерам я обычно стирала бельишко в бане. Машинку «Малютку» берегли только для постельного, а для мелких вещей хватало и доски. Мне нравилась уютная тёплая баня, которую мы с тётей Любой специально слегка подтапливали каждый день, нравилось, что там можно спокойно сесть и отдохнуть после всей пережитой суеты, окунуть руки в приятную расслабляющую мыльную воду и почувствовать сладкую усталость от дневных трудов. Мешали философскому настроению разве только комары, которых приходилось ловить или брызгать отравой из баллончика. Впрочем, если закрывать вовремя дверь предбанника, комары залетать не успевали.

Однажды, стирая детское бельишко, я увидела брошенные на банную лавочку взрослые коричневые колготки и, недолго думая, постирала их тоже. Уже поздно вечером баба Зоя стала ходить туда-сюда по дому, явно что-то ища.

— Мамусик, что потеряла? — спросила тётя Люба.  
— Да колготки... В бане сняла.

Я сказала, что их постирала, и никак не ожидала того, что случилось дальше. Баба Зоя подошла ко мне и сердито крикнула:

— А тебя кто, к чёрту, просил? Какую холеру ты их взяла?

Мне стало обидно от таких слов, тем более до сих пор старуха, хоть и не была со мной особенно ласкова, ругательств ни разу в мой адрес не произносила.

— Они там лежали...

— Не бери! — наказала мне баба Зоя, погрозив пальцем. — Ишь, какая работница! Всё она перестирала!

Она вышла на веранду, а я не выдержала и заплакала. Тётя Люба наклонилась ко мне:

— Настенька... Прости её. Она ведь старая уже.

— Да, да...

— Она старая, — повторила тётя Люба, — и сдерживаться не всегда может. Не успела до туалета добежать — и колготки мокрые. Она их там в бане сняла, хотела спрятать и сама постирать. Ну, или я бы ей постирала потихоньку, мне она разрешает...

Я поражённо посмотрела на тётю Любу. До сих пор мне не приходилось узнавать, как может стыдиться своей немощи человек и как за показной независимостью скрывает боль. Жаль, что в тот раз я не догадалась подумать о своей маме.

Цельми днями я нянчилась с детьми, собирала и очищала ягоду, убиралась в доме, стирала одежду, а по вечерам развлекалась тем, что разговаривала с тётей Любой и Леной или читала роман «Прощай, оружие!», который нашла в зале на полке. Я не чувствовала ни скуки, ни усталости, но тётка решила предложить мне отдых.

Почти напротив бабушкиного дома обитали дачники — так называли семьи, которые не жили в деревне постоянно, а приезжали сюда только на летнее время. У этих дачников по фамилии Копелевы было две дочери: одна примерно моего возраста, другая постарше, но тоже очень молодая. Тётя Люба привела меня к ним домой, представила и ушла по делам.

Сёстры приняли меня благосклонно, стали спрашивать, где я учусь и кем собираюсь стать. Я ещё не очень представляла, что буду делать, но ответила, что стану учителем.

— Ой, это так непристительно, — сразу сказала старшая.

— Денег мало дают. Может, подумаешь ещё? — добавила вторая.

Я покивала: подумаю, дескать. Этот неприятный разговор вернул меня к мысли, что нужно и в самом деле как-то определяться. Мне не хотелось даже мысленно возвращаться в город, Мальцево было моей маленькой вселенной, но весь изысканный городской вид девушек заставлял вернуться к важному вопросу: смогу ли я переехать сюда, в деревню, и если да, то как это сделать быстрее?

Девушки пригласили меня пойти вечером в бар. Баба Зоя с одобрением наблюдала, как я облачаюсь в светлую юбку и красную с золотом футболку (они до сих пор лежали у меня в сумке), крашу губы яркой помадой.

— Настя, тебе лет-то сколь? — поинтересовалась она.

— Шестнадцать. Скоро семнадцать.

— Шестнадцать? Ты ведь уже дружишь?

— С одним дружила, только совсем немножко. Неделю. Мы с ним в магазин ходили.

— Ну и тут найди какого, хоша на полнедели.

Я отправилась в бар без всякого желания, но при этом подумала: может быть, как раз там я смогу встретить какого-нибудь парня, закрутить с ним роман и остаться жить в деревне.

Копелевские девки расфуфырились на славу. Если днём, при знакомстве, они ещё вызывали у меня какое-то расположение, то сейчас отталкивали почти инстинктивно.

Мы сели за широкий деревянный стол, взяли пива, какой-то закуски. К нам подсели две

попроще одетые девчонки, стали рассказывать местные новости. Вначале я добросовестно прислушивалась к их разговорам, пыталась вникнуть в беседу, но потом потеряла её нить из-за обилия незнакомых имён, шума вокруг, да и малой связности речи девчонок.

Мы пошли танцевать, и тут стало немного веселей, но музыка слишком быстро прекратилась, и все опять разошлись за столы со спиртным. Не желая пить много, я потихоньку поменяла свою наполовину полную банку с коктейлем на почти пустую у моей соседки. Та не заметила подмены, а потом с удивлением сказала:

— Надо же, пью и пью, а банка не пустеет.

Я посмеялась про себя. За столиком поодаль сидел высокий симпатичный парень со светлыми волосами. Я стала разглядывать его и воображать, что его зовут Димой, Ильёй или Витей (это были мои любимые имена), ему девятнадцать лет или чуть побольше, он учится в Красноярске в техникуме и приехал сюда на каникулы к родителям. Когда снова заиграла музыка, я встала, чтобы пойти танцевать. К моей радости, парень тоже поднялся, смачно потянулся и пошёл на середину зала. Я осмелилась приблизиться к нему, но произнести ничего не решалась.

— Ну чё? — сказал он мне вдруг так грубо, что я вздрогнула.

— Ничё...

— А чё тогда пялишься, а? Танцевать пойдём, а?

Я слабо мотнула головой и отошла, чуть не заплакав от какой-то непонятной обиды и разочарования. Через минуту я уже корила себя, что не пошла плясать с этим парнем. Может, он снаружи только такой грубый? Ведь взять Ленку: она всё время матерится, а на самом деле добрая... Чёрт их знает, этих парней! Дожила почти до семнадцати лет, а так и не понимаю, как их завлекать. Разве что письмами...

### Дяди-Витина облепиха

Лето клонилось к закату. По утрам роса уже долго не высыхала, и солнышко, хотя по-прежнему дарило миру много ласкового света, не жгло поцелуями, умерило прежнюю страсть. Как воспоминания о его прежней щедрости и силе росли повсюду, по палисадникам и клумбам, пышные шафраны и бледно-жёлтые астры, медово пахнущий канадский золотарник да мелкие, не успевающие вызреть за короткое сибирское лето лимонно-жёлтые подсолнушки. И уже в самом конце августа яркими оранжевыми бусинами, богатыми ожерельями вызрели на тонких серебристых ветвях ягоды облепихи. — Я тебе, Настька, новое занятие нашла, — сказала тётя Люба.

— Какое?

— Облепиху будешь собирать. У брательника моего её мно-ого. Можно и варенье сварить, и

заморозить. Только ни у кого времени нет собирать.

— Не столько времени, как терпенья! — поправила баба Зоя. — А девчонка терпелива...

Недолго думая, тётка велела мне собираться.

— Придём прямо сейчас, познакомишься, покажут тебе, где что, а завтра сама, без меня, пойдёшь.

В половине девятого над деревней уже голубели сумерки, позванивали в вечернем остывающем воздухе комары. Мы пошли короткой дорогой — через закрывшуюся недавно больницу, потом — через развалины старой пекарни. В полутьме кирпичные обломки пекарни казались мне руинами древнего замка, и чудилось почему-то, что здесь, на пустыре, в высокой траве, должны обязательно водиться змеи. Место было неприветливое, и мне скорей хотелось выйти на большую дорогу, где опять начинались дома.

— Долго деревня тянется, — пожаловалась я.

— Ты ещё старое Мальцево не видела, — возразила тётя Люба. — От улицы Новой, от двухэтажек если дальше идти, там кладбище будет, а как его пройдёшь — так старое Мальцево.

— А автобус туда уже не ходит. Как же люди — пешком? А бабушки всякие?

— Конечно, пешком. Там дальше ещё одна деревня есть, Данилки... Деревень в России много, а автобусов мало. А бабушкам надо родственников иметь или жить тихонько на своём месте...

Придя к нужному дому, тётя Люба брякнула кольцом и позвала ленивым раскатистым голосом:

— Хозя-а-ава!..

Вышла стройная узколицая женщина в ситцевом платье, цыкнула на собаку и устало пригласила нас:

— Заходите, девочки...

В доме всё было чистое, даже нарядное, белого и голубого цвета. Только что вымытые чашки сушились на широком полотенце, уютно тикали ходики. Эту картину чистоты и аккуратности нарушала закопчённая большая сковорода, из которой ел котлеты одетый в клетчатую рубашу и трусы мужик.

В прошлом году мы заходили сюда, но тогда почему-то нас встретили куда церемоннее.

Меня мужик, кажется, совсем не стеснялся, как ни в чём не бывало продолжая ходить в трусах. Тётя Люба, заметив моё смущение, сказала нарочито вежливо:

— Штаны, будьте добры, наденьте. При ребёнке...

Услышав, что меня назвали ребёнком, я фыркнула и попыталась сделать вид, будто мне совершенно всё равно — в трусах тут передо мною расхаживают или вовсе без оных.

Дядя Вита, проворчав что-то насчёт дома и хозяина в нём, удалился в глубь комнат и вскоре вышел в летних парусиновых брюках, да ещё и причёсанный.

Тётя Валя несмело пригласила нас за небольшой стол с голубенькой скатертью и голосом, который у неё дрожал, как колеблющееся пламя свечи, стала рассказывать о сыне, переехавшем в город, о скотине, о картошке—о разных житейских мелочах. Тётя Люба изредка разбавляла её монолог сочувствующими репликами. Поддерживая «взрослый» имидж, я изо всех сил старалась быть внимательной, ожидая, что вот-вот и меня о чём-нибудь спросят.

И вдруг дядя Витя, который, казалось, давно занялся своими делами, убогительно воскликнул: — Настенька, чё ты их слушаешь?! Эти бабские разговоры—их хрен переслушаешь. На-ка лучше на...бни ещё котлетку.

Почти не растерявшись, я улыбнулась и уверенным жестом надела здоровущую домашнюю котлету на вилку.

— Ешь, красавица!—одобрил дядя Витя.—Вишь, кормили тебя хорошо—сытая стала, ба-альшая выросла!

— Да ты её вспомнил?—усомнилась тётя Люба.— Это же та самая девчонка, помнишь, котора на столе-то у тебя плясала. На юбилее!

Дядя Витя в раздумье наморщил лоб, а потом неуверенно выдал:

— Это она на дне рожденья моём пела, когда сорок пять годов мне было?

— Ну!—обрадовано подтвердила тётя Люба.—Мы с Настькой тогда песни голосили, частушки, а потом я её прямо на стол поставила. Ей тогда восемь лет было. А теперь шестнадцать.

Я помнила этот юбилей: в тот первый давний приезд тётя Люба нарядила меня в широкую юбку, красную кофту, нацепила сверху крупные бусы и цыганский платок с кистями и в таком виде привела меня за руку к дому своего брата. Сама она была очень весёлой, и от неё сильно пахло лаком для волос и духами. Мы кивали незнакомым для меня людям, сели рядом за стол, уставленный мясом, пирогами, разноцветными соленьями. Мне подкладывали салаты, тётя Люба громко смеялась, весело поглядывала на меня, потом вывела из-за стола и начала петь. Мы с ней пели «Окрасился месяц багрянцем», «Живёт моя отрада» и ещё что-то разухабистое, с припевом, гости нестройно подпевали, а потом одна, меньшая, часть стола как-то оказалась отделённой от остальной, и меня одним движением подкинули наверх. Вначале я немного испугалась, но скоро мне понравилось, что все по-прежнему веселятся, и я продолжала своим тонким голосом выкрикивать слова частушек. За окном была уже ночь; когда, наконец, закончили гулять, кто-то довёз нас с тётей Любой и бабушкой до дома на машине, и я, уставшая, но очень довольная, легла спать...

Озадаченность на дяди-Витином лице сменилась удивлением:

— От горшка два вершка была, а щас...

Тётя Люба зачем-то похвасталась:

— А петь она, как и раньше, умеет!

Я ощутила жгучий стыд, потому что, по нынешнему моему мнению, петь как следует не умели ни тётя Люба, ни я; да ещё и страх, что меня, чего доброго, опять заставят танцевать на столе. Но дядя Витя только поглядел на меня с каким-то смешанным чувством вождения и отеческой нежности и коротко рассмеялся.

— Завтра к нам приходи, собаку не бойся, она лает только—не кусает,—вроде бы без всякой связи с предыдущим разговором сказала тётя Валя.

Я пришла на другой день часам к десяти, от чая отказалась и сразу вышла в огород, к облепиховым деревьям. Мне выдали берёзовый туесок с лентой, маленькую складную лестницу, головной платок и пластиковый тазик. Я принялась за работу. Временами задувал по-осеннему холодный ветер, так что мне не было слишком тепло даже в свитере. Ягоды облепихи давились у меня в руках, давали сок. Вначале я пыталась рвать их без листьев, потом, чтобы ускорить дело, рвала и листья тоже, но всё равно получалось плохо. Выручить могло только терпение. Через пару часов тётя Валя принесла мне поесть, участливо спросила, не устала ли я. Я к тому времени набрала только один туесок и, хотя вправду уже устала, сказала, что всё отлично.

Вечером пришёл дядя Витя и оглядел мои труды.

— Что-то ты, девонька, мало набрала. На б...дки, что ли, ходила?

Я растерянно ответила:

— Да нет...

Дядя Витя вдруг хлопнул меня по заду и хотнул:

— Ну и зря! Я б на твоём месте ходил!

Вечером меня накормили ужином, расспрашивали о маме. Я уже так привыкла считать тёти-Любину родову за свою, что мне казалось, будто мы первый раз виделись с балагуром дядей Витей и его женой в моём глубоком детстве. Вернее, в каком-то давнем всеобщем детстве, когда были молоденькими деревцами нынешние высокие тополя на нашей улице в городе...

На второй день сбора облепихи баба Зоя выдала мне маникюрные ножницы. С ними дело пошло лучше, ягода собиралась быстрее, но жгучий сок успел разъесть мне пальцы, так что на них образовались круглые глубокие ранки, где кожа была прожжена до мяса. Я ничего не говорила об этом; только когда меня позвали ужинать, тётя Валя сама заметила мои руки и ахнула:

— Что ж ты молчала, милая?! А я-то, дура! Не догадалась тебе и перчатки дать. Там, наверное, уже всё собрано?

Я ответила, что не всё, что я приду ещё завтра.

— Надо тебя на мотоцикле прокатить за твои труды да за страдания! — весело объявил дядя Витя. — Ты хоть каталась раз?

Мне пришлось признаться, что никогда.

— Эх вы, городски! Жизни не знаете!

В одной руке дядя Витя велел мне держать литровую банку со сметаной, а другой хвататься за него. Я боязливо села на заднее место, глубоко вздохнула, крепко прижимая сметану к сердцу, и, как только взревел мотор, дёрнулась, будто ужаленная током, и закрыла глаза от предчувствия ужаса. Меня куда-то мчало, я словно летела в космосе, потеряв чувство пространства.

— Па-а-аберегись! — услышала я сквозь тьму и страх бодрый голос дяди Вити. — Па-а-аварот!

Я открыла глаза и не без восхищения увидела, как он плавно свернул с главной дороги на сыпучую гравийку, и, вцепившись пальцами в его куртку, решила оглядеться вокруг. Понизу клубилась густая пыль, в небе сияло солнце, а мы пролетали мимо деревьев, слившихся в одну зелёно-золотую волну, и сердце во мне дрожало от новизны чувств.

— Здорово? — крикнул сквозь шум мотора дядя Витя.

— Ага!

— Сметану держи!

На третий день я покончила с облепихой. Её частью заморозили, частью сварили, и из пяти банок варенья две тётя Валя отдала мне, а заодно вручила и полотняный мешочек с прошлогодними кедровыми орехами, и сушёную землянику. Было немного неудобно принимать подарки, но она смотрела на меня с таким умилением, что я поняла: откажусь — не миновать обиды.

— Ты где учиться будешь, девочка моя? — участливо спросила она.

Я ответила, что в госуниверситете, на филфаке, и пояснила на всякий случай, что это русский и литература.

— Вот Семён у нас тоже поступил в институт, — вмешался дядя Витя. — И ведь на бюджет поступил. На инженера. Два курса отучился — и какая моча ему в голову ударила? Ушёл. В армию сгребли... Ну, отслужил.

— Он бы мог отпуск там, в институте, взять, — добавила тётя Валя. — Тогда бы не пропали эти два года...

— Кабы у бабушки были мудушки, была б она дедушкой, — сердито оборвал дядя Витя. — А то не говорено ему было! Нет, своё: в армию пойду, потом работать. Ну и работает на этом своём заводе мясном. Учиться поздно теперича...

— Да не ругай уже Сёмку! Он зато женился давно, семейный человек уже, с ребёнком. Вот Гришка у нас не остепенится никак...

— Тот уж вовсе — в поле ветер, в жопе дым! — проворчал дядя Витя.

Заметив, что я внимательно смотрю на них и пытаюсь всему внимать, он сделал мне шутивное замечание:

— Да ты опять нас слушаешь! Не слушай ты эту нашу волюну. Щас в городе поучишься, ума как наберёшься, потом зимой к нам приедешь — а у нас вся деревня в снегу! Вся-вся.

— Много снега? — наивно спросила я.

— Что ты, девка! Как из автобуса выходят — лопату в руки и давай разгребать. Один впереди с лопатой, командует: жди две минуты. Две минуты прошло — следующий пошёл. И так вот один за другим всю дорогу и расчищают. А коровы на зиму в сугроб ложатся. Да. Осенью готовятся, жир копят, а потом сугроб себе готовят — и легли туда, и всю зиму спят.

— Да что ты буровишь-то?! — всплеснула руками тётя Валя. — Заговорил девчонку.

— И то правда, — согласился дядя Витя, весело поглядывая на меня. — Чё болтать попусту? Лучше настоечки выпьем.

Мне налили в стопку тёмно-коричневую пахучую жидкость.

— Это, Настя, наш домашний самогон. На кедровых скорлупках. Полезный! Такого в городе не выпьешь. На вот, попробуй.

Я выпила стопку залпом, закашлялась от резкого запаха.

— Ну как? — играя зеленоватыми глазами, осведомился дядя Витя.

Я смогла только внушительно кивнуть.

— То-то же! — довольно поддакнул он, приняв мой кивок за похвалу своему искусству.

На той же неделе я поехала на тракторе за грибами вместе с Ленкой и Ушаковыми. За рулём был Сашка, у которого выдался свободный день, а мы, сидя в кузове, неспешно говорили обо всём. По нашему следу бежали две Санькины собаки — он выпустил их, чтобы поохотились на мышей в лесу.

— Красота кругом, — легко обмахиваясь берёзовой веточкой, говорила тётя Катя Ушакова. — Пригляделись мы к ней, а ведь в какой земле живём! Хоть на карточку, а хоть на календарь снимай.

— А главное, люди в деревне крепкие, — продолжил Ушаков. — Потому что тут два пути: или загнёшься, или работать будешь. А просто так проклажаться да деньги получать не выйдет.

Я подумала, что, наверное, он не раз встречал городских, которые «проклажаются», и на всякий случай пообещала, что буду хорошо работать.

— А кто ты будешь? — любопытствовала у меня тётя Катя.

— Учитель. Русского и литературы.

— Учитель? — со значением переспросила она, медленно продолжая обмахиваться своей веточкой. — Это должен быть человек святой.

— Как это? — поразилась я.

— А так. Он у всех на виду, все по нему судят, как надо жить. Вот у нас, Толя, помнишь, Матвей Иванович был?

— Помню, как же. Земля ему пухом. Со всеми здоровался, всех уважал. И мы его уважали. Какой документ надо сделать, в какую контору обратиться — всё к нему.

Тётя Катя согласно покивала.

— Простой человек может и обмануть где-то, и со службы украсть, а учитель — нет! С него много спросится.

Поражённая их серьёзностью отношения к учителям, я спросила:

— А у меня так получится?

Мне очень хотелось, чтобы ответили «да».

— Откуда ж мы знаем? — просто сказал Ушаков.

На обратном пути мы пели песни, и вдруг посреди дороги трактор остановился.

— Поломка, что ли? — предположила Лена.

Из кабины вылез Сашка и начал осматриваться кругом, как будто что-то ища.

— Да ты что потерял-то? — спросила тётя Катя Ушакова.

Тот откликнулся не сразу. Хмуро пробормотал: — Еду и слышу... визжит чё-то... Сучка, может, под колёса попала?

— Сашка-а-а! Ха-ха! — залилась смехом тётя Катя. — Да это же мы поём!

### Разговор под звёздами

Дни летели, ночи становились всё длинней, и уже в десять вечера над деревней сгущалась бархатистая чернота, в которой вначале одна за другой, а потом целыми десятками начинали появляться звёзды.

Я и в городе любила смотреть на небо, но звёзды там были всегда редкими, только в самые ясные ночи можно было разглядеть скупые горстки сияющих точек. А здесь, в Мальцеве, звёзды сияли щедрыми россыпями, и от их изобильного света небо казалось полупрозрачным. Если я долго смотрела на них, мне чудилось, что звёзды становятся ближе, спускаются к земле, и очень верилось в поэтичную эвенкийскую сказку о Млечном Пути. В той сказке ловкий и упрямый охотник погнался за оленем на небо, да так и не настиг его, превратившись в Полярную звезду. А след от лыж охотника остался в небесной дали.

Когда после того августа прошло уже девять лет и я должна была вот-вот родить сына и стояла у подъезда в ожидании скорой, выдалась ясная звёздная ночь, и мне приходили на ум прощальные строчки Маяковского:

Уже второй. Должно быть, ты легла.

В ночи Млечпуть серебряной Окою...

Тогда же, в шестнадцать, я уже хотела иметь детей, как Лена или Полинка, но не слишком хотела иметь такого мужа, какие были у них. О детях я думала

потому, что мне хотелось о ком-то заботиться, и жизнь только ради своих интересов казалась немислимой. Кроме этого, насмотревшись на Лену и Полинку, я захотела чувствовать себя взрослой, быть настоящей женщиной, а ощутить это навряд ли было возможно, не имея детей.

Я слушала невесёлые разговоры Ленки о том, что Сашка выпивает, пьяный бывает сердит, бьёт посуду, выговаривает Ленке за то, что она курит, хотя сам дымит не хуже паровоза. Последнее почему-то особенно сильно меня обижало, и не потому, конечно, что я как-то поддерживала курение, а потому, что Сашка ставил знак неравенства между собой и своей женой. И пусть даже Сашка соорудил во дворе коптильню, держал десяток собак для охоты и развёл три огорода, эти его хозяйственные заслуги немного стоили в моих глазах. Я, конечно, мало понимала в семейной жизни, но знала по своему скудному ещё детскому опыту, что в мире существует дружба, а для друга стараются делать всё как для себя, потому что он — как часть тебя самого.

Сашка же обходился с Леной, по моим меркам, слишком грубо. Впрочем, и тётя Люба считала, что он Ленку не жалеет. Когда та поздним вечером приходила к нам с банкой молока после вечерней дойки, тётка сочувственно говорила ей:

— Устала? Натопталась за день?

И, благодарно принимая молоко, поила Лену чаем с карамельками.

Та, закатав рукава серой мужской рубахи, брала свою кружку — самую большую на столе — и скромно соглашалась:

— Устала малость.

— Сашка-то как отпустил к нам?

— Ворчал... Шасташь, говорит, всё. Сами бы пришли, городску бы свою отравили... А я чё — я целым дням пластаюсь, Настька вон когда за ребятишками приглядывают да мать... А на мне и скотина, и дом, и всё. Ну а чё делать? Через полгода ещё на работу выйду.

Я удивилась этим словам: как-то раньше мне ни разу не приходило в голову, что Ленка в двадцать один год может где-то работать за зарплату. Не в силах побороть любопытство, я спросила:

— Лена, а что у тебя за работа была?

— Уборщицей. В школе полы мыла. Годик-то всего помыла, там уже в декрет ушла. А где мне ещё работать? Школу только закончила.

— И мы с мамой ходим полы мыть, — решила выразить я солидарность.

— Мать у неё пластается тоже будь здоров, — вмешалась тётя Люба. — На основной работе пашет, а вечером ещё ходит полomoйствовать. Я уж ей говорю: Марья, брось ты это дело! Жить-то когда? Всех денег не заработаешь, а себя загопишь совсем.

Лена мягко, но уверенно возразила:

— Ну так она же ради Настьки старается. Одеват её, обуват, выучила вон в школе хорошей.

Мне стало неприятно оттого, что Ленка похвалила мою мать, от которой я видела много унижений и грубости, а она продолжала:

— Дай Бог бы всякому таких родителей, работающих да заботливых.

Тут моя душенька не выдержала — кольнула обида, живо вспомнились мамини крики, ругань, озлобленные слова «никчёмная» и «безалаберная».

— Не такая уж она хорошая! — бросила я.

Тётя Люба спокойно продолжала:

— Маша о Настьке очень заботится. Переживает за неё. Даже по первости в прошлом году боялась, не замрёт ли у нас девчонка с голоду.

— Ну даёт, — добродушно усмехнулась Ленка.

— Понять её можно. Одна девчонка у неё, как порошинка в глазу...

Я выплеснула обиду, захлёбываясь в потоке горьких слов:

— Знали бы вы! Она как обидится на меня, так молчит целыми днями и не скажет даже сразу за что. Только позовёт: «Иди жрать!» — и ничего больше! Молчит так, молчит два дня, а потом трещет, чтобы прощения просила, полотенцем хвощет! А что просить?! Прости не прости... не простит она меня всё равно!

Ленка немного опешила, а тётя Люба погладила меня по голове и вздохнула:

— Да, характер тяжёлый у неё... Вон у Сашки нашего тоже несладкий характер. Это уж люди они такие. Не умеют любовь свою показать. Внутри они любят, а показывать не станут. Боятся, что тогда их слабыми посчитают и уважать не будут.

Ленка повертела в руках чайную ложку.

— Красиво говоришь, тётя Люба. Не знаю, правда или нет, а слушать тебя охота.

Допив чай, она вошла в комнату, где у чёрно-белого телевизора, будто шаман у магического костра, сидела баба Зоя, и одновременно поздоровалась и попрощалась с ней.

Мы, как обычно, вызвались в провожатые.

— Идите с Богом, — благословила нас старуха.

Фонари в деревне ярко горели только на центральной улице. В остальных местах оставалось довольствоваться тусклыми красноватыми огнями, сильнее которых в эту августовскую пору светила луна и звёзды. В тишине и темноте острее казались терпкие запахи полыни и мяты, ощути-мей — порывы прохладного ветра.

— Хоть с вами отдохнуть, — сказала Лена. — Приду вот сейчас, Маринка спит, Нюрку уложу, посуду помою, в кухне подмету и лягу. А может, и Нюрка уже спит. Хорошо бы.

— Сашка-то её любит, — странным, словно бы извиняющимся тоном произнесла тётя Люба.

— А Маринку не так.

— И Маринку любит. Своя же кровь всё равно. Куда ему без вас?

— Никуда, — согласилась Лена. — Тётя Люба, так, главное, ещё бы мать не заедалась. А то как придёт, так и пошла, и пошла: готовишь невкусно, банки грязные с-под молока стоят, плита не чищена. А мне когда всё успеть? Да ещё стала выговаривать, что мать я плохая. А вон Колька с Полинкой вообще своё Витальку как родили, так и сдали ей на руки — и ничё, не плохие.

— Насчёт детей я поговорю с Зиной, пусть не обижает тебя, — пообещала разобраться с сестрой тётя Люба.

— Да я не то чтобы очень жалею, — неожиданно поправила Ленка. — В своём доме живу, и муж, и ребятишки есть. И земля. А как ведь я в детстве-то жила?! Настька вон не знает... Так я расскажу. Настенька, у нас пятеро детей было. И мамка, и отец — оба пили. Поначалу, когда маленькие мы были с сестрой, они то вроде весёлые — смеются, разрешают всё, а то как примутся орать да швыряться, что не знашь, куда деваться от них. А потом совсем запиваться стали... Стеклоочиститель даже... Я и сама-то с десяти лет курила, а с двенадцати пила. Помаленьку бражку сосали, пиво, потом и водку.

Я попыталась представить себе пьяных детей и вздрогнула от страха и отвращения.

— А как же в школе? Приходили же из школы к вам домой, проверяли?

Ленка усмехнулась.

— Ну, приходили, да. А что сделают? Скажут: «Не пейте, плохо»? Ну дак говорили. Эх, Настя, да кто в этих проклятых Ключах не бухает? Каждый первый. Что там делать-то? Совхоз как накрылся, работы не стало. Кто бухает, а кто и совсем... Вон, в прошлом году три человека повесились.

— Как повесились?! — вскричала я.

— Как — на дереве... Я в пятнадцать лет стала понимать: надо бежать оттуда. Школу постаралась закончить, после девятого класса в Мальцево стала летом приходиться. Два часа с половиной — долго ли идти? В баре, в «Сибирячке», с Сашкой вот познакомилась. С осени и жить с ним стала. Баба Зоя пустила. У неё Сашенька всегда был любимый внук. — Радовалась, что он жениться собрался, — вспомнила тётя Люба.

— Ага. Ничё не скажу, она меня хорошо приняла. Ну, только ругала, что неряха. Оладьи учила печь, пироги. Смотри, говорит. А я в бар ещё бегала, бухать хотелось, гулять. Потом думаю: что это я? Неужели хочу для детей своих такой судьбы, как у меня была? И всё — бросила пить. Нет, думаю, мои дети такого никогда не увидят, как я. Только восемнадцать исполнилось мне, поехала и закодировалась. И не пью никогда, слава Богу, даже не смотрю.

— Слава Богу, — повторила тётя Люба.

— Ну а в девятнадцать Анютку вот родила. Хорошо, что не сильно рано. Хотя Сашка два года детей

уже просил. Давай, говорит, сына мне роди... Ну, вот девок двух родила...

— Анютка-то—вылитый Сашка!—вставила тётя Люба.—Как помнишь, он на тракторе приехал, она только увидела—и сразу к нему! Обнимает, целует!

— Да-а... Я тоже батю своего любила. Хоть он и пил. Он у нас мастерить умел... когда-то. Шкафы в доме сделал, полки, стульчики детские. И что водка с человеком творит? Эх-х! Мужики, мужики! Что они пьют?! Баба ради детей может и пить бросить, и работать будет, и всё! А мужик? Захочет—и сам по себе живёт!

— Ну и мужику семья нужна,—не согласилась тётя Люба.—Хотя и не всегда. Козлы они, конечно, бывают порядочные!

— Ну вот, началось!—шутливо рассердилась я.—Это же такая глупость—говорить, что все мужики козлы! Это ведь так же глупо, как сказать, что все бабы—стервы.

— Так и то, и то правда,—с наигранной серьёзностью ответила тётя Люба.—Все бабы стервы, так и есть.

— Ну вот я, например, не стерва!

— Так ты, Настька, ещё и не баба!

Ленка рассмеялась, и я, пропустив лёгкий укол уязвлённого самолюбия, тоже поддержала её смехом.

— Ну а вы, тётя Люба? Вы разве стерва?

— Я-то? У-у! Анекдот знаешь? «Девушка, а вы с училища?»—«Ещё какая!»

Мы снова смеялись, глядя друг на друга в молочном свете фонарей. И Ленка, и тётя Люба казались мне бесконечно родными, мне хотелось, чтоб они были всегда, и отчаянно не верилось, что всего через два дня я должна буду уехать в город, ходить там в какой-то университет, заниматься непонятной учёбой. Отрезок пути я прошла молча, пытаюсь слотнуть ком в горле. Когда мы снова нырнули во тьму боковой улицы, я в волнении схватила Ленку за руку:

— Не хочу уезжать от вас! Остаться бы тут, и всё!

Тётя Люба с лёгким удивлением спросила:

— Так ты хочешь в деревне жить?

— Да!—ответила я.—У вас тут лучше всего!

Ленка оживилась:

— А что?! У нас и правда хорошо! Жильё дешевле, за всякую там коммуналку платить не надо, только за землю. Коли дрова, топи печку, картошку сажай! А учителям вообще дрова бесплатно дают.

— Учителям?—переспросила я.

— Ну да, конечно! Им же льготы положены. Закончишь учебку свою—и сразу к нам. Полдома тебе всяко-разно выделят. Под какую-нибудь там программу. А мы тебя тут замуж выдадим за кого-нибудь местного.

— Не надо ей за местного замуж,—поспорила тётя Люба.

— Почему это?—упёрлась Ленка, которой, наверное, уже понравилось устраивать мою судьбу.

— Ты разве не видишь, что она другая? Выйдет она за деревенского парня, и будет он ей тыкать, что она корову подоить не может, а она ему—что он Шекспира не читал.

— Я не буду тыкать,—слабо возразила я, в душе немного испугавшись смутного осознания: а действительно так и будет.

— Ей нужен интеллигент какой-нибудь. Чтобы поговорить с ним можно было.

Ленка приняла аргумент:

— Ну, тогда пусть в учебке своей ищет жениха да вместе с ним приезжат к нам. А мы всегда рады. Учителя-то нам нужны.

— Да?—робко уточнила я.

— Спрашивашь!—фыркнула Ленка.—Нина Пална, по математике, работает ещё, а ей семьдесят лет. Физрук приехал в прошлом году... варнак какой-то, с учениками на берегу бухает.

— А по русскому есть же у вас учитель?—спросила тётя Люба.

— Ну, есть одна, да у неё же классов много. Вторая точно не помешат!—уверила Лена.—Так что, девка, приезжай к нам.

Я вспомнила, как говорили об учителе своих детей старики Ушаковы, как были благодарны ему даже по прошествии стольких лет, и во мне горячей искрой зародилась надежда на то, что, может быть, я нашла, ради чего жить.

— Сейчас она будет год учиться, потом опять летом к нам приедет,—приобняв меня за плечи, пообещала тётя Люба.

Мы уже поравнялись с Ленкиным домом, в котором на веранде ярко горело жёлтое окошко.—Пойду, Сашка меня ждёт.

Я видела, как она прошла в дом, на ходу скидывая свою олимпийку. Я прищурилась, сясь разглядеть, как спят девчонки.

Тётя Люба, наверное, понимала, что мне жалко с ними прощаться, а может быть, и сама не хотела сразу уходить—ведь ей тоже предстояло ехать в город. Обратную дорогу до бабушки мы прошли почти что молча, и только перед самыми воротами тётя Люба вдруг сказала:

— Мало кто в деревню переезжает, но бывает и такое. А я вот—ни городская, ни деревенская; и вся жизнь моя в автобусе Красноярск—Мальцево...

## Лето третьё

### Страсти с пельменями

Дорога в город прошла для меня будто во сне. Я была Евой, которую изгнали из рая, хотя смутно пообещали возвращение.

На вокзале ветер крутил мусор, хлопал жестяными крышами ларьков. Мама встретила нас с тётёй Любой, накормила ужином и даже купила в магазине торт, украшенный кремовыми цветами. Наконец она была довольна мной и с радостью отправила первого сентября на праздник в университет.

Неделю или около того я так и оставалась в полусне, ничего вокруг не замечая. Перемена настала на занятии по латинскому языку. Латынь вёл полный, весёлый и не слишком строгий преподаватель, который с ходу заявил нам, что это простой язык, совсем похожий на русский, и — наверное, в доказательство — написал на доске какое-то диковинное стихотворение:

Oh, non est vesper, non est vesper;  
Valde parum dormivi,  
Valde parum dormivi:  
Oh, et in somnio vidi.

В этих странных словах мне почудилось что-то родное: они звучали как заклинание, способное вернуть меня туда, где жило моё сердце. Я повторила их вслед за преподавателем и одноклассниками, а потом услышала щелчок магнитофона и льющийся оттуда глубокий и плавный мужской голос, который уносил меня в вечерние предзакатные поля, в луговую даль:

Ой, то не вечер, то не вечер...  
Мне малым-мало спалось,  
Мне малым-мало спалось:  
Ой, да во сне привидело-ось...

Не знаю, каким было моё лицо, но преподаватель обратил на меня внимание и вежливо спросил: — Вы хотите что-то сказать, да? — Нет, — спешно оправилась я.

Мы ещё много раз пели на латыни и «Сон Степана Разина», и другие песни. Несколько человек из курса наш весёлый преподаватель выбрал, чтобы записать их пение в студии на плёнку, но, к моему глубокому сожалению, я в это число не вошла.

И всё же после того занятия я воспрянула духом и стала слушать то, что говорили на лекциях и семинарах. Учёба всё больше нравилась мне. После первой сессии я получила две пятёрки и одну четвёрку и с удивлением осознала, что здесь не школа, нет ни геометрии, ни физики, и ничто при желании не может помешать мне учиться хорошо и даже отлично.

Я завела себе несколько приятельниц из группы, ходила с ними в кино, в бассейн, но всё-таки очень скучала по деревне. На январь и половину февраля тётя Люба привезла к себе пожить бабушку, недельку гостили у неё же в квартире Анютка и Виталья.

— Скворешня у вас тут, — уверенно говорила баба Зоя. — Не дом это, а скворешня.

Тётя Люба не спорила:

— Конечно, мамусик. Ты к такому не привыкла. — Да и поздно на старости лет привыкать, — твердила старуха. — И как бабки и деды соглашаются в город переехать на житьё? Ведь там помидоры растут, смородина растёт, цыпляты растут... Всё растёт! А тут что? Сидишь как дура!

Вторую сессию я сдала на все пятёрки и в конце июня уже засобиралась в Мальцево. Мама с удовольствием смотрела на моё рвение.

— К кому ты там едешь? — не понимала она. — К старухам да малым детям? Когда ты уже учишься общаться со сверстниками?

— Я же общаюсь. Вон только к Оксане ходила, к экзамену вместе готовились.

— К экзамену... Гулять надо, танцевать, отдыхать! Студенческая жизнь-то так и пройдёт! И вспомнить будет нечего.

Я не понимала, чего мама хочет от меня, да и не стремилась узнать. Когда последние дела в городе были сделаны, я забежала к тётё Любе, чтобы спросить у неё, когда мы поедем в Мальцево, и не без удивления услышала:

— Пока не могу, Настенька. Заказы у меня поступили хорошие, не буду деньги терять. А ты ехай сама, доча. Будешь у бабы Зои жить, она тебя примет.

На второй день после приезда я пошла к Ленке и Сашке. На крыльце у них была свалена куча обуви — женской, мужской, детской, валялись резиновые и плюшевые игрушки. Только я открыла дверь, как увидела подростковую Маринку, которую едва не хлопнула по лбу.

— На-астя! — закричала радостно Лена.

Она снова была беременна — круглый живот явственно обозначался под светло-жёлтой футболкой.

— Ну, как ты? Учишься хорошо? Не выгнали ещё, а? — хрипловато рассмеявшись, попыталась она подколоть меня.

Я призналась, что сдала сессию на пятёрки. — Да-а, дева... — покачала головой Ленка. — Сейчас умная-преумная станешь, так с нами разговаривать не будешь.

Я догадывалась, что она шутит, но всё равно горячо заверила:

— Я всегда с вами буду разговаривать!

Лена стала собирать мне на стол вкусности, вытащила из холодильника грибную икру, солёные огурцы, протёртую черёмуху с сахаром.

— Ешь, ешь. Это всё для ума полезно, — совершенно серьёзно сказала она.

В этот же день мы решили заглянуть к Ушаковым. Только успела я открыть калитку и ступить на дощатый тротуар, как меня за ногу тянула собака — молча, не издав единого звука, дёрнула зубами за штанину так, что разорвала её напроочь.

— Ну и собачка у вас! — оправившись от испуга, пожаловалась я дяде Толе. — Даже не гавкнула, сразу тяпнула!

— А чё гавкать попусту? Надо сразу — кусь!

— Я тебе говорю, что на цепь надо её сажать! — вмешалась тётя Катя. — Покажи гачу-то... Ой, мать моя, вся продрана. Ничего, я тебе цветок-аппликацию дам — нагреешь утюгом, приклеишь...

Цветы у Ушаковых были везде — палисадник утопал в васильках и люпинах, вдоль забора набирали рост мальвы, в огороде были отведены две грядки под пионы и две — под гладиолусы. Даже балки крыльца украшали изящные длинные плети какого-то неизвестного мне вьющегося растения.

Два или три дня мы ночевали с бабой Зоей вдвоём, а потом в гости приехал её внук Вася с женой Галькой и маленькой дочкой Алиной. О том, что они могут навесить бабушку, я знала ещё в городе от тёти Любы и ждала их приезда с интересом и предвкушением новых знакомств.

Оказались они совсем не такими, как я их себе представляла. Вася не совсем походил на остальную бродниковскую родоу: такой же большеголовый, но с тёмными коротко стриженными волосами, с широкими чёрными бровями. Несмотря на широкие плечи и грудь колесом, он не напоминал богатыря — наоборот, в его облике было что-то болезненное. Потом оказалось, что первое впечатление меня не обмануло: Вася с рождения страдал пороком сердца, мать в детстве возила его по больницам, ему нельзя было быстро бегать, есть солёное, перенапрягаться, но чем старше он становился, тем меньше становилось ограничений, и к взрослым годам он был уже, что называется, «как все». В отличие от брата, он не уехал в город, остался в деревне вместе с отцом (мать умерла, когда Вася закончил школу) и устроился работать на пилораме.

Теперь ему было двадцать восемь лет, супруге Гальке — двадцать один, а дочке Алине — чуть побольше года.

Галька была полная, румяная, с пухлыми вишнёвыми губами, которые она часто облизывала кончиком языка. Слегка загорелым у неё было только круглое, с маленьким подбородком, лицо, а руки, несмотря на жаркое в том году лето, оставались белыми. На меня она сразу взглянула с подозрением и задала прямой вопрос:

— А ты кто?

— Это нашей Любы девочка. Соседка её, — представила меня бабушка.

Галька окинула меня снисходительным взглядом и принялась располагаться в отведённой им большой комнате. На подушках она сразу поменяла наволочки, переоблачилась в цветастый махровый халат и потребовала ящик или коробку, чтобы сложить игрушки для ребёнка. Пока она

и Вася возились с вещами, баба Зоя исподтишка кивнула мне на Алинку:

— Слушай, девка-то страшная.

Соглашаться я, конечно, не стала, хотя и вправду головастая, с глазёнками слегка навывкате девочка тоже не показалась мне симпатичной.

— Она просто подрастёт и станет другая, — сказала я.

Баба Зоя пожевала губами.

— Может быть, верно говоришь, израстётся.

Жена Васькина бабушке тоже не очень понравилась. В первый же день старуха угадала, что Галька курит, и заявила своё мнение об этом:

— Не люблю куряк. А уж особенно — когда бабы дымят. Куришь — в огороде кури, а в доме чтобы не думала.

Галька посчитала, что это я сдала её, и с тех пор стала смотреть на меня откровенно неприязненно. Была и ещё одна причина для неё нелюбви: Вася как-то очень любезно расспрашивал меня, где я живу, где учусь, и посматривал на меня с неприкрытым интересом. Мне его внимание было неприятно, тем более что я видела, как сердится от этого Галька.

Когда мне принесли нянчиться Нюрку и Марину, я играла с ними на крыльце, там же сидела баба Зоя. Глядя, как я вожусь с Маринкой, она серьёзно сказала:

— На тебя похожа. Глаза такие же.

В тот год лето было очень тёплое, но не сухое, и полевая клубника поспела уже к самому началу июля. Мы с тётей Валей и ещё двумя женщинами поехали за ней на дяди-Витиной моторной лодке. Росла клубника на другом берегу реки. Я впервые ехала на моторке, разрезающей носом синюю воду, опускала руку в воду, стараясь поймать белый след. Клубники оказалось много, мы ползали по всему полю, набирая один литр за другим. От жары есть не хотелось, закусывали только хлебом и огурцами.

Домой я вернулась вечером. Галька и Вася куда-то ушли. Баба Зоя приняла у меня урожай и похвалила за труды:

— Теперь и засушим, и варенья наварим. Самое вкусное — клубничное варенье-то.

Настроение у меня было хорошее, так что и отдыхать не хотелось. Надо было готовить ужин. Вначале я подумала, что можно просто сварить картошку, но потом решила, что такой знатный урожай надо отметить более шикарным блюдом — хотя бы драниками.

Баба Зоя зашла на веранду, когда я уже раскладывала картофельные оладьи на сковороде. Она какое-то время смотрела на меня, потом погладила сухими пальцами по спине и мягко сказала:

— Совсем деревенску сделали девчонку. С поля приехала, ужин сготовила. Щас сметанки принесу...

Когда Вася с семьёй вернулись с прогулки, баба Зоя опять похвалила меня, чем вызвала Галькину ревность, и та с обидой парировала:

— Ну и что? А я завтра борщ сварю!

Она в самом деле сварила борщ, и очень вкусный, и тоже удостоилась бабушкиной похвалы. Ближе к вечеру они с Васей неожиданно пригласили меня в бар.

— Мы сегодня в «Сибирячку» пойдём. Хочешь с нами?

Я не то чтобы очень хотела, но рассмотрела этот жест как возможность примирения и без раздумий сказала «да». С Алинкой согласилась остаться бабушка.

В баре мы сели за широкий деревянный стол напротив стойки. Я думала, что Вася закажет пиво или, на худой конец, какие-нибудь коктейли, но он взял водку. Я немного испугалась, потому что водку ещё никогда не пила, не считая рюмочки дяди-Витиноного самогона. Оставалось только надеяться, что опьянеть мне не дадут пельмени — Вася взял три порции пельменей с майонезом да ещё какие-то пережаренные беляши с мясом.

Заиграла популярная в тот год «Широка река», Вася пригласил меня танцевать. Мы топтались на одном месте, он смотрел на меня с неприятной внимательностью, крепко держа широкие ладони на моей талии, а мне хотелось только одного — чтобы прекратились из динамика завывания про эту клятую реку, коня и окаянную любовь и все сели по местам до следующей песни.

— За-а-ая, — позвала томным голосом Галька и потянула к мужу руки. — Иди сюда.

Она сама обхватила его шею, впилась губами в его губы, а я была только тому и рада.

К нам подсели двое каких-то не то мужиков, не то парней, стали разговаривать со мной, но я уже порядком захмелела от стакана водки и не совсем соображала, что говорю. В голову как будто напихали ваты. Помню, что парни смеялись, угощали меня каким-то питьём и копчёным сыром.

Вася с Галькой ещё танцевали, верней, висели друг на друге, а мне как-то внезапно сделалось скучно и захотелось спать. Я смотрела, как мельтешили в баре парни, девушка, кричала что-то большегрудая баба, хлопала входная дверь, звенели бутылки, визжал и требовал какую-то игрушку принесённый сюда ребёнок двух-трёх лет от роду, которого, видно, не нашли с кем оставить. Вся эта вакханалия, сдобренная напористой музыкой, стала сильно утомлять меня. Я вспомнила, что дома у нас Алинка, а с ней только бабушка, и кто знает, всё ли у них хорошо.

— Пойдёмте домой! — попросила я Гальку. — Там ведь ребёнок у нас!

— С ней бабушка! — отмахнулся Вася.

— Пойдём! — жалобно просила я.

Мы просидели в баре ещё час или два, когда, наконец, мои спутники собрались возвращаться домой. Я боялась, что идти будет тяжело, но только немного кружилась голова.

Алинка в самом деле проснулась. Баба Зоя встретила нас прямо в сенях:

— Не спит ваша девка! Трясу её, трясу, а она никак!

— Я же её уложила!

— Ты уложила, а она проснулась! На, успокаивай её сама.

Галя села кормить дочку грудью, а я сразу бухнула спать.

На другой день Саша и Ленка узнали, что я ходила в бар, и, к моему удивлению, начали костерить меня на чём свет стоит.

— Ты совсем сдурела, чума болотная?! — кричала Ленка. — В бар потащилась! Да там кто сидит? Кого там доброго найдёшь?!

— Чё, пельменей не ела? — поддерживал её Сашка. — Свари дома пельмени и жри!

— А этой Гальке, свинье толстомордой, я покажу, как тебя портить, — пригрозила Ленке. — Пушай сама эту водку глыкают.

— Давай-ка лучше вон на покос собирайся, — сказал Сашка. — Поедешь с нами завтра?

— Поеду! — обрадовалась я.

### Сюрприз на день рождения

В прошлом году на покосе я больше отдыхала, чем работала: стоило нам только приехать, дядя Толя Ушаков с чувством разводил костерок, кипятил чай, и мы изрядно набивали животы хлебом и консервами, перед тем как пойти орудовать вилами. Да и во время работы, хотя никто особенно за мной не следил, я чувствовала себя под опекой тёти Любы, как бы «при ней», и могла никуда не торопиться и не стараться изо всех сил, спокойно присматриваясь к тому, что делают другие.

Сейчас мы поехали вшестером — четверо мужиков, включая Сашку, тётя Катя Ушакова и я. Не было ни Ленки (она доживала уже седьмой месяц беременности), ни даже старого Ушакова, который мог бы меня побаловать чайком. В Сашкином тракторе без бортиков я ехала, вцепившись для надёжности в мешок цемента, с самым серьёзным видом, понимая, что сегодня трудиться придётся не на шутку.

— Девушка, а ты бы кого хотела себе родить? Мальчика или девочку? — решил позаигрывать со мной рябоватый плотный мужичок.

Я буркнула, что не знаю, но он не отставал, и тогда я сказала, что, наверное, мальчика.

— Ну и правильно. Зачем тебе девочка? Ты же сама девочка. А ты знаешь, я ведь и мальчика, и девочку умею делать, — шутивно похвастался мужичок.

— Знаем! Вон у тебя дома оба сидят, а в придачу к ним дедушка и бабушка, — отшила моего ухажёра тётя Катя, вызвав всеобщий смех.

Поели мы наскоро и принялись за работу. Я старалась поспевать за остальными, но мне явно не хватало сноровки и опыта. Часа через два я уже чувствовала, что натёрла мозоли, несмотря на перчатки. К концу «смены» по спине у меня катился пот, но, на удивление, сильной усталости не чувствовалось.

Сашка привёз меня на тракторе прямо до дома и отчитался бабе Зое:

— Семь копён поставили. Сено ещё не просохло, да дождь будет. Потом, как солнышко выглянет, разобьём, просушим.

Наливая себе кипятков, нарезаая хлеб, он как бы невзначай добавил:

— Настыка тоже хорошо работала.

— Откуда ты знаешь, как копны ставят?— удивлённо спросил Вася.— Ты же городская.

Я пожалала плечами:

— Мама говорила, у меня дед по отцу был председателем колхоза.

— Ну вот, как кого городского ни возьми— так родня-то всё равно из деревни,— довольно сказала баба Зоя, одобрительно похлопав меня по спине.

За ужином она вытащила для меня и Сашки по парочке шоколадных конфет, которыми, по своему обычаю, награждала только чем-нибудь отличившихся.

Гальке, конечно, это не понравилось, и она решила в ту же ночь продемонстрировать мне своё превосходство. Устав за день, я ушла спать пораньше, но только стала чувствовать, что проваливаюсь в дремоту, как услышала смешки, а потом и стоны. Стонала Галька громко, явно желая, чтобы мне было слышно. Я вздохнула, вытащила из-под кровати прочитанный уже на две трети «Собор Парижской Богоматери», почитала немного и, сморённая усталостью, всё-таки отключилась.

Утром на кухне Галька, со вкусом потягиваясь, спросила меня:

— Мы тебе сегодня не мешали?

— Да нет...

— Хорошо,— лукаво сощурила она серые глаза.— А то, знаешь, я привыкла эмоций не сдерживать. Когда хорошо мне, то не могу молчать...

Я почувствовала обиду не столько оттого, что мне так явно указали на мою неопытность, сколько оттого, что я ведь не сделала Гальке ничего плохого, а она всё равно невзлюбила меня. Впрочем, через какое-то время я поняла, что она преподала мне урок: никогда не удаётся быть хорошим для всех, не стоит к этому и стремиться.

Вася, однако, всё равно не отставал от меня, навязчиво и подробно рассказывал, как он с отцом разводит пчёл, какие ставит ульи и сколько собирает мёда, как ловит рыбу ставными сетями и на самолёвы. Мне иногда казалось, что ему просто одиноко, и я из вежливости пыталась слушать его. Но всё-таки он был изрядно докучлив и неприятно

любезен, а самое главное—я прекрасно видела, как эти его разговоры злят Гальку, и меньше всего хотела вносить между ними разлад.

Я съездила на покос ещё три или четыре раза, потом Сашка сказал, что управятся без меня. К тому времени поспела красная и чёрная смородина в бабушкином огороде, и Лена для компании тоже пришла к нам её собирать.

— Вы что, предохраняться не умеете?— насмешливо спросила Галя, глядя на Ленкин круглый живот.— А тебе что?— присовокупив матерок, ответила та.

— Да ничего... Пожили бы хоть немного для себя. Молодые же ещё.

Галька томно вздохнула, потянулась и мечтательно прибавила:

— Сидим мы в этих проклятых деревнях, копаемся в земле, а съездить бы, мир посмотреть!

— Кто-то должен и в земле копать,— парировала Ленка.— Кто же будет народ кормить? Картошку, тыкву сажать, коров доить? Вот это и оказались мы.

— Ну да, ну да,— снисходительно согласилась Галька.— Только вот почему именно мы? Некоторые свободно живут, ездят везде, в страны всякие. А тут мужики эти, дети... свёкры до кучи.

— Как без мужика жить? Вот Сашка иной раз достанет, думаю: как задолбал! А если он уедет по работе хотя бы на день, я без него места себе не нахожу. Думаю: как он там? Доехал бы благополучно... И когда он дома, уснуть одна не могу. Он шарахается по комнатам, я его зову. Иди, говорю, сюда, угомонись уже! Без него чего-то не хватает...

— А я знаю чего,— прикусила пухлую вишнёвую губу Галька, кощачьим взглядом в упор глядя на Сашкину жену.

— Да пошла ты!— озлилась Ленка.

Незаметно подошёл август и Маринкин день рождения. Лена попросила меня прийти с утра, помочь ей накрыть на стол. Санька в тот день работал и должен был явиться домой только к вечеру, но переносить праздник Ленка не захотела. Когда я пришла, она вручила мне список для магазина, в котором среди прочего значились две бутылки водки и полторашка пива, и попросила принести всё поскорей.

Мы вдвоём сделали куриные котлеты, три салага, наготовили бутербродов. Анютка и Марина сустились около нас, ухватывая со стола то краюшку хлеба, то кусок огурца. Когда всё почти было закончено, Ленка вдруг сказала мне:

— Пойду-ка я полежу. Знаешь, устала... Гости придут— ты сама встречай, скажи, я минут через двадцать выйду.

Я отправила её отдыхать, заверив, что всех впущу и посажу за стол. Пришли Ушаковы, Васька и Галька, ещё трое каких-то незнакомых мне и не слишком приятных на лицо людей. Лена вышла к столу в длинном сером платье, похожем

на старинную домотканую рубаху, и цветом лица мало отличалась от своего наряда. Я тревожно смотрела на неё, пока гости ели, пили и тискали девчонок.

В какой-то момент Ленино лицо как будто свело судорогой, и тут сидящая напротив покрасневшая от вина Галька испуганно вскрикнула:

— Ма-агь! Да ты что, рожаешь?!

Ленка молчала долгие секунды, а потом смиренно кивнула:

— Вроде да.

Неизвестных мне гостей как будто сдуло ветром, дядя Толя Ушаков стал громко сокрушаться, что его «уазик» сейчас сломан. Вася побежал искать машину, и Галька утянулась вслед за ним.

Мы остались с Леной вдвоём. Она прилегла на маленькую тахту со спинкой, где спала Анютка, и, облизнув пересохшие губы, попросила меня: — Настенька... Там на кухне, в хлебнице, документы в файле лежат, приготовь...

Я принесла бумаги, потом стала доставать из шкафов и тумбочек нужные вещи для роддома.

— Ты прости уж, что так вышло, — извинялась Ленка. — Мне же ещё не срок. Я думала, только к концу месяца рожу или вовсе в сентябре...

Я погладила её по худым загорелым рукам, на которых выступали вены, отчаянно желая успокоить: — Это ты меня прости, что я смотрела и не догадалась, что ты скоро родишь. Сейчас Васька придёт, на машине повезут тебя в райцентр...

Лена не стонала и не кричала, но по её тяжёлому шумному дыханию и по тому, с какой силой она упиралась ногами в спинку тахты, я догадывалась, что ей несладко. Девчонкам я включила видик со «Смешариками», чтобы не бегали по дому, а сама сидела на полу рядом с Ленкой, изо всех сил желая, чтобы поскорей нашлась машина.

Когда глухо стукнула дверь, я подскочила, думая встретить Ваську, но внезапно увидела не кого иного, как тётю Любу. На мгновение я застыла перед ней в немом удивлении, а потом кинулась ей на шею. Тётя Люба здесь! Значит, всё теперь будет хорошо.

Оказалось, её подвёз на машине дяди-Витин старший сын Семён. Чисто случайно она сразу по приезде решила пойти навестить Лену и тут столкнулась с бегущим куда-то Васькой.

Машину для Ленки пригнали. Помогая ей усаживаться, тётя Люба отчитывала молодую мамашу: — Ты как будто первый раз, а! Если бы дома родила?! Настька бы роды принимала?

Я ошеломлённо протягивала пакеты с вещами, воображая, что бы мы и впрямь делали в таком случае.

— Не поняла я... — оправдывалась Ленка.

— Ладно, тебе и так плохо. До больницы-то смотри доезжай!

— Доеду...

Тётя Люба попросила меня остаться и, если она к утру не вернётся, отвести девчонок в садик. Вася и Галька поспешили к бабушке — сообщить новость.

Санька вернулся часам к восьми вечера. О том, что Лену увезли в роддом, он уже знал. Я дала ему поужинать макароны с лечо, и он молча всё съел, сказав только два слова:

— Масла мало.

Потом ушёл кормить скотину, доить корову.

Часам к десяти наконец позвонила тётя Люба. Трубку, конечно, взял Сашка, но я села около него и прекрасно услышала, как на том конце провода радостно сказали:

— Родила! Почти как приехали, так и родила. Позвонить возможности не было. Нормально вроде всё! Два кило девятьсот, рост сорок восемь сантиметров. Мать живая, весёлая. Страху набралась!

— Ты скажи, кого родила-то?

— Мальчика!

Сашка засмеялся:

— Спасибо, тётка!

Он бросил трубку, накинул рабочую куртку и умчался куда-то. Я уложила девчонок и легла спать сама. Сашка вернулся под утро, был пьяный и, не раздеваясь, лёг спать. Я осторожно закрыла его каким-то пледом, а в половине седьмого, как только прозвенел будильник, принялась тормозить девчонок. Они ныли, не хотели одеваться. Я кое-как заплела их, натянула колготки, напялила, какие нашла, платья и повела по главной улице до детского сада. Увидев воспитательницу, Анютка успокоилась и пошла в группу. Марина же уцепилась за меня.

— Мариночка, доча, иди, — подражая интонациям тёти Любы, сказала я. — Вечером заберу тебя. Поиграешь, поешь, поспишь — там я и приду.

После садика я побежала к бабушке, позвонила от неё в роддом, попросила позвать Елену Бродникову.

— Настька, ты! — радостно звенел в трубке Ленкин голос. — Ты моя родня самая лучшая! Как там доченьки мои?

— Хорошо, в садике.

— А Санька?

— Нормально, — соврала я.

— Ну и слава Богу. А у меня тут хорошо! Лежу, отдыхаю, с бабами разговариваю, ребяточка кормлю! Слушай, красавица моя: там у нас малина осыпается, наверное. Ты собери её, а?

— Соберу и сварю.

— Ой, спасибо, дорогая!

Сашку привела в чувство его мать, младшая тёти-Любина сестра: зайдя при мне в дом и увидев на столе бутылки, она начала так кричать благим матом, что я не один раз вздрогнула. Мы вместе с ней стали мыть окна, выбивать коврики, протирать шкафы. Сашка, оправившийся от

внезапного счастья, покрасил свежей голубой извёсткой печку.

На шестой день Лену с ребёнком должны были выписать. В доме окна сияли чистотой, в комнатах и на кухне царил порядок, еды было приготовлено на два дня вперёд.

Мы поехали на ушаковском «уазике» — хозяйин машины, разодетый в рубашку и брюки со стрелками Саня, его мать и я. Тётя Люба добровольно уступила мне место в машине, видя, как сильно я желаю поехать за Ленкой в райцентр, и осталась с девочками.

Лена вышла на крыльцо в брючном костюме, в расстёгнутом пиджаке, под которым виднелась белая футболка, растянутая на набухших грудях. — Родня приехала! — весело оглядела она нас.

Сдав ребёнка на руки довольному отцу, она крепко обняла меня, потом объятием поприветствовала и свекровь, и старика Ушакова.

Заходя во двор, Ленка, несомая по волнам какой-то дикой, неумной радости, горячо приветствовала всё живое:

— Здравствуй, ты, мой огород! Здравсьте, куры! Здравсьте, кролики!

Она подошла к сторожевому псу Северу и стала нежно трепать его вислые уши.

— А-ах ты, сволочь! Старый ты чёрт! Расцеловала бы я тебя!

— Ну уж ты скажешь! — проворчала тётя Зина.

В доме был недолгий праздник: выпили чаю с тортом, от которого родильница попробовала только маленький кусочек, поздравили молодых отца с матерью ещё раз и стали расходиться. Ленка, уже переоблачившаяся в привычный спортивный костюм, провожала меня на крыльце. Ветер трепал чёлку её каштановых волос, щёки у неё цвели румянцем, карие глаза лихорадочно блестили.

— Приходи завтра, моя красавица, — настойчиво приглашала меня она. — Мы тебе всегда рады.

Я обняла её на прощание, смутно удивляясь этой бурной радости, которой отчего-то не было, когда родилась Маринка, и невольно заражаясь от Ленки безотчётным счастьем и желанием куда-то лететь. Я возвращалась к бабушке в обход по щёбёнчатой дороге, шла не спеша и думала о том, что когда-нибудь и я вернусь вот так из роддома — и кто тогда будет встречать меня?

### Приёмная жена

Я ходила к Лене каждый день, но моя реальная помощь теперь была уже не очень нужна — заботу о девочках пока взяла на себя бабушка, тёти-Любина сестра. Другого внука, Витальку, она на ближайшее время вернула родителям, Кольке и Полине, в Ключи.

— Вот и правильно, — одобрял свою мать Санька. — А то как родили, так и сдали на руки тебе. Пусть пацан хоть дома поживёт. А нам ты сейчас нужна.

Тётя Зина помогала не только с детьми и домом, но и во дворе с работой справлялась, понятное дело, лучше меня. Я очень тосковала, что меня так и не научили доить корову или хотя бы козу, и на мои просьбы показать, как это делается, смотрели как на блажь. А мне так хотелось всё уметь!

Конечно, Ленка была рада, что я прихожу, и без всякой помощи с моей стороны. Да и тётя Зина встречала меня тепло, угощала свежими булочками-розанами с расплавленным на верхушке сахаром. Но уже было явно неуместно торчать у них в доме по полдня. Я приходила утром к завтраку, любовалась на то, как Лена кормит и баюкает сына, играла с девочками. Пока у Ленки жила свекровь, Анюту и Маринку решили не водить в садик. Они накидывались на меня прямо на пороге с криком «Настя!» и волокли к себе в комнату. Анютка прямо душила меня в своих объятиях, валила на пол, смеялась. Маринка была скромней, но тоже любила обнимашки.

— Загоняли они тебя, — со снисходительной улыбкой говорила тётя Зина.

— Не-ет! — успокаивала я. — Они смешные.

Я любила гладить Маринку по слегка загорелым мягким ручкам, по рыжевато-русым, как у Лены, волосам.

— Хорошей матерью будешь, — сказала мне как-то Лена.

А во мне к тому времени поселилось опасение: смогу ли я вправду стать настоящей женой и матерью? Впрочем, матерью, наверное, смогу — я ведь люблю детей и готова взять на себя труды о них. Но женой? Как это — быть женой? Что нужно делать для этого?

Ещё в прошлом году, когда Санька был дома, я присматривалась к тому, как они общаются между собой с Ленкой. Она всегда накрывала ему на стол, и только когда муж поест, кормила детей и ела сама. Они много всего делали вместе: кололи дрова, ходили за скотиной, ездили на огороды, но трудно было сказать, объединяет ли их что-нибудь, кроме бесконечной деревенской работы. При мне они никогда не обнимали друг друга, не говорили ласковых слов. Впрочем, что касается Ленки, то тут я сомневалась, что она вообще знает какие-нибудь ласковые слова: их ей заменяли ругательства, произносимые нежным тоном. И непослушную скотину, и расшалившихся дочек она называла «чума болотная», «зараза», «сволочь», «бестолочь», а любимую Сашкину собаку Севера часто гладила и трепала за ушами, приговаривая:

— Старый ты хрен!

Однажды, когда я не стала есть оставленное мне лакомство, Ленка пожурила меня:

— Ну и что ты черёмуху не съела, бичёвка? Съедят ведь другие, в большой семье не щёлкай клювом!

Сашка же был всегда угрюм и вообще мало разговаривал.

Галька же с Васей, наоборот, говорили много — и меж собой, и с другими, называли друг друга то «зая», то «киса» и любили обниматься, не считаясь с тем, что находятся не одни. Мне в мои семнадцать лет, понятно, тоже уже хотелось с кем-нибудь позажиматься, но всё-таки я была уверена, что так откровенно показывать свои чувства не стоит. Да и в чувства Галькины не так уж верилось: зачем бы ей навязчиво показывать их, если и так всё хорошо?

После того, как Лену увезли на машине в больницу и я стала пропадать в их с Сашкой доме, Вася, похоже, утратил ко мне интерес, и Галька стала обращать на меня внимания столько же, сколько на мебель. Она взяла на себя приготовление супов и пирогов, расхаживала по дому в цветастом халате, из-под которого виднелась длинная ночная сорочка, и томным голосом напевала:

В лунном сия-анье  
Снег серебри-ится.  
Вдо-оль по доро-оге  
Тро-оечка мчится.  
День-динь-динь, динь-динь-динь,  
Колоко-о-ольчик звени-ит.  
Этот звон, э-этот звон  
О любви говори-и-ит.

Слова «о любви», равно как и «динь-динь-динь», Галька пропевала особенно старательно и душевно.

Ещё одним примером жизни в паре была семья моей подружки Ольги. Дома у неё верховодила мама, она распоряжалась деньгами и принимала все важные решения, а отец жил дачей и лесом. Рано поседевший, с добрыми и печальными светлоголубыми глазами, от углов которых лучами расходились морщинки, он был похож на папу Карло в исполнении Николая Гринько. Мне казалось, что он очень хороший, чуткий человек, и я осуждала Олю, которая лет в тринадцать вслед за матерью стала звать его Шуриком:

— Какой же он тебе Шурик? Ведь это — папа.

— Мама так говорит, — пожимала плечами моя подружка, решительно не понимая, что тут такого.

Я звала Олиного отца дядей Сашей, и мне многое в нём нравилось: как он всегда вежливо приветствовал меня: «Здравствуй, Настя, проходи», — и предлагал какао или кофе; как помогал Ольге с физикой, терпеливо объясняя ей законы природы, а ещё раньше — рисовал за неё картинки на изо. Как рассуждал об обществе и о политике; рассказывал разные вещи про лес — как в нём не заблудиться, находить разные грибы, развести костёр...

Был всё-таки недостаток и у этого прекрасного человека: он не работал. Уже четыре года как дядя Шурик зимой штудировал газеты или бегал на лыжах, а с наступлением весны перебирался на дачу, которая по-настоящему и становилась его домом.

Жил он на деньги, которые остались от продажи дома его тётки где-то в Вологодской области.

— Ты представляешь, о чём он думает? За квартиру платить, кредит платить, есть надо, а он дома сел! — жаловалась мне подружка словами своей матери.

В общем, ни один из примеров семейных отношений, которые были у меня перед глазами, не давал исчерпывающего ответа на вопрос: зачем всё это нужно? Я как-то рискнула спросить у мамы, для чего выходят замуж, и она ответила очень резко:

— Чтобы человек заботился о тебе! Чтоб защищал! Чтобы быть за ним как за каменной стеной!

Это было не очень понятно: от чего меня надо защищать и к чему прятаться за какую-то стену? Мама на моей памяти никогда не имела отношений с мужчинами. Раза два или три, когда мне было лет восемь, к нам приходил в гости один интересный тип, бывший инженер, сокращённый с завода в девяносто пятом году, но мама скоро дала ему от ворот поворот, обозвав «пустым человеком». Я рассудила, что не очень-то нужна ей каменная стена, да и вообще не нужны мужчины.

Становиться такой, как мама, мне точно не хотелось. Оставалась ещё тётя Люба. Но и она не была замужем. Точнее, была когда-то раньше, а потом, когда они то ли расходились, то ли крупно поссорились, этот муж в порыве злости поджёг тётю-Любину квартиру. Эту историю от меня не скрывали, но тётке не нравилось о ней вспоминать. Чтобы не тревожить чужие раны, я решила задать вопрос в философском ключе, как бы обо всех: — Тётя Люба, а что лучше — семейная жизнь или одиночество?

Она немного подумала.

— Тут можно выстроить градацию: хороший брак — одиночество — хреновый брак.

Для меня после этого ответа показалось очевидным, что она выбрала одиночество вместо плохого брака.

Но это оказалось не совсем так.

Однажды, уже в двадцатых числах августа, мы с тётей Любой и Галькой пошли за грибами. Галька жаловалась, что ей надоело жить с ворчливым и придирчивым свёкром, который, как на грех, всё умеет делать руками, даже пироги с капустой печь, и при случае всегда укажет на ошибку.

— И вообще, в город бы переехать. Чтоб не пахать на огороде, от комарья этого избавиться. Свет увидеть!

— А что бы ты в городе делала? — любопытствовала тётя Люба.

— М-м-м... — Галька сладко причмокнула губами. — В ресторан бы пошла.

— Зачем тебе ресторан?

— Там культура. Сядешь за стол, ешь всякие блюда, а кругом музыка играет, даже скрипка поёт.

— Да уж, красота. Великолепие!— с преувеличенным восторгом поддакнула тётя Люба.

Галька не заметила её иронии.

Когда мы забрались в осиновый лесок, где уже начали краснеть круглые дрожащие листья, тётя Люба закурила и медленно сказала:

— Знаете, девочки... Завтра Рустам мой приедет. — Да? Мы же с Васей как раз послезавтра уезжаем, так ещё успеем познакомиться. Автобусом? В шесть?

Я видела Рустама последний раз зимой, несколько месяцев назад, да и то мельком. Он сидел с тётей Любой рядом на всех её днях рождения, но я ничего не могла сказать о нём, кроме того, что он среднего роста, с широкоскулым лицом и хорошо умеет танцевать. Он был для меня естественен, но неинтересен, как спутник, испокон веку вращающийся вокруг большой планеты.

Но Галька стала так живо интересоваться этим человеком, что мне пришлось узнать о нём больше.

— А чем занимается он?

— Индивидуальный предприниматель.

— Вы давно с ним? Он вас намного старше, нет?

Тётя Люба как-то невесело усмехнулась:

— Он меня младше на пять лет.

— О-о!— издала Галька возглас одобрения и уважения.

Тётя Люба немного отошла от нас, достала из пачки ещё одну папиросу.

— Можно мне?— робко улыбаясь, попросила Галя.

Тётя Люба молча протянула полупустую пачку.

— Спасибо... А вы с ним не женаты?

— У него есть жена. И трое детей.

Я не сразу поняла смысл этих слов: мне хотелось, чтобы они просто послышались, как шум ветра в осиннике, как треск сухих веток под ногами,— случайно прозвучали и ничего не значили.

Наверное, я на какое-то время зависла в прострации, потому что очнулась от Галькиного насмешливого окрика:

— Смотри об корягу не запнись!

Грибов мы в тот день не собрали, кроме всегдашних шампиньонов, прячущихся в зарослях густой крапивы. Баба Зоя с неудовольствием приняла наш скудный урожай:

— Опять шишённов набрали. Сами возитесь с имя.

Дома я немного пришла в себя, но в голове продолжала крутиться одна мысль: как может быть такое, что этот человек женат? Ведь если у него есть жена, почему он приезжает сюда, собирается жить здесь и ночевать? Да, ночевать— с тётей Любой, естественно...

В детстве, когда я слышала, что тётка в разговорах называла Рустама «друг», то так попросту и думала, что они дружат. Теперь мне, конечно, было понятно, что их отношения явно выходят за рамки дружеских, но увязывать этот факт

с убийственными словами о том, что он женат, я не могла, не хотела.

Возвращаясь в уме к этим двум не складывающимся в картину деталям, я придумала себе объяснение: да, он в самом деле женат, но только на бумаге, формально. Он не живёт с женой, ну а взять к себе жить тётю Любу не может, потому что у него какая-нибудь маленькая квартира... нет, не квартира, а просто комната в коммуналке. И вообще, он не разводится со своей бывшей женой потому... потому... потому что потеряет льготы. Точно, он потеряет льготы, а может, и дети потеряют льготы,— вот почему и сохраняется этот брак, но, разумеется, только на бумаге.

Какие такие льготы грозит потерять Рустаму и его детям, я не задумывалась— запретила себе задумываться.

Вечером тётя Люба и взбудораженная любопытством Галька пошли встречать Рустама на остановку. Я увидела его уже внутри дома— не очень высокого, но крепкого, загорелого, в наглаженной рубашке с рукавами до локтей, в тёмно-синих джинсах и чёрных кожаных туфлях.

Галька разглядывала его с таким жадным вниманием, с каким учёный-энтмолог изучает редкую бабочку.

— З-здасьте,— буркнула я.

— Это Настя, ты её знаешь,— ласково протянула тётя Люба.— Это вот племянник мой Василий, жена его Галя.

— Галя,— учтиво повторила Васина супруга.

— Ну и мамусик!— шутивным тоном представила тётя Люба вышедшую из комнаты бабушку.

Рустам поставил дорожную сумку на стул и вдруг с самым галантным видом приложился губами к сухой жилистой руке бабы Зои.

— Ну, показывай, что у тебя там,— нетерпеливо объявила она.

На клеёнчатом столе появились две бутылки белого вина, сервелат, сыр, апельсины, коробка конфет. Последним Рустам достал мешочек с чищеными грецкими орехами:

— Это вам, мама.

— Знаешь, что люблю,— деловито кивнув, согласилась баба Зоя.

Пужинали мы жареной картошкой, которую приготовил Вася, а потом Рустам откупорил бутылку, Галька побежала к старому жёлтому шкафу за бокалами, и все стали угощаться, закусывая вино сыром, сервелатом и даже нарезанными на кружки апельсинами.

Из вежливости я выпила свой бокал и попросилась уйти под предлогом усталости.

Глядя на этого человека с его новыми джинсами, модной стрижкой, куртуазными манерами, я с нарастающей ясностью понимала, что он и вправду женат, по-настоящему, не когда-то в прошлом, а именно сейчас. И, скорее всего, приехал

сюда, в деревню, прямо из дома, где живёт с женой. Может быть, она даже укладывала ему вещи. Наверное, думала, что её муж отправляется в командировку.

А он приехал сюда, и ему наплевать, что *всё это* неправда. Всё в нём фальшивое: и эти чёртovsky манеры, и туфли, и джинсы, и то, что бабу Зою назвал мамой.

Но чёрт с ним, пусть живёт как хочет, врёт или нет... Но ведь... с кем он врёт? С кем обманывает жену?

Я забилась в угол на своей скрипучей железной кровати, обхватив руками колени и желая отогнать от себя стучащую в виски мысль: ни с кем иным, как с тётёй Любой!

Этого не могло быть, но всё-таки было: моя тётя Люба всегда знала, что он женат, и всё-таки принимала его у себя и помогала ему лгать семье. Сколько они вместе? Десять лет уже, кажется... Может быть, жена давно в курсе и живёт, мучаясь, с этим предателем. Он говорит ей, наверное, для вида, что пошёл по делам. А может, вообще уже ничего не говорит. И тётя Люба тоже всё это знает и всё равно продолжает ранишь ту женщину, его жену...

Я заплакала, глуша рыдания подушкой. Тётя Люба, которая была для меня самым лучшим человеком, самой хорошей женщиной, которую я знала, оказалась просто воровкой чужого счастья. Сердце у меня нестерпимо ныло, душили слёзы.

И ведь никто специально не скрывал от меня, что Рустам женат! Я знала, что он приходит к тётё Любе каждую среду, знала ещё с седьмого класса. Она звала меня заниматься математикой по вторникам и четвергам, а в среду велела не приходиться. Я даже вспомнила, как слышала слова: «У него есть семья», — в разговоре тётё Любы с моей мамой. Почему я не допетрила, что это значит — жена и дети? Почему я вообще прожила столько лет, считая, что знаю тётю Любу, а сама даже была не в курсе главного обстоятельства её жизни? Слишком была занята своей чёртовой персоной, чтобы разуть глаза и сообразить, что происходит вокруг!

На короткое время мне показалось, что моя никчёмная злость глупа: из-за чего я, в конце концов, разрыдалась? Слышно было, как в кухне громко разговаривали и смеялись. «Они пьют вино, едят колбасу. Им хорошо, они смеются, а ты рыдаешь. Дура ты, дура. Не зря тебя мать называла Аэлитой и говорила, что ты ребёнок не от мира сего», — пренебрежительно сказал внутри меня какой-то чужой голос.

Но уверить себя в том, что всё нормально, я не смогла. Мне не хотелось даже снять вещи — я так и уснула в тот вечер одетой, прижав к себе влажную от слёз подушку.

Разумеется, на завтра все вели себя как ни в чём не бывало. А меня ни с того ни с сего взяла злость

ещё и на бабу Зою. Я вспомнила, как она с явным предвкушением знатных гостинцев смотрела на сумку Рустама, как одобрительно кивнула при виде орехов и вина.

«Жадная старуха, — безжалостно подумала я. — Лишь бы гостинцы получать, а от кого — не важно. Не зря всю жизнь в торговле проработала».

С презрением я посмотрела и на Гальку с Васей. Нашлись тут «зая» и «киса» из деревни Тяпкино-Ляпкино. Не при ваших габаритах играть Ромео и Джульетту. Я брезгливо поглядела на растрёпанные Галькины волосы и ночную сорочку, привычно торчащую из-под халата.

Галька тем временем подала на стол в большой сковороде свежепожаренную яичницу с луком, помидором и салом. Яичница аппетитно шкворчала. — Вот, Галя, уж спасибо тебе, — поблагодарила её за завтрак баба Зоя. — Кто рано встаёт, тому Бог даёт. Приезжайте в будущем году ещё погостить.

К столу подобралась на толстых кривоватых ножках Алина. Старуха вдруг выдала:

— А ты знаешь, Галя, мы с Настей как первый раз вашу Алинку-то увидели, подумали: ну, чё-то страшная девка. А теперь я пригляделась и вижу: нет, ничё себе девчонка. Да, Настя?

Галька враждебно глянула на меня, а Вася деланно посмеялся:

— Ну и шутки у тебя, баба.

Старуха какое-то время молчала, а потом подколола уже тётю Любу:

— Я вот вспомнила, как Настя маленькая к нам приезжала. Лет в семь. Тоже тогда Рустам был. Так она сказала: тётя Люба жена не родная, а приёмная. Настька, она с малых лет всё знает.

Баба Зоя сухо посмеялась, а мне стало жутковато и стыдно: таких своих слов я не помнила.

После завтрака Вася с Галькой стали собирать вещи. Я бесцельно ходила по дому, по огороду. Тётя Люба, будто назло, была со мной приветливой, как всегда, и даже как словно бы ещё ласковей, чем обычно. Выйдя во двор готовить огурцы для засолки, она увидела, как я слоняюсь по огороду, и участливо спросила:

— Настя, у тебя голова болит? То к бане прислонишься, то к дому.

От одного звука её голоса мне в сердце ударила тёплая волна, но я твёрдо решила не верить ничему и холодно ответила:

— Да. Болит немного.

Когда Вася, Галька и Алина уехали, я решила позвонить маме. Обычно мы говорили с ней по телефону два раза в неделю, и чаще набирала номер она. Мне не очень хотелось звонить ей, всё время были какие-то дела — то ягоды, то дети, то покос. Но теперь я вспомнила о матери и заключила про себя, что она, если судить по уму, лучше тётё Любы. Ведь она не воровала чужого мужа, а всю жизнь только и делала, что работала, поднимая меня. Она

не развлекалась на танцах и в театрах, а пахала как проклятая на работе и в офисе. Значит, она честнее и больше достойна всяческого уважения. Почему раньше я этого не понимала?

Я набрала номер, дождалась, пока соединили с городом, и дрожащим голосом произнесла:

— Привет, мама.

— Здравствуй,— равнодушным тоном ответила мне она.— Что звонишь?

— Я... я просто так.

— Вспомнила про мать?

— Да,— горячо отозвалась я.— Да, мама, вспомнила.

— Ну, вспомнила, так приезжай. Время уже.

— Да, конечно. Завтра. Или послезавтра. Как будут билеты.

— Ну, сообщишь мне, в какой день поедешь,— уже мягче сказала мама.— Я тебе цветную капусту куплю, лисички, со сметаной пожарю.

Я вспомнила, что грибы со сметаной всегда вкусно готовила тётя Люба, и опять ощутила подступающий к горлу комок.

Когда тётка зашла в комнату, я немедленно объявила ей:

— Завтра уезжаю в город.

— Ну, по времени, в общем-то, пора... За пять дней подготовишься к учёбе,— спокойно согласилась она.— Жаль только, мы с тобой этим летом и погуляли-то мало. Сходили бы за белыми с Рустамом вместе. Фотоаппарат бы взяли. Может, денька два ещё побудешь?

— Нет. Поеду.

— Ну, давай перекусим да пойдём на кассу.

Мы купили билет на завтрашнее число. Я зашла попрощаться к Ленке. У неё девчонки опрокинули и разбили какой-то кувшин, она кричала на них матерными словами, а тётя Зина, в свою очередь, кричала на неё:

— Опять у тебя куры в огород зашли! Что ты, к чертям, за хозяйка?!

Увидев меня, они немного сбавили пыл, предложили мне чаю, но я понимала, что зашла в неурочный час, и пробыла не дольше десяти минут. Сашки дома не было.

Утром на автобус меня стала провожать баба Зоя. Она нарезала мне хлеба, намазала его сметаной и достала из своей заветной кастрюльки шоколадные конфеты. Пока я пила чай, она смотрела на меня, подперев щеку морщинистой рукой в старческих пятнах, слегка жевала губами, думая о чём-то.

Мне вдруг стало жаль прощаться с ней вот так, молча и скупно, и я обняла её и стала гладить по седым волосам.

Я просила её остаться в доме, но она, тяжело шаркая ногами, вышла за ворота и протянула мне ещё две шоколадные конфеты.

— Ты приезжай к нам,— сказала она.— И зимой приезжай. У тебя же есть каникулы?

Я не смогла сказать, что не приеду.

Баба Зоя закрыла за мной калитку и, наверное, долго ещё смотрела вслед: когда ближе к середине улицы я оглянулась назад, она ещё стояла возле дома, у старой калины, неподвижной тёмно-голубой тенью.

## Лето четвёртое

### Умолкла песня

В середине сентября мама справила мой день рождения: пригласила мою бывшую одноклассницу и её мать, которая была председателем ТСЖ в нашем доме, свою приятельницу Тамару, мою школьную подружку Олю. Мама предложила позвать и тётю Любу, но я отказалась, сославшись на то, что у той, наверное, много дел, заказы. Гости поздравляли меня с совершеннолетием, я старалась быть вежливой и сидеть не со слишком кислой физиономией, а сама целый день тщетно прождала, что позвонит тётя Люба. Скорее всего, она просто ошиблась с датой— подобное с ней временами случалось, но боль моя от этого не проходила. В глубине души я очень скучала по тёте Любе, но запретила себе отдавать в этом отчёт.

Я в очередной раз решила заняться устройством своей личной жизни и написала объявление всё в ту же газету «Комок». Теперь мне было уже восемнадцать лет, и я могла не только отвечать кому-то, но и написать сама, кого хочу найти. Подумав хорошенько, я решила, что не стоило бы всё-таки уезжать далеко от города, ведь мама живёт здесь, ей со временем может понадобится помощь. Да и неизвестно, что сделают со школой в Мальцеве: не зря же тётя Зина, да и Ушаковы говорили, что её собираются закрывать, как закрыли несколько лет назад больницу.

Итак, я написала: «Познакомлюсь с молодым человеком, живущим в Берёзовке». Поразмыслив, добавила: «Люблю природу». Вместо адреса я на сей раз благоразумно указала номер паспорта.

Ждать ответа долго не пришлось: уже дней через восемь на мой документ пришло письмо. Я с нетерпением порвала конверт, развернула бумагу и жадно стала читать— но чем дальше, тем больше меня охватывали удивление и отвращение.

Какой-то заскучавший в долгом браке тип писал мне, что он «женат, но одинок». «Хотя я не тот, кого вы искали, но смогу подарить вам яркость встреч, радость любви...»

Учиться мне по-прежнему очень нравилось. Читать художественную литературу было одно удовольствие. Я записалась на курс «Топонимика» и с интересом для себя узнавала, почему так, а не иначе называются города, горы, реки, озёра нашего края и страны.

Тётя Люба однажды поймала меня на улице, уже в октябре, когда шёл первый снег, покрывая тонким слоем, как зубным порошком, облетевшую листву ив и клёнов возле нашего дома.

— Здравствуй, моя девочка! — позвала она меня.

Я нехотя поздоровалась.

— Где же ты? Что не заходишь? Я помню, у тебя день рождения скоро: девятнадцатого октября.

— Сентября вообще-то, — горько усмехнулась я.

— Господи! Да ты что?! Что же, выходит, у тебя день рождения прошёл, а я не поздравила? Прости меня! А что же девятнадцатого-то октября? Ведь тоже что-то есть...

— Царскосельский лицей открыли. В котором Пушкин учился.

— Ёлки-палки... Ну, скоро будем Пушкина поздравлять... А ты куда идёшь? Заходи ко мне!

Я не смогла пересилить саму себя и сломалась — согласилась зайти.

Тётя Люба стала угощать меня пшённой кашей с тыквой, показывать своё новое рукоделие — какую-то бижутерию из шнурков и бус, которую она уже продала несколько своим знакомым.

— Тебе задаром сделаю! Ты какого цвета хочешь?

Я смотрела на неё, понимая, что больше не смогу от неё бегать — всё равно приду ещё раз и ещё, и злилась на себя за это.

Тётя Люба же, наверное, ни о чём не догадывалась и пустилась в воспоминания:

— Как это меня угораздило месяц перепутать? Голова садовая... Старость, что ли, подкрадывается?... Сейчас, похоже, рано зима придёт, а тогда, в тот год, как ты родилась, — така-ая тёплая осень стояла! Солнце золотое... Я мать твою встречала из роддома. Она же в реанимации лежала неделю, отходила. Никого к ней не пускали. Потом в обычную палату перевели, я ей сухарики, яблоки передавала, Тамара тоже... Потом выписали её. Приехала домой. Первое время, конечно, тяжело, а всё-таки, как ты улыбаться стала, я ей и говорю: «Ну что, Маша, а вот представь, что не было бы Настьки!» Ведь легко могло-то и не быть!

— Почему легко могло не быть? — не поняла я.

— Ну как почему?... Отец твой, Мишка, — он же пил. Она один раз уже от него аборт сделала, а тут второй раз забеременела. Рубашки с запонками ему купила. А он возьми да запей опять. Уж чихвостила она его на чём свет стоит! Даже скалкой била. А он что? Когда пьяный, он не соображал. Пошла Маша, рубашки сдала обратно в магазин и на аборт записалась. А потом приходит ко мне и говорит: «Люба, как считаешь, оставить ребёнка или нет? Наверное, не буду». Я как матом пошла на неё: «Ты что, баба, офонарела?! Ты девчонка, что ли, семнадцатилетняя, что залетела и матери боишься? Один раз уже аборт от Мишки делала — и всё равно не ушла. Бесконечно, что ли, это будет? Тебе тридцать семь лет уже, хрен его знает,

забеременеешь ещё или нет». Так и сказала ей: «Не родишь — не подруга ты мне больше, здороваться не стану, плюну и разотру!» Ладно, говорит, оставлю, хотя не знаю, мол, что там за ребёнок получится от алкоголика-то...

Я ошарашенно смотрела на тётю Любу, впервые услышав такие подробности своего появления на свет.

— А я ей говорю: «Слушай, мать, люди как только не рожают. Это же твой ребёнок, родной! Ну что он, без глаза родится или с кривыми ногами? Да если и так, выхаживать будем». Ну а потом-то она мне рассказывала: от наркоза отходит после кесарева, анестезиолог ей и говорит: «Девка у тебя родилась, да такая губастая!» Она, бедолага, и перепугалась: подумала, что с заячьей губой. Эх, медики! А когда встретили вас из роддома, я вижу: красавица девка! И не ошиблась ведь: чем дальше, тем краше! — гордо закончила тётя Люба.

Я кинулась ей на шею и расплакалась, уже не в силах держать в себе обиду на ту, по чьему слову, оказывается, мне даровалась жизнь. Я рыдала, а из сердца моего уходили злорада, тоска, упрямое желание судить и осуждать. Самым важным стало то, что она, подруга моей мамы, рядом, от неё исходит привычный запах туалетной воды и ароматизированного табака, и она здесь и обнимает меня... Сколько же в ней тепла! Сколько всегда было тепла!

— Ты чего это? — удивилась тётя Люба.

— Ничего... — прошептала я сквозь слёзы. — Просто я соскучилась по вас.

Через месяц в город приехал лечиться дядя Витя. У него не переставало болеть горло, и никакие таблетки и спреи от ангины не помогали, да ещё и стало неприятно жечь в груди. Из краевой больницы его отправили на обследование в онкологический диспансер, и там местные врачи поставили страшный диагноз: рак пищевода.

Всё это тогда передала мне тётя Люба. Её брат лежал в больнице, врачи изучали опухоль, брали анализы. Я попросила разрешения поехать к нему повидаться, но тётя Люба отговорила меня от этой затеи:

— Настя, он сейчас, кроме Вали, никого не хочет видеть. Ему же пятьдесят пять лет только... А тут неизвестно, сколько он проживёт. Если и жить будет, то как? На больничной койке...

Она не плакала, но в её серо-зелёных глазах застыло выражение скорби и нежелание верить во внезапный недуг своего брата.

Рак у дяди Вити оказался на поздней стадии — первые признаки болезни он не заметил или не посчитал за что-то значимое. Теперь же ему оставалось жить не больше чем год. Ему предлагали остаться лежать в онкологии, но он сказал врачам, что раз всё равно помирать, то лучше уж дома.

Тётя Люба, ища утешения, рассказала об этом моей маме. Та стала успокаивать по-своему, говоря, что мужики часто умирают рано, взять хотя бы её собственного брата, который в тридцать лет разбился на машине, или мужа одной её знакомой, у которого точно так же обнаружили рак и он скончался в пятьдесят с небольшим. Умер, в конце концов, и её отец, мой дед, когда понял, что ослеп и стал беспомощен,— правда, уже в семьдесят с лишним лет, но всё-таки умер! Все умирают.

Но этих людей я не знала, и упоминания о них были для меня всё равно что разговоры о привидениях. А дядю Витю я видела, слышала его смех, ездила с ним на лодке, пересекающей синюю гладь речной воды, и мне казалось, что нет в мире человека, который бы так любил жизнь, как он.

Мама и раньше уже была недовольна, что я слишком часто хожу к тёте Любе и слишком много знаю о том, что происходит в Мальцево, а теперь стала проявлять своё раздражение открыто. Однажды она подслушала мой телефонный разговор с Леной и стала высмеивать меня:

— Ленка у тебя, видишь, подруга самая лучшая! Поезжай тогда к ней! Зачем в институт поступала? Иди коров доить, по твоему разуму самое то. Люди к чему-то стремятся: выучиться, на работу хорошую устроиться, кем-то стать,— а она стремится в говно себя зарыть.

Я чувствовала стыд, как человек, которого застали раздетым и стали показывать на него пальцем. Потом этот стыд перешёл в затаённую глухую злость на мать и желание уехать от неё поскорее.

— До чего же ты глупая, наивная,— ни с того ни с сего говорила мама, глядя на меня, сидящую за столом. И добавляла:— В кого ты такая? Не от мира сего...

«Да уж не в тебя»,— раздражённо думала я.

Я была горда собой, осознавая, что на самом деле превзошла свою мать: учусь отлично, и не в каком-нибудь там колледже, как она в своё время, а в университете, да ещё нахожу время заниматься спортом.

Однако мамыны слова о том, что я не умею общаться со сверстниками, задевали меня. На несколько дней новогодних каникул я, как пообещала бабе Зое, съездила в Мальцево, где Ленка с Сашкой покатали меня на тройке лошадей с бубенцами, а после праздников записалась в самодеятельный театр нашего университета. Я исполнила со сцены белорусское стихотворение, прочитала отрывок из «Кыси» Татьяны Толстой, и меня пусть без особого восторга, но взяли. Режиссёр был не молодой и не старый человек с поношенным лицом, на котором хорошо виднелись следы алкогольных возлияний. Играл он чудно: без всяких слов мог изобразить потерянность, удивление, досаду, радость встречи. Нам он без устали напоминал:

— Сыпать словами актёру не надо! Слово должно родиться!

В минуты нерасположения он хмуро поносил власти—и российские, и нынешние университетские, которые только для экономии денег (в этом режиссёр был уверен) слили четыре вуза в один; жаловался на то, что нынешние деятели искусства всё опошляют. В весёлые минуты режиссёр сам не чуждался скабрёзных шуток и говорил, что, какие бы ни пришли власти, искусство будет жить вечно.

В апреле дяде Вите стало хуже, и его привезли обратно в город. Он уже мог есть только жидкую пищу, да и то с трудом, и вдобавок мучился кашлем. Врачи говорили, что опухоль проросла в нервные стволы, а это значило, что можно было только облегчить человеку последние месяцы жизни.

Я снова попросилась у тёти Любы съездить вместе с ней в больницу, чтобы повидать дядю Витю, и на этот раз она почти без колебаний согласилась.

Лицо у него потемнело и осунулось, нос и скулы заострились. Изо рта тянуло слабым гнилостным запахом. Оттого, что его тело теперь с великим трудом принимало пищу, он сильно похудел и казался стариком, несмотря на яркие рыжеваторусые, лишь слегка тронутые сединой волосы.

Увидев меня, он улыбнулся сизыми губами, взял мою руку в свою и сиплым шёпотом сказал:— Ну, привет.

Мне тоже как будто стало больно говорить, и я только кивнула ему, чувствуя, как наливаются слезами глаза.

Тётя Люба что-то рассказывала ему из их детства, вспоминала, как маленькими были Семён и Гриня, приезжали гостить к ней в город. Не знаю, слушал ли всё это дядя Витя или просто наслаждался звуком её голоса— мне казалось, что даже слушать ему было больно. Однако он пытался улыбаться и неотрывно смотрел на нас. Когда мы уже собрались уходить, он сказал:

— Простите меня.

Он умер в разгар мая, когда уже отцветали пушистые жёлтые и фиолетовые колокольчики сон-травы, заголубели нежные звёздочки незабудок, когда набрали бутоны и готовились затопить весь мир благоуханием красавицы-черёмухи.

Дядю Витю похоронили в городе, не стали везти в Мальцево, на дальнее кладбище, да там как будто уже и не было места рядом с отцом и его братом. Тётя Валя плакала, утираясь белым платком, её обнимал за плечи старший сын Семён. Младший сын, Гриня (его я тогда увидела впервые), с такой же пышной, как у отца, кудрявой шевелюрой, стоял поодаль и смотрел на всё происходящее как-то сквозь, будто не видя его. Тётя Люба успокаивала дрожащую бабу Зою, накинула на неё для тепла свою куртку, и та в несоразмерной одежде с чужого плеча была похожа на нищенку.

Поминки устроили в городской столовой. Ели блины, кутью, тушённую с капустой, пили водку и кисель. Это были первые похороны в моей жизни. Правда, когда мне ещё не исполнилось шести лет, хоронили мою бабушку, но тогда я ещё не понимала, что это — навсегда, и сохранила в памяти только причитания старух и то, с каким трудом долбили лопатами мёрзлую землю.

Когда я в день похорон легла спать, мне показалось, что меня окружала со всех сторон немая тишина, непроницаемая, как могила. Я задавала себе вопрос: как может быть, что человек есть, а потом его нет? Это противоречило природе, всему укладу мира. В природе после тягостной осени приходила неминуемая зима, а потом наступал апрель, и всё рождалось заново. В книжке «Хатхайога», которая валялась у мамы в шкафу, вскользь говорилось о переселении душ, но мне не очень нравилась эта идея. Прострелы появлялись весной такими же махровыми цветами, а не грибами сморчками, и черёмуха расцветала черёмухой, а не сиренью. Всё весной оживало и возвращалось к своему изначальному, только обновлённому, облику. Но где и в чём была весна для людей?

Через несколько дней после похорон в город внезапно приехала Ленка. У неё случился выкидыш, после кровотечения началось воспаление, и ей пришлось ехать в городскую больницу, чтобы пройти чистку. После операции она осталась пожить сутки у тёти Любы, и в это время как раз прошло девять дней со дня дяди-Витиной смерти.

Грустные события снова собрали нас втроём, как уже почти два года назад под звёздным небом в Мальцеве, расположили к разговорам.

— Он ведь мой любимый братик был, девочки, — говорила тётя Люба. — Пойдём вот с ним, с Зиной — Колька-то уже старше был — на речку. Извозимся все в песке, изгваздается! Пойдём домой чумазые. Маманька как увидит нас — кричит: «Вы где были?!» А мы ей: «На речке». Она кричит опять: «Там вода-то есть?»

Тётя Люба пыталась улыбаться, глядела на нас тревожными плачущими глазами. Видно было, что смерть брата сильно надломилась её.

— Рустам-то приходил? — спросила Лена.

— Приходил, да что он мне скажет? Брат, говорит, не сын и не отец.

— Ну-ну... — неопределённым тоном, то ли соглашаясь, то ли осуждая, изрекла Ленка. — Что ему ещё сказать. Вот зачем он тебе, тётя Люба, нужен? — Не знаю. Привыкла я к нему. Плохо будет без него.

— А с ним хорошо, что ли? Всё равно у него семья своя. Побудет тут с тобой, потешится и свалит обратно туда. Как кот по весне, шарается тудым-судым. Разве положишься на такого?

— Он же татарин. У них принято, что две жены можно.

В ответ на это Ленка от души матерно выругалась.

— Дай-ка лучше выпить, тётка, — потребовала она.

Тётя Люба насторожилась.

— Выпить? Ты смотри...

— Давай, давай, — Ленка сама достала из холодильника початую бутылку водки и наполнила треть чайной кружки, потом столько же налила тёте Любе и немного плеснула мне. — Надо помянуть дядю Витю. Ну, земля ему пухом!

Она поднесла к губам кружку и вдруг поправилась:

— Или как там — царство Небесное?

— Это мне больше нравится, — сказала я.

— Царство Небесное дяде Вите, — подтвердила Ленка и опрокинула в себя водку.

Я внутренне ждалась от страха, что она сделала нечто непоправимое, и от всей души пожелала, чтобы эта кружка осталась единственной.

— Ты бы лучше, тётя Люба, бросала его к чёртовой матери, пока он тебя сам не бросил, — опять вспомнила Лена про Рустама. — Одинокие мужики ведь тоже есть, от хозяйки не откажутся.

— Они уже потасканные все в этих годах. Или на голову сумасшедшие... одинокие-то. А что с Рустамом тоже добра нет, то это ты верно говоришь. Маета одна. А бросить его не могу, сил на это не имею. Прикипела...

Я почувствовала в тот момент к тёте Любе жалость — не доброе сочувствие, а снисходительную жалость высшего к низшему. Какое, в самом деле, слабование — тянуться за человеком, который тебя постоянно ранит, и не собраться с духом, чтобы оборубить эту связь!

Тётя Люба собралась в магазин за продуктами, а мы с Леной остались ждать её в квартире.

— Жалко тётку, — заметила Ленка вслух. — Для чего она живёт?

Испугавшись созвучия собственным мыслям, я возразила:

— Как для чего? Для чего и все. Просто.

— Просто и кирпич на голову не свалится, — парировала Лена. — Детей у неё нет, мужа тоже нет. Был бы у неё ребёнок хоть один, как у матери твоей, — всё не впустую жизнь прожила.

Я возмутилась такими словами, приняв их за жуткую неблагодарность со стороны Ленки, которая лучше других знала, сколько тётя Люба ездила с роднёй на покосы, сколько помогала нянчиться с детьми.

— Ты что, она же для всех старалась! И на покосах, и в квартиру свою всех пускала переночевать. И с племянниками водилась, гуляла с ними.

— Так а что ей ещё делать? — равнодушно заметила Ленка. — Для кого жить?

— Как хочешь говори, а она хорошая, она очень хорошая! — убеждённо сказала я.

— А кто сказал, что плохая? Просто не повезло бабе в жизни.

Я подумала, что, наверное, Лена так же, как и я, как все мы, боится смерти и рождает детей для того, чтобы быть уверенной: пока есть на земле, в деревне Мальцево, люди, в которых течёт её кровь, она тоже будет жива. Но странная смерть завязавшегося в её чреве нового младенца, погибшего как саженец дерева в вихре пожара, словно говорила о том, что и дети — ненадёжное основание для того, чтобы считать себя навеки живым.

### Гриша

Поставив себе цель стать педагогом, я в год своего восемнадцатилетия решительно следовала совету Николая Заболоцкого: хватала свою душу за плечи, учила и мучила дотемна. Я приучила себя дважды в неделю ходить пешком от института до дома, усердно учила английский язык и не очень радовалась «автоматам», потому что, если готовиться по билетам, можно было лучше запомнить весь материал. Исключением стал только очень скучный в моих глазах предмет «Библиотечное дело», изученное по которому я забыла на второй день после зачёта. Остальное я старалась запомнить и, хотя уставала от подготовки, в глубине души считала, что мне это только на пользу.

Особенная любовь во мне почему-то родилась к старославянскому языку. Мои однокурсницы сочиняли про него шутливо-жалостливые стихотворения:

Сижу на ленте я,  
Вверх голову задрав.  
На улице тепло,  
А тут он — старослав.  
Сижу, твержу азы,  
Никак я не пойму:  
Зачем он нужен мне,  
Не нужный никому?..

Умом я тоже понимала, что «старослав» в нынешнем цифровом мире и впрямь, кажется, нигде не нужен, но почему-то все эти «толцые и отверзетсы», «аще око твое будет просто» и распевное носовое «во время оно» манили меня к себе. Я читала этимологические словари Фасмера и Черныха как увлекательный роман, открывая в них тайны слов. Вот «дочь» — слово, когда-то связанное с «доить». Значит, дочь — это вскормленная твоим молоком. Вот «змея» — ползающая по земле, питающаяся прахом земным. Когда-то её звали иначе, но первое имя не сохранилось в толще веков. А вот «черёмуха». Все знают, что черёмуха белая, все видят и помнят её в радостных белых одеждах, нарядную, как невесту. Но если посмотреть глубже, разрезать её ветви с живительным древесным соком, окажется, что она — красная, ведь «червь» — это червлёный, багряный.

Я читала и училась, но не знала даже примерно, куда мне ехать после окончания учёбы. О том, как закрываются сельские школы, говорили даже по телевизору. Но если даже школу в Мальцево или другой деревне оставят, то как я там буду жить? С кем?

Я уже с внутренней грустью понимала, что такой муж, как Вася, Коля или даже Сашка, мне навряд ли подойдёт. Все думы тётки-Любиных племянников и людей вроде них сводились, похоже, к дому, огороду, сельскому труду, нужному для того, чтобы иметь кусок хлеба. Зачем они женились? Наверное, потому что так надо.

Жить в одиночку в сельском доме, как я понимала, мне будет тяжело — и в плане бытовом (после рабочего дня каждый вечер топить печку, самой покупать и колоть дрова), и ещё больше — в психологическом. Деревенские непременно примутся меня жалеть, если я останусь в девушках, — жалеть именно в плохом смысле, а значит, вряд ли станут уважать. Если же я в угоду людскому мнению всё-таки выйду замуж за местного, то буду несчастлива. А чему может научить детей несчастливый человек?

Из цепочки своих размышлений о браке я вывела одно: муж и жена должны быть друзьями. Но вокруг чего дружить? Вокруг чего сплачивать свои жизни? Этого я ещё не знала.

Однажды по телевизору показывали сюжет о двух врачах, супругах, работающих на скорой помощи. Они говорили, как счастливы вместе ездить на вызовы, быть соратниками в деле спасения людей. Этот сюжет так потряс меня, что я долго носила его в сердце, он даже пару раз снился мне ночью. Я завидовала этим людям как самым большим счастливицам.

Счастливыми мне казались ещё барды Никитины, которые вместе сочиняли и пели песни, и супруги Кюри, открывшие радий и полоний. И даже Перси и Мэри Шелли, на долю которых выпало совсем мало спокойных, умиротворённых дней, зато у них было сырое и холодное лето, когда они жили в замке Байрона, беседовали с ним и творили вместе. За одно это лето, как я считала в глубине души, можно было отдать полжизни.

Не помню как, но я увлеклась историей РСДРП, стала читать про Гражданскую войну и завидовать людям, которые жили в десятие и двадцатые годы прошлого века: у них была идея, была жизнь, а не тягостное существование. Мне казалось, что я бы в Гражданскую войну помогала красным партизанам, а то и сама примкнула к ним, а после победы советской власти записалась бы в работники ликбеза.

Все эти мысли я не обсуждала ни с кем, даже с тёткой Любой. Хотя я посчитала, что вполне простила её, — да, по совести говоря, и было ли за что прощать?! — всё же несколько изменила

отношение к ней. В своём высокомерии я стала думать, что она не сможет посмотреть на жизнь так широко, как я.

Моя подруга Оля ещё в начале зимы связалась с каким-то сомнительным парнем, который, дабы покорить её сердце, упрямо зазывал к себе в гости и подкарауливал у подъезда на машине. Этот тип был совладельцем полуполицейской булочной и вообще оказался замешанным в разных тёмных делах. Ольга вначале остерегалась и говорила мне, что Игорь «страшный человек», потом уступила натиску черноглазого красавца и стала ездить с ним по саунам, клубам, бильярдным и прочим значным местам, всё больше очаровываясь прелестью лёгкой жизни.

— Ах, Настька, ты не знаешь, как мы классно зависли! — говорила она мне, блаженно прикрыв глаза и описывая недавнюю ночь в клубе.

Я точно знала одно — что она поступает глупо, но насмешливый голос внутри меня шептал, что и мне придётся окунуться в какие-то тёмные воды, в которые попали Ольга и, наверное, тётя Люба, а может, и вообще попадают все женщины в мире, сколько их ни на есть.

Я приехала в Мальцево в первых числах июля, почти в то же самое время, как в прошлом году. Анютке было уже четыре, она часто гостила у бабы Зои, которая особенно выделяла её за похожесть на любимого внука Сашу. Девчонка переняла бабушкины повадки, стала охать и ворчать:

— Вы картошку-то зачем на старо место посадили? Вы чё думаете головой-то своей? А где горох? Где горох, язвы вашу душу?

Анюта качала головой и всплёскивала маленькими ручками.

Марине было три, и она оставалась тише и задумчивей, чем сестра, только ещё сильнее прирасталась к «кабаске», а заодно и к паштетам из жестяных банок. Темноволосый большеголовый Илюха ползал по деревянным доскам, по полу, по дощатому тротуару, а то и прямо по траве, пробуя мир на ощупь, на запах и вкус.

Весной на день рождения Анютке подарили чудесную книгу русских народных сказок, адаптированную и с яркими картинками. Я читала эту книгу девочкам по вечерам, давала им поглядить мелованные страницы. Мы вместе укладывали спать кукол, а Анютка ещё обязательно доила корову. Коровой у неё служил стул с привязанной к сиденью короткой верёвкой. Анюта сосредоточенно дёргала за верёвку, подставляла под стул ведёрко для песка, и, «надоив» полное, с чувством выполненного долга собиралась спать. Маринка и Илюха подчинялись в играх старшей сестре и часто были как бы за её «ибятишек».

— Золушкой будет девка, — предрекала ей тётя Люба.

— Нет, это комсомольская активистка, — спорила я.

Тётя Люба за этот год похудела лицом, её серозелёные глаза казались больше, в них поселилась какая-то горечь. Шутила она реже, зато глубже, притом часто с серьёзным выражением лица.

Дня через три-четыре после приезда мы пришли в дом тётя Вали. Там в то время жили, как нам уже было известно, старший дяди-Витин сын Семён со своей молодой женой и маленьким ребёнком и младший сын Гриня.

Мы ещё только зашли во двор, как я увидела Гришу — крепкого парня лет двадцати пяти, непохожего внешне на высокого узколицего брата. Он сидел на крыльце, одетый в джинсовый комбинезон на голое тело, и крутил в пальцах зажигалку. — Привет, тётка, — бросил он приветствие родственнице.

И тут, кажется, заметил мою персону. Я была одета в светлые бриджи и бело-голубую футболку поло, но он посмотрел на меня так пристально, что я заволновалась и подумала: может, что-то не так с моей одеждой?

— И откуда же к нам такая красавица? — осведомился Гриня.

— Из института, из города, — деловито ответила тётя Люба вместо меня.

— А я и в городе жил, и там вас не видел. Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица? — играя бровью, спросил он.

Я промолчала, и тогда Гриня продолжил:

— Надолго ли вы хотя бы посетили наши края? Надеюсь, что надолго.

— На месяц, наверное.

Гриша перестал говорить мне «вы» и обращаться дурацким высокопарным тоном.

— Садись, поболтаем. Семечек хочешь?

Я оглянулась на тётю Любу — она как раз вошла внутрь вместе с хозяйкой дома. Первым моим движением было рвануться за ними, но показалось невежливо и по-детски вот так убежать.

Гриша перебрался со ступенек крыльца на скамейку, я села рядом.

— Ты чем по жизни занимаешься? — непринуждённо спросил он.

Я обескураженно ответила:

— Так тётя Люба же сказала, что учусь... Закончила второй курс.

— Ну да, ну да... А что учишь?

— Русский язык и литературу.

— А много у вас парней в группе?

— Четверо.

— У-у. Мало. Приходится в других местах искать, да?

— Да, — пожала я плечами.

Он расспрашивал меня об учёбе, о моей жизни в городе, и я, отвечая, чувствовала себя глупо: было видно, что всё это ему малоинтересно. Однако почему-то Гриша продолжал спрашивать — и таким тоном, будто я была его старой знакомой,

например, одноклассницей, и вот приехала после нескольких лет отсутствия.

Он не говорил ничего пошлого, просто веселился и пытался сыпать шутками, как его отец, но мне почему-то было не по себе. Я разрывалась между желанием сейчас же встать и уйти и возникшей тягой к этому человеку.

— Ты почему к нам раньше не приходила? — самым участливым тоном спросил Гриня.

— Я приходила...

— Приходи завтра, — он взял меня за руку выше локтя. — Сейчас тётки там поболтают, вы уже уйдёте. А завтра к вечеру приходи. Или нет, — внезапно передумал он. — Я лучше сам за тобой заеду. Покатаемся!

Вечером после бани я заплела влажные волосы в косички, чтобы они стали волнистыми. Проснулась я уже с мыслью: «Сегодня приедет Гриша», — и сама удивилась тому, что, оказывается, со вчерашнего вечера не выпускала его из головы.

Днём я решила испечь бисквит со смородиновым вареньем. Он удался на славу — высокий, с золотистой корочкой. Я предвкушала, как угощу этим пирогом Грину.

Он приехал вечером вместе с матерью. Тётя Валя, сразу угадав, что её сын понравился мне, стала смотреть на меня влюблённым взглядом. Когда все сели пить чай, я с гордым видом поставила на стол свой пирог.

— И печь-то она умеет! Славная девочка! — воскликнула тётя Валя.

Гриша довольно ухмылялся, смотря на меня уже так, словно я была в его распоряжении. Я же чувствовала, как он скользит по мне взглядом, и продолжала сидеть как прикованная на своём стуле. Наконец Гриня поднялся, с чувством потянулся и нарочито лениво произнёс:

— Да, кстати. У меня для тебя кое-что есть.

Он снял с вешалки куртку и небрежно извлёк из кармана какой-то браслетик из жёлто-оранжевых, похожих на янтарь, камушков. Протянул его мне.

Я опешила от удивления и промямлила невнятное «спасибо». Было даже неясно, радоваться или нет. Приятно получать подарки — но от человека, с которым познакомились только вчера?

Видя мою растерянность, тётя Валя ободряюще сказала:

— Ну, поцелуй его!

Она, конечно, имела в виду, что надо поблагодарить за подарок невинным поцелуем в щёчку. Но я, захмелевшая от обилия противоречивых впечатлений, кинулась к Грише, как птица на силки, и впилась губами в его губы.

— Ого, — только и сказал он, мягко и не полностью отстраняя меня от себя. — Как свежий деревенский воздух действует на девушек! Ну что, поедem покатаемся? Виды посмотрим?

Я хотела ещё пойти причесаться получше и надеть кофту без выреза. Но меня так переполняли чувства стыда и волнения, что хотелось как можно скорей сбежать из дома. В глубине души мне казалось, что я делаю что-то не совсем хорошее, и не хотелось, чтобы это видела тётя Люба, хотя та ничем не выражала какого-то несогласия.

— Покажу тебе наши места, — всё тем же неприкрытым тоном говорил Гриня, уже сидя в машине. — Тут у нас красиво.

— Я на кармановском покосе была и на ушаковском, — подхватила я тему.

— Это, получается, на запад. А мы с тобой чуток на север проедem. В сторону, где старое Мальцево. — Меня тётя Люба обещала свозить туда, но так и не успела.

— Ну вот, а мы с тобой прокатимся. Тебе понравится, — ободряюще сказал Гриня и как бы невзначай положил свою руку на мою ногу.

У него выходило всё как-то до ужаса просто, и это неожиданно начало нравиться мне. По дороге Гриня рассказывал мне разные байки про своих знакомых, ничего при этом не говоря о себе. Он был и похож, и не похож на своего покойного отца: постоянно балагурил, только получалось у него не так смешно, как у дяди Вити, а порой и совсем несуразно. Чертами лица он отчасти напоминал мать, но рыжеватые волосы и серо-зелёные глаза у него были отцовские.

Мы проехали мимо старого кладбища с проржавевшими кое-где металлическими перегородками, мимо берёзовой рощицы и оказались на малонаселённой улице из десятка или дюжины домиков. — Это и есть старое Мальцево? — разочарованно спросила я.

— Оно самое, — отозвался Гриня таким довольным тоном, будто сам построил эти домики. — Там в сторонке ещё одна улица есть, с магазином. Ну, поедem дальше?

Отъехали мы недалеко — на поле, напомнившее мне городские пустыри с высокой травой где-нибудь в Ветлужанке. Гриня остановил машину, придвинулся ближе ко мне, и мы стали целоваться. Место было пустынное, хотя и совсем недалеко от деревни, но я не могла отделаться от чувства, что кто-то меня видит. Нацеловавшись, мы повернули назад, прокатились ещё немного по деревне и остановились напротив бабушкиного дома. Высадив меня, Гриша поехал домой.

Увидев бабу Зою, с сердито-спокойным лицом раскладывавшую по столу карты, я почему-то подумала, что это именно она и наблюдала за нами там, на пустыре. Вот же она, сидит тут на веранде и делает расклад. Давно живёт и знает всё обо всех.

Вечером в бане я расчёсывала свои длинные, ниже пояса, волосы, оглядывала себя в мутном, вытертом по углам зеркале. Как я могла столько времени не замечать собственной красоты? И тётя

Люба, и Ленка часто говорили мне «красавица», но я воспринимала это просто как приветствие или пожелание добра.

Начав мыться, я в каком-то помрачении вместо того, чтобы тереть руки и ноги мочалкой, стала гладить своё тело, любуясь его изгибами. В уме у меня проносились картинки, как мы с Гришей сидим в машине и целуемся, как летим по трассе на огромной скорости, как я кормлю его пирогом прямо из рук. Я видела, как мы живём вместе в одной квартире, спим в одной кровати, едим за одним столом.

Я пыталась убедить себя, что полюбила его, нашла в нём родственную душу и потому-то так скоро отдаю подобным мечтам. Но кто-то ироничный и болезненно правдивый внутри меня с усмешкой указал на очевидный факт: какая родственная душа, если мы знакомы меньше двух дней? Так оно и было: я совсем не знала Гришу, более того — чувствовала в нём что-то неискреннее и почти физически неприятное. Я вспомнила подружку Олю: она ведь тоже раньше говорила, что Игорь — подозрительный тип, а потом её понесло куда-то, куда теперь несёт и меня.

Гриня ничего мне не пообещал, но я была уверена, что, когда мы вернёмся в город, он станет заезжать за мной каждый вечер, и уже видела в мечтах, как мы вдвоём празднуем Новый год на какой-нибудь базе отдыха.

Я сказала тёте Любе:

— Мне нравится Гриня.

Тётка не придала этому значения:

— Он симпатичный.

Она не понимала, что если уж я решилась высказаться, что чувствую, вслух, значит, меня распирает не на шутку.

— Как вы думаете, мог бы он стать моим мужем? — максимально конкретно уточнила я.

Тётя Люба нахмурила брови так, как будто решала математическую задачку.

— Ну... Муж из него так себе. У него ветер в голове, — изрекла она равнодушно, так и не поняв, похоже, что я не занимаюсь теоретическими построениями, а жажду разрешить важнейший жизненный вопрос.

Я глубоко вздохнула.

— Тебе лучше бы Вася подошёл, — брякнула вдруг она.

Я чуть не задохнулась от удивления и возмущения.

— Вася?! Почему Вася? Он ведь женат... на Гальке.

Тётя Люба неопределённо махнула рукой:

— Чует моё сердце, это не так уж надолго. Вася — он простой, но надёжный. Дом в деревне у него есть, в городе однокомнатная квартира сдаётся. Работа есть, руки золотые. Он серьёзный...

Я отошла от неё, полная разочарования и огорчения. Вспомнила, как мы втроём ходили в «Сибирячку», и этот «серьёзный» клеил меня, подпоив

водкой. Ничего себе «надёжный» — на глазах у родной жены плясать с другой девкой!

Я надеялась, что Гриша придёт вечером, но он не пришёл. Я решила, что его заставили быть дома какие-нибудь дела, и подумала, что спокойно подожду до завтра. Ближе к ночи мне стало плохо, отяжелела голова, и я ушла раньше спать. Но уснуть было нелегко. Я держала Гришину фотографию, снятую у бабушки с комода, у себя под подушкой, желая лежать на его широкой груди, покрытой золотистыми волосами, целовать его сладкие губы и слышать, как он, слегка картавя, говорит мне нежные слова.

Среди ночи я опять проснулась, чувствуя, что горю как в печке. Стоило мне выдохнуть на свою руку, как я ощутила сухой жар. Горло саднило ещё с вечера, а теперь стало сильно болеть. Я поняла, что занедужила всерьёз, но, хотя расстроилась, решила, что ничего особенного всё же не случилось — полежу два дня и оправлюсь.

Но утром мои губы вспухли, их начало жечь как огнём. За несколько часов все их покрыло волдырями. Герпес появился не только на губах, но даже на подбородке и под носом. Жечь болячки позже перестало, но они сильно зудели, так что было даже непросто есть и пить. Вечером я взглянула на себя в зеркало и от жалости к себе чуть не заплакала: половина моего лица была обезображена проклятым герпесом. Он и раньше, конечно, высыпал у меня, но никогда, никогда так сильно не уродовал!

У меня ещё держалась температура. Тётя Люба достала из аптечки парацетамол, какие-то таблетки от горла, заварила сушёную малину.

— Ложись, отдыхай, — велела она мне. — Сегодня и завтра лежи, ничего не случится.

Мне и хотелось, и не хотелось, чтобы Гриня приезжал. Он появился на следующий день к обеду, как будто по какому-то делу. Когда я вышла в кухню, он, по-моему, даже не сразу узнал меня, а узнав, окинул брезгливым взглядом:

— Что это с тобой?

— Заболела. Герпес...

Он смотрел на меня презрительно, будто на мокрицу, и я поняла, что больше ждать его не стоит. Гриша, наверно, решил, что я какая-то заразная. Да, впрочем, так оно и было...

Несколько часов мне было тяжело, а потом я почувствовала странное облегчение. Меня больше не раздирали желания. Да, желания — во множественном числе. Ведь последние несколько месяцев я мучилась оттого, что жаждала чего-то несбыточного: вернуться в прошлое, жить так, «чтоб был безумьем каждый день». И вот, наконец, этот как снег на голову свалившийся Гриша.

Наша недавняя поездка на машине стала казаться мне неприятным и тусклым сном. Но я очень ясно чувствовала какую-то связь между своими

безудержными мечтами о героическом прошлом, этой поездкой и нынешней болезнью.

«Раньше я была проще,— рассуждала я сама с собой.— Я просто жила, здесь и сейчас. А потом я стала хотеть чего-то, чего нет. Я стала думать, что лучше других».

Последняя мысль вспыхнула у меня в уме с яркостью молнии. Да, да, я стала думать, что лучше других. Моих однокурсников, Оли, мамы, Ленки, тётки Любы. Раньше я просто их любила, а потом перестала любить. Я стала думать, что есть я, такая умная, просвещённая,— и есть они. Но если даже я и умная, то зачем это? Разве не для них же?

«Значит, по-настоящему есть только мы»,— заключила я.

Гришина мать пришла меня проведать, принесла парочку апельсинов.

— Ой, выздоравливай скорее!— покачала она головой.

— Гринька-то надолго здесь?— поинтересовалась тётка Люба.

— Нет. Завтра утром уезжает. На работу призвали.

— А что за работа-то у него?

— Да не спрашивай... Проституток по клиентам развозит. Вроде и в армии был, а всё дурь какая-то у него в голове. Ну, приехал вот, хорошо, помог мне по хозяйству. Без отца тяжело, а Семёну сложней вырваться...

Я пробыла в Мальцево до конца августа. Тётка Люба уехала в двадцатых числах— поступил хороший заказ на шитьё. Мы с бабушкой остались в доме вдвоём. Даже девчонок ко мне не приводили познакомиться, зная, что я болею.

Похолодало: на улице чуть не до обеда стоял туман, лениво расплзавшийся ключьями по углам сада, по улице вниз, к реке. Однажды ночью температура опускалась ниже нуля, и баба Зоя встревоженно воскликнула, посмотрев ранним утром на термометр:

— Перцы-то мои, перцы!

С перцами, как и с помидорами, оказалось всё в порядке. Мы укрыли их под плёнку. Но стало настолько зябко в доме, что пришлось утром и вечером подтапливать печь. Я сидела в кресле или потихоньку наводила порядок в комнате, слушая рассказы бабушки о прошлой её жизни. Оказалось, что выросла она в зажиточной семье, отца её раскулачили, и всех их отправили работать на шахту в Забайкалье.

— Мне ещё пятнадцать было. Я в этой шахте ногу вывихнула, бедро, с тех пор и хромаю. Мать ещё мне говорила: ой, замуж не возьмут. Ничё, вышла, только что поздно, в двадцать пять лет. После войны несколько лет прошло, Иван и посватался. Стали жить, он вот этот дом строил, мужики помогали; а я уж первого ребёнка ждала. Я тогда думаю: рожу мальчика. И родила мальчика. Потом

думаю: рожу девочку. И родила девочку— Любу-то. Потом опять мальчика. И опять девочку.

Я совершенно верила в то, что, как баба Зоя сказала, так и выходило: подумала— и родила.

Бабушка дальше тянула нить своей жизни: — Они мне внуков принесли, шесть внуков и одну внучку. Внуки— правнуков, вот уж тоже пять... нет, шесть! Всегда полный дом у нас с Иваном был. Сперва дети, потом внуки, и все здесь вырастали, в деревне нашей. А правнуки-то уедут! Не будут уже здесь!— сказала она вдруг резко.— Уедут в город. И ты уедешь! Один ветер мне тут осенью останется: ставнями скрипеть будет, смерть мою кликать,— повернувшись и посмотрев мне в глаза, горько добавила она.

Мне хотелось утешить старуху, но я прекрасно понимала, что действительно уеду и навряд ли вернусь в Мальцево жить.

## Крестница

К сентябрю струпья на моём лице сошли, от них остались только розовые пятна. Эти пятна были довольно заметны, но всё-таки не очень меня портили.

— Ты на ветру целовалась! Не целуйся на ветру!— шутиливо грозя мне пальцем, наказала однокурсница.

Я удивилась тому, насколько точно она попала в цель со своей шуткой.

Мне было радостно видеть всех однокурсников, преподавателей, сами стены университета.

На третьем курсе мы читали рассказ Владимира Зазубрина «Щепка». Его герой, пламенный революционер по фамилии Срубов, был влюблён в революцию и самоотверженно следовал её идеалам. Он, как председатель губернской чрезвычайной комиссии, руководил казнью, через его руки проходили сотни людей— молодых, старых, мужчин и женщин, и всех их расстреливали пятеро подчинённых Срубова. Он убеждал себя, что так надо, что он только счищает этих вредных людишек с Её рубахи (о революции он думал как о женщине, вернее, как о женском божестве). Но сердце Срубова отказывалось верить в то, что убивать необходимо. В конце концов на казнь отправили уже самого героя, заподозрив по обвинению «друга» в контрреволюционной деятельности. Он шёл на смерть уже полусумасшедшим, не в силах примирить в себе желание служить Ей— и живое сострадание к людям.

Этот рассказ потряс меня и отрезвил. Я вспоминала свои недавние мечты о том, чтобы жить во времена Гражданской войны, и задавала себе один и тот же вопрос: могла бы я убить? Белого, конечно, врага... того, кто считался врагом. Убить физически или, что, в принципе, то же самое, отправить на смерть? Вот, например, сидит Марина. Отец у неё банкир. Она хорошая, добрая девушка,

но ей повезло (или не повезло, это зависит от времени) родиться в зажиточной семье. Смогла бы я её поставить к стенке и расстрелять? Если нет—нечего и говорить о том, что хорошо бы жить в то время...

Я нарочно ставила себе такие жестокие вопросы, чтобы окончательно развеять в своей голове идею насчёт возможности поделить людей на «правых» и «виноватых». В этом Срубове я угадала себя: такие люди, как мы, если найдут идею, которой смогут всецело себя посвятить, способны терпеть безденежье, холод, жить в конуре, сидеть на хлебе и воде. Такие люди сами по себе не добрые и не злые, только устремлённые, как локомотив, к своей, им ведомой цели. И если эта цель не человеколюбива, они сметут всё живое на своём пути.

Тётя Люба всю осень не приходила к нам, а если звонила я, сказывалась занятой. Уже в конце ноября она неожиданно позвала меня в гости, усадила за стол. Она была спокойней, чем обычно, настроена на долгий разговор. Расспросив меня для приличия о том о сём, тётка наконец приступила к важному:

— Знаешь, мне знакомая книжку дала почитать. Называется «Беседы с Богом». И ещё одну, «Дружба с Богом». Там автор говорит, что каждую ночь поднимался к столу, писал вопросы, а на листе сами собой появлялись ответы.

Я, наверное, скорчила скептическую рожу, потому что тётя Люба с укоризной сказала:

— Не веришь? А вот, Настька, чёрт его знает! Я хочу, чтоб ты прочитала.

Я принялась читать, и по ходу чтения в голове у меня всплывали слова Вольтера: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». Было похоже, что автор этой книжки ещё не нашёл Бога, но, скупая по нему, пока что решил нарисовать что-то вроде фантазии на тему своих предчувствий.

Тётя Люба внимательно смотрела, как я листаю страницы, терпеливо ожидая от меня отклика.

— Ты в Бога веришь? — наконец спросила она напрямую.

— Не очень, — призналась я.

Тётя Люба с самым серьёзным видом спросила: — Почему?

Я принялась говорить банальные вещи о том, что в мире столько зла, что как же может быть Бог, если умирают дети, разбиваются самолёты и одни люди беззащитно наживаются на других. — Так-то оно так, — согласилась тётя Люба. — Но этому я не удивляюсь. В природе все друг друга едят. Я хорошему удивляюсь. Почему люди не только глотку друг другу перегрызают, но и руку помощи подають? Почему вообще мы всё же не звери, а люди? Я, Настька, читала эту книгу и думала: есть в человеке какая-то функция, не описываемая материальным миром. Во мне, допустим,

эта функция не вычислена. Но есть люди, у кого вычислена.

Провожая меня в тот день, тётя Люба вручила мне почти с силой обе «божественные», как она говорила, книжки:

— Читай. Прочитаешь целиком — обсудим с тобой.

Книжки мне всё равно не очень понравились, зато задели слова тётки: «Откуда в мире добро?»

Тысячи умников так же при случае бросали обвинение божеству, как я, гордо вопрошая: «Почему в мире так много зла?» Но не логичней ли было бы подумать, что в такой громадной, как открыли учёные, холодной Вселенной, полной губительной радиации, всё-таки живёт человек? И не только живёт, но хочет жить вечно, пытаюсь ради этого желания продолжить себя то в детях, как большинство, то в творчестве, как немногие другие.

Через две недели я пришла к тётке Любе с прочитанными книжками.

— Я креститься хочу, — заявила она мне с порога. — Да? — только и спросила я.

— Да. Точно хочу. Я всю жизнь жила в подвешенном состоянии. То ждала, перестанет муж пить или нет. Не перестал. То потом Рустам ждала — уйдёт он от жены, не уйдёт... Не ушёл.

— Вернулся к ней? — поневоле ахнула я.

— Да не совсем... Другую приёмную жену нашёл, помоложе, — горько улыбнулась тётя Люба.

Я замялась, не зная, что говорить, когда вроде бы нужно выразить сочувствие, но на самом деле ощущаешь облегчение.

— Это очень хорошо, — избавила меня от мучения тётя Люба. — Это как операция. Он меня сам освободил. Я теперь хочу сама что-нибудь решить. Мне надоело жить непонятно. Я хочу быть кем-то.

Она крестилась в конце декабря. В церкви я не была, но зашла потом поздравить тётю Любу с этим событием. Она сидела дома вместе со своей закадычной подругой, маленькой брюнеткой с живыми чёрными глазами, и светилась радостью. — Какой праздник, Настя! Это лучше Нового года.

Я не очень понимала, чему она радуется, но видела, что ей хорошо и спокойно. Какое-то время мы трое молчали и даже не особенно смотрели друг на друга, но никакого неудобства от этого не чувствовали.

— Я у них там спросила про Витю, — проговорила тётя Люба, доверительно наклоняясь ко мне и своей подруге. — Я же на курсы ходила перед крещением. Там много говорили... Что воскресение будет. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». И все увидятся. А я говорю батюшке-то: «Вот у меня брат умер, он был некрещёный, так что теперь — всё, конец ему?»

Тётя Люба чему-то усмехнулась.

— Какая-то глупая была! — обругала она саму себя. — Хотела подразнить: ну, скажите, скажите, что в аду ему быть вечно.

— Не сказал?—спросила брюнетка.

— Если бы сказал, так я бы, может, ушла. Нашла бы себе повод уйти... Надежда, говорит, есть всегда. Вон даже Шевчук поёт: «И никому нет конца, даже тем, кто не с нами». Так оно и есть. Мы никуда друг от друга не денемся. Пока человека кто-нибудь любит, он ещё живой.

— А что про брата-то сказали?—не выдержала подружка.

— Молиться, сказал. Я ему говорю: «А я не умею молиться, меня этому не учили». Как посмотрел он на меня будто на дурочку—да дура и есть! Вы что, говорит, добра ему не умеете пожелать? Я уже несколько вечеров говорю: «Господи, прости, прости и помилуй раба Твоего Виктора, передай ему, что я его люблю; и меня прости, и всех нас».

Подруга-брюнетка сочувственно покивала.

— Какая-то сила, конечно, есть, этого нельзя отрицать,—по-интеллигентски согласилась она.

— Какая сила?—раздражилась её непониманием тётя Люба.—На фига ты нужна силе? Силе на тебя плевать. Сила любить не умеет... А зачем жизнь без любви, а, Софьюшка?..

Дома я сказала маме:

— Ты знаешь, тётя Люба крестилась.

— Наконец-то,—ответила она.—Я тебя ещё в два года крестила. И ей тогда предлагала крёстной стать. Так она не захотела! Говорит: «Нет, Маша, я не буду!» На подарки, наверное, денег пожалела. Пришлось сестру свою попросить, они как раз с Витькой в гости приезжали.

Эти слова неприятно удивили меня, но вскоре я о них забыла.

Зимой на каникулы привезли Анютку, Марину и Виталию. Анютка, которой было уже пять лет, сам позвонила нам домой и позвала меня к телефону.— Тебя там,—бросила мама.

Я спустилась вниз. Детвора кинулась ко мне с криками радости. Я играла с ними в прятки, рассказала им сказку про то, как вода в море стала солёной. Пообещала, что буду приходить часто, подумав: в одной комнате с тремя детьми без помощи тётке будет тяжело.

Я сходила к ним один раз, два, три. Мама была явно недовольна моими визитами, хотя один раз я робко попыталась пригласить её с собой, да и сама тётя Люба по телефону как-то звала мою мать в гости. Однажды, когда я в очередной раз собралась идти вниз после звонка Анютки, мама бросила мне вслед саркастический комментарий:— Иди, иди... Девушка по вызову. Можешь не возвращаться.

Я попыталась отшутиться, однако на душе сделалось тревожно. В этот раз я так же точно играла с детьми, пила чай, рассказывала уже в третий раз полюбившуюся Маринке сказку «про солёную

воду», но чувствовала себя неудобно и через час засобиралась домой.

Мама не пустила меня в квартиру. Я звонила, стучала, но она повторяла одно:

— Иди откуда пришла. Там тебе лучше.

Постояв пару минут у входа, я поняла, что она долго не откроет, и поднялась наверх, на площадку между этажами. Удивительное дело, но плакать мне не хотелось и даже почти не было обидно. Я словно бы ожидала, что в конце концов произойдёт что-нибудь подобное.

На площадке было не так уж холодно. Я сняла с себя куртку и села на неё, сложив ноги по-турецки. Попыталась представить маму: что она делает сейчас? Смотрит, наверное, свой телевизор. Несколько месяцев назад она перестала мучить себя этими походами в офис и теперь располагает свободными вечерами. Но раньше она всегда знала, что её день забит до отказа и вечером будет всё то же мытьё полов. А сейчас? Что у неё могло быть сейчас?

Что у неё было, кроме меня?

У меня был институт, были мечты юности, были тётя Люба и её родные. У тётя Любы—шитьё, которое ей нравится, опять же родные да в придачу я. А у мамы была только я... Вернее, как была? Последние несколько лет—чисто номинально.

Смотря в узкое, низко расположенное окошко на наш освещённый ярким фонарём двор, я попыталась вспомнить время, когда мы с мамой были близки. До школы со мной сидела бабушка. В школе я очень привязалась к первой учительнице и к мальчику, с которым сидела за партой. Потом я крепко сдружилась с Ольгой и всё время ходила к ней домой. А потом стала ездить в Мальцево...

Я вдруг осознала, что уже давно мать жила, мучимая ревностью. Она ведь в самом деле очень хотела «дать ребёнку лучшее»: записала меня в хорошую школу, тщательно проверяла мои уроки, на накопленные с трудом деньги покупала мне красивую одежду, хорошие сумки и даже украшения. Я же не обращала никакого внимания на её подарки и жила своими книгами и мечтами...

Мама открыла мне дверь часа через полтора. Она, как всегда бывало в таких случаях, молчала и демонстративно отвернулась от меня. Сидя на площадке, я думала, что попробую заговорить с ней, скажу, что благодарна за всё. Но, увидев её хмурое лицо, неприступный взгляд, испугалась. Я так и не смогла преодолеть свой страх: мне казалось, мать не поверит ни единому моему добродушному слову. И мы промолчали два или три дня, как обычно и происходило в подобных ситуациях.

Тётя Люба отметила свой день рождения спокойней, чем обычно. Гостей было меньше—только несколько подруг. Ели тушёную утку с яблоками, потом пили чай с моим любимым черёмуховым тортом. Мою маму она тоже пригласила. Я очень

боялась, что та откажется, но, к моему удивлению, она пришла, правда, почти всё время молчала и сидела не рядом со мной. Но это не особенно бросалось в глаза: маленькая брюнетка играла на гитаре, полная женщина с низким голосом пела романсы, и неловкой тишины не возникло даже на минуту.

Ранней весной тётя Люба уехала в Мальцево, жила там недели три и вернулась назад опять с девочками и Ленкой.

— Мы и Витальку забрали, он сейчас у Дашки живёт, — пояснила она. — Крестить детей хотим. И Лена крестится. Сашку-то в детстве крестили в райцентре, а Лена будет сейчас.

Лена уверенно кивнула мне.

— У Витальки крёстная будет Даша, у Анютки — я буду. Марине только ещё думаем кого.

Я ничего не ответила на эти слова, но сердце рвалось из груди, так что трудно было даже оставаться сидеть за столом. В молчании прошло больше минуты.

— Возьмите меня, — проговорила я, с надеждой глядя на Ленку. — Крёстной. Марине...

Крещение было назначено на субботу. Я долго думала, сказать всё-таки или не сказать маме; наконец уже почти собралась, но тут она обнаружила за мной какую-то недоделку, начала ругаться, и моя решимость куда-то улетучилась. Пришлось солгать, что я иду на занятия в институт. Эта ложь камнем легла мне на душу, да ещё некстати всплыли в памяти мамины слова: «А она-то не захотела тебя крестить!»

Думая сделать себе легче, я спросила у тёти Любы:

— Это правда, что вы когда-то не захотели стать моей крёстной?

Она ничуть не смутилась:

— Конечно, правда. Тогда все крестились, Маша и тебя отвела. А я не понимала, зачем всё это нужно. Ради того, чтобы как все быть, что ли?

— А теперь понимаешь? — пылливо осведомилась Ленка.

— Не скажу, что очень понимаю... Но сердце тянется, ноги сами несут.

Уже у самых ворот храма она вдруг сказала мне: — Ты можешь отказаться, если хочешь. Это ведь на всю жизнь.

— Знаю, — отозвалась я и пообещала, что буду молиться за Марину.

В храме, кроме нас, оказались и ещё люди. Пожилой священник окинул нас долгим взглядом и сказал:

— Вы пришли сюда потому, что кого-то любите: своих детей, своих друзей. Хотите заботиться о них, помогать им. Один святой сказал: «Любовь к ближнему открывает нам Бога». Главное при этом — научиться любить самого человека, а не себя в нём, как часто бывает...

Мы втроём повторяли слова «отрекаюсь» и «сочетаюсь», смотрели, как помазывалась елеем вода в купели. Всё происходящее казалось мне не совсем реальным, но не похожим на кино или сон, а, наоборот, таким жизненным, будто раньше вокруг всё было раскрашено в глухие тона сепии, а тут засияло цветами.

В одной руке у Марины была свеча, которая горела длинным ровным пламенем, другой она крепко держалась за меня. «Вот моя крёстная дочь», — думала я, сжимая её тонкие холодные пальчики.

На следующий день Лена с девочками уехала, забрала с собой детскую Библию и накопленные тётей Любой тоненькие книжечки. Маме я так ничего и не сказала. На июль я устроилась в лагерь вожатой, к августу вернулась, чтобы съездить на день рождения к Маринке и Илюхе, и тут-то правда обозначилась. Тётя Люба сказала, что Марина будет рада видеть свою крёстную, и мама недоуменно спросила:

— Какую крёстную?

Я, конечно, понимала, что этот факт когда-нибудь должен был открыться, и корила себя за то, что промолчала так долго, выставив в глупом свете ещё и тётю Любу.

Мама, по обычаю, не разговаривала со мной пару дней, а потом подошла вплотную и, посмотрев прямо в глаза, сказала:

— Какая же ты глупая. Ездил к ним, работала бесплатно, с детьми ихними сидела. А что уж такого хорошего они-то тебе сделали? Бутылку шампуня подарили? Картошки да тыквы? Кинули тебе кость, ты, как собака, и побежала.

Мне стало обидно:

— Это не кость... И вообще, может быть, я их люблю.

Мама презрительно хмыкнула:

— Любишь... Только я у тебя никто. Маленькая была — другие дети бегут навстречу к родителям, смеются, спрашивают: «Что купили?» Ты же только в своём углу с книжками сидела и ничего не просила. Мимо меня проходила, как тень.

— Но я же помогала, если ты просила.

— А если не просила, то и не помогала. А когда я болела, так ты ни разу ко мне не подошла, не пожалела.

Меня укололо: это была чистая правда. Когда мама недомогала, я обычно просто уходила подальше и только по распоряжению могла что-то для неё сделать.

Мне стало жаль её, я вдруг увидела, что она немолодая, нездоровая и совсем одинокая. Я потянулась к ней, чтобы обнять, забыв наконец про всякие опасения, но она решительно сбросила мои руки с себя.

Подумав, я передала в общих чертах наш разговор тётю Любе. Она ничего толком не ответила,

только задумчиво покивала, и я сильнее встревожилась, подумав, что теперь она может сделать свои выводы и перестать со мной общаться—по крайней мере, на время.

Но за несколько дней до моего дня рождения, в сентябре, она зашла к матери, держа в руке какой-то пакет.

— Здравствуй, Маша,— сказала она, не проходя дальше порога.— А я вот хочу тебя с праздником поздравить.

— С каким это?— не поняла моя родительница.

— С днём рождения твоей дочери. Не твой разве это праздник?

— Мой,— не очень уверенно согласилась мама.

— А если праздник, тогда нужен и подарок. А какой для женщины подарок лучше, чем платье?

Мама удивлённо посмотрела на тётю Любу, ещё, наверное, ничего не понимая.

— Не хочешь ли ты себе платье на день рождения твоей дочери?— с самым непринуждённым видом поинтересовалась тётя Люба.

— Хочу... Да что ты стоишь-то? Заходи, заходи! А стоит сколько?

Тётя Люба скорчила рожу, явно показывающую, что о таком предмете, как деньги, не стоит беспокоиться.

— Подарок, Маша! По-да-рок!— подмигнув мне, чётко выговорила она.

Мама, которая редко покупала себе вещи, с удовольствием позволила снимать с себя мерки, рассказывала, какой хотела бы фасон.

— Матерьял-то какой!— тётка любовно гладила шелковистую ткань.

Они пустились в воспоминания двадцатилетней давности, незаметно от фасонов платьев перейдя на моё рождение.

— Помнишь, солнце-то было, Маша? До этого всё дожди, а тут как лето вернулось.

— Так это и было бабье лето.

— Оно не каждый год бывает,— стояла на своём тётя Люба.— Берёзы золотиться начали. Красивый был день! И девка наша красавица. И добрая.

— Только мне слова доброго не сказала,— грустно усмехнулась мама.

— Ну так ты ей скажи! Скажи: доченька, милая, звёздочка! Давно ты так говорила?

— Когда маленькая была, говорила, а она молчит.

— И... биться сердце перестало!— сдержанно выругалась тётя Люба.— Какие вы упрямые обе! Что ты вспоминаешь когда-то давно?! Ты скажи здесь, сейчас!

Мама сконфуженно улыбнулась и сказала мне давно не слышанное:

— Доченька...

Я, тоже глупо растягивая губы в улыбке, смотрела на маму и тётку, сидящих рядом на диване.— Что стоишь? Чай неси!— шутивым тоном приказала мне тётя Люба.

К Новому году мать сама напомнила мне, что надо приготовить подарок для крестницы. Перечисляя вслух, что можно было бы ей подарить и где это купить, мама вдруг перебила саму себя:

— И зачем ты на это согласилась? Ведь в старину знаешь как было? Когда родители у ребёнка умирали, то его крёстные воспитывали! Ты это знаешь?!

Я дрогнувшим голосом отозвалась:

— Знаю.

Мама какое-то время пристально глядела на моё лицо, потом махнула рукой:

— Блаженная!

Несколько лет промелькнуло цветными кадрами фильма, я стала учителем, как того хотела, и в один погожий день ранней весны возвращалась со своими учениками из музея-усадьбы Юдина, что на склоне Афонтовой горы. Солнечный свет масляно лился на потемневший ноздреватый снег, который лежал на холмах, на покатые шиферные крыши. Мы поднялись на возвышенность, на площадку, откуда с правой стороны были видны железно-дорожные пути и старые узкие улочки слободы Николаевки. С левой стороны от нас деревянных домов почти не было: прямо напротив места, где мы стояли, разравнивали землю экскаватором, а чуть поодаль высились ровные ряды нарядных высоток, розовых и жёлтых, как именинный торт.

Я с сожалением посмотрела в ту сторону, где оставались тесовые домики с шиферными крышами, и было слышно, как лают собаки и радостно визжат катающиеся с горы ребятишки. Это место не было деревней, но сильно напомнило мне Мальцево и всё то, что было со мной в Мальцево за четыре года юности.

— Жаль, что больше не будет таких домиков, как эти,— сказала я одному своему ученику, с которым мы немного ушли вперёд от остальных.

— Не стоит жалеть,— решительно возразил он.— Вы же не хотите, чтобы в двадцать первом веке люди брали воду из колонки, жили в деревянных развалюхах? Это всё прошлое, жизнь идёт вперёд.

Мне пришлось с ним согласиться. Мой ученик поправил пальцем очки и достал телефон, чтобы издалека сфотографировать вокзал. Я ещё не раз обернулась назад, к тем домикам. Не выгребные ямы, колодцы и дрова мне было жаль, и не по ручной стиральной доске я скучала, вспоминая Мальцево. Я, никогда не бывшая деревенской, видела, что чем теснее грудятся люди в новых домах «китайской» застройки, тем, по какому-то парадоксальному закону, они сильнее становятся друг другу чужими. Нарядно одетая родительница одной моей ученицы ругала свою дочь за то, что та несколько раз водила домой подружку из бедной семьи: в гости ходить— неприлично, нечего рассматривать чужое житьё-бытьё. Иные мои знакомые всерьёз говорят, что дружить сейчас

в городе некогда, времени едва хватает на себя да на семью, если, конечно, успел и сумел в круговерти реальных и мнимых дел её завести.

Не повернуть времени вспять, не сохранить нам, наверное, «хижины хилые с поджиданьем седых матерей», но остаётся надеяться, что когда-нибудь

люди, пресытившиеся избытком торговых центров, предоставляемых всеми и всюду услуг, стоскуются по простой жизни, в которой каждый — такой, как он есть, а не каким хочет казаться в картинках «Инстаграма». И будут тогда новые деревни, в которых радости и горести — одни на всех.

ДиН СИММЕТРИЯ

Максимилиан Волошин

## Северовосток

Расплясались, разгулялись бесы  
По России вдоль и поперёк.  
Рвёт и крутит снежные завесы  
Выстуженный северовосток.

Ветер обнажённых плоскогорий,  
Ветер тундр, полесий и поморий,  
Чёрный ветер ледяных равнин,  
Ветер смут, побоищ и погромов,  
Медных зорь, багровых окоёмов,  
Красных туч и пламенных годин.

Этот ветер был нам верным другом  
На распутях всех лихих дорог:  
Сотни лет мы шли навстречу выюгам  
С юга вдаль — на северо-восток.

Войте, вейте, снежные стихии,  
Заметая древние гроба:  
В этом ветре вся судьба России —  
Страшная безумная судьба.

В этом ветре гнёт веков свинцовых:  
Русь Малют, Иванов, Годуновых,  
Хищников, опричников, стрельцов,  
Свежавателей живого мяса,  
Чертогона, вихря, свистопляса:  
Быль царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья.  
Тот же ураган на всех путях:  
В комиссарах — дурь самодержавья,  
Взрывы революции в царях.

Вздеть на виску, выбить из подклетья,  
И швырнуть вперёд через столетья  
Вопреки законам естества —  
Тот же хмель и та же трын-трава.

Ныне ль, даве ль — всё одно и то же:  
Волчьи морды, машкеры и рожи,  
Спёртый дух и одичалый мозг,  
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,  
Пьяный гик осатанелых тварей,  
Жгучий свист шпицрутенов и розг,

Дикий сон военных поселений,  
Фаланстер, парадов и равнений,  
Павлов, Аракчеевых, Петров,  
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,  
Замыслы неистовых хирургов  
И размах заплечных мастеров.

Сотни лет тупых и зверских пыток,  
И ещё не весь развёрнут свиток  
И не замкнут список палачей,  
Бред Разведок, ужас Чрезвычайек —  
Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик  
Не видали времени горчей.

Бей в лицо и режь нам грудь ножами,  
Жги войной, усобьем, мятежами —  
Сотни лет навстречу всем ветрам  
Мы идём по ледяным пустыням —  
Не дойдём и в снежной выюге сгинем  
Иль найдём поруганный наш храм, —

Нам ли весить замысел Господний?  
Всё поймём, всё вынесем, любя, —  
Жгучий ветр полярной преисподней,  
Божий Бич! приветствую тебя.

31 июля 1920  
Коктебель

Любовь Макеева

## Не мыслившие зла

Маме

Ночь была последняя для весны и для мамы. Окна стояли распахнутыми, на синих сопках полосками лежал туман. Встали в пороге, выброшенные из сна, несобранные. Слушали шевеление невесомой занавески. Наконец кто-то выключил вентилятор с потерявшимся пультом. Брат положил маме руку на живот, кивнул: всё.

Игнорируя время суток, в комнату влетела оса—видимо, проститься. Последние дни она часто навещала маму. Теперь осу никто не прогонял, и, покружив над телом, она медленно, будто шагая, а не летя, вышла в окно.

Смерть мамы была ожидаемой и даже где-то всеми жданной. И она пришла—строгим удивлением на её лицо, обязательным чувством вины и несделанности чего-то в души близких. Именно общее желание скорого конца казалось теперь малодушием и предательством, хотя как раз этого и хотела мама. Она умирала от голода и удушья, пока болезнь поедала её брюшину, подбираясь к лёгким и горлу, и, неостановимая ничем, наконец съела всё. Её ненасытный размер пугал. Казалось, всё, что было телом мамы, мягким, пышным, таким очаровательным в бабушкином возрасте, опухоль втащила в себя, в тяжёлый неповоротливый мешок, высосав и ткани, и кровь, оставив только подпухшие суставы.

Свою скорую кончину мама выбила в небесной канцелярии с тем же упорством, с каким жила. Её диалоги с миром, сокрытым, потаённым от живых, мы с Сашей ночами записывали на бумажках, так и не сообразив завести для этого блокнот. Не думалось, что её последние всенощные и заутренние беседы будут долгими и содержательными. Голос её в эти минуты становился живым и чистым. И до последней минуты мама не перестала подсмеиваться и спорить. Даже с небесными силами. — Здрасьте, приехали... И сколько ещё? Сколько?... Устроились! И детей тут мучить...

Она вела яростные переговоры с не видимой и не слышимой нами стороной и таки выторговала себе день смерти:

— Тридцать первого... хорошо, хорошо... Всё. Давайте...

Утром она очнулась и сказала мне:

— Скоро уже, не переживай. Всё успеешь. Я не долго...

Она будто извинялась, что доставила мне хлопоты.

— Всё у тебя сладится—работа, дела... Как ты хочешь получится... И ни за что никогда в жизни не переживай,—потом помолчала и добавила, открыв мне секрет:—Если бы вы знали, какой всё это бред... Люба, какой бред весь этот белый свет!

Всё это уже говорилось обмякшим, неповоротливым сухим языком, еле слышно.

Ещё писал бумаги милиционер, кивая, пошёртывая, а уже вспомнился целлофановый пакет, именно целлофановый, а не полиэтиленовый, громко шуршащий подарком из детства, пакет с вложенной пачкой тетрадок и бумаг. «Личное»,—размашистым, крупным маминым почерком написанное было адресовано мне. Потом, всё потом. Страшно открыть сразу и узнать что-то ненужное.

Когда тело выносили санитары, с крыши сорвалась стая голубей и заметалась у открытого окна. В этой дорассветной птичьей суете почудилось последнее, по-настоящему прощальное, и санитары тоже остановились, положив носилки на порог, глянули на птиц, перехватили руки поудобнее и вышли.

Дед опустился на кровать против той, где только что была мама. Некоторое время он сидел, отупев, раскачивался взад-вперёд и пытался завить. У него не получалось.

— Теперь надо следить, чтоб не запил, а то ж люди будут,—сказала Зойка.

Дед сидел долго, пока Зойка, шустрая братова жена, не вскинулась с уборкой. Делать это должны были по выносе покойника некровные люди. Получалось, что Зойка да Дед, мамин муж, получивший свой статус деда ещё в молодости из-за шикарной бороды. Носил он её всегда, сколько его помню, и ту пару случаев, когда сбивал, можно не считать, потому что его молодевшее без растительности лицо становилось глуповатым, а вздёрнутый нос, обнаруживаясь в самом центре обзора, портил общее впечатление от его фактуры и крепкой мужской красоты. Теперь борода его была снежно-белой, хоть и так же завидно богатой, всегда бодро летящей по ветру. К этому дню уже вынырнувший

из пьянки, с подбитым глазом и содранной щекой, Дед, стоя на лоджии с сигаретой, пытался пригладить свои волосы, сильно отросшие, как и борода, и полностью седые. Его ранняя густая седина не считалась следствием горя или стресса. Тонкие психические проявления любого ряда если и происходили в нём, то были так глубоко спрятаны, что принимались за притворство. Привычнее было, когда Дед все неприятности крыл родимым смачным словом «пое...ать». Заменить его невзрачным «наплевать», «пофиг» или «разберёмся» было никак нельзя. В этом похабном слове ярко прорисовывалась Дедова натура. Потому что именно такое насилие он совершал над любой бедой, о чём и заявлял, разбивая слово по слогам. Ему не было ни всё равно, ни наплевать, ни пофиг. — Дед, приходи в себя давай, мыть тут всё надо, — вошла на лоджию Зойка. — Денег ему не давай, а то нажрётся, — шепнула мне.

В комнате, вымытой холодной водой, в уставшей тишине засветившегося утра Дед оглядел мамину кровать без матраса, который вместе с подушкой вынесли на балкон, икону «Всех скорбящих радость», вырезанную из календаря, подождал, пока догорит свеча, и, примерившись, лёг на мамино место.

— Ты сдурел, Дед! — крикнула шёпотом Зойка. И уже в голос, нам: — Ну гляньте, ну чо это, а?

И все будто поняли, что теперь можно говорить вслух, что нет ни больного, ни покойника, что тут теперь только живые и здоровые и сохранять тишину нет смысла. Тишина умерла вместе с мамой. Она забрала её с собой, недолгую стылую спутницу последних дней. Голос Зойки, удерживающийся всегда на ноте «си», был и нужным сейчас, и невыносимым.

Дед повернулся на бок и закрыл глаза.

Зойка была третьей, закатной женой брата, из тех, которых берут со всем, что в них есть, — с возрастом, с долгами, с заревою любовью, заранее соглашаясь на их правду, со всеми выросшими детьми как с родными, с радостью ожидания некровных внуков как собственных. Брат принял всё настолько близко, что годами не виделся с единственным своим отпрыском. Первая его жена, родившая позднего сына, ушла от него, загуляв и потеряв разум от разгула.

— А Славка что? — интересовались те, кто приносил маме подробности.

— А что он? Телок...

Было в Надьке, первой Славкиной жене, какое-то природное паскудство. Не от намеренного желанья, а от простого нутряного безудержья. И глазки её, с теснотой ресниц, постоянно светились такой простой блудливой радостью, что отказывались немногие, мимоходом гася огонь молодого,

неокрепшего очага или расшатывая опоры тускнеющего фасада семейной крепости. Выросшая на детдомовском сквозняке, Надька не переставала искать тепла везде, где его давали, и подолгу застревала там, где его оказывалось чуть больше. Мой уютный любовный очаг вызывал в ней плохо скрытую зависть, и только холодность, с которой мой муж держался в отношении её достоинств, останавливала горячие Надькины порывы. Упрочих же, где интеллект не поднимался выше пуга, натягивался гульфик, и Надька рвала плохо подхваченную узду. Дом у неё даже в худые времена оставался ухоженным, плотно набитым сундуком, в который сносились все те невозможные в детдомовской жизни предметы, что обещали семейные радости и сотворяли ощущение нажитого добра. От того же детдомства она любила праздники, сабантуйчики и щедро накрывала столы по любому поводу. Повод не заставлял себя ждать.

В телячьей радости позднего отцовства, в шаловливых жениных объятиях, в напичканной вещами и вещицами квартирке Славка многого не замечал, не хотел замечать, жил себе и жил, пока ему не указали на дверь. Так же негромко, с тем же бычьим спокойствием, с каким женился и встретил рождение сына, он собрал свой рюкзак и вышел. — Телок! — возмущалась мама. — Обобрала его до нитки! Квартиру его продала, гараж и дачу на себя записала...

Мамины слова стреляли в воздух и не достигали цели. Славка взял отпуск и уехал на рыбалку. Родившийся будто не от женщины, а от самой природы, он был в тайге у себя дома, и только там и пребывал с собой в гармонии, и только там его жизнь имела причину продолжаться.

— Не страшно тебе в тайге одному? — спрашивала я его в детстве.

— А кого бояться-то? — не понимал брат. — Людей нет, а зверь — он же умный...

Второй подружкой Славки оказалась терпеливая, но дёрганая Людка. Угловатая, чуть вытянутая из-за худобы, не выписанная ни одной женской формой, она обладала ясными, чистыми глазами. Цвет их был удивительный, в тон светлому ореху, с тёмной окантовочкой по краю зрачка. Их молчаливое приятие родилось в тихих коридорах коммуналки, но Людка тогда была замужем. И только когда жизнь её пошла наперекосяк, закончившись разводом, она приняла Славку — с радостью, с памятью молодости об их быстрых взглядах, смущении и неперенных столкновениях в дверях общего пользования. Он, теряясь от порядочности новой жены и чистоты в отношениях в сравнении с бесстыжей Надькой, скоропостижно оказался мужем во второй раз. Но то ли его страсть к рыбалке, то ли Людкина склонность к занудству не скрепили запоздалого союза.

Безработица свалилась как нельзя вовремя и вытолкнула Славку на заработки, прямоком направив его в первый же день командировки в руки Зойки, пахнущие пирожками и котлетками, наработанные, но ещё не уставшие, резвые до мужской силы. Как бычка к суну и тёплому стойлу, Славку потянуло из приисковой гостиницы в деревянный Зойкин сруб. За Зойкиным окном звенела речка Собака, в окно влетал ветер близкой тайги. К тому же Зойка оказалась заядлой рыбачкой. Что нужно было Славке для счастья, он всё нашёл, во всей мере и всём объёме, простом, кухонно-утварном, но так редко доступном незатейливому мужику.

Зойкин нехитрый быт, возведённый на простых житейских нуждах предков-хакасов, испортился во время свободного кредитования всех подряд. — Кредиты бывают двух видов, — говорил человек, знавший толк в денежных делах, — на бизнес и на потреблячество...

Зойка поехала на потреблячестве. Её понесло, как несёт ветром пыль, а с ней прихватывая всё, что не сметено с дороги заботливой рукой уборщика. Убрать Зойку с кредитной трассы, усыпанной далеко не золотой пылью, было некому. Она рано вышла замуж, рано родила, рано осталась без мужа, рано выдала дочь, рано стала бабушкой, и к пятидесяти годам с ней уже случилось всё из того событийного, что может потрясти семейный клан. И все они — и участники событий, и сами события — были моложе её и давно ей не указчики. Да и у каждого, как говорится, свои лыжи, и каждый вострит их в свою сторону. Семь лет она была замужем за моим братом. Семь лет они сидели в затяжных, нескончаемых ссудах, уперевав все мысли о добротном счастье в долги.

Не крещённая ни снегом, ни лепестками роз, ни через помазание маслом, ни сухим очищающим возложением рук, а, как она сама говорила, «погружённая» бабкой по забытому старообрядческому смыслу, Зойка переживала Славкино некрещение с детским страхом. Будто распознают его в толпе и — утащат. Кто, куда и зачем? Да мало ли? Поэтому он носил крестик на золотой цепочке, стоял на молитве, когда перед смертью к маме приходил батюшка причастить её, отстоял в церкви панихиду и не вздрогнул, когда с кадила слетела крышечка и подкатилась к его ногам. После долгих разговоров на кухне о православии и вере Зойка пугалась: — Креститься надо, Слава, — и жаловалась: — Но у нас же то рыбалка, то тайга...

Мама в своём коротком крещении была счастлива. Отдав себя под сень Бога на семьдесят третьем году жизни, после третьего захода в реанимацию, она перестала многого бояться. Понятия страшного греха она не успела объять, воспринимая свою жизнь уже как собственно искупление.

Не добралась до диких фантастических историй об ужасно мстительном Боге, зато скоро усвоила всё о Боге милостивом. Её младенческая православная душа прикипела только к тому, что в вере было спасительным и прощающим, и не успела разобраться, почём платить за обиды. Она искренне верила, что не сотворила в жизни ни грамма зла, и всего лишь недоумевала, для чего и откуда оно встретилось ей. Мама захотела креститься исключительно из уважения. — Явлюсь туда — и что? Ни чёрту кочерга, ни Богу свечка...

Давала дельные советы:

— Гроб не обивайте мне пионерским галстуком. Хватит мне того, что в день комсомола родилась. Что-нибудь такое, поприличнее, найдите.

Осталась верной себе:

— Жила как жила, то ладно. А туда-то надо всё-таки по-человечески, всё-таки там — не у нас тут...

Это было как при жизни: или сделать генеральную уборку для себя, или быстренько «прибраться для людей». Меня радовала её преданность себе. Она не притворялась, различая, что ею делается для проформы, а что как положено. Готовясь в путь насовсем, ей не хотелось упустить мелочи.

Мы успели пообщаться только в первый день встречи, все остальные дни стали её уходом.

— Финиш, приехали, — посмеивалась мама. — Видишь, какая красавица — ни кожи, ни рожи, одно пузо.

— Не думай об этом, — сказала я. — Рожа — это не важно. И это — не финиш. Твоя душа возвращается к себе домой. Она знает, откуда родом, и помнит свою прописку. Ей просто пора.

Мама подмигнула:

— Да и я устала. Пара лет последних точно лишними были.

— Ты ж сама просила у Богородицы пожить подольше!

— Да дураки же, годы просим, а про беды не спросим. Потом хлебаем, обратно просимся. Ты молитву за здоровье не читай, слышишь? Есть там какая-нибудь, чтоб побыстрее?

— Есть, — говорю.

— Ну вот её и давай.

Мы помолчали.

— Сделай мне всё по правилам, как положено, — напомнила мама.

Я кивнула. Со священником о причастии было уже договорено. Мне предстояло водить её беспомощной рукой, перекреститься сама она уже не могла.

— Хорошо, что приехала. Они же тут бестолковые — закопали б, и всё. Ладно, иди, а то голова от тебя кругом. Жалко, не успею тебе уже всего рассказать... Но ты напиши о нас, писательница ты моя. — Я напишу.

Детство мамы, безбедное и короткое, закончилось в пять лет: родился брат, а через крупную сибирскую станцию на запад пошли военные эшелоны. Бревенчатый дом путейских рабочих стоял у железной дороги. Люди привыкали к дрожанию стен и дребезжанию окон. Потом вечный стук колёс будет сопровождать нас по жизни. Как только в какой-нибудь точке страны начинал маячить огонёк новой стройки, мама откуда-то, видимо, из газет, узнавала об этом, и уже вечером на полу лежала разложенная карта, а рядом толстенная книга — «Атлас дорог». Мама вообще обожала карты и всякие справочники. У неё были книги о камнях, о деревьях, буклеты об островах, горах, путешествиях. Кроссворды разгадывала — как орешки щёлкала. Последний оставила недорешённым — за неделю до смерти...

Она нянчила брата, а когда укладывала его спать, бежала на станцию обменивать масло и сливки на вещи. Бабушка держала корову, но в доме молока было мало, похлёбки забеливали, но полными кружками молоко давали только больным. Денег в ходу не было.

В маленькой комнате стояла чистота, как в архиерейских покоях. Бабушка поручала начищать половицы песком и строго следила за порядком. Мамина мама и моя бабушка были в жизни два абсолютно несхожих человека. Я не могла себе вообразить, что бабушка берёт в руки лозину, наказывает пятилетнюю дочку за искромсанный в полоски лоскут, который ей выдали за работу, или жёстко отчитывает за неудачный обмен. Бабушка вообще была избирательна в любви. Не каждого она ею одаривала. Сыновья судьбы её волновали куда меньше маминой и моей. Две послевоенные дочери вызывали в ней озабоченность, но так и не удостоились высших чувств. Я всё это замечала, но не умела понять почему.

С обидами мама летела к прадеду. Белый, как лунь, прадед прожил долгую жизнь, пережив четырёх императоров, и умер уже после Второй мировой войны, в царствование деспотичного грузина, достигнув почти ста лет, в напроць советские времена.

Миротворческое правление Александра Третьего позволило процветать народничеству, и время пришлось на юные годы пращура. Подцепив в столицах вирус зачаточного, но уже входящего в моду «хождения в народ», молодой дворянин получил несколько лет ссылки в Троицко-Заозёрную слободу Туруханской епархии. Старинная слобода стояла в дремучей тайге и славилась с допотопных времён слюдой, которую добывали для храмов Москвы и Тобольска. Незадолго до его прибытия в эти места здесь открыли ещё и железные рудники. И первые каторжане ручейком потекли в богатый нетронутый край.

Ссылка стала судьбой. Император, отославший беспечного народовольца подальше от столицы — отрезвиться и попутно окунуться в жизнь того самого народа, который юноша жаждал просветить, — тем самым спас его и наш род от клейма цареубийцы и террориста. Но главное — не прервётся наш род. Цареубийц казнили повешением, как и случится с братом Ильича, постыдно и без присутствия того народа, которому они, как казалось, хотели служить. Каково будет их служение, мы узнаем позднее, когда Ильич двинет «другим путём». А его клич подхватят те самые народники, похерив свои идеалы, пустившись в недетские игры типа «охоты на царя» и, в конце царских времён, опустившись до гнилого беспредела «грабь награбленное» и прочих материальных, но абсолютно бездуховных ценностей.

В советское время ходил анекдот про Ленина: брата казнили, а как отомстил...

Ссылка сделала из прадеда философа. Отбыв положенный срок, он не вернулся на родину, а навсегда остался учительствовать в сибирской слободе. Здесь он пережил великий промышленный подъём, строительство Транссибирской магистрали, революцию, некрасивую сифилитичную смерть вождя, две войны и наконец, изучив жизнь народа глубже некуда, с миром отошёл к Богу.

Заозёрная слобода, в имени которой навсегда отменили «Троицкое», получила статус села, к тому времени перенаселённого уже не только царскими, но и советскими ссыльнокаторжными гражданами.

Мама помнила прадеда седым, синеглазым и всегда с книгой. Сидя на скамье под высоким забором, он наблюдал за детворой и жизнью народа, судьба которого в молодости так беспокоила его. Прибегавших с жалобами детей он гладил по головам, жалел и подкармливал, отчего считался слегка не в себе. Факт, что выслан он был из Петербурга, где оказался в студенческие годы и нахватался идеей о спасении народа, вляпался в нехорошую историю и отделался высылкой, был достоверный. Об этом хранили записи соответствующие службы, чем и помогли мне в раскопках своих корней.

В глухом месте, оторванном от других на десятки вёрст, проповедовать свободу мысли было некому. Некоторое время молодой прадед снимал угол у безмужней женщины, прижился, и она родила, среди прочих детей, мне не известных, Леонтия. Который и стал отцом моей бабушки. О женщине, пустившей питерского интеллигента к себе на жительство, а заодно продлившей корни нашего рода, известно немного: не сдерживаясь в чувствах, она одинаково гоняла веником детей, курей и собак, приговаривая: «Ах, жабы вы, холеры...»

Я помню этот дом, похожий на старый терем, с высокой лестницей, на которую я отказалась подняться, и маленькую седую женщину, сидящую на самом вершине. Она смотрела на меня зорким прищуренным взглядом и почему-то кивала головой. Шли взрослые разговоры о чьих-то похоронах и, поскольку все редко виделись, о том, кто как вырос и на кого стал похож. Став центром внимания, я закатила истерику, вцепилась в маму, и мы вернулись домой. Кто была эта женщина на крыльце? Кого мы так и не проводили в последний путь? Нет уже никого, кто мог бы ответить.

К вечеру пришлось вызвать скорую. Мама просила ввести обезболивающее. Ничего этого в доме не оказалось. Я растерялась.

— А как она без лекарств всё это время?

Я оглянулась на брата, на Деда, на Люсю, младшую мамину сестру. Так случилось, что та всегда летела на беду. И не только несла её уже своим появлением в чьей бы то ни было жизни, но и непременно творила её, часто неожиданным и изощрённым способом. Люсю побаивались и родова, и знакомые, и друзья, которых она заводила всегда походя и с определённой целью. Не умея прощать ни самой случайной обиды, ни краем уха словленной сплетни, она со страстью странницы таскала слухи со двора во двор, при этом не гнушалась написать письмо или позвонить.

— Пусть знают, как Люсю обижать!— строго говорила она.— Должна же быть в мире справедливость!

В паутине её домыслов и правды часто запутывались даже самые здравомыслящие люди. Со временем, деформировавшим надменную, брезгливую, ухоженную даму в нездоровую, приплавившую и постанывающую женщину, Люся не умерила свой пыл, но свела границы интриг до узкого круга. Делясь бесконечными несчастьями, своими и чужими, она находила собеседниц на лавочках, словно приросших к ним навечно, с карканьем подрывающихся при виде детей с мячом или бесстыдно распахнутых прелестей юности. Не успев прожить полвека, она уже была отвергнута всеми. Сын от неё отрёкся, невестка с внучкой скрылись, поменяв адрес, муж избавился, выведя такой хитроумный узор развода, что в Люсе до конца жила гордость за изобретательность его ума.

— Я всегда говорила, что Валера неглупый человек! Глупый просто не мог бы со мной жить. Но я обиделась...

И это был заочно вынесенный мужу приговор. С этого дня собственное существование её больше не интересовало. Она припала к язвам чужих страданий. Как-то позвонила родственнику в годовщину смерти его жены и попросила позвать покойную к телефону...

С детства Люся металась: стать не то богатой, не то образованной.

— Чтобы все облезли от зависти,— объясняла она мне.

Её мечта сбылась. Она стала хозяйкой собственного завода и нажила много завистников. Название завода «Лидер» оказалось аббревиатурой и означало: «Люся и другие её работники».

По мелочам Люсю развлекали скандалы, в которых она возвращала свои подарки. Подносились они в порыве искренней, невиданной щедрости, действительно от всей души, часто дорогие, но приходило время обиды—и всё требовалось вернуть назад. Люся входила в квартиры, где покоились её дары, с дикой свободой судебного исполнителя срывала шторы, сдирала драгоценности, ломала картины, била сервизы и истеричила, если вещи оказывались передаренными или утраченными. Частотой повторения спектакли утомляли даже соседей. Анонсы и прогнозы были бессмысленны. Свою непредсказуемость в этом плане Люся долгое время считала изюминкой своей женской души. Пока муж не ушёл от неё безвозвратно. Иллюзии насчёт изюминки растаяли, хватки с годами поубавилось, подарки с наступившей бедностью иссякли. Но Люся осталась собой. Я помнила об этом. И поэтому, когда она позвонила от мамы, а мама не могла говорить, одним своим голосом она вырвала меня из всего сразу—из всех невозможностей, со всем нутром, как это она умела, окатив душу ощущением опасности. Люся была рядом с мамой. Нужно было спешить.

В знакомой деревенской церкви мы с Сашей заказали подорожную и через сутки уже покачивались в поезде самого дальнего следования.

Во всей Люсиной судьбе был некий изъян. Все знали, что рождение её явилось результатом неудавшегося выкидыша. Бабушка Галина пыталась избавиться от пятого ребёнка, тем более что старшая дочь, моя мама, должна была родить в то же время. Девочка оказалась цепкой и уже на пятый день своей жизни стала тёткой вместе с рождением Славки. Этот статус тётки навеки определил и её манеру говорить приговаривая, и жалобные нотки, и приступы щедрости, и нескончаемые болезни, и воспалённую страсть к золоту, и вмешательство во все семейные дела с охватом дальнего родства, и—сплетни. Она была просто жанровой литературной героиней. Тётушка Саркома—в первый же день окрестила её Саша. Со временем история Люсиного рождения обросла мелкими подробностями. В ней появился шрамик на её подбородке, вроде как оттуда, ещё из матки, нечаянное клеймо материнского предательства, насилия над беззащитным плодом уже побледневшей родительской любви.

Не в той ли мыльной пене, замешанной материнской рукой и влитой в утробу, и запутался мелкий бес да прикипел к зарождённой душе? Не он ли, подрастая вместе с ней, вспенивал ей мозги, доводя до бешенства при самой незначительной случайности, подсказывал Люсе сюжеты интриг, сводил людей и горячил кровь мстью?

— У мамы нет лекарства?—я уставилась на брата.  
— А я знаю? Они вдвоём тут химичат, Люся да Дед. Я-то чо?

Я обернулась к Деду. Он устало отмахнулся:  
— Она не хотела.

Я возмутилась:  
— А при чём здесь «она не хотела»?

Люся нехорошо дёрнулась и не персонально заявила:

— Не надо тут устраивать допросы.

Дед молча свернул своё одеяло, на котором спал под порогом маминной комнаты, пока не приехала я, перенёс его на балкон и перестал со всеми разговаривать.

— Вон пошла!—я держала руку, будто сейчас собиралась прострелить дверь.

— А ты изменилась, Любаша.

— Было бы странно, если бы за двадцать лет этого не произошло.

Люся начала собирать вещи и по-старушечьи заблажила:

— Я тут ночами не сплю, ухаживаю, умываю...

Всю жизнь она играла две роли—то жертвы, то спасателя. Ни один сценарий мне сейчас не годился.  
— Не причитай,—прервала я,—теперь этот подвиг я возьму на себя.

— Я завтра зайду?—робко прошептала она.

— Нет, встретимся в церкви, на отпевании.

Она кивнула, но потом не пришла. Уходила с узлами. Снова нашлись скатерти и картины, которые она когда-то дарила маме.

Дверь на балкон была открыта. Дед лежал, глядя в небо, и слушал наш разговор с Люсей.

— Выгнала?—спросил он и глубоко выдохнул.

Он был всегда насквозь родной. Роднее отца, роднее любого во всей родне, быстрее всех в работе, скорее любого в любом деле. Он жил, рвя душу, как последнюю рубаху, не споря, а горлая, и в детстве я боялась, что сейчас у него лопнет кожа от пула до горла и сердце его вырвется и взлетит.

Он завоевал маму, получив её вместе со всем «приданым», ни разу в жизни не пожалев об этом. Работал до спазмов в желудке, любил до отпада сердечных клапанов, пил до икоты.

Он каждый год отыскивал для мамы подснежники и никогда не шёл—он всегда нёсся к ней с букетом цветов. Мама любила жаркий, и пока был сезон, в нашем доме, не угасая, полыхало пламя его любви. Потом шли мелкие незабудки, тонконогие,

ситцевые. Осенью приходило время последних листьев, и они стояли всю зиму, до первых подснежников. Как упитый дурманом, приворожённый уже следом её босоножки, её смехом, даже её равнодушием и отказом, Дед добивался мамы, сидя в детской беседке под нашим окном. Над ними смеялись: «Как пионеры прям...» Красавец, молодец, в модном болоньевом плаще, моложе мамы на восемь лет—как могла с ним случиться такая оказия и продлиться всю его жизнь?

Он столкнулся с нами на остановке. Должен был ехать на смену, но из автобуса вышли мы, и я осталась—на мне были новые красные носки, и я не могла ими налюбоваться. Он не уехал, а пошёл следом за нами. Я только что научилась читать, поэтому громко выкрикивала всё, что попадалось буквенного на глаза.

— Мама,—резюмировала я,—тут кругом про нашего Славку написано: слава, слава, слава...

Он вошёл за нами в подъезд и узнал, где мы живём. О том, что мама в разводе, он выяснил позже. А пока шёл, всё уже для себя решил. Маленькая насмешливая женщина с девочкой за руку были его, не чьи-то. Ни мужья, ни какие-нибудь обстоятельства—ничто, прилагаемое в нагрузку, не имело значения. Он явился на другой день и принёс мне конфеты—десять сортов по сто граммов. Двери держали открытыми, никто никого не боялся. Я спокойно впустила его в квартиру и устроилась на диван сортировать карамель. Он сидел в кресле и ждал маму. Возмущению её не было конца. Потом он пришёл с арбузом, и уже спокойнее они разговаривали на кухне. Потом мы шли на карусели, он держал меня за руку, а мама шла позади и делала вид, что она не с нами. Они встречались.

Ранняя смерть бабушки, когда больные с войны почки наконец добились её уставшее тело, открыла для Деда двери в нашу семью. Мама честно показала ему шесть пар спящих ног, которые могли стать бременем в его новой жизни.

— Справимся,—ответил он.

И он справился. Вырастил нас и маминых сестёр, выдал их замуж, одарив соболями в прямом смысле слова и отыграв их свадьбы. Своей у него не случилось. Как и детей. На этой теме в самом начале мама честно поставила крест. Она всё и всегда решала сама. Иногда обдумывала до конца, иногда полагалась на волю случая. Тема общих детей ни разу не поднималась. Его сердце навеки было отдано женщинам нашей семьи. По цепочке: мама, я, Сашенька...

Он родился в конце войны в небольшом сибирском спецпоселении, куда их кулацкую семью в тридцатые вывезли из Украины. Зажиточные куркули легко вписались в графу второй категории—«богатых кулаков и подкулачников». Лишённые

всего имущества, включая мётлы, чайники и бочки с мочёными помидорами, они двинули на высылку в холодные края. По мартовскому ледку их подвезли к краю леса, ссыпали в ложбинку между сопками вкупе с несколькими односельчанами и забыли.

Собственно, эти изгнанники и основали деревню. Работящие хохлы поставили тёплые избы, обнесли их сосновым забором и зажили внутрисемейными дворами. Уляна Серафимовна, матушка Деда, была толковой в хозяйстве и в торговле. В её жилах текла кровь поколений миргородских купцов. В день зачистки, услышав дикий вой в начале улицы, она успела снять с себя серьги и кольца белого золота и сунуть в рабочие галоши. В них и отправилась в путь. Остальное из приданого, перины и подушки, продотрядовцы стащили на подводы, и пух летал над разорённым родовым гнездом... Драгоценности их выручили. Матушка оказалась несгибаемой. Десяти лет Дед вышел работать в кузницу. Достаток в семье был общий. Двором, хозяйством, семьями подраставших сыновей, с невестками и детьми, управляла мать. Никогда не слышавшая о таком устройстве общества, как матриархат, она стала твёрдой его устройтельницей и крепко держала в маленьких кулачках весь клан. Через короткое время семейство окрепло и снова разбогатело, но раскулачивать его повторно никто не пришёл. Рахубная Уляна Серафимовна, крепко наученная властью, теперь умела тщательно скрывать семейный наработанный достаток. Так и дожили, вполне безбедно, но трудясь с утра до ночи, до шестидесятых. И тут, по сибирским понятиям—недалеко, занялась стройка: ГРЭС, город и химкомбинат.

А место, заселённое когда-то силой, теперь добровольно обихаживают поклонники здорового образа жизни. Природа сберегла для них своё первозданное лоно. По-прежнему зеленеет лес, полный дичи, и гремят ручьи, не замерзающие даже зимой.

Молодые люди селятся снова гуртами, с новой философией на старой закваске, и поднимают огороды вручную, как в старину.

Я видела её, невысокую старуху с красивым властным лицом, огненными глазами и мягким южным говором, только один раз. Дед взял меня с собой и, видимо, пришёл сказать, что уходит из-под её надежного крыла в нашу семью. Мы стояли в пороге её новой квартиры на городской набережной, только-только отстроенной, с круглыми фонарями и изогнутыми скамейками, по которой вечерами взрослые совершали променады, а дети бегали купаться на реку. Но потом я обходила этот дом десятой дорогой.

— Прокляну!—пригрозила она так, что я спряталась за Деда.—Прокляну, Ванька! Нашёл себе хомут на шею... Шесть детей... Если уйдёшь к ней, забудь ко мне дорогу...

— Проклинай! Уже забыл!—Дед махнул рукой, подхватил меня на руки и, пропуская ступеньки, слетел со второго этажа.

Мы завернули в тир, и он стал учить меня стрелять. Потом мы шли по аллее с недавно высаженными деревцами, ели мороженое, а из динамиков гремела музыка. Дед был весёлый, как сбежавший с уроков школьник, а я гордилась им, что этой женщины он не боится. Больше они не виделись. В августе того же лета он увёз нас из города навсегда. Впереди были Крайний Север, БАМ, КАТЭК... Дед был спецом высокого класса, с личным клеймом сварщика. Его знали в лицо не только все местные начальники, но и министры советской промышленности. В любом месте, где бы он ни появлялся, становился всегда знаменитостью. Он мог приварить и гранёный стакан к металлической ручке рабочего шкафчика, и стрелу гигантского крана. Его справками на изобретения можно было оклеить, как обоями, любую контору в три этажа. Чем он неоднократно угрожал, когда что-то требовалось добыть через профком. Договариваться он не умел. Чины игнорировал. И когда как-то на трассе заподозрили брак, Дед поспорил с министром на ящик коньяка, что брака не установят. Орал так, что трепетала грэсовская труба, чей дым долетал до Швейцарии. Министр вчистую проиграл и честно выставился. Гуляли три дня...

Всё счастливое пришло ко мне через него. Станным образом мама всегда оставалась в тени, позволяя ему меня баловать. Она знала: его никто не смог бы сдержать в любви...

Я ходила в музыкальную школу и мечтала о своём пианино. Он добыл его в единственном на нашем участке БАМа магазине, взяв кредит, и, посмеиваясь, выслушивал мамины доводы: — Она бросит свою музыкалку через полгода, а ты будешь ещё выплывать!

Я не бросила. Но каждый праздник, когда у нас собирались гости, мне приходилось откладывать книжку и идти к пианино. Нестройно, но весело народ пел песни под мой нестройный весёлый аккомпанемент. Подвыпивший Дед подначивал: — Любашка, ты на педаль жми, на педаль!..

Мама гордилась мной втайне, всегда ожидая большего. А Дед неприкрыто хвастался. Он всегда мной хвастался—моей длинной косой, моими пятёрками, и я во всём была для него лучшая. Во всех правдах-неправдах он брал мою сторону, не разбирая деталей, не вникая в подробности. Все были неправы, и только я—права. А если и неправа, то всё равно все дураки, одна я умная. Он был моя крепость, тыл и броня. И когда мне взбрело в голову бросить университет, а мама встала в пороге:

— Бери чемодан—и обратно!—он поднялся:

— Я поеду с ней! И всем им бошки поотрываю, кто её там обидел...

Угроза была нешуточной. Слетать в Подмосковье и устроить на кафедре погром—это он мог. Легко. Пара прецедентов в школе была тому подтверждением. Я перевелась в иняз поближе к дому, и головы невинных в моём сумасбродстве людей остались целы.

Мотоцикл... Это была отдельная история. Тогда я впервые увидела, как человек может на глазах поседеть. Пока я училась ездить по грубо отсыпанной дороге, Дед бежал со мной рядом. Я визжала от счастья, а Дед смеялся от радости. Дорог на великой стройке, по сути, не было. Бывало и так: сегодня они отсыпаны в одну сторону, а завтра— в другую. Так я вылетела на мотоцикле с насыпи на огромные брёвна, сваленные на берегу Лены. Вовремя отпустив руль, мы разлетелись с транспортом в разные стороны. От горла до ступней я содрала кожу. Рубашка мгновенно прилипла к телу. Я крадучись вернулась во двор, где уже собирались любители волейбола. Дед устраивался на сарае, со свистком, чтобы судить. Я юркнула в его мастерскую... Он спустился с крыши, встал против меня и обомлел. Наутро я увидела гриву седых волос в его легкомысленных кудрях.

Мама то запрещала мне водить мотоцикл, то просила сгонять в магазин, где хорошо отоваривали бамовцев. Но жажда порулить осталась во мне навсегда. Как и советы Деда:

— Обочину не хватай, осевую между колёс— и пошла...

У каждого на Земле есть своя Джомолунгма. Для Деда это были мы. Однажды взяв свою высоту, он уже никогда не стремился покорять другие вершины.

Бабушка умерла, и мама взяла опеку над двумя сёстрами. Мама, разведёнка с двумя детьми, чтобы сестёр не забрали в детдом, пошла на страшную, как я понимаю сейчас, жертву—нас с братом она сдала в интернат. Братья её к тому моменту подросли и разъехались, а сёстры остались дома. Они учились в обычной школе и приходили к обеду домой, они «дружили» и ходили на танцплощадки, они засиживались допоздна на кухне, пили чай, таскали куски рафинада и хлеб, лёжа читали, смотрели телевизор, их некому было ругать. У них было настоящее домашнее счастье. Так думалось мне. Тогда я ещё не умела ни толком завидовать, ни обижаться. Я скучала. Я тосковала, как щенок, пристроенный на время в хорошие руки, и подвывала в подушку, не наученная засыпать в одиночку и в дисциплинированной тишине. За слезами следовало стояние в туалете, с мертвецким холодом кафельной плитки, и я непременно засыпала, падала и больше ушибов боялась тычков воспитательницы: «Только попробуй, только

скажи...» В память об этом на моей голове остались два маленьких белых шрама.

Интернат был освоенной образцово-показательной системой. Для меня, свободной от детсадовского плена, он оказался тюрьмой. И уже присмотр, который так утешал маму, работавшую в разные смены, стал надсмотром, а все мы, бесплатно одетые и обутые государством, обеспеченные им по госстандарту от карандаша до заплечного ранца, до зубной щётки, до полотенца с запахом прачечной, начиная с одинаковых панталон и заканчивая зимними шапками, не имели права на своё.

Мы были маленькие монахи, вынужденные отречься от всякого личного имущества, только с нами совершалось не духовное подвижничество, а душевный разлад. Монастырским уставом служил распорядок дня, и следовали мы ему послушнически неукоснительно. Неведомые себе монашки, бывало, мы стояли положенное на коленях, бывало, оставались без ужина или без булочки, и булочка снилась потом, румяная, с корочкой и помадкой, облупившейся по краям. Каждый нёс своё внутреннее послушание, только не ведал об этом. Нам нельзя было знать что-то отдельное каждому. Мы хором возвышались борьбой за чистые руки и безвшивые головы. Мы хором болели чесоткой, страдали поносом и лечили сколиоз. В нас жило спаянное в соты коллективное сознание на базе коллективного метода воспитания. За метаморфозами сознательного в нас следили настоятели с указкой. Указка порой была похожа на хлыст.

Но всё это стало реально осознанным много позднее.

Дед вытащил меня оттуда. Он вывел меня из-за интернатского забора, и я навсегда запомнила силу его руки. Я стала ребёнком, которому отныне и навсегда было подарено настоящее детство, когда сбывались даже самые потаённые мечты. Даже когда я про мечту забывала, Дед помнил. Каждую. Любую. Все.

Он начал попивать, когда я уехала учиться—далеко от дома. Потом я выучилась, вернулась, и он воспрянул. Драл горло, выбивая талон на стиральную машинку, когда появился внук, и надувал жилы, грозя разнести профком, когда родилась внучка. Талоны, конечно, дали. Мои дети стали для Деда продолжением меня, а значит, самым главным в жизни.

И вот он лежал на балконе, заложив руки за голову, и смотрел на меня как чужой:

— Чего ты тут выясняешь? Чего ты узнать хочешь?

— Маме выписали трамадол пятого числа, сегодня двадцатое. Две недели ей никто не давал обезболивающего. Почему?

— Не знаю я ничего. Люсю вон, сестричку мамину, змею вашу, спрашивай. У неё все лекарства.

— Ты запомнил мамины стоны? Все запомнил? — сказала я. — Теперь ты будешь с этим жить! До конца своих дней, до последнего издоха, до рвоты, до смерти своей ты будешь с этим жить! Понял?..

В голове шёл снег. Один знакомый художник как-то сказал живописную фразу: «Утебя в голове снег идёт...» И вот снег шёл, шёл, засыпая дорожки в прошлое, заваливая сугробами пути назад, к тому, что было когда-то счастьем. Мама уходила, забирая счастье прошлого с собой.

На балкон вошла Саша:

— Иди за лекарствами, Дед. Там наркотики только близким родственникам по паспорту выдают. Самый близкий — ты... .

Он поднялся, обнял её. Длинные седые волосы свисали ниже плеч. Он не стриг их, потому что кто-то сказал ему, что если не стричься, то большой выздоровеет.

— Не реви, я тебя в обиду не дам, — шепнула Саша. — Ты мне рёбра сейчас сломаешь... .

— Не сломаю, Пшено... .

Детская кличка, прозвучавшая неожиданно, сняла дикое напряжение, искрившее разрядами уже целые сутки. Дед, не переобувшись, как был в тапочках, полетел с поручением Саши. Он снова готов был свернуть горы.

— Слышь, Любаш, — брат с тоской смотрел на синий водоём за городом, — а рыба-то сейчас клюёт-ё-ё-ёт... .

— Так купи удочку да иди, — предложила я.

— Да дорогие они здесь, ёпта... .

— Ну... не дороже жизни.

Славка собрался в пять минут. Саша читала в маминой комнате, сейчас было время её дежурства. Мама летала в заоблачных высях, и Саша держала карандаш под рукой. До сих пор я не готова выдать всё то, что мама рассказывала нам сразу по возвращении, — о параллельных мирах и всей запредельной метафизике. Каждый раз она огорчалась, что всё ещё тут. Шутила:

— Что у них там, в приёмной нельзя подождать?

Под занавес жизни ей дана была Божья милость не бояться смерти, а принять её «непостыдную» — в окружении близких, причастившись, в горячей готовности к пути. У мамы вышло с юмором и немножко нетерпеливо.

Я включила стиральную машину, и её тихий мерный звук в полной тишине квартиры оказался исполненным домашнего уюта. Он нравится мне до сих пор. Вещи иногда способны вносить больше покоя и разумности, чем близкие люди.

Она всё время лежала лицом к окну, за которым всегда, даже ночью, небо оставалось по-северному светлым. Ей были видны верхушки сопки и как из-за них поднималось солнце, заливало неярким оранжевым светом и превращало их вечную зелень в густую синь.

Кто-то принёс мандарины и высыпал их на подоконник.

— Голос дальних странствий, — улыбнулась мама, заметив подарок. Мы обе подумали об одном. — Но я-то своё уже откатала.

— Не факт, бабулечка, — заспорила Саша, — как минимум ещё один полёт у тебя впереди. При-снешься потом? Расскажешь?..

Романтики в нас было хоть отбавляй. Но мама была практичным романтиком. Мы всегда приезжали на готовое место. Мы не скитались по углам, никто не мучился в поисках работы.

И вот когда мы однажды летели на маленьком самолёте в глубоко крайнесеверный район на Нижней Тунгуске, мама ещё в небе сразу узнала наш дом.

— Смотрите, вот тот, с новой крышей, точно наш.

Конечно, для кого ещё, кроме нас, перекрывать крышу? Но дом с новой крышей оказался действительно наш. Он стоял во втором ряду от реки, и даже с берега было видно, какой он свеженький, как гриб с толстой шляпкой после дождя.

По реке ходили баржи. Первую весеннюю встречу как большой сельский праздник, а последнюю осеннюю провожали так, будто мы оставались здесь на зимовку без всякой связи с миром. Но связь, конечно, была. Все дружили с радистами. Все дружили с лётчиками. Все дружили с тунгусами, потому что самый надёжный зимний транспорт оставался всегда гужевой — олени. Вездеход не ценили так, как олени, потому что машина в пургу не могла сама найти дорогу. Все вообще дружили со всеми.

Наш дом стоял в центре села, непосредственно на том перекрестке дорог, с которого начинается любое обживаемое место. С главной площади: церковь, управа, рынок и постоялый двор. К нашему времени всё несколько изменилось, но здания сохранились. По углам располагались пекарня, почта, причал и наш дом. Мы первыми узнавали, когда сел почтовый самолёт, когда и с каким грузом придёт баржа и когда будет готов этот незабываемый, с одуряющим ароматом, горячий хлеб! Буханки были огромные, пышущие таким жаром, что мы не могли нести их в руках. И мама шила для хлеба специальную хлебную сумку. Она всегда пахла хлебом, сколько бы её ни стирали. И хранила этот запах долго, даже спустя годы, когда мы вернулись на Большую землю.

И вот однажды баржа привезла мандарины. Они были ссыпаны навалом в ящики и весело выглядывали в щели между деревянными плашками. Невиданный для Севера цвет. Неслыханный аромат!

С баржи всё покупали ящиками, мешками, корбками. В сенях нашего домика всю зиму мёрзли большие фанерные короба с морошкой, клюквой,

пельменями и пряниками. Составленные друг на друга мешки с мукой пугали меня в темноте. В углу стоял укутанный старой фуфайкой, но сильнее всех пахнувший большой бидон с керосином. В середине семидесятых мы жили при керосиновых лампах! Свет давали только по средам на два часа. Именно это неудобство заставило маму вернуться в цивилизацию. А я до сих пор люблю отдельной памятью и свет, и запах керосиновых ламп. Каким теплом они светились в зимних мёрзлых окнах человеческого жилья. Их свет спасал жизни. На них выходили из пурги, из тайги, по ним ориентировались дикие по смелости подвыпившие лётчики-асы.

И вот мандарины. Наше жильё мгновенно пропахло праздником. На подоконниках сушилась кожа. С ней заваривали чай, толкли в ступке для выпечки, её добавляли даже в растворимый кофе. Гурманы с материка с особым мандариновым изыском готовили оленину и медвежатину. Славка и Дед плевались. А я, воображая, что могу разгадать тайну знака, если долго и вдумчиво на него смотреть, не могла отвести взгляд от китайских рисунков. Иероглифы. Почему не буквы? Ведь это проще.

— А так короче,— смеялся брат,— это же целое слово.

Слово. Клинопись. Шумеры. Люди писали рисунками. Люди рисовали слова. Это занимательнее и любопытнее, чем составлять из букв слова. Именно мандарины в китайских ящиках запали надолго в мою душу. Я решила стать переводчиком и выучить язык иероглифов.

Я родилась в седьмой лунный день, то есть сразу и однозначно филологом. Тайна слова буквально преследовала меня, даже если я хотела от этой игры отдохнуть. Но я всегда любила слова, мне нравились языки, я обожала слушать нерусскую речь и русскую, произносимую с акцентом. В нашем классе, когда мы вернулись в цивилизацию на очередную союзную стройку, были представители всех республик и автономных областей. Разноязыким, многоакцентным и никогда враждебным было наше общение.

— А как это будет по-грузински, по-белорусски, по-молдавски, по-украински, по-казахски, по-туркменски, по-литовски?..

Неродные слова казались смешными, забавными, но иногда наоборот—восточное слово звучало так гордо, так возвышенно, что в русском переводе бледнело.

Китайский язык стал мечтой. Это не было семейной тайной, и мама мне всячески помогала. Она изучала со мной немецкий язык по учебнику дома, потому что в школе не было учителя. Я торчала в сельской библиотеке под керосиновой лампой до самого закрытия, и мама отправляла брата встречать меня.

— А знаешь,— делилась я,— «слово» по-китайски значит «сын мысли».

История с китайским закончилась ничем. Окончив иняз, я было направила свои стопы в Иркутский институт имени Хо Ши Мина, но сначала должна была отработать три года по специальности. Таким был закон. Но через три года я была уже мамой, и китайский только изредка напоминал о себе. Самым удивительным образом. Пять месяцев я прожила по соседству с настоящим китайцем. Его звали Пи Шин. Потом появилась книга «Рисованные слова». Я даже переводила её, а мой муж рисовал иероглифы. Но всё это было в каком-то странном завуалированном виде. Китаец жил в России, и все называли его Володя. А книгу написал итальянец, но читала я её на немецком. Никогда больше китайский иероглиф не появился в моей жизни в том первоизданном виде детской мечты, как на ящиках с мандаринами.

Потом мандариновые сады на Кипре. Древний, как уста планеты, язык киприотов. Разноязычность туристов, многоакцентность английского. С балкона я смотрела на утреннее море. Ночью в открытую дверь я слышала его шум в темноте. И звук больших самолётов, прилетавших с материка. Сложился наконец какой-то очередной пазл в картине моей жизни.

Я закрываю клеточки в детском лото, в которое мы играем с внучкой.

— Мандарины?

— У меня!

— Самолёты?

— У меня!

— Край земли?

— У меня!

— Иероглиф?

— У меня,— отвечает кто-то.

Скорее всего, это именно та девочка, которая сидит у фанерного ящика, а в щели выглядывают мандарины, навсегда подписанные тайным знаком так и не разгаданного рисунка.

Дом, в котором девочка смотрела на дивные китайские письма, недавно снесло большим половодьем, вместе с пекарней, почтой и причалом. Всё когда-то кончается. Исчезают дома. Исчерпываются отношения. Навсегда уходят родные и близкие...

— Может, ты чего-нибудь хочешь?— спрашиваю я.— Мандарин?

— Есть не буду, не хочу, чтобы из-под меня убирал. Какой смысл? Еда нужна, чтобы жить. А чем это пахнет?

— Кофе. Хочешь кофе?

Она неожиданно соглашается. Расстраивается, что заляпали красивую наволочку.

— Мама! Какая наволочка! О чём ты думаешь!

— О вас...

Она никогда не была практичной в том смысле, который обеспечивает надежность добра и обеспечение в будущем, но эта жилка в ней всё-таки была. Она понимала, что придут дни, когда начнут подъезжать родственники, им придётся здесь жить, толкаться в ожидании похорон, и собирала деньги заранее. Теперь все мы питались за её счёт. Может, от этого еда была такой невкусной. Дед об этом не знал. Но сейчас, когда невестка бойко и толково распоряжалась на кухне, Деда раздражала то ли её хозяйская подвижность, то ли вообще прибытие неблизкого родства. Дед не успел полюбить ни Зойку, ни её родню. Полюбить так безоглядно, как это случилось с нами. И теперь, когда навсегда ушла мама, он смотрел на них как на вовсе чужих людей. — Ешь давай, не зыркай,—прикрикнула Зойка небрежно, по-семейному.

Как здесь любили говорить — «по-простому». Но это была простота того разлива, что хуже воровства. Лучше бы она сматерилась.

— А повежливей? — грубо срезала её Саша.

Зойка не поняла, о чём речь. «Не стой давай, иди давай, бегом давай...» Погонялки раздавались беззлочно, иногда безадресно, скорее по привычке, с придуманной строгостью. Покрикивание считалось в этой среде нормой и было чем-то вроде атмосферы, вне которой люди этой семьи терялись. Вежливый разговор их настораживал, «спасибо» и «извините» напрягали: мол, мы ж не чужие, мы ж родня, чего извиняться...

Теперь, когда маму унесли санитары, моя миссия как бы кончилась, и Зойка взяла хлопоты на себя. Из морозильника доставали и сортировали на обеденном столе смёрзшиеся куски мяса...

— Слышь, Любаха,—позвал Славка,—я там это, в морге матери с шампунем заказал...

— Маме? Какой шампунь?

— Ну там, типа, с шампунем мыть дороже... Так мы это, с шампунем заплатили. Чо без шампуня-то? Чо мы, не люди, что ли?..

— Ну и правильно,—говорю,—что с шампунем.

И наконец тихо текут слёзы. Солёные, утешные, липнут к щекам. Лекарство должно быть горьким. Слёзы — солёными. Морг — морозильником. Брат — спокойным. Смерть — достойной. У мамы — даже чуточку лихой.

— Не реви,—говорит брат,—оно ж, знаешь, рано или поздно...

Дед с отвращением взглянул на продукты и скрылся на лоджии. Короткий топчанчик, пристроенный к стене, оккупировали все курильщики, но только Дед мог сидеть там на солнце. А светило уже поднялось. Дед выдувал дым, сплёвывая табак, покашливая, будто виноватый, даже самый виноватый в этом дне. Говорить было нечего. Я позвала Сашу, и мы пошли купить ритуальные шифоновые шарфы. В эту минуту мне показалось это самым важным — найти чёрные ленты на головы.

Обрядовая страсть во мне тянулась ниточкой от маминых пристрастий ко всему псевдодеревенскому, ярмарочному, рушниковому. Она могла штопать простыни из экономии, но не умела пройти мимо какого-нибудь полотенчика или разделочной доски в «народном стиле». Сколько в незамысловатой кустарщине было стилия или народности — дело второе. Оно было притягательно-радостным, расцветивая кухню, а в целом — жизнь, во все цвета радуги. Я перебирала мамини вещи и незаметно для себя отложила фартук в бачочках, полотенце в подсолнухах, салфетки в ромашках. Долго разглядывала знакомую кухню: всё прежнее, самодельная дедова мебель из останков рижского гарнитура, купленного в те дни, когда мама познакомилась с Дедом. Те же петушиные хвосты, яблочки-вишенки, кувшины в незабудках и ни одной пустой, обойдённой художником вещи. На полке таяла небесно-голубая гжель, в стакане торчала пара ложек сочной хохломы.

Я осторожно достала из шкафа старую фарфоровую тарелку. Она была немислимого солнечного цвета. По краю росли виноградники с белыми гроздьями и узорчатými листьями, а ветки, декоративно скрученные в бараньи рога, вились золотой оторочкой. Эту тарелку, вещь необычной, теперь уже старинной, не конвейерной красоты, в бедные маргариновые времена в наш дом внесла бабушка, не ведая, как навсегда приворожит меня к ней. Что-то таили её узоры и уводили меня в свои лабиринты. Я видела, как ветки образовывали сердце, вплетаясь сердечным клапаном в стволы, как выпукло лежали листья, некоторые свежо, другие — обвиснув от жары, как всё в рисунке сливалось в оранжево-золотое. Я часами разглядывала блюдо и мечтала... «Вот когда вырастешь, заберёшь тарелку себе», — сказала мне мама и запретила трогать.

— А потом она перейдёт ко мне? — уточняет моя Саша, упаковывая тарелку в свитер. — Она ведь по женской линии передаётся?

— По женской линии у нас другое передаётся, — напоминаю я, что в нашем роду шесть поколений являет на свет девочек по чёткой схеме: Скорпион — Рыбы — Скорпион...

— Попрошу без грубых намёков, — улыбается она.

Потом, как бы договорившись с собой, моя молодая «скорпиочинка» согревает меня надеждой: — Давай через годик, может, домик купим, да я рожу? Зачем нарушать традиции, если они так прекрасны?

Тарелка и сейчас оказалась довольно тяжёлой. Теперь таких не делают. Теперь всё облегчённое.

Дулёвская красота, хоть и была второго сорта, как сообщал фабричный штамп, выглядела как самая неповторимая штука, которая мне встречалась.

— Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год, — замечает Саша. — Тут номер какой-то, не то шестьдесят восемь, не то восемьдесят девять.

— А у нас всё так — смотря как повернуть.

— Зато всегда есть выбор, — смеётся Саша.

Чудесная дулёвская глазурь с позолотой не потёрлась, не смылась за полвека. Мы размышляем, почему тарелку во второсортные отправили, и решаем, что, наверное, за пару соринков, попавших под глазурь.

Да, не ведал Терентий Кузнецов, заводя тонкое дело среди болот и лесов Кудыкинской волости, сколько детских фантазий и дивных снов родит его фарфор в сибирской девочке, за тысячи вёрст и спустя больше века. Но моя тарелочка выскочила в убогое время. Когда губили драгоценные традиции пятилетками и ударным трудом. В пятидесятые люди, ещё помнившие кузнецовское дело, плача, шли на преступление перед искусством — сминая великий ход фарфорового рождения до живо-рождённого выкидыша — в угоду надуманным срокам, мученическому ударничеству и ходящим по рукам плюшевым знамёнам. Тогда вообще шли потоком только второй и третий сорт. Так что дело не в сориночках, знакомых мне с детства. А вот так вот обиняком, опосредованно, товарищ Хрущёв отметился и в моей жизни. И если смотреть тарелке в лицо, то мне светит селеновая дулёвская радость, а если повернуть задом — в цифрах «2с — 57 г» проглядывает нечто преступное, кодовое, как с крестов ээка.

— Что-то вода льётся, — ворчит Славка. — Что льётся-то, не пойму? Кто не выключил-то? Включили и не выключили. Что за фигня?

— Так выключите, ёпта...

Вот Саша и заговорила на «их» языке. Девочка светлая, лёгкая, солнечная, пишущая аннотации к книгам. «Их» язык как будто служил пробойником в соседнее сознание, в мир, где всегда советовали: «А ты не впитывай, ты обтекай!» И тем самым действительно упростили себе жизнь, не мучаясь ночами вшивыми интеллигентскими поисками правды, а насыщаясь вечерними ругательствами всего подряд: правительства, медицины, педагогики и дорожной милиции. Все эти сферы государства в той форме, в которой они вваливались в жизнь этих незорких и доверчивых людей, действительно заслуживали хулы и порицания. Но что в них было толку, кроме самих разговоров, выкриканных горлом, покрытых смачным матом и изжёванных до рвоты?

Саша перестала впитывать. Её чуткая психика, настроенная с рождения на волну улыбки, почти в первый день обрела панцирь, а купированный скорпионий хвост сделал стойку: членистоногие бдят! — Саша, — звонил её друг, — почему ты такая бесхребетная? Надо же иметь хотя бы хорду...

Сашину чуткость, не восприятие, а проникание в чужую обиду и боль, не сострадание со стороны, а сопереживание он путал с вялым непротивлением и бесхарактерностью. Как раз характер в Саше был. Он был очевидный для взрослого опытного глаза, созревшего, выношенного чувства, не пострадавшего болью, а открытого наблюдением и анализом. Но для такого опыта Сашин друг был беспомощно молод. Страсть, вскипавшая в нём и мёдом, и смолой, едва различала, что в этой юной светловолосой женщине было силой, а что оставалось слабостью стрекозино детства. И что эту слабость она сама не хотела изживать из себя, предпочитая наивное ребячество недоверчивой пронциательности. Я знала её желание радоваться всем и всему и радовать других. Иногда мы за-хлёбывались в её щедром смехе, а она искренне подозревала себя в корысти. Ведь, яростно раточая себя на радость другим, она ожидала такой же отдачи от всего остального мира. По большей части окружение отвечало ей тем же, но близкий человек, с которым она жила вместе больше года, утомлялся избыточностью её ликующего потока. — Нельзя жить всю жизнь с новогодней ёлкой, — взывал он ко мне.

В её весёлом источнике он имел невеликие потребности, и Сашин родник иногда иссыхал. Она бежала в семью.

Какое-то короткое время, в зародыше их знакомства, мы общались с ним.

— Я хочу ей только добра, — уверял он, — но надо подходить к этому избирательно...

Саша источала доброту, не задумываясь. Даже в печатках: «Я несусвет и радость людям»... Вроде бы оба хотели одного и того же, но в жизни их хотения плохо состыковывались, а стыкуясь, отталкивались. Эти оттолкновения подтачивали хрупкий солнечный мир Саши и со временем развалили его настолько, что её улыбка, не сходявшая раньше с её лица, стала такой редкостью, что хотелось плакать.

— Человек родился! Человек, обречённый на счастье! — кричала она в день совершеннолетия.

Я верила, что так есть, и так будет, и по-другому быть с Сашей просто не может.

— Мир такой огромный. А я такая глупая... — скажет она через время, прожив с другом.

Это был странный красивый мальчик, с какой-то внутренней бедой внутри. Она жила в нём, крепко осев, покрывшись коркой до невидимости снаружи, но очевидная, например, мне. Беда мучила его, но он не мог без неё обходиться. Муки и страдания вросли в его суть настолько, что он, почти не задумываясь, выбирал именно страдания и муки — и ничто другое. Саша пробовала его оставить. И тут же вся жизнь теряла для него смысл. Одна опустевшая чаша весов опрокидывала навзничь всё, что имелось у него своего, схваченного,

сцепленного и вмещённого в себя. К чёрту лето, работа, родители, друзья переставали быть ими, мир, сравнимый до этого хотя бы с простым сортирным словом, становился просто ничем.

Когда Саша сбегала домой, он приезжал ко мне. Говорил о чувствах, и чувства были болезненные, распарывающие нутро до истечения кровью, до онемения ног, до судорог в лёгких. Боль была знакомой и сладкой. Она не только мучила, она была родной. Все кинули, все оставили, а боль — нет. Своя, выношенная, не предавшая. Отодвинуть её, вытеснить могла Саша, когда возвращалась, виноватая, маленькая, глупая и родная. И рана его, живущая не в анатомической, биохимической или молекулярной плоскости, рубцевалась в три дня близким дыханием, касанием тел, любовью клеток, виноватостью и прощением и походя всасывала в свои рубцы собственно любовь.

— Хочешь всю жизнь зализывать его раны? — как-то безжалостно спросила я. — Возвращайся к нему. Есть и такие семьи. По-своему счастливы, по-своему печальны. Но запомни: он никогда не выберет победу, он всегда выберет страдание. — Ну почему ты так говоришь? — бросалась в защиту Саша.

— Его не надо защищать, — говорила я. — Он всегда будет выбирать страдание. Такой тип мальчиков. Соглашаются на то, что ближе лежит, и подниматься не надо. Лёг, умер, и ты — герой.

Наша поездка за пять тысяч вёрст оказалась для Саши в некотором смысле полезной и своевременной.

В городке было непривычно жарко для весны. С полей несло пыль, и от неё было некуда скрыться. Населённый пункт возводили на хлебных полях и бросили среди этих полей, недостроенный. Прилетевший с южных степей «хакас» задул теперь дня на три.

Мы долго выбираем напитки. Нас спасает ширинская вода. Там, откуда «хакас» несёт пыль, посреди ровной степи стоят невысокие округлые горы. А в горной впадине лежит не охватное глазом овальное зеркало. Это озеро. В нём живая вода. Как слеза — чуть подсоленная и прозрачная. Не так давно вокруг были живы сосновые боры. К озеру тянулись длинные тенистые тропы, нога утопала в мягкой пахучей хвое. Теперь сосен нет. К озеру добираются на машинах. На просторах хозяйничают жара и «хакас». Ветер несёт с собой запах жжёной резины и бензина.

Мы сидим на горячей лавочке под магазином, ждём, пока нам оверложат чёрные шифоновые платки. Я курю. Саша следит за людьми — они все без исключения останавливаются на нас взгляд, безошибочно угадывая в нас приезжих.

— Представляешь, сколько денег мог срубить рыбак, нашедший браслет Экзюпери?

— Не срубил? — Саша встряхивается. — А к чему это ты?

— Так... Немец, который его сбил, ас, сказал: «Если бы я знал, что это был Сент-Экзюпери...»

— Ну, Дантес знал, что это — Пушкин! Что изменилось?

— Ну да. И Мартынов знал, что это — Лермонтов.

— А к чему мы всё это?

— Да так. Жарко...

Глупо всё это, и мы улыбаемся. С нас понемногу, между фраз, стекает усталость бессонных ночей. Нас оставляет напряжение бычьих предутренних сумерек. Всё легче и острее подкатывает к горлу ком, но уже не давит на душу. Ангел, забравший маму, не проворонил петуха. Стояла такая сухая тишина, что было слышно, как ветер трогает его крылья. Он вырос у маминого окна, когда я вышла на лоджию. Ростом в три этажа, совсем близко, но доступный взору целиком, в непонятной проекции, во всей небесной силе и белизне.

— Идите все сюда! — крикнула я. — Идите, смотрите, чтобы потом не говорили, что я выдумщица и «писатель».

— Ёпта! — ахнул Славка и осел. — Ничо себе...

Всемером мы столпились на лоджии и смотрели на ангела. Крылатый небожитель позволил нам подивиться на себя минуты три. Мы охали, ахали, шептались, крестились и глядели, глядели, не отрываясь... Потом он не растаял, не исчез, не испарился, а как-то вобрался вовнутрь чего-то и — не стал.

Счастье, как и само диво, было таким безмерным, что за маму мне было скорее радостно, чем печально.

Все дни до отъезда на все лады мы будем рассказывать и пересказывать эту историю, не боясь, что нас примут за сумасшедших. Мы, свидетели чуда, слишком разные, близкие и неблизкие, верующие и неверы, малoverы и атеисты, крайне разные, чтобы собраться вместе и всё это вообразить. Ангел — был.

Нина приехала к вечеру. Маленькая, вся в чёрном, как отлитая эбеновая статуэтка, волосы строго убраны, глаза огромные, глубокие, как бывает после вчерашних слёз.

— Мама твоя, она же нам как мамка была, Люба. И Люсю грудью выкормила. Знаешь об этом?

— Главное, чтобы Люся об этом помнила, — говорю я.

У Нины озабоченный вид. Она напоминает встревоженного галчонка.

— Мама что-то сказала?

— Да, — говорю, — сказала.

— Что?

— «Жизнь такая быстрая, а смерть такая долгая...»

— Как Иван? — спрашивает Нина про Деда.

— Никак. Лежит сутки на маминой кровати.

— Ясно, — спокойно отвечает она. — Теперь ни пить, ни жить не хочется. И папа наш был такой же, дедушка твой, Шурик...

— Мой дед Шурик любил мою бабушку до самой смерти. Это всё, что я знаю, и мне достаточно, — обрываю я.

Нина пожимает плечами...

Бабушка была ладно скроенная, с гордо откинутой головой не только от личного достоинства, но ещё от длинной косы, уложенной узлом. Волос в нашей породе от бабушки — тяжёлый, густой. Однажды встретив бабушку на путях, дед Шурик и накрутил себе на руку её крепкую косу и бросил на рельсы: — Выйдешь за меня замуж?

— Не выйду!

— Выйдешь?

— Не выйду!..

Скатились по насыпи из-под самых колёс. Бабушка так и не сказала «да». И вышла за него замуж. Оба были совсем молодые, только-только по восемнадцать. Оба с характером, со страстями, неуступчивые, но спасала любовь. И пара оказалась счастливой...

Но потом началась война. Дед Шурик ушёл в сорок первом и вернулся в сорок шестом. Оттрубил по полной в пехоте и, молодой, горячий, удачливый, возвратился с одной царапиной, и то не от пули. Камешек, выбитый выстрелом, проскочил по переносице и оставил на его лице «боевой» след. До конца жизни дед Шурик считал, что его сберегла фотокарточка жены. Как ладанка, намоленная его любовью, она спасла его в самых страшных боях. Однажды он её потерял. Рассказывал мне, как ползал на брюхе и плакал после боя, молился, чтобы найти. Он знал, что иначе погибнет. Нашёл. Никто бы ему не поверил — отыскать фотокарточку на комсомольский билет на вспаханной взрывами поляне... Но у события были свидетели.

Моя юная бабушка, уже мама с двумя детьми, надорвалась, но выстояла в своей тыловой войне. И когда они встретились через пять лет, прожив как десять, оказались уже совсем другими людьми. Война изменила их необратимо. И каждого завязала узлом на свой манер. А сладкие и беспечные годы, юные и потому уже только счастливые, которые помнят до самой глубокой старости, посмеиваются и щурят глаза, всматриваясь в ломкие, мутные фотографии, — всё это объяснимо и естественно отнимет у них война. И этого они не простят. Ни судьбе, ни друг другу.

До войны дед Шурик окончил техникум и всю жизнь работал инженером-путейцем. Он был на серьёзных, ответственных постах, и его пролетарская смешная фамилия навсегда вписана в историю города, где после построят «Сибволоконно». Греха пьянства за дедом Шуриком не водилось.

Но после войны пила вся страна. Всегда был повод, и он был серьёзный — за победу, воядя, за выживших и погибших. Застолье в бараке было и праздником, и утешением, и просто обычным делом, то есть чем угодно, но не пороком. Часто пили за счастливое будущее. Но оно не пришло никогда. Ни в их комнату с накрахмаленными занавесками из подсинённой марли. Ни в коммуналку с большой печью, но уже с титаном и ванной. Ни в квартиру, которую они получили через двадцать лет.

— Сколько людей полегло, а ты выжил. Без одной царапины вернулся! Образованный, заслуги у тебя посмотри какие... — попрекали деда Шурика важные люди.

Приходили из комитетов, парткомов, исполкомов.

— Есть у меня царапина от войны, — отшучивался дед Шурик и почёсывал переносицу.

Выпивки переходили порой в загулы, и бабушка его прогнала. У неё тоже была своя война.

— Гордая лошадка, — посмеивался дед Шурик над бабушкой, сидя на крыльце в нашем доме на восемь квартир.

Это был дом моего детства. Выстроенный из свежих брёвен, дом в первое же лето потёк смолой и потемнел до сказочной таинственности. Потом он стоял долгие годы таким крепким, терпким от смоляного духа монолитом, с тяжёлыми деревянными лестницами и деревянными перилами, и всё в доме было живым, из живого дерева — и стены, и окна, и широкие половицы. Летом в доме было всегда прохладно, а зимой тепло, пахло печью и пирогами. Пекли во всех квартирах каждый день не для праздника, а — прокормитесь. Но этот сытный, счастливый домашний дух пирогов никогда не забыть и уже не унять. Иногда во сне он приходит ко мне по старой памяти. Я просыпаюсь, волнуясь, будто и бабушка, и мама, и дед Шурик — все живы.

За день до смерти мамы дом загорелся...

А дед Шурик, выгнанный из дома, ушёл, заблудил, загулял, жил у женщин, в путевых теплушках, терялся на месяцы. Когда возвращался, был нетрезвым, и никто не верил его словам и клятвам, все гнали, гнали, а он плакал, упав на ступеньки, и иногда оставался там ночевать. Являлись по чьему-то звонку парткомы и исполкомы, ругали и уводили его.

Однажды в такой его приход соседи сказали: — Не ходи сюда. Умерла твоя Галя. Здесь другие люди живут.

Дед Шурик сначала им не поверил.

Его искали женщины, с которыми он жил. Его разыскивала милиция, потому что он потерялся. Ему начисляли какие-то деньги по воинским заслугам, приглашали на ветеранские празднества, что-то ещё...

Несколько раз он бывал у двери нашей новой квартиры. Я подтаскивала табуретку и смотрела в глазок. Дед сидел на ступеньках и всё повторял: — Я из-под вас говно убирал, а вы...

Дед Шурик плакал. Плакала я. Взрослые, запретившие мне открывать дверь, казались жестокими. И я убежала на улицу через окно. Мы сидели с дедом в гулком подъезде, и он рассказывал мне о войне, о любви, о царاپине и фотокарточке...

В конце концов дед Шурик уехал на кладбище. Там он нашёл бабушкину могилу и остался при ней. Кладбищенский сторож поначалу его гонял, а потом бросил это бесполезное дело и перестал заявлять властям о неправильном образе жизни советского человека, героя войны и труда. Возможно, сторожу надоело, возможно, он проникся болью чужой утраты, но ночами они подолгу беседовали. Так длилось три года. Потом сторож нашёл его вдруг среди июльского лета. Стояла жара, неприличная для Сибири. Дед Шурик лежал, обняв могилу жены, крестом распластав руки и уткнув лицо в землю.

Нам пришла телеграмма, и мама мне рассказала: — Дед Шурик тебя Любой назвал.

— И что?

— Купал тебя, пяточки целовал, пелёнки стирал. А как мамка зашла, увидел её в дверях — и с ума сошёл, опять всё поехало... Бес какой-то в него вселялся: без неё работал, надеялся, что позовёт, а увидит — как с горки съехал...

— Бабушку нашу любил?

— Любил, Люба, как дурак последний. И мама страдала, и он чудил. Придёт ко мне, кается, просит, чтобы я маме его покаяния передала.

— А ты?

— Я-то передавала, — улыбается мама. — Да мамка... Мамка гордая у нас была, знаешь, голова вскинутая, норовистая, и вправду как лошадь, и слышать о нём не хотела.

Бабушка действительно родилась в год Лошадки. Но тогда гороскопов не знали. И слово такое не обитало среди людей. А дед Шурик ведал о бабушке что-то такое, чего я в детстве не поняла. Эта тихая тайна никак не давала мне покоя. По обещанию маме я раскопала начала своих кровей. Фамилия у бабушки редкая, следы в прошлое вывели чисто и не особенно трудно. Но это было самое увлекательное путешествие в моей жизни. Ничего удивительнее я не знаю, чем пройти путь к своим истокам, увидеть древо, в кроне которого сплелись ветви польских княжичей, украинских панов, шляхтичей и обрусевших псковских дворян. Меня восхищает кружево судеб, как через ссыльного прадеда наш род не прервался, а продолжился в далёкой, красивой и сильной Сибири. Он частью вернулся к своим корням и в точке отсчёта соединился с родом дерзких и непокорных украинских казаков. Красивое вышло древо.

Древо нашего рода, с первой датой — 1425. Официальная грамота, выданная нашим пращурам польским королём, — на владение захваченными ими украинскими землями. В одной части ствол разделяется — те, кто пошёл на военную службу к российским царям и вписан в Особый реестр Ивана Грозного. На макушке древа — 2014, Уля, смелая, фантастическая девочка с бездонными синими глазами и ровными, ниточками, бровями. Бабушка, заточенная на родовые метки, была бы счастлива.

Расследование привело меня к известному выводу: в судьбах вообще нет случайностей и «странных» событий, а прошлое каким-то немислимим образом, почти пророчески, уже сцеплено с будущим — заранее, за века. И никакие эпохальные вехи, правители-деспоты и цари-миротворцы не в силах нарушить этот великий космический план.

Понимаю теперь, откуда бабушкина осанка, выше меры, дозволенной окружением, и честолюбие, и непреклонность. Помню тонкую руку, красивые пальцы с синим кольцом, платье поплиновое, запах булочек, сухой окрик, негромкий, на дочек вскинутый. Меня и маму коснулась и опекала по жизни её особенная любовь.

Одна фотокарточка сохранилась из детства: бабушка в тёмном платье в горошек, смеётся. Скамейка деревянная, чёрная, как дом. Где-то там, за кадром, — я. Бабушка наблюдает за мной в песочнице. Иногда подзывает, поднимает мне подбородок, вглядывается в лицо и поправляет косы. Такие же тяжёлые, как у неё.

— Нашей породы, — довольно говорит она. — И бровки шнурочками, тоже наши.

Я обрежу тяжёлые волосы, падающие до лодыжек и закрывающие меня всю. Бабушка этого не увидит. Но её кровь, родовые отметины, которые были ей так важны при жизни, всплывут в моих детях и внучке. Иногда в их синих глазах мне остро откликается её взгляд.

Маму отпевали в праздник Вознесения. Отец Роман радостно возвестил об этом и вначале поздравил всех нас. Народу пришло много, и правый придел был переполнен. Толпа стояла тесно, от гроба до выхода, и батюшка велел раскрыть двери. В храм ворвалось летнее полуденное солнце. Причет пел вдохновенно, голоса уходили в купола, где с распростёртыми объятиями Господь встречал душу. К церкви подъехали два автобуса. Кто-то их заказал и оплатил. Кто-то неизвестный, из тех ста, что из храма шли до подъезда за гробом. Прощальный кортеж вытянулся вдоль улицы, и я услышала: — Министра хоронят, что ли? Народу-то, народу...

От этих людей, любивших и живших со страстью, без расчёта, гордившихся красотой и корнями рода, преданных и искренних, ничего не осталось значительного, воплощённого, важного для

страны и народа. Они остались только в нас—глазами, бровями, осанкой. В нас, внуках, страсть и гордыня потускнели. В правнуках почти иссякли. Они уже не хотят душевных страстей и даже избегают их. Или, может, их страсти стали другие—работа, карьера, успех.

А я чувствую, как за мной стоят мои предки, им несть числа. И они держат меня, и они—мои корни, крепкие, вплетённые кровью и жилами в тела и души наши, святых и грешных. И я понимаю, почему и зачем пеку поминальные блины во Вселенскую родительскую субботу.

Накапливаются свидетельства о смерти. И с этим надо жить. Уже без всех них, на кого эти свидетельства выписаны.

— Любаш!—зовёт Нина.—Пойдём?

На кухне она помогает готовить салаты. Режет красиво, быстро, легко. Мне нравится смотреть, как она готовит. У неё, как у бабушки, маленькие, аккуратные и быстрые руки. Они сразу везде—моют, чистят, шинкуют и убирают стол.

— Ты мечтала о чём-нибудь таком... красивом, манящем? Научиться танцевать, уплыть на теплоходе в дальние страны?

Она останавливается и с недоумением смотрит на меня.

— Какие мечты? О чём ты? Замуж хотелось поскорее, чтобы свою семью иметь. С мечтами у нас—ты да Люся. Вечно летали в облаках...

Мне кажется несправедливо безрадостной её жизнь—пахаря, тянущего свой плуг непонятно куда, просто в поле, потому что оно стелется перед ней. Единственная работа, единственный мужчина, ни шагу в сторону от морали, устоев, правил. Она чище всех нас: ни измен, ни флиртов, ни разводов, ни вторых браков, ни выплеснутой обиды, ни высказанных разочарований. Сильная? Или глухая? Взяла крест и поёрла, пока не водрузила его над могилой мужа. И попробовал бы кто-то его отнять!

— Ты лучше скажи мне, почему женщинам пьяницы достаются?—неожиданно спрашивает она.

— Карма, наверное,—отвечаю.

— Фу, ерунда,—она отмахивается от меня, как от беса.

— А я верю,—говорю я,—и в Божий промысел, и в шаманские бубны, и в силу мысли...

— И вот к чему ты сейчас это всё?

— А к тому, что все вы мечтали о чём? О любви. И вам всем её отвалили даже сверх меры. Вы хотели вырваться из трудной жизни большой семьи—и бабушка, и мама, и ты... и чтобы вас любили. Безумно любили, страстно! Так мечтали? Вам всё дали. Чем вы все недовольны, я не пойму?

— Ну а счастья-то, Люба, от этой любви, а? Куда с ней? Одни слёзы. Мама моя настрадалась, твоя мама под конец жизни тоже...

— Для меня страсти и любовь—вещи разные. Слабости человеческие и любовь как соотносятся? Любовью пытаются лечить, спасать, шантажировать... А она ничто вообще другое, кроме неё самой...

— «Любовь долготерпит, милосердствует... не мыслит зла...»—читает она наизусть.

— И зла не мыслили,—говорю я.

Все они—поколение борцов. И за счастье—особенно. Я для себя выяснила: если «за» нужно бороться, путь изначально неверен. Я встаю на тропу войны только «против».

— Счастье—не баррикада,—говорю я,—оно не требует жертв и напора. Понимаешь, его не нужно как-то особенно строить, тем более за него сражаться. Счастью нужно просто идти навстречу. Ему открывают дверь и выпускают. Всё. Для счастья совсем не нужен подвиг, этим оно и прекрасно.

— А что нужно?

— Только распахнутая душа.

— И много ты таких счастливых нашла?—смеётся Нина.

Сама она, удивительно прозорливая, что касается чужих судеб, свою испортила глупой принципиальностью. Женщины в нашем роду вообще плохо ладили с мужьями, если их интересы не совпадали. Нина искренне и глубоко, не каплей разума, но всей душой прониклась православием, родив не совсем здорового сына. С целью его оздоровления была куплена дача. Сын исцелился и окреп, пошёл телом в крупного, как медведь, отца, такой же спокойный и неразговорчивый. Нина, подвизавшись на дачный труд, продолжала копошиться все вечера в огороде, не заметив, как муж почти перебрался в гараж, а выходные проводил на рыбалке. Чтобы обратить его внимание на себя, она переехала в детскую комнату. Но муж всё понял по-своему—перестал заходить в другие комнаты, не лез с вопросами, не докучал разговорами. Семья превратилась в местожительство, и жизни пошли параллельно. Она заметила, что он умирает, за два месяца до похорон. Новый подвижнический путь расстился перед ней, и она его одолела. Простила, но любовь к ближнему духом не подняла.

Большую трёхкомнатную квартиру, в которой исчезли все параллели, она отдала сыну с его молодой семьёй, предприняв сложный тройной обмен, и въехала в «однушку» своей бывшей свекрови. Родства ни с кем, кроме мамы, не поддерживала, невестку однозначно и навсегда невзлюбила. Подробности удивили меня только тем, что я никого не помнила и, казалось, вообще никогда не знала.

— Бог всё видит, Люба,—часто повторяет она.

— Почему это так всегда утешает?—не понимаю я.—Мне бы, например, не хотелось, чтобы и вправду—всё. Я думаю, у Него есть заботы погромче моей звонкой судьбы.

— Да уж... — она снисходительна к кульбитам, которые я успела вытворить в своей жизни.

То, что я могу быть счастлива, развалив христианские догмы, любить Бога без древнего страха, доверять высшим силам, но брать ответственность на себя, кажется ей неубедительной и даже опасной платформой, на которой возможно строить жизнь. — Как Бог даст, — твердит она, большой труженик, положивший жизнь на алтарь, который мне смутно видится то в тихой церкви, то на суетной даче, то в беспечно устроенной кухне сына.

Моё незнание всего, что знали Нина и моя мама, спасает меня от того, чтобы увидеть людей другими. В моей жизни они останутся навсегда такими — только с одной стороны: они любили.

Нина красиво укладывает слоями салат и бросает вопрос, как всегда, прямо:

— Я только не пойму, тут свадьба или поминки?  
— А чо позориться-то? Люди придут, — ворчит Славка.

И Зойка смущается:  
— Чо скажут-то потом? Нельзя так. Надо, чтобы по-человечески...

И на мамин последний стол опрокидывается рог изобилия: икра, котлеты, тефтели, лапша, картошка, курица и почему-то салат «Мимоза». Праздничный. Славка вносит дорогие конфеты, печенье в обёртках, мороженое и фрукты.  
— Всё-таки свадьба, — отвечаю я Нине и плохо скрываю раздражение.

Но, видит Бог, я креплюсь и не лезу с бревном за соринкой в глаз брата.

— Сначала намечались торжества, потом — поминки, потом решили совместить, — вставляет Саша.

Скорпионье жало в подправленной цитате замечают только я.

Второй ангел явился в день маминой смерти коротко после полудня. Зойка вздрогнула:

— А это к чему?  
— Не знаю, — сказала я и соврала.

Остальные полдня уговаривала Деда уехать с нами. Дед посмеивался, курил, сплёвывая в окно. — Мне так далеко не надо. Мне без неё одна дорога — на Береш.

За Берешем — кладбище. У меня нет убедительных слов. Я только снова и снова предлагаю поехать вместе: с нами будет не так тоскливо. Дед бросает окурок с восьмого этажа и возвращается на голую мамину кровать без матраса.

— Дед! — кричит Зойка из другой комнаты. — Можно, мы вещи тут заберём?

Он, не оборачиваясь от стены, хрипит:

— Да хоть машину подгоняйте.

— Пропьёт ведь всё, — они будто оправдываются — и Зойка, и Слава, и даже соседи.

— Это его вещи. Пропьёт — значит, пропьёт. Имеет право, — говорю я.

Не важно, была ли машина.

Когда гроб с телом мамы подвезут к подъезду, Деда хватит удар. Через сорок дней его похоронят к ней.

Я так и останусь виноватой перед ним за свои жестокие слова: «Теперь ты будешь с этим жить!» Я ведь уеду, даже не извинившись перед ним. И потом, по телефону, тоже не сделаю этого. Он умрёт один, в больнице. Его похоронят без меня.

Теперь я останусь с этим жить.

Дом бабушки в день похорон Деда сгорел полностью и навсегда. Мистическая фигура дома в истории нашей семьи всплыла в памяти после. Смерть Деда меня оглушила. Я шла по улице и рыдала в голос, как это делают дети — безудержно, когда от обиды и непонимания грозят не простить...

Нина сообщила об этом сухо, со спокойствием неопита, с уверенностью, что наконец под недремлющим оком все заслужили своё.

— Ты знаешь, что Иван мальчишкой со своего крещенья сбежал? — спросила она.

— Сегодня у нас Иоанн Креститель? Вот он его и докрестит! — ответила я. — Завтра, кстати, православный День всех влюблённых.

— Надо же, как подгадал, — удивилась она.

В октябре, ко дню рождения мамы, могила Деда покрылась цветами. Странно и жутко было смотреть, как они проросли изнутри и тянулись с его пригорка на мамин холм. На выстуженной земле, на холодном ветру они выглядели нелепо. И напомнили Деда — на крепком упорном стебле, настырной породы, бесстрашные и обречённые на гибель, потому что холодно, пусто и всё бессмысленно.

Цветы никто не высаживал. Дед снова сам их принёс. В конце октября, из-под первого снега... Уже из-под земли. Уже оттуда. Натё вам напоследок, всем, кто не верил в любовь!

Так и вижу его, как несётся по полю, вскидывая ноги на кочках, высокий, сильный, с охажкой колосьев, льна, васильков, клевера и гвоздики. В сухом воздухе жарко пахнет пылью. От речки Куты влажный ветер тянет резкий запах спелой сосны и смолы. Мама молодая, мне лет десять, и в мире нет смерти.

Олег Вацаев

## Жизнь коротка, хотя и вечна



Большинству не интересен. Потому  
жизнь проходит среди песен на дому.  
Самому шепчу, под запись или так.  
А душа, она от плоти—ни на шаг.  
Разохотишься, расхочется—молчит.  
Мизантроп, правдоискатель-интуит.  
Заскучал—и зазвучала невпопад.  
Что случилось? Почему себе не рад?  
Раз—гастроли, два—гастроли. Надоел.  
Как фанера над Парижем пролетел.



*Мой друг, отчизне посвятим*

*Души прекрасные порывы...*

А. С. Пушкин

В двадцать лет? «под Бродского»? Нормально.  
В двадцать пять? Ещё куда ни шло.  
Но потом... Неправильно. Провально.  
Если по-простому—запadlo.  
Да, провально. Да, неисправимо.  
Синтаксис привился и пророс.  
Кто они, промчавшиеся мимо?  
Шебутной на «мерине» «барбос»,  
фифа-эрудиня пешкодралом  
или тот, кому по кайфу рэп,  
тихой сапой или со скандалом.  
Не оригинален, а нелеп  
колкий слоган, перевод о жизни:  
«Сразу не успеешь—никогда  
не успеешь; точно—не в отчизне.  
Бродский не сумел, а ты—куда?!»  
В чартах, чагах, плейлистах и топах—  
чепуха, пиар и плагиат.  
Ловчий слов то в «штопоре», то в стропях  
«тонет», как спортивный акробат.  
В сорок лет другим уже не станешь.  
В пятьдесят—известен результат.  
Бремя славы, конъюнктура, статус  
или резонанс и самиздат.  
Как подъём-переворот у цели—  
«соло» на повышенных тонах.  
Это жизнь: колёса и качели,  
творчество, затворничество, прах.

## ОХОТНИК

*Памяти норильского поэта Сергея Лузана*

Конец связи. Ты—«в завязке».  
Как собака породы хаски,  
наблюдаешь тепло, но пристально:  
пуст эфир, только эхо выстрела.  
Слово—пуля. Твоё—в Истории.  
Но вернётся. По траектории.  
Потому что *всё* возвращается.  
Потому что жизнь не кончается.  
После смерти поэту пишется  
пуще прежнего—легче слышится.  
В нос—ни грамма, в душу—ни сантимента.  
Работаем до последнего клиента!



Жизнь коротка, хотя и вечна.  
Беги и жди, дрожи, как свечка,—  
не о себе. Гори, как спичка.  
Всё ничего, но есть привычка.  
Жизнь хороша, а жить непросто.  
Танцуют все. И есть партнёрство.  
Рискуют все. Не будь как все.  
Не о тряпье и колбасе—  
о ком-нибудь другом подумай,  
когда располагаешь суммой.  
Себя—*по сути*—оцени.  
Угомони, остепени.  
Повремени с решением твёрдым.  
Будь стойким, но не будь упёртым.  
А беспокоиться не стоит.  
Пройдёт платёж, и он покроет  
долги бандитам и партнёрам.  
Или издохнешь под надзором.  
Что за комиссия, Создатель?  
Гражданский судит о солдате  
иначе, чем штабная свора.  
Мы все во власти у прокурора,  
на кончике его пера.  
Скажи, что нет,—и пей с утра.  
Уже не ад, ещё не рай.  
Дисбат не светит? Кочумай!

● ● ●

«Только люди плачут слезами. А вы не знали?»  
 «Бога нет, иначе дети бы не страдали»,—  
 говорят и думают те, кто Его не слышит.  
 — Возлюби ближнего твоего, и любовь всё спишет.  
 — Прямо сейчас, не завтра?  
 — Сию минуту.  
 — Кого конкретно?  
 — Кого считаешь нужным.  
 — Нужным— кому? Себе?  
 — Вообще. Всецело.  
 Сначала душа. Потом, если можешь, тело.  
 — Радует то, что редко раскаиваюсь в стихах,  
 но встречает надежда, когда провожает страх.  
 Что интуит-сочувственник, не интеллектуал-эрудит.  
 — Возлюби ближнего твоего, это не повредит.  
 Вера— горный родник, кислород без примесей.  
 Сколько жизней твоих на себе она ещё вынесет?  
 Неблагодарный затворник, восторженный индивид,  
 почему твоя жизнь, как цепь электрическая, трóит?  
 Не догадываешься? Взгляни на себя, оцени всецело,  
 как в Боге едины с Духом душа и тело.

## Над могилой Рихарда Вагнера

*Он умер в Венеции, накануне Дня всех влюблённых...*

1.

Занесло— и остался. Созерцал, рифмовал.  
 И Шопен продолжался, когда Скрябин играл.  
 Уходящие вальсы завершал Парсифаль.  
 Вагнер слышал нюансы, и менялся Грааль.  
 Всем, кому не сидится, всем, кому не впервой,—  
 белая голубица реет над головой.  
 Кто не сдулся, не сдался, к покаянью пришёл,  
 тех от фальши и фарса защищает глагол.  
 Кто легко и открыто о себе говорит,  
 где ничто не забыто и никто не забыт.

2.

Бархат, атлас, шёлковые, золотые нити.  
 Шитьё в раскол и в прикреп.  
 Измену припомнят, забудут о флирте.  
 Мыло, соль, спички, вода и хлеб.  
 Сингер-сонграйтер не пишет в стол.  
 Какой предлог, такой и глагол.  
 Подвесь слезники на ось и вкручивай глаз.  
 Бисер, стеклярус, жемчуг, сладкий газ.  
 Виртуаль, пиратствуй и не канючь.  
 Делай что должен, твори «под ключ».

3.

Фейербах, Шопенгауэр, Ницше.  
 «Вулканический» сверхчеловек.  
 Не воинственный демон, а нищий  
 духом ангел, не падший, не лишний.  
 Не «Титаник», а Ноев ковчег.  
 Он верил в Любовь, как в Бога.  
 Туда ему и дорога.



Фестивали, танцы, рауты и вояжи.  
 Экономика доморощенного философа.  
 Обыски, провокации, «наши», «не наши».  
 Пошаговая плановая катастрофа.  
 Янтарный, икорный, игорный бизнес.  
 Сетевые империи, явный стговор.  
 Прибалтийские, каспийские контрабандисты,  
 столичные воротилы—«грабли» в гору.  
 И тут—откровенность за откровенность.  
 Следи за базаром, не путай масть.  
 Собака хранит человеку верность,  
 когда хозяин теряет власть,  
 силу, влияние и здоровье.  
 Хозяин—больше, чем «свой-чужой».  
 Бери, когда отдают с любовью,  
 И не стесняйся вернуть с лихвой.  
 Смена команд и «распил» бюджета.  
 На рынке нет иной мотивации.  
 Главное—денежная «котлета»,  
 несъедобная, как булка великой нации.  
 Завидовать некому, пожалеть можно каждого.  
 Стою в притворе, не подхожу к алтарю.  
 Дюжина стукачей на одного непродажного.  
 Апостол Павел. Я о нём говорю.



Интроверту зачем по душам разговоры?  
 Интернет для него—как магнит.  
 Заходи—и откроется «ящик Пандоры».  
 Ждать не нужно—сейчас «прилетит».  
 Как на крысу реакция Гамлета, в стиле:  
 так и быть, пропадай, золотой!  
 Раньше крымскому хану «поминки» платили  
 за мирской и церковный покой.  
 Силовик оборзел, отшатнулся сановник.  
 Имиджмейкеры держат фасон.  
 Голосуют—за всех—вахтовик и надомник,  
 и грядёт сериальный сезон.  
 Карнавал-маскарад, бесшабашная лажа.  
 Нахватались чужого дерьма.  
 Бутафория крутится у Эрмитажа,  
 а вокруг—долговая тюрьма.

## Сад «Вена»

Гуляю в парке, листья ворошу.  
 Им нет числа, и новые ложатся.  
 В густой венок кленовые свяжу  
 и арендную лодку покататься.  
 С воды картина кажется иной—  
 особенно с самого начала.  
 Потом я понимаю, что со мной,  
 и скучно добираюсь до причала.  
 Багряное роняя в рыжину,  
 раскидывая руки, словно сети,  
 подхватывая новую волну,  
 восторженно переживают дети.  
 Присядь в кафе и сладко предвкушай  
 целебный чай с ватрушкой или слойкой.  
 Тепло души не льётся через край.  
 Тепло души стекает тонкой струйкой.  
 Внезапно осень станет не видна  
 из-за дождя, упавшего на город.  
 Летучая, дрожащая «стена»  
 обрушится, смешав тепло и холод—  
 в туман и мрак. Томление души—  
 привычка впечатлительной натуры.  
 В соседней с парком церкви—витражи  
 и даже лики кажутся понуры...  
 А понедельник в парке—выходной.  
 И лодки перевернуты, и стулья.  
 И мамы с малышами по одной  
 дорожке круговой часами рулят.

## Осень на море

Листья покружат, исчезнут под снегом,  
 явно не напоказ.  
 Рядом, на дне, освещаемом небом,—  
 осень волнуется «раз».  
 Серой становится и не волнует.  
 Краски ушли, как планктон.  
 Листья застынут и перезимуют,  
 лягут цвета в полутон.

## Одиссей Шаблахов

# Верхний город



Молчит душа, покорная и сонная,  
и мозг в оцепенении тупом,  
мечта чиста, как операционная,  
любимая в костюме голубом.

Я слышу, как она ломает ампулу,  
готовит инструменты для врача,  
спокойно изложившего преамбулу  
того, что намечается сейчас...

Но до конца не верится, о Господи,  
насколько всё серьёзнее с тех пор,  
как я попал в чудесный этот госпиталь,  
под взоры самой скромной из сестёр.

### Верхний город

Лупят капли по брусчатке—  
редко до поры,  
и в ужасном беспорядке  
лепятся дворы  
к старой крепости... Заблудшим  
будет ясно впредь,  
что навес кантины лучше  
жажды всё узреть.

Не до церкви с черепичной  
крышей! Отдышись,  
поглазей на непривычно  
медленную жизнь:  
как, болтая, что-то жарят  
в трепетном чаду,  
как покой преображает  
всякую черту.

Отдыхают сухогрузы  
в бухте—далеко,  
ну а мы закажем узо  
македоникó,  
ибо дождь, иным не занят,  
чувствуя момент,  
увлечённой барабанит  
в полинялый тент...

### Памяти друга

Прослезисься, смеясь,  
вспомнив разное: прелесть и грязь,  
всех знакомых своих  
по стране, где весёлая мразь,  
наяву, а не снясь,  
добавляла коленом под дых...

Всё по-старому здесь,  
так что если б в России воскрес,  
то талантам своим  
ты б нашел примененье: стойт  
твой театр, и повсюду царит  
негомеровский ритм.

Те же деньги в ходу,  
тот же вид на Охотном Ряду,  
если выйти к Кремлю:  
здесь украдкой глотали мы брют,  
ожидая, когда же начнут  
новогодний салют...

Будто в жизни иной,  
за обтёртой общажной стеной—  
гомерический смех:  
там, пока не пришёл комендант,  
поднимается тост за талант,  
за блестящий успех!

Ты любил этот мир,  
жар софитов, бряцание лир,  
хмель признания—весь  
беспощадный актёрский набор,  
что едва ли менялся с тех пор,  
как ты там, а не здесь.

Так же выступления входят в пазы,  
так же тикают наши часы,  
пока Господу не надоест,  
так же слышно далёко окрест  
то премьеру июльской грозы,  
то бухой похоронный оркестр...

## Неоакадемизм

День любит мускулатурой реки,  
ветер грудь налёг на гранит парапета...  
Здесь художнику снились его моряки,  
волевые боксёры и легкоатлеты—  
оставалось проснуться и зарисовать  
источавшие силу фигуры и лица:  
как навязчивый сон, вспоминаю опять  
поворот головы и замах олимпийца...

Измеряя в шагах петербургский проспект,  
я увлёкся натурой и сбился со счёта:  
ослабляет контрасты рассеянный свет,  
и рельеф отсыревшей лепнины нечёток,  
лик домов всею впитанной краской набряк  
и потрескался, вторя старинным полотнам...  
Разошлись по собраниям спортсмен и моряк,  
чтоб свободный художник остался свободным.

Не матрос на холсте—пешеход на мосту  
крепким ветром сейчас продуваем не хуже  
и всю оттеняет небес пустоту,  
как Гурьяновым боготворимые мўжи...  
Время пишет Неву, и роскошны мазки,  
но предел совершенства иных не тревожит—  
спит спокойно художник: его моряки  
и спортсмены становятся только дороже.



Фонарь во тьме, не здесь и не сейчас,  
зажётся, получился—и погас:  
кому там не спалось—глухою тайной  
останется в ночи документальной,  
где хмурый Муром дремлет на боку,  
одной рукою обхватив Оку,  
а та глядит с душою беспокойной  
на поезд, тараторящий над поймой...

Плывя над бывшим паводковым дном,  
немудрено забыть об остальном,  
когда на грани слепоты и зренья  
из темноты случайные деревья  
внезапно появляются в окне—  
и тут же исчезают в глубине,  
лишь изредка, к пути приблизив лица,  
пытаясь не чернеть, а серебриться...

Их мимика мгновенна и сложна:  
по ним бежит воздушная волна—  
и смешивает жёсткий ритм цуга  
с их ропотом бессилья и испуга,  
а выплеснутый в ночь машинный свет  
стекает по мятущейся листве,  
чтоб после ручейком блеснуть в кювете...  
И сон разменян на мгновенья эти.

ДиН симметрия

Вера Инбер

## Время винограда



Такой туман упал вчера,  
Так волноваться море стало,  
Как будто осени пора  
По-настоящему настала.

А нынче свет и тишина,  
Листва медлительно желтеет,  
И солнце нежно, как луна,  
Над садом светит, но не греет.

Так иногда для, бедных, нас  
В болезни, видимо опасной,  
Вдруг наступает тихий час,  
Неподражаемо прекрасный.

1920



Уже заметна воздуха прохлада,  
И убыль дня, и ночи рост.  
Уже настало время винограда  
И время падающих звёзд.

Глаза не сужены горячим светом,  
Раскрыты широко, как при луне.  
И кровь ровней, уже не так, как летом,  
Переливается во мне.

И, важные, текут неторопливо  
Слова и мысли. И душа строга,  
Пустынна и просторна, точно нива,  
Откуда вывезли стога.

1920

## Татьяна Ческидова Пройдут бураны



Звучал осенний стылый вечер  
Дождём и рокотом авто.  
Был путь домой фонарно-млечен,  
И тьма в шагреновом пальто  
Брела заулками

и мокла

В тени озябших тополей.  
Дома зажмуривали окна:  
Мол, утро ночи мудреней.  
А я вбирала жадно звуки,  
Сырые запахи листвы...  
Мне целовало небо руки  
Так,  
словно это были Вы.



Январь — серебряный мизгирь —  
Плетёт оснеженные петли.  
Сквозь разузоренные ветви  
Краснеет яблоком снегирь.  
Его нахохленный убор  
Сквозь хохлому оконной глади  
Я углядела: — Бога ради,  
Не улетай! Порадуй взор!  
Мой спящий сад тебе ль не люб?  
Его сокровища несметны:  
И звёздный час, и час рассветный  
Слетают чувственностью с губ.  
А день небесною рукой  
Сучит для зимнего пейзажа  
Лучисто-солнечную пряжу  
Сквозь ветви нитью золотой.

Но гость, лишь миг собою скрасив,  
Махнул крылом и — восвосяи...



Расписан апрель полотнами  
С домами и тротуарами.  
Распахнуты люди окнами,  
Их души летают парами  
Бульварами или скверами,  
Любуясь весны пейзажами,  
И небо смеётся серыми  
Глазами, от счастья влажными.

### Пройдут бураны

(Рондо)

Пройдут бураны — белое кино,  
Где снега, как по Броуну, чудно  
Скользят, стучат в оконные экраны,  
Где наши души — тонкие мембраны —  
С холодной интригой заодно.

И там, где мы, — пространство стеснено.  
И вновь саднят невидимые раны,  
Моим стихам пророча почерк рваный.  
Пройдут бураны.

Кто знает, сколько нам отведено?  
Возьми себе что хочешь, решено,  
Я выверну души своей карманы,  
И ты поймёшь, как глупо всё и странно.  
И если время стужи сочтено —  
Пройдут бураны.



Шаркал день в калошах старых  
По двору туда-сюда:  
Сколько дел больших и малых,  
Сколько нужного труда!  
Гнул натруженную спину.  
Эх, наука не нова —  
Накормить в хлеву скотину  
Да в сарай сносить дрова.  
Эка мелочь — недослышать  
(Уж и на руку не скор),  
Но подладить малость крышу,  
Покосившийся забор,  
Протопить в избе печурку,  
На судьбину не ропща,  
Да глядеть, как шает чурка,  
Меж поленьями треща,  
Помолиться на божничку,  
Всё вздыхая: — Э-хе-хе, —  
С поканьем, по привычке,  
В несодеянном грехе.  
Опосля перекреститься  
«От какой бяды ляхой»  
И в ночи душой светиться,  
Отправляясь на покой.



Ой ты, высь—Господня голубень.  
Загустела сырь ветров окольных.  
Под стрехой сосульчатая звень.  
А сосед гоняет «цельный день»  
Голубей: и бабочек, и бойных.

И до боли—солнечная блажь.  
И до неги—в небе пируэты.  
—Эх, сосед, почто ты баш на баш  
У барьги, под хмельной кураж,  
Голубка́ сменял на сигареты?

Ведь ему, прохвосту, всё одно—  
Что крылатый вестник, что тряпица.  
И в ночи мне грезилось окно,  
Где душа, уставшая давно,  
Всё рвалась на волю, словно птица.

## Предзимье

Ещё снега неполновесны.  
Ещё желтеть меж пашен тесно  
Плакун-траве. И холода—  
Что неокрепшая орда—  
Непостоянны повсеместно.  
Ветра—студёны, но не колки—  
Ныряют в голые околки.  
Им вторят, будто бы сродни:  
«А ну, попробуй догони!»—  
В поля бегущие просёлки.

В седую даль за перелески  
Уходит день в закатном блеске,  
Немой улыбкой на просвет.  
И красит вечер в фиолет  
Предзимья матовые фрески.

ДиН СИММЕТРИЯ

Иван Бунин

## Роза Иерихона

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мёртвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой, да ещё Розой Иерихона, этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекасти-полю, эту пустынную жёсткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мёртвого моря, в безлюдных синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал её так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мёртвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчек, воистину чудесен. Сорванный и унесённый странником за тысячи вёрст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мёртвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я своё первое дальнейшее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во Святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами её палестины—долы Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели всё те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого—и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный знак. Отдалились, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце—и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

1920-е годы

## Александра Климова Скосить рудбекию

Я смотрела на него сквозь сетку просевшего проволочного забора. На поросшем бурьяном дачном участке жался в угол низины домик, обшитый блёклыми от времени, грубо отёсанными досками. Они напоминали старую шкуру, покрытую лишаём облупившейся желтоватой краски. Да и сам летний домик, накренившийся в попытке увернуться от удара ветки старой яблони, выглядел зверьком, даже не пытающимся бежать из прохудившейся клетки. Он недоверчиво, исподлобья, лупил на меня стеклянные глазёнки с желтоватыми от старых занавесок радужками.

Моросило. Тонкий шёлк полоски тумана протыкали высокие иглы цветущего сорняка, бесцеремонно занявшего все шесть соток участка. Справившись со сломанным ржавым замком, я толкнула тугую деревянную калитку и ступила в сорняковый лес, вмиг промочив ноги до колен. Стоя на пригорке и держась за влажные стебли рудбекии, разросшейся у калитки, я шарила ногой в поисках опоры—где-то в траве были ступеньки. Нащупав первую, я перенесла вес, но сразу же поскользнулась и плюхнулась в мокрую траву.

К мокрой ладони прилип жёлтый мятый цветок—жухлое солнце с чёрной дырой семян. Из-под ломаных лепестков вдруг вынырнула и засемила по пальцам многоножка. Дёрнувшись от испуга, я вскочила и отбросила цветок. Из вдавленной в землю трухи в панике выползали насекомые, обустроившие в ней своё непритязательное коммунальное жилище. На всякий случай отряхнувшись, я обогнула оставшиеся ступеньки и неуклюже сбежала с пригорка.

Почарапав руки в зарослях чёрной малины, миновав перебитые временем хребты парников, я продралась к старым, корёженным старухам-яблоням, немо и бездельно доживающим свой век. На отвёрнутой от меня стороне ствола самой высокой из яблонь некогда была прибита реечка—упор для моей детской ноги. Ты подсаживал меня, я забиралась как можно выше на ствол, снимала красные-красные, будто налитые густой кровью, яблоки и бросала их точно в твои крепкие руки. А потом обязательно сползала с дерева на острые углы твоих ключиц. Ты держал меня за лодыжки и, чуть подбрасывая, доносил до крыльца, а я

вжимала голову в плечи, потому что боялась стукнуться темечком о синее-синее небо.

Обломив ногтем ржавую шляпку гвоздя, торчащего из поросшего мхом ствола, я пошла к крыльцу. Опасаясь, что и эти ступени могли прохудиться, аккуратно встала на несущие доски. Достав связку ключей, сразу нашла нужный—в ряду похожих он неизменно угадывался по царапине. Сняла тяжёлый, амбарного типа, замок. Помедлив, вошла в дом, с едва уловимым треском оборвав линовку паучьих сетей в проёме. Меня обдало затхлым, сырым дыханием. Сквозняк вздыбил парусом пыльный рыжий тюль—перегородку между коридорчиком и кухней. Я подхватила его и нырнула в кухню.

Обшита обожжённой вагонкой, продрогшая кухня всё же выглядела уютной. Окинув взглядом жёлто-чёрные стены, я вспомнила, как ты огненными мазками проявлял рисунок дерева, а я заморожено наблюдаю за этим чудом. Мне тогда представлялось, что так красят тигров. Взгляд остановился на участке, обожжённом темнее всего—это я передержала горелку, когда ты предложил порисовать огнём. Мне всё казалось недостаточно чётким проявляющийся рисунок... Кровь вдруг прилила к щекам, словно стены отдавали поглощённое когда-то тепло.

На столе стояла массивная советская пепельница из толстого жёлтого стекла. Из неё до сих пор торчало несколько мятых оранжевых фильтров. Рядом лежал старый чёрный «Крикет». Я чиркнула кремнём, и, на удивление, искра дала слабый огонь. Через пару секунд пламя задрожало и потухло. Захотелось курить.

Домик был разделён на кухоньку, совмещённую с коридором, и комнату. Пространство делила толстая деревянная дверь с похожей на медузу полупрозрачной голубоватой ручкой. Я неуверенно повернула её. Ручка издала родной уху щелчок, будто включивший тумблер учащения биения сердца. Не решившись открыть дверь, я отпустила ручку и вышла из домика.

На заднем дворе, в окаймлённом кирпичами островке, теснился ржавый мангал. Даже прихваченный по периметру крепкой проволокой, он едва держался на разъехавшихся в стороны ножках, чем был похож на не научившегося ходить

рыжего телёнка. Мангал прикрывал лист ржавого железа—на этой «плитке» мы разогревали еду и кипятили чайник.

То было жаркое, приятно душное и оттого приятное лето. Новость о твоём приезде взволновала меня. Я не представляла, как вести себя с человеком, связь с которым ограничивалась фотографией из роддома. Однако мы быстро сладились и обосновались здесь, за несколько километров от деревенской цивилизации. Участок этот, так же как и сейчас, простаивал: у мамы и её родителей не было ни времени, ни сил им заниматься. Лишь пару раз в год мы набегами запасались беспризорно растущими здесь фруктами и ягодами.

Я с трудом выклянчила у мамы разрешение на то, чтобы к тебе приезжать,—жить с тобой она не разрешила категорически. Каждое утро той необыкновенной недели я спозаранку собирала завтрак, хватала велосипед и мчалась к тебе. Как бы рано я ни приезжала, ты уже трудился: то стучал молотком, то пилил что-то... Едва соскочив с велосипеда, ещё из-за калитки я махала тебе, а ты в ответ неровно вскидывал широкую ладонь и смешино кротно кланялся. Небрежно притулвив велосипед к сетке забора, почти на кусты рудбекии, я оголтело неслась к тебе. А после крепких объятий летела в домик накрывать на стол, пока ты споласкивал руки в бочке с дождевой водой.

Завтракали мы всегда вместе. Всё в тебе было удивительно. То, как ты подсаливаешь еду, зачерпывая крупными пальцами щепотку соли из миниатюрной солонки. То, как ровно разламываешь кусочек хлеба и отдаёшь половинку мне. Как, проследив за моим пытливым взглядом, подмигиваешь, а я, жутко смутившись, беру протянутый хлеб, украдкой рассматривая сине-зелёную букву «С» на тыльной стороне твоей ладони. Однажды я нарисовала перманентным маркером на руке такую же букву. Мать, как увидела, заставила немедленно смыть. Я обиделась, а после случайно подслушала, что ты уедешь, как только докосишь участок—за этим, как оказалось, бабушка тебя и позвала. Обычно покладистая и робкая, я демонстративно схватила собранный завтрак и помчалась к тебе.

И вот, худой, но крепко сложенный, ты мерно размахиваешь косой, и под ноги твои ровными зелёными волнами покорно ложится трава. Насаживая на вилы небольшие кусочки волн, я бережно отношу их на самый дальний стог—зелёный духмяный водопад. И постоянно отслеживаю, сколько некошеного моря осталось до жёлтой точки кустов рудбекии.

Тихим вечером, управившись с косой, мы греемся у мангалчика, сидя на неказистых, но прочно сколоченных табуретках, ножки которых всё время проваливаются в мягкую землю. Обжигая пальцы о печёную картошку, мы ждём, пока вскипит

чёрный от копоти чайник. Рассматривая блики огоньков на твоём лице, я вслушиваюсь в тихий голос, ведающий редкие истории о жизни в большом Петербурге. Ты задираешь голову и говоришь, что таких ярких звёзд там никогда не увидишь.

Сумрак начинает перетекать в ночь. Я нелепо, по-детски, вру, что в этот раз мама разрешила остаться с тобой. Ты, конечно же, знаешь, что такого она никогда бы не позволила, но не говоришь ни слова против.

Дом стоит на теневой стороне, оттого комната никогда не прогревается. Ты наливаешь оставшуюся в чайнике воду в стеклянную бутылку и кладёшь её под одеяло, мне в ноги. Ложишься рядом, необыкновенно обыденно обняв меня—так, будто бы обнимал уже много раз. Я лежу в неудобной позе, но боюсь шевельнуться, чтобы не нарушить объятий. Утыкаюсь в полосатое от тельняшки плечо и вдыхаю твой запах. Перед глазами рябит зелёный водопад стога. Я напряжённо держу маленькую ладошку на вздымающихся волнах твоих рёбер и засыпаю самым крепким сном...

К моей неожиданности, мать поутру несколько не злится. Я не помню, ни как мы с тобой прощались, ни как ты уезжал. Запомнилось лишь обещание приехать следующим летом. Больше я тебя не видела.

Затянувшись почти фильтром, я бросила сигарету в щель между листом железа и стенкой мангала. Бычок зашипел, упав на мокрую землю. Я аккуратно приподняла ржавый лист, обнажив испещрённое дырами дно мангала, в котором некогда трещали наколотые тобой полешки. Стрекот сороки выстрелил в спину, я обернулась и задела ногой мангал. Рыжий телёнок подкосил хилые лапы и повалился набок. Серая птица туго замахала крыльями и взлетела, оттолкнувшись от крыши деревянного сарайчика.

Я подобралась к дверям накренившегося назад строеньца. Не успела вытащить крючок из проушины, как дверь по инерции открылась и, ритмично ударяясь о стеллаж, стихла. Раньше тут постоянно гнездились бумажные осы, и я по привычке посмотрела наверх. Над дверным проёмом виднелись две шапки серых ульев. Не отрывая от них взгляд, я сняла с гвоздя ржавый серп и резко, неуклюже срезала обе. Пригнувшись, быстро отступила за порог и прислушалась. Половинка не до конца срезанного улья покачалась и глухо упала на пыльный занозистый пол. В разрезе бумажного сердца зияли пустые соты.

В дальний угол упиралась острым носом коса, будто обиженно отвернувшись от дружно сложенных дачных инструментов. Из долговязого, но крепкого косовища торчала перемотанная чёрной изолентой ручка. Я аккуратно вытащила косу из угла, прихватила лязгнувшее железное ведро и вышла из сарайчика.

Замочив косу в баке с дождевой водой, чтобы дерево разбухло и косовище крепко сидело в кольце, я зашла в дом и принялась за уборку. Вымела грязь из углов кухоньки, вытащила из шкафчика пластиковую посуду и огарки свечей. На глаза попала солонка с окаменевшими в ней остатками соли. Её и жёлтую пепельницу я плотнее примяла парой дачных штанов в уже наполнившееся вещами ведро. Снимая с гвоздиков пыльную рыжую шторку, я услышала за спиной скрип. Тяжёлая дверь в комнату открылась, будто приглашая войти. Я испугалась, прислушалась. Аккуратно поставила ведро, взяла молоток и зашла в комнату.

Напротив окна стояла двуспальная кровать. По углам, друг к другу лицом, — трельяж и шкаф. На заправленной зелёным покрывалом кровати лежал мой детский комбинезон, замещавший обычно вторую подушку. Я робко прошла в мертвенно, неуютно тихую комнату. Увидев себя в створке трельяжа — взрослую, испуганную, зажавшую в руке тощую ручку молотка, — я ослабила хватку. Положив молоток на кровать, подошла к желтоватым занавесочкам, изъеденным молью. Потянув за конец резинки, натянутаю между двух гвоздиков, я развязала её и сняла пыльные занавески. В старом шкафу лежала лишь пара рабочей обуви — я вытащила её и вдруг увидела в углу скомканную полосатую тельняшку. Нежно взяв её в руки, аккуратно положила на кровать, сгребла остальные вещи и вместе с кухонной мелочью скинула в кучу около мангала на заднем дворе. Найдя в сарайчике растворитель, вылила его в ведро и подожгла.

Вечерело. Рыжие искорки взмывали в чернеющую синь. Я вернулась в дом и села на кровать. Облокотившись на стену, долго держала тельняшку в руках, а затем нерешительно, мельком глянув в окна, поднесла к лицу и вдохнула твой запах. Сердце лихорадочно забилося. Я растянула тельняшку рядом с собой и уткнулась носом в холодное бесформенное плечо. В стёклах окон играли блики догорающих вещей.

Сон был странный: я рассматривала в зеркале своё лицо и читала в нём твои черты. Вдруг почувствовала прикосновение руки к плечу, но не испугалась. Опустила взгляд и увидела знакомую татуировку — букву «С» меж сухожилий большого и указательного пальцев. Я провела щекой по грубоватой коже руки, подняла глаза к зеркалу и не увидела в отражении никого, кроме себя. Но рука лежала. Я резко обернулась и пробудилась.

В глаза светил игривый солнечный заяц, отражённый от зеркала. Я протёрла глаза и спустила ноги с кровати. Посмотрела на небрежно растянутую на кровати тельняшку, скомкала её в руке и вышла на свежий воздух. Рассветное солнце

закатилось за серые тучи, не успев погладить меня по холодным щекам. Накрапывал дождь. Я подошла к горке сожжённых вчера вещей. Из неё глядел на меня жёлтый глаз треснувшей пепельницы. Кинув тельняшку в чёрный прах, вытряхнутый из урны воспоминаний, я вытащила из бака замоченную на ночь косу — косовище за ночь размокло и крепко сидело в кольце. Ухватившись за ручку, обмотанную вспузырившейся, потрескавшейся чёрной изолентой, я начала косить тропу от домика к калитке.

Косьба не давалась: лезвие затупилось, неудобная ручка была прикручена под твой рост. Со всем скоро разнылась поясница, загудели мышцы. Влажное дерево и растрескавшаяся изолента тёрли мозоли на ладонях. Коса то и дело находила на коряги, старые бруски, кирпичи; жухлая трава косилась плохо, косовище застревало — это было уже не то зелёное море, которое красиво ложилось под ноги. Трава срезалась грубо, клочьями. Зло, раздражённо и неграмотно, со всех сил размахивая косой, я хотела как можно быстрее добраться до калитки. Дойдя до изнеможения в зарослях чёрной малины, я остановилась, чтобы не упустить замертво. Страшно болели руки. Посмотрев на пузыри мозолей, я стёрла рукавом пот и морось с лица. В кустах малины висела налитая, не опавшая ещё ягода. Я потянулась к ней, но вдруг одёрнула руку — шип обломился, оставив занозу в пальце. Чёрная ягода упала в заросли. Я подцепила занозу зубами, сплюнула и, схватив косу, в отместку резанула по кустам малины.

Из последних сил выкашивая траву около трухлявых ступенек, я, наконец, дошла до калитки. Пожухлые рудбекии жались друг к другу, опустив плоские головы. Чёрные язвы на солнцах воспоминаний, они злили меня одним своим видом. Я замахнулась косой и срезала несколько стеблей, засадив остриё в землю. Ручка косы обломилась. Взбесившись, я вырвала косу из земли и, обломив пятку, оставила лезвие в земле. Опустившись на колени, я вытащила его, схватила обеими руками за обух и, как серпом, срезала все стебли. Мозоли на ладонях кровили, я вцепилась в пеньки стеблей и надсадно, с треском вырвала их корни. Кровь на ладонях смешалась с землёй и зелёным мясом рудбекии.

Сполоснув руки в баке с дождевой водой, я ещё раз взглянула на выскобленную утробу дома. Закрыла двери, повесила замок, положила ключи на наличник над дверью. Проходя мимо останков скошенных рудбекии, я обернулась и посмотрела в глаза дому. Зияющие пустотой стеклянные окна-глазницы не выражали больше ничего. Вчера он был продан.

Кира Османова

## Переплетенье длинных коридоров

### Переплетенье длинных коридоров

И как бы ни искал разгадку тайны—  
У настоящей тайны нет разгадки,  
Как нет от лабиринта избавленья.  
А сколько лет ты в нём—не считаешь.  
Уж сам себе и чуден был, и гадок,  
А всё течёт безжалостное время.

С утра—печёт, а ночь настанет—зябко.  
Так устаёшь от явственных повторов,  
Такая неизбывная оскома!  
Как лабиринт опишешь неподвзято?  
Переплетенье длинных коридоров.  
Огромная, как море, безысходность.

Всесильное, как ураган, смятенье.  
Не встретится тебе ни зверь, ни путник—  
И ходишь бесконечными кругами.  
Шершавые, всё видевшие стены—  
С внушительными вмятинами, будто  
Сердитый бык царапал их рогами.

Здесь всё вокруг—обманчиво, неточно.  
Здесь ты как будто испытуеть всеми,  
Кто знает толк в тяжёлых испытаньях.  
Но остановишься в какой-то точке:  
Ведь сколько можно в поисках спасенья  
Туда-сюда бродить—безрезультатно?

Стоишь наипечальнейшим из пугал,  
Сам для себя—безмерная утрата...  
Как вдруг осознаёшь: отсюда видно  
Два поворота. И знакомый угол.  
Два поворота. Неужели правда?  
Два поворота. А за ними—выход.

Просвет, который жизнь иную прочит.  
Возможность распрощаться с этим местом—  
Закономерность или просто случай?  
Вопрос, большее и важнее прочих:  
Как из себя, дурного, наконец-то  
Извлечь искомый лабиринт, что мучит,

А не себя из лабиринта вынуть?  
И горло тотчас делается уже,  
Пересыхает, ноги—словно вата.  
И страшно: если я отсюда выйду,  
То... кем тогда я стану—там, снаружи,  
В безлабиринтье незамысловатом?

Там шаг любой несносно предсказуем;  
Там всякую фигуру, птицу, ветку,  
До горизонта—каждую подробность  
Спокойно разглядишь. Ты не безумен,  
Не заперт—и свободным человеком  
Способен взять такой простор на пробу.

Не будет больше изощрённых пыток  
Причудливо расколотым пространством,  
Блужданий, наваждений и просчётов.  
Ты станешь весел, оборотист, прыток.  
Ты не захочешь показаться странным.  
О чём ты будешь жить тогда? О чём ты

В неотвратимую минуту вспомнишь?  
Чем будешь полон, чем потом—оправдан?  
Чем сам себе окажешься ты дорог?  
Сейчас не время. Может статься—позже.  
И, повернувшись, ты спешешь обратно—  
В переплетенье длинных коридоров.

Придумать бы решающую фразу—  
О том, что каждый делает свой выбор,—  
Но так внутри беззвучно всё и гладко.  
И если больше я за жизнь ни разу  
Не отыщу из лабиринта выход,  
То так тому и быть. Пусть—без разгадки.



В голове стрекочет вновь  
камера,  
Выбирает общий план  
медленно:  
Я на сером берегу  
каменном  
Строю башню для моих  
демонов.

Было время и без них,  
было же.  
Надо как-то одолеть  
прочее.  
Строю башню из камней  
вымокших,  
Неприступная она,  
прочная.

Я уже на землю шарф  
сдёрнула.  
Я молчу, но говорю  
будто бы:  
«Выходите из меня,  
тёмные.  
Вы теперь снаружи жить  
будете.

Я вам больше не приют,  
чур меня;  
Я утратила вконец  
мужество.  
Я устала вас в себе—  
чувствовать...»  
Снято. Можно наложить  
музыку.

И меня лишили здесь  
выбора.  
Ты прости береговой  
наигрыш.  
Это только говорят:  
«Выболит!»—  
А на самом деле—нет,  
знаешь ли.



Я прислоняюсь ухом к тебе, туда, где сердце, конечно, справа,  
В месторасположении сердца я уверена абсолютно,  
Словно ложусь на берег и слышу: раз—земные толчки исправно  
Жизнь продлевают; два—в этом гуле без следа пропадают люди.

И, наконец, ты дышишь, как море,—утешающе, безмятежно,  
Так, что нельзя представить момент, когда дыханья уже не будет,  
Так, что нельзя представить, когда исчезнет этот пейзаж нездешний  
И совершенно новый ландшафт осветит жёлтый холодный спутник.

### Посвящение фотографии

Смотреть и смотреть бы: женщина—мачта, и платье—парус;  
Счастливое плавание, редкий кадр с отголоском старины.  
Каким был фотограф—так объясняющий эту пару,  
Что вышла история, верной частью которой стали мы?

Меня вдохновляет ретро: до боли живые вещи;  
Они—говорят, расстояние между веками сократив.  
Эмилия в лодке с Густавом: он созерцает вечность,  
Она, в невозможно широком платье, смеётся в объектив.



Время концертов уличных: Правды, Садовая,  
Особенно шумно на пяточке перед Думою.  
Кто мне внушит, что долго молчать—это здóрово?  
Кому мне соврать, что я о тебе и не думаю?

Плохо играют: громко, базарно, неслаженно.  
Однако в чехле монеты—а больше им нужно ли?  
Запахи неба в городе—синие, влажные,  
А в небе горячим городом пахнет удушливо.

Я—где-то между. Лимб с вероятностью выхода.  
Ответить на два вопроса осталось ли мужество:  
Как мне попасть туда, где легко можно выдохнуть,  
И как без тебя найти настоящую музыку?

Эльза Хусаинова

## Нехорошая почта

*Начальнику ММП  
от оператора ОПС  
имярек*

### *Объяснительная*

Сегодня один из клиентов попросил меня оформить внутреннее отправление. При запросе «срочно» я, следуя установленной методике обслуживания клиентов, предложила ускоренную отправку. В ответ же раздражительным тоном и в крайне непочтительных выражениях поступили оскорбления в адрес высшего почтового руководства, которое якобы, навязывая в принудительном и монопольном порядке «обдиральные» цены, ведёт против населения необъявленную войну, направленную на ещё большее обнищание, а следовательно, истребление народа. А цены себя не оправдывают, потому что почта не выполняет заявленные сроки ускоренной доставки, клиент уже сталкивался (не в нашем районе). Внутренне не соглашаясь с мнением клиента, но не вступая в полемику, я вынуждена была оформить отправление обычной посылкой.

В случае, если мои объяснения покажутся недостаточными, привожу контакты клиента (предупреждён о возможном обратном звонке или ответном письме). В свою очередь, обязуюсь и впредь в приоритетном порядке предлагать ускоренную отправку, несмотря на возможные нарекания со стороны клиентов. А также обязуюсь после каждого отказа безотлагательно, незамедлительно, оставляя все обязанности (но так, чтобы это не сказалось на своевременном оказании услуг), писать объяснительные.

Хайль Гитлер!

*Число, подпись.*

Но больше двух раз писать такую объяснительную не придётся. После третьей — принудительное заявление об уходе. Вот и все мучения. Почта — это школа жизни, и на все случаи этой жизни нужно уметь предвидеть задницу и своевременно прикрыть её такими вот писульками. Гаже себя ощущала, когда впервые голосовала. Когда сочиняю такие вещи — будто доносы на себя строчу. Конечно, такая объяснительная никуда не годится.

Писать нужно что-то незатейливое, однозначное. Хотя те, кому полагается читать наши бумагульки, всё равно к подоплёке невосприимчивы. Им за каждое ускоренное отправление двадцать рублей наверх идёт. Вот и стараются. Читать между строк не умеют. Только по губам. Вероятно, и книжек не читают. Лишь приказы да инструкции.

С такой объяснительной сразу пожалуйста к расстрельной стеночке! Или добровольно петлю на шею. Или уксус в рот. Но хоть душу отвела! А зачем, спрашивается, петля и уксус? Проще облизать собственные руки после обработки почты. И всё. И нет тебя. Ты в домике. На облачках.

Хотя после почты всё кажется раем. Хотя после почты место в аду заказано. За какие прошлые грехи уготована мне моя почта? Вздыхаю и рву лист на кусочки.

—... Женщины не могут хранить тайны, но ни одна из них не разболтает то, что у неё на сердце, — отвлекает меня задумчивой сентенцией командированный сотрудник собственной безопасности, равнодушно перелистывая Кинга, который у нас в зонице.

— Желаете приобрести? — рефлексивно предлагаю, не обращая на него внимания.

Во-первых, пока нет клиентов, пора «добить» эту объяснительную, но в голову ничего вразумительного не идёт. Тем более скоро закрываться, кассу сдавать, на машину собирать, а потом ещё для завтрашней проверки все отправления в кладовой пересчитать.

Во-вторых, сотрудник этот уже порядком поднадоел. Притулился заправским гусаром возле меня, сняв обручальное кольцо с ухоженного пальца и подперев выставленный подбородок, томным взглядом гипнотизирует, извилистыми бровками ведёт... Думает, что я, затрапезнённая, как наше отделение, поведусь на столичный лоск и всемерную оболъстительность. Думает, замлею и подноготную о Юре выложу (тот давно у них во всех чёрных списках), с потрохами его сдам и сама себе срок подпишу. То есть накинута всё же на себя ту самую верёвочку, которая все дни, недели и месяцы висит над операторским местом, и потому она уже не намыленная верёвочка, а дамочков меч.

Но я не поведусь, Юра наш побойчее всех будет.

В-третьих, если подниму на безопасника свои бесстыжие глаза, то своим немигающим пытливым взором он сразу обо мне всё поймёт. Этих неофициальных бесед боюсь больше, чем официальных допросов под протокол. Нас уже возили на почтавт. И у следователя мариновали. Ничего не добились. Мы своё сказали. И Юру не заложили. — Где деньги, Зин? — переминаясь с ноги на ногу, цитирует безопасник уже другого классика.

И у меня ещё больше сосёт под ложечкой, но не от пустого желудка, а от сильнейшего беспокойства. Почта — это антибренд, но с юридическим отделом и службой безопасности у них всё в порядке!

По местному радио, как нарочно, передают «политинформацию»:

«...Руководство филиала сообщает, что происшествие не повлияло на сроки и качество обслуживания клиентов, все обязанности перед населением и организациями исполняются в срок и в полном объёме. В настоящее время по данному факту в филиале проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. „Как это стало возможно, мы до конца ещё не разобрались, — комментирует руководство филиала, — но общая картина сейчас сводится к тому, что грешим на техническую неисправность дверей, которая была своевременно не выявлена соответствующими службами. В целях исключения повторения подобных случаев со всеми водителями филиала проведён дополнительный инструктаж“».

## Открытие дня

А так месяц хорошо начинался! Ну как хорошо... Нормально. Ничего особенного. Утро первого понедельника, как обычно, проспала. Но в моём случае не страшно. Живу в том же дворе, где и работаю. Жильцы двора молятся на меня, почитают сомнительное знакомство со мной за блат — какой-никакой, но всё же (в век дефицита времени). Соседка снизу подсовывает квиточки, сосед сверху без очереди получает мелкие пакеты... И мне очень удобно. Спуститься — девять этажей. Пройти к старому зданию почты, вдолблённому в землю временем, — ещё несколько шагов. Это едва ли не единственный плюс. Можно ночью, вернувшись откуда-нибудь с дискотеки или просто «с гостей», надеть форму — и тут же в кровать. Главное, собственным галстуком во сне себя не придушить. А поутру проснуться, ополоснуться, пригладить пальцами волосы и — вперёд с песней! Если лифт работает, что случается нечасто, то вообще можно не завтракать и не краситься, ещё несколько минут для сна выгадать. С другой стороны, как же не краситься, когда сегодня Юрина смена?

По пути вниз улетаю вместо нормального завтрака вчерашний пирожок и запиваю остывшей

с вечера крепкой заваркой. Главное, спросонья не сверзиться со ступенек, иначе костей не соберёшь. Внизу, правда, на мою мятую юбку косятся подозрительно. А может, у меня бурная личная жизнь, некогда на хозяйственные пустяки отвлекаться?

Уже на крыльце слышу, как горланит за кассой Гуля. Забегаю — и точно: перед единственно работающим окном несанкционированный митинг! Сегодня ж последний день пенсии, но денег нема. Начальство с вечера не заказало — инкассация не приехала, а крайние — операторы, старичкам на съеденье:

— Вечный бардак!

— Сколько можно издеваться над людьми?

— Сталина на них нет!

В такие сатанинские дни у нас коллективный вызов великого вождя. Даже молодёжь присоединяется: the comrade Stalin forever!

Ну, бегите в пенсионный или куда там, пусть вас, неблагодарных, переоформляют. А нам, почтовикам, дайте своей непосредственной работой заниматься. Превратили почту в филиалы госучреждений... Потому хочешь не хочешь, а красивая современная девочка Гуля превращается в злобную совковую тётку. В этом навязанном образе она кипит г\*\*\*\*, заводит глаза и цедит сквозь зубы: — Не зна-аю-ю, ждит-те...

Пока начальства нет, отрываемся. Потом придёт Юра, и так уже не наорёшься. Пока пенсионеры плюются ядовитой слюной, рискуя потушить костёр, на котором сами же собрались нас, ведьмаков, сжигать, другие постоянные клиенты на рожон не лезут, бунтовщиков не поддерживают. Чего с почтой зазря ругаться? Что с ней, болезной, поделаешь? Ну что она, лучше от этого станет?

Давно обывкшие мученики, в основном «юрики» (курьеры и секретари), привалившись затылками, смиренно подпирают неудобные, заскорузлые, плесневелые стены и тупо смотрят перед собой. Или в телефон. Или в потолок. Или в окно.

Я люблю наших страдальцев. И жалею. Правда, в телефонах, потолках и за окном мало интересного. В стекло, например, бьётся несчастная муха. Своим заунывным жужжанием подчёркивает и вытягивает постную суть застиранного пейзажа наших веками не распаханых полей. Природа эта — как растворение в небытие, вечное приготовление к смерти, выход в никуда, полное провисание, чёрная дыра. Здесь индекс — сплошные нули. Выхухоль или утконос не знают своих названий, и на бескрайние степи и скалистые горы также не может быть наложен почтовый индекс. Но вдруг на самых неподходящих участках планеты в силу разных причин расселились люди, связанные родственными и торгово-денежными отношениями, потому им понадобилась дружеская и деловая переписка.

У наших клиентов рождаются неправильные ассоциации, они переносят грустное впечатление о пейзаже из окна на само отделение. Так сказать, равняют равнину на почву. Хорошо, что окна моей квартиры на девятом выходят на другую сторону: во двор, где летом шелестит зелёное море. Там гладкие машины, как скользкие рыбы, и детская площадка, свежеевыкрашенная, заполненная, как коралловый риф с мальками... А если бы и вправду здесь заплескалось поблизости море с его сочностью и новизной! Перетащить, придвинуть с краёв наших огромных территорий хоть одно, желательное, конечно, южное. Избавить тем самым засушливые поля разворованных совхозов от запустения, заполнить степи с сухими трещинами, как узкие глазные щёлки, беспокойной водой. Всё ничего, когда есть такая беспокойная вода, обновляющая и вдохновляющая. *«Ах, есть ли ещё море, где бы можно было утонуть» — так раздаётся наша жалоба — над плоскими болотами».*

Открываю вторую кассу. Народ оживляется, смотрит с надеждой. Но денег-то всё равно нет. Вторая волна словесного дерьма окатывает меня с ног до головы. Но я держусь. Год назад меня штормило бы от них всех. Раньше я была девочкой-ромашкой. Раньше я восхищалась японской культурой *омотенаши*. В Японии говорят: 「お客様は神様です」 (о-кяку-сама ва ками-сама дэсу), что означает: «Клиент—это Бог». В идеале все компании, нацеленные на первоклассный клиентский сервис, должны к этому стремиться. Но у нас любая прекрасная идея, от коммунизма до вегетарианства, подвергается страшной мутации. Поэтому—о-каки-суки-сами-вы! И мой девиз: вас-много-я-одна!

Вообще-то сегодня не моя смена. Но Ивешка попросила подменить. Взяла больничный. На днях херанули в неё посылочкой. Клиент отказался заполнять паспортные данные, аргументировав тем, что в отделениях работает жульё, которому запросто в корыстных целях воспользоваться его персональными данными. Даже на горячую линию звонил. А те—Ивешке: мол, вручите без заполнения. Алё, гараж! Нам вручить и нам же потом отвечать? Почтовые правила никто не отменял. Но некоторым, особенно вышестоящим, не всегда выгодно следовать нормативам. Ивешка отказалась вручать и сама же получила по голове. В прямом смысле. Говорят, загремела с сотрясением. Я знаю того мужика, который выхватил из её рук посылку и грохнул на макушку. В соседнем доме живёт. Все его знают. И ничего ему за это не будет. Со справкой живёт. У него по весне всегда такое поведение.

...Раскидали народ потихонечку. Набрали с переводов, платежей и выплатили пенсии самым настырным и говнистым. Остальных—в сад! С Гулей насилу отбились. Мы с ней особо дружба

не водим, даже цапаемся порой. Но общие горести, как известно, сплывают. Борьба с общим врагом. Против фашистской Германии—хоть с сатаной. Правда, придёт Юра, всех разделит и начнёт властвовать.

Утренняя волна сошла, кое-как улеглась, а вторая хлынет ближе к обеду, когда все городские сумасшедшие окончательно проснутся и одновременно вспомнят, какого лешего забыли на почте. Это напоминает про «город засыпает, и просыпается мафия», только наоборот. Хотя у оператора в начале недели почти никогда не бывает свободного времени, но пока дух перевести можно: сожрать почтовый шоколад, на удивление вкусный и свежий; почитать страницу-другую из Кинга. Почтовый шоколад и страшный «Стёпка»—единственное, что скрашивает моё существование на работе и притупляет дежавю. Ощущение на самом деле более чем привычное. Каждый день одни и те же клиенты, письма, операции за кассой и вне кассы...

Надрывается телефон. Гуля и не думает отвечать. Порядочные на почту не звонят. Либо конфликтный клиент, либо вышестоящее. Гуля кинула трубку в ящик стола и зацокала кабелями на выход—курить на крыльце свои тоненькие пахитоски. Мне ж звонок действует на нервы. Вынимаю трубку и с усталой обречённостью представляюсь:

— Почт-та.

— Привет,—слышу знакомый голос, прокуренный и без особого энтузиазма.

Это наш зам Инна Вадимовна—Ивешка. И у нас все так разговаривают. Жизнь прошла стороной и возвращаться не собирается.

— Говнюк не заявлялся?

«Говнюк»—Юрий Князюк, начальник отделения.

— Нет ещё,—отвечаю.

— Чтоб ему провалиться! Вы как там? Не съели? Гулька не тупит особо?

— Норм. Только говнюк, то есть Князюк, деньги не заказал. Пенсы рвали на ремни.

— Ну, это он может,—скучно зевает Ивешка.

— Гулька не тупит,—понижаю голос и прикрываю ладошкой рот,—готовится к появлению пана директора.

— Подмываться, что ли, пошла?

— Кофточку новую надела. И губки всё время подмазывает, покусывает.

— Ну, будет ей счастье. Пятьдесят оттенков почты. Говнюк с совещания злющий приедет—отыграется на ней.

— И на мне.

— Ну, ты же не такая тупая... Ладно, держите оборону, вечером, может, заявлюсь. Больничный занесу—уже закрыли.

В мыслях благодарю за «не такую тупую» и прощаюсь. Сдалась ты мне вечером!

## Юра

Князюка вспомнишь — он и заявится. Птицы за окном смолкли, новая очередь притихла, и вошла сиятельная персона мрачнее тучи. Хозяин в берлогу вернулся. Лоб лоснится, глаза рысьи, ворот расстёгнут, тут же с порога снесло всех перегаром... Опять рюмашки с Кураторшей хлопал. Там стакан, здесь стакан — вот и утро пришло! А наутро эта же протрезвевшая Кураторша на совещании всех собак на Юру спустила!

Как всегда, морщится при виде навязанных ему владений, будто кусочек дерьма к носу поднесли. При хлопанье входной двери на его бедовую голову сыплется с потолка истлевшая штукатурка. Лично меня в такие минуты посещает испанский стыд. Виновата в существовании почты не я, но неловко за неё именно мне. Если пришла работать в эту сырую темницу, значит, свыклась с подлым порядком вещей и подтвердила собственную несостоятельность. А к Юре грязь не пристаёт. Любая, даже почтовая.

Вот бы сюда моего покойного деда! Он был директором школы, и лучшего снабженца во времена советского дефицита город не знал. Школа у него блестящая и была оснащена по последнему слову техники, когда как в соседней школе ребятки даже в восьмидесятые географию учили по довоенным глобусам. И всё благодаря природному обаянию, подвешенному языку и хватке бульдога. Таким отказывать — себе в убыток. У Юры хватка не слабее и обаяния не занимать, но вряд ли его будущие внуки будут им хвастать. При нём отделение пришло окончательно в запустение. Наше здание построено в начале тридцатых. А ремонта не видели три моих жизни. Такая нехитрая арифметика.

Чем Юра мрачнее, тем мне спокойнее, будто его неукротимая злоба защитит от чего-то более страшного, чем он. И в благодарность начинаю мысленно перетягивать его головную боль, душевное расстройство на себя. По тому, как вставляет ключ в замок начальственной двери, по её скрипу определяю, насколько ненавистен ему весь род человеческий, которому знает цену и готов, не продешевив, продать за милую душу. А подчинённые и клиенты, как последний заслон, ближе всех к этой бездне. Только мы сдерживаем, защищаем Вселенную от грядущего апокалипсиса в лице рядового начальника небольшого провинциального отделения после его похмельюги и недосыпа.

Юра придвигает поближе вентилятор, подставляет струям воздуха измождённое лицо (целый день бы так просидел), не с первой попытки чиркает зажигалкой, глубокомысленно закуривает и начинает крыжить лотерейный тираж, который отделение на прошлой неделе вместо утилизации ошибочно реализовало. Да ещё радовались, ручонки потирали: дескать, премию получим! Вместо премии — по шее, и не забудьте намылить верёвку.

Сначала Юра поставит товар на приход, как Бог на душу, а потом у нас пересортица в марках, нехватка конвертов, коробок... Начинается свистопляска. Начальство вечно носится перед проверкой, делает себе кровопускание. Подчищаем общими усилиями косяки. Но Юра с Ивешкой тёртые калачи, ушлые и языкастые, умеют и на ёлку взобраться, и не ободраться. Отряхнутся и дальше пойдут лес рубить, от которого щепки в разные стороны и шишки по лбам. Они живо сработались, но иногда жалят друг друга. Тогда всё отделение встаёт, и можно выйти покурить, чаю попить, заодно и повеситься. В такие страшные минуты кровь стынет в жилах, останавливается вода в реках, затихают очереди... Их дружба-вражда сравни вечной любовной ненависти или ненавистной любви сказочных персонажей — Волка и Лисы. А почта — лес дремучий, медвежий угол, берлога под корнем сваленного дерева, которую они, закапываясь с делами, роют друг другу. Столько от их зряшного усилия перьев и шерсти, столько пыли столбом! До самого космоса! Фобос и Деймос. Один вечно тормозит и когда-нибудь свалится камнем вниз. А вторая когда-нибудь удалится от Сатурна-почты.

Но Юра и сам как планета. В его кабинете вечный дым, которым опоясывается, будто системой газовых и пыльных колец. Дым постепенно пропитывает мои волосы, форму, в нерешительности перед выходом в клиентский зал замирает и царственно стелется дальше, разбредается, растягивается по всему отделению. Аид, Князюк Тьмы, не иначе... Окуривает, застилает сумрачным туманом помещение, чтобы клиенты, как сомнамбулы, теряли волю и счёт времени. Оставь надежду всяк сюда входящий! Странно, в наше время активной борьбы с пассивным курением никто до сих пор не пожаловался на Юру. На Ивешку много раз стучали. Она тоже как паровоз дымит. А на него — ни разу. Юрино табачное облако такое же полновесное, обстоятельное, как и он сам.

Ещё через несколько минут из Юрино кабинета доносится будничные матерок. Нелюбимая работа! Дело в руках не спорится. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Бумажная работа вообще не для мужиков. Не подходит Юра нашей почте, как ни крути. Какой-то нездешний, что ли. Ощущение, будто для чего-то другого послали. Знать бы ещё: для чего? Пересидеть, наверное. Ивешка говорит, будто ему нужен год стажа на руководящей должности, а потом свалит — и поминай как звали... Влиятельных друзей и врагов у него всегда было в достатке. Вот друзья и пристроили. И стали врагами. Нам нашли злого Юру среди самых злобных Юр.

Я вижу нового Юру и вспоминаю прежнего. Вроде бы ничего отличного, и всё же, всё же... Годы — гады! Когда-то давно, ещё до того, как

почта решила, что она очень жадная, и ещё не было понятия «бомж», и были только алкаши, а я пешком под стол ходила, то каждый уважающий себя мальчик слушал «Scooter», носил гриндерсы, а каждая уважающая себя девочка штурмовала Юру любовными посланиями с грамматическими ошибками. Еженедельно, как с передовой, из школы приходила сводка: такая-то из девятого «А», «Б» или «В» (всё равно) вскрыла себе вены или отравилась уксусом (всё равно). Причина—Юра Князюк, вернее, отсутствие такового.

Потом многие выросли, вышли замуж, а желающих свести счёты с жизнью из-за Юры не поубавилось. Но всё как-то прозаичнее стало, втихую и лицемерно, что ли. А тогда родители и учителя открыто ненавидели Юру. В детской комнате милиции ненавидели Юру. Даже в мэрии ненавидели Юру. У всех росли дочки. А он ненавидел весь город. Все, кто любил наш город, остались и сделали технарями, поварами... А Юра уехал и стал никем. А он вообще с амбициями. Из нашего города уезжают самые сильные и мотивированные, яркие и талантливые носители Y-хромосомы. Сначала, конечно, дела шли в гору, пока не приключилась очередная поганая история.

Хотел больших должностей—уехал.

Теперь вот вернулся—хочет больших денег.

Но на почте нет таких денег. На почте всё маленькое и захудаленькое.

Раньше я видела только жизнерадостных детей либо только разочарованных взрослых. Племян мой мелкий думает, что весь мир принадлежит ему. А вот дедушка наш доживал век с выражением на лице: «И это всё?» Наблюдать развитие человеческой души от одного состояния к другому мне, в силу возраста, было не дано. Выслеживала такую динамику по старым фильмам. Например, у Рязанова пижонистый ироничный журналист в исполнении Олега Борисова бойко изобличает советский торговый сервис. И этот же актёр много лет спустя у Абдрашитова—в роли следователя Ермакова, уставшего бороться с мельницами: «Если всё по инструкции делать, то и депо закрывать надо, и вообще всю железную дорогу!» Мы не железнодорожники, и слава Богу. Но их «рецепт благополучия», кажется, с успехом применяется в любой области... Или жизнерадостный лесоруб Илья Ковригин, а потом он же—безмянанный зануда-сосед журналистки Лены Журавлёвой. И снова журналисты... Круг замкнулся. Я вот тоже мечтаю поступить на журфак и жду приглашения на творческое собеседование из столичного вуза.

А пока—на своём операторском месте. Сажу спиной к Юре и считываю его настроение не только глазами из-под отросшей чёлки, как из-под шторки, но и выпирающими острыми лопатками. А чего мне лишний раз на него пялиться? Я вообще редко смотрю на начальство, зрительный

контакт не поддерживаю. Много чести. Страшно смотреть на человека, который, кроме денег, ничего не видит. А он меня раскусить не может, не знает, что со мной делать, и злится, и провокации различные устраивает.

У Юры два вида проверки на вшивость. Одна—казённая. Выдаёт наличные больше, чем изначально заявлено. Совестьливый оператор, пересчитав, должен вслух обнаружить расхождение. Вторая—скорее интимного характера. Закинет свою лапищу на холку, прижмёт к стене ненароком, вроде бы по-отечески. Но видит, что жмусь и дичусь, и торопливо отходит. Он хоть и манкий, но довольно приземлённый мужик. Без особых затей. В интересах преимущественно—большие деньги и служебный трах. Гадит там, где работает. Все женщины—потенциальные гаремные соперницы за внимание почтового падишаха. Нет бы книжку из школьной программы почитать, всё же полезнее...

Обе проверки Гуля не прошла. Вернее, не прошла первую, и за это ей, видимо, досталось под хвост. И осталась вполне довольной. Мы с Ивешкой, посоветовавшись, решили сообщать подозревать их в совместной е-ле. Слишком вольготно стала себя вести, обнаглела, охамела вконец. Так ведёт себя только добившаяся своего женщина. Ну не кассу же они так долго и шумно сверяют, запираясь после закрытия в его кабинете?..

Настырная, как миллион китайцев, Гуля, выпятив грудь и оправив узкую юбочку (наверняка самолично ушивала, мечтая о свадебном платье), первая решает пойти к пану директору—якобы за деньгами и марками. На самом деле—напомнить о себе, поластиться, поймать кость расположить и утереть мне нос. Ну и пусть! Грязные животные друг друга понимают. Но с Гулей ему ни фига не проще. Она не способна вовремя уловить чужое настроение, как не способна на это ни одна курица, укладывающая все потребности мужика в основание пирамиды Маслоу. Хватит лезть Юре в ширинку, когда его голова другим занята. стакан ему, что ли, поднеси, мокрым полотенцем голову повяжи, холодное к вискам приложи...

Гуля трещит без умолку, и закинуть её в ящик стола, как надрывающуюся трубку, нельзя. Потихоньку за прикрытой дверью кабинета поднимается скандал! Не влезай! Убьёт! Юра, как может, отмахивается от неё. Назойливая муха! Я старательно грею уши, но трудно что-либо услышать, когда в зале зверинец, над ухом жужжит клиент и надывается кассовый аппарат, брезгливо выплёвывает чеки... Наконец в кабинете срываются на крики, гневливые и жалобные... Дверь от сильнейшего удара ногой распахивается, на пороге—пунцовая, зарёванная Гуля. Ни на кого не глядя, хватает сумочку и нервной манерной походкой цокает к выходу, по пути разбрызгивается слезами клоуна.

После такого взбрыка в отделении поначалу гоголевская сцена. И снова по кругу:

— Бардак!

— Превратили почту чёрт знает во что!

— Сталина на них нет!

Но я не реагирую. Улыбаюсь своим мыслям, про себя подленько хихикаю, предвкушаю свой будущий рассказ, в голове для Ивешки в красках расписываю это маленькое почтовое происшествие и заранее слышу наши общие реплики:

«Больно уж навязчивая и бесцеремонная».

«А то раньше ходила кум королю!»

«Теперь крылья-то пообломали».

«А у нашего пана директора настроения — как солнечных дней в осеннюю пору».

Мы с Ивешкой давно предрекали такой исход!

### Закрытие дня

Хвала почтовым богам, сегодня пятница — день шоколадок! Народ в целом доброжелательный, приходят курьеры, и мы делаем нашему отделению месячный план. Интернет-магазины приносят на отправку заказы, крупный кредитный банк получает назад свои возвратные письма, а Шурик, жизнерадостный сотрудник сизо, приходит за арестантскими посылками, которые пахнут в нашей кладовке всегда одинаково — копчёной колбасой и тухлой беспросветностью. Или наоборот. Возможно, сама кладовка навеивает подобные мысли, в ней постоянное ощущение, будто кто-то повесился. Если подняться на стеллажи, то из окошка через колючую проволоку, протянутую над бетонным забором в несколько рядов, можно увидеть в отдалении кусочек тюремного двора. Там ходят конвоиры, а иногда заключённые из хозблоков. Иногда кажется, что я сама так брожу в своём тесном закутке в скорбном ожидании, будто заранее сослана на вечные галеры, и нет мне выхода ни из одной двери. Только из узенького окошка кладовки тоскливо глядеть на другую тюрьму.

По причине бегства Гули пятничная партионка сделает мне нервы. Очередь вмиг выстроится. Станут требовать отдельное окно для «физиков». Но наш пан директор палец о палец не ударит. И если начнут названивать сверху, закинет рабочую трубку в ящик стола, а сам «отойдёт по жалобе». Но Шурик утешит, тихонько подложит мне шоколадку или пирожное, ввернёт комплимент: мол, я за кассой похожа на сосредоточенного пилота, который управляет звездолётом и гуманоидами, атаковавшими мой звездолёт.

Что ни говори, а работа с людьми — не для людей. С моим вялым темпераментом мне бы обязанности проще: бумажки перебирать, с цифрами работать... Только бумажек и цифр этих на почте — выше крыши. Работа кропотливая, требует усидчивости и калёных нервов, как перебирание фасоли, разделение на белую и тёмную. И такая же

коварная, как мачеха Золушки: чуть зазеваешься или решишь, что всё уже знаешь, — по невнимательности вскочит досадная ошибка, сначала мелкая, а потом, если вовремя не заметишь, разрастётся, как снежный ком, и понесётся с горы, захоронит под собой заживо. Кассовый чек, конечно, можно активировать и накладные расформировать... А вот если не ту посылку выдашь, или при вручении про наложенный платеж забудешь, или пенсию по доверенности умершему человеку выдашь, то это уже серьезнее. С этим не оператор, а вышестоящее разбирается. Но вышестоящее по головке не погладит. Вышестоящее вкладываться не станет. Всё упирается в деньги, время и нервы, которые, как известно, одноразовые. На почте, особенно ближе к концу рабочего дня, когда народ валом прёт, вечный дефицит этого самого времени. Постоянно отвлекают, требуют... По этой же причине на почте не любят новеньких. С трудом выкарабкиваешься из лавины своих/чужих ошибок и снова по воле почтовых богов вкатываешь на гору тяжёлые камни, за которые сойдут тюремные посылки и за которыми по пятницам приходит Шурик.

Странно, но несколько посылок, обработанных мною пару смен назад, оклеены именной лентой-скотч нашего региона, а не соседней области, откуда пришли. И по весу разнятся, не сильно, правда, в пределах допустимого, но всё же... Значит, их вскрывали, но не на сортировке, иначе я бы при обработке заметила и составила акт, а уже в отделении, после меня. Подозрительные посылки адресованы одному арестанту — некоему Пляке, кажется, даже законнику, если верить Шурику. Сложно не запомнить, тем более на сортировке бригадиром работает его однофамилец, на накладных всегда его подпись.

С Шуриком у меня доверительные отношения, потому сразу обращаю его внимание на эту ерунду. А он только шире улыбнулся и рукой махнул: мол, забей! И пока я продолжаю собирать ему в кладовке арестантские посылки, они закрываются с Юрой в его кабинете и подолгу о чём-то толкуют.

На почте любят загадывать новеньким загадку. Вот, например, байка о ловкачах, отправлявших посылки без описи, но с большой оценкой. В пути следования вес улетучивался, и в отделение приходила внешне целёхонькая (без признаков вскрытия), но совершенно пустая. Почта послушно возмещала ущерб, но усердно ломала голову: что за на х\*\* такой? Но, как известно, у почты со службой безопасности всё в порядке. Мошенников взяли на контроль и в очередной раз выяснили, что секрет всему...

Перед закрытием, как всегда, еле отбиваемся от тех, кому вдруг приспичило. Их в дверь — они в окно. Из всех щелей лезут. Ровно в восемь прискакал конь ретивый, грива назад, с пачкой писем,

при виде которой у меня сжимается сердце и ладошка сама тянется к воображаемой удавке... Но Юра тормозит его резвые копытца.

— Время без пяти, успеваю! — возмущается тот.

Пан директор снисходительно стучит по циферблату своих наручных часов:

— Купите себе такие — и всегда будете знать точное время.

У того планку сносит от возмущения:

— Откуда на почте такие часы? Вы тут миллионами ворованными ворушаете!

— Нет, я просто вскрыл мелкий пакет из Швейцарии, — невозмутимо парирует начальник и тянет клиента к выходу.

Тот упёрся невидимым рогом, слышать ничего не хочет. Хватает Юру за бейдж, но Юра уже не церемонится и выталкивает конягу в предбанник: — Пшёл на х\*\* отсюда!

И разлетаются письма в разные стороны. Пока собирал, пальцем грозил! До самого верха дойдёт! Управу найдёт!

Короче, ничего нового. Дружно зеваем, выпроваживаем и отворачиваемся.

— Клиент всегда прав! — высказывается последняя клиентка. — Он пришёл без пяти.

— Во-первых, он пришёл не без пяти, — вылезла на неё, — а ровно в восемь. И даже если пришёл без пяти, что он успеет за эти пять минут? — Нужно работать оперативнее, а не как вы!

— Я обслужила вас оперативно! — шиплю упреждающе. — По чеку можем проверить нормативное время для каждой операции. А клиентам тоже нужно рассчитывать своё время, потому что чужое казённое никто не оплатит.

Поджала губы: нечего сказать...

Ещё через пять минут примчался наряд полиции. Опоздун слов на ветер не бросал: вызвал 102, а сам, раскидывая вокруг себя кипящее г\*\*\*, поскакал дальше катать телегу, скорее всего, не первую в его жизни и уж точно не последнюю.

Полиция у нас частая гостья. Много народу с повреждённым на почте эго. Юра невозмутимо пишет объяснительную и на всякий случай ставит в известность службу безопасности. А чего ему переживать? У него весь отдел в друзьях. А самый что ни на есть школьный товарищ — наш участковый Эдик, который, странное дело, сохнет по Ивешке, женщине гораздо старше себя.

Я наивно полагаю, что Юра защитил меня от настырного клиента, но он, как всегда, печётся лишь о себе, кричит из кабинета:

— Васька, закрывай смену! До ночи прикажешь с тобой сидеть?

Мечтать не вредно! До ночи со мной собрался...

— Ты чего там бубнишь? Давай уже кассовую справку! Где Z-отчёт?

Хорош глотку драгь! Мне ещё мешки и ящики заделывать! Успеть бы до машины.

Жаль, что при заделе мешков запретили сургучом пользоваться. Обожаю запах разогретого сургуча! Напоминает почтовый шоколад, такой же ароматный и вечно свежий. Подумать только, я на своём веку благодаря почте застала остатки позапрошлого века: старинный способ запечатывания корреспонденции, когда, скажем, Пушкин, набросав своей Натали пару строк, капал жидкий сургуч на конверт (в нашем случае на ярлык мешка) и шлёпал по нему именной печаткой...

— О чём мечтаем? — возвращает меня Юра на землю.

Начинаю имитировать бурную деятельность: суетно пересчитываю наличные.

— Да не считай! Я сам, — вырывает из рук. — Кулёма...

Юра, в отличие от меня, красиво считает деньги, щурясь от дыма сигареты в зубах. И расстаётся с деньгами нехотя...

Пришла за Юрой его жена с пятилетним сыном. Гуля с Ивешкой называют её серой мышью. Но она не серая. Это бабы от зависти. Скорее, напоминает интеллигентную Анук Эме из «Восьми с половиной». Такие, как Юра, или остаются в бобылях, или женятся на самых лучших. Жена его вполне уравнивает, вносит необходимую долю разумности. Для меня они как прекрасно советские Александр Кайдановский и Женечка Симонова. Идеальный мужчина и идеальная женщина. Вместе — идеальная пара. Все идеальные пары с оглушительным звоном разбиваются. Их жизнь делится на «до» и «после» рождения ребёнка, который в то же время единственное, что на данный момент объединяет.

Жена, изящно поправляя очки, как всегда, мельком оглядывает меня, в очередной раз определяя для себя потенциал моей опасности для её семейной жизни. Я сжимаюсь, замораживаюсь, всем своим видом старательно делаю незаинтересованный, глупый и некрасивый вид. Успокойся, Юре со мной не светит! А ведь многие отмечают наше сходство с женой. Правда, до настоящей Анук Эме мне далековато. Жена будто читает мысли и временно утешается. Зато Гуля с ней не столь милосердна. Нет-нет, а даст понять, что всё у них с паном директором «было».

Юра, закончив с отчётом, сажает сына на колени и подносит в зажатом кулачке приготовленный патрон с просверленным отверстием в боку. У ребёнка от восторга дыхание перехватывает. Он обхватывает папу за шею и прижимается к груди. — Где взял? — пугается Анук Эме.

Юра не достаивает ответом. Я объясняю: принёс участковый Эдик. Из вежливости, чтобы скрыть неловкость, перекидываемся ещё парой незначащих фраз.

Наконец пан директор дожёбывает последний пельмень (жена принесла ужин), залпом

опрокидывает рюмку (при сыне не стесняется), заделывает свой начальственный мешок, и все вместе уходят. А я остаюсь ждать машину.

— Проверь все окна, курить не выходи, никому не открывай, — предупреждает напоследок, — правила безопасности не забываем, бережёного Бог бережёт...

И глубоко затягивается сигаретой, судорожно выдыхает. На свободу с чистой совестью! Юра — вне почты, развязался с обязанностями и, значит, снова нормальный человек. Таким же предупредительным и заботливым бывает, когда выпьет. Неужели, чтобы выглядеть обычным, надо непременно догнаться и влить в себя почти литр?

На своём коротком веку я повидала двух начальников. И оба, как принято говорить, не соответствовали занимаемой должности. Ибо боялись всего на свете. Тряслись, как осиновые листья. Закладывали собственных операторов, лишь бы самим ни за что не отвечать. И даже фамилии у них были не случайные, такие же жалкие, почти чеховские: Беляева и Белов (кажется, Чехов любил писать о почтовых чиновниках). Оба оправдывали казённые страхи предпенсионным возрастом. И оба побывали нормальными людьми ровно две последние недели после того, как их всё же вынудили написать заявления об уходе. Я очень надеюсь, и мне что-то подсказывает, что Юра не похож на предшественников. Он дурной, неудобный, резкий, но он не кинет. Интересно, что Чехов написал бы о Юре? Что-нибудь ироничное и страшно будничное, как сам Юра.

—...И когда посылки СИЗО выдаёшь, — продолжает вдруг, — поменьше думай и ещё меньше вслух рассуждай. Особенно при таких, как этот Шурка, — предупредил меня и хитро подмигнул вторым глазом, который всегда настоroje.

*Я политесу ихнему не обучена*, ничего не понимаю, но с готовностью торопливо киваю. Если милейшему Шурке нельзя доверять, то кому тогда можно?

— И если флэт с «акулой» придёт, тоже не трогай. Сам обработаю с утра.

Мы все знаем об этом правиле, но на всякий случай предупреждаю:

— Так у нас выработки не будет, премию опять не получим.

— Флэт неприписанный придёт.

Я пожимаю плечами. Мне же лучше. Говорят — не трогай, значит, не трогаю. Неприписанный флэт — значит, без номера и нет в накладной. По бумаге — не пришёл в отделение. Его не отследишь, и ответственности за него никакой! Но ничего хорошего от него не жди! Вес на ярлыке никогда не сходится с фактическим. И заделывает его всегда один и тот же — однофамилец Пляки. Имя давно набило оскомину.

У нас нет ночного оператора доставки. Поэтому всем отделением делим ставку. Совмещаемся согласно графику, кроме пана директора, который остаётся в ночь всегда неожиданно (когда приходит из сортировки тот самый флэт). И тогда плевать ему на график, который сам же и составлял. После него наутро остается лёгкий, почти незаметный, старательно выветренный запах травы. Или, наоборот, забытая гора бутылок. Ему всё равно, в чём топить свою жизнь.

После меня — шелуха семечек.

После Гули — раздвинутые столы. Боюсь представить, что она на них раздвигала.

После Ивешки всё чисто и вытерто. Она замечает уборщицу, которой тоже нет. Юра выгнал нашу киргизку, которая якобы плохо убиралась. С тех давних пор к нам даже из СНГ никто не суётся. Себе дороже. В отделениях невозможно хорошо убратся. Для этого почту надо снести к херам. И выстроить заново. И никого не пускать.

Ивешка аккуратная и чёткая. Безработный бухгалтер, которую подобрала почта. Почта всех подбирает. И ко всем относится одинаково плохо. Только клиентам хочет нравиться. Но клиентов не обманешь. Они, как дети и животные, чуют лицемерие. Подобрашка Ивешка — на вес золота. К её работе почти не подкопаешься. Но все не без греха. У неё теперь дамский кризис, почти как у купринской Натальи Давыдовны. Как сама признавалась и оправдывалась, с разведёнками такое иногда случается: разом открываются все шлюзы, либидо переполняет, стремится выйти из берегов, чтобы избавиться от нажитого, снять стресс, испытать новое, почувствовать себя хоть кем-то, хоть самой прощай и конченной. То есть не важно, с кем и где, главное — сам процесс, его волнующие механизмы и стремление выйти на финишную прямую. В области передка образуется нехороший магнит, который притягивает и заставляет прижиматься клитором к любому таксисту, торгашу, случайному провожатому, каким, на своё несчастье, и оказался участковый Эдик. Он удачно попался ей под руку и так же неожиданно был ею послан. Эдик долго потом ходил под нашими окнами, всё донимал её, нехорошие слова на заборе писал. Но потом утёр скупые полицейские слёзы, пришёл в себя и по новой стал безобразничать, уже не с почтовыми дамочками, а с населением. У меня от него оторопь.

## Обработка

Пришла машина. Водитель новенький, хотя сегодня вроде бы смена родственника нашего Юры — племянника его жены. Племянник обычно и привозил тот самый злополучный флэт, над которым заранее трясся Юра, чтобы потом втихаря, запершись в кабинете, вскрыть. Сторонним это дело не доверял. Насколько Ивешке до всего есть дело, но даже она своим любопытным носом туда не лезла.

Незнакомый водитель после подачи машины к люку обмена тоже буркалы на меня выставил и сверлит подозрительно, будто подлости какой дожидается. А я-то что? Стою—душа нараспашку. Вся как на ладони. Транспортёр (конвейер) заранее включила, привела ленту в движение. Мне ваши ночные игрища неведомы. Мне работу надо работать. Наконец он подаёт маршрутный лист, накладные и выгружает ёмкости. Я принимаю их и одновременно сверяю по номерам в накладной. Всё сошлось, кроме того самого флэта, который, как обещано, по «доброй» традиции, не приписан.

И лента движется в сторону водителя. Водитель один раз чуть замешкался, и несколько посылок выбросило на землю. Зеваки, случайно наблюдавшие погрузку, тут же воодушевились, выхватили телефоны и давай «поливать», чтобы «залить» потом видео. Дескать, поглядите, люди добрые, как почта наша, злыдня, над нашими посылками измывается, ни в грош их не ставит. Заклеймим же её позором, пусть ей будет стыдно!

Но почте не стыдно. Почте плевать. Отряхнут ваши копеечные посылки и дальше пошлют по указанному интимному адресу.

А вот хочется иногда в припадке пролетарского гнева взять молоток и расхерачить на мелкие кусочки эти гаджеты, заказанные с «Алика» и ещё не вышедшие у нас в стране! Вечно в современном мире что-то происходит, а родная сторона, как всегда, не в курсе инноваций, курит в сторонке и нефтью с газом по старинке барыжит.

— А где же *наш* водитель? В отпуске? — спрашиваю на всякий случай, а то неловко работать в гнетущем молчании.

И в накладной фамилия родственника. Неужто заболел?

Водила с неподражаемой ехидцей снова вылутился на меня:

— На больничном ваш водитель! После лора! Бес-срочно! Так и передай своему Юрцу, — и сплюнул смачно, — от Пляки!

— От какого? Который сидит или который флэты заделывает? — сдуру ляпаю.

Тот не удосужился с ответом. С лязгом запер дверцы машины, вернулся в кабину...

Я на почте разных водителей повидала, большей частью усталых матершинников, но не помню, чтобы от кого-то из них мне было так не по себе! Снова пожала плечами: дескать, моё дело сторона. Наскоро расписались друг у друга, проставила штемпелем время и отпустила машину на все четыре стороны под ближайший КАМАЗ. Хрен какой с горы! Вот проставлю тебе в системе управления транспортом не то время—будешь знать!

Мысли о водителе не дают мне покоя, но работать надо. Вскрываю поочерёдно ёмкости и ставлю на приход. Первым делом обрабатываю ускоренные отправления и посылки. К счастью,

сегодня немного пришло. Но необработанной осталась ещё и дневная почта. Короче, до газет, которые придут под утро, должна управиться.

Раньше оператором в доставке работала интеллигентная пьющая женщина Наталья Николаевна с таким же, как у её знаменитой тёзки, неопределённым и рассеянным взглядом. Она подолгу засиживалась в уборной, после чего взгляд её загуманивался ещё больше, говорила ещё путаннее. Ясное дело, Наталья Николаевна больше не работает.

И вот теперь я сажусь вместо неё за обработку. И действительно, без бутылки не разберёшься! В программе подтягиваю недостающие названия и адреса. Наши почтовые мини-сервера освобождают от почтовой информации, с тем чтобы бабахать населению новую услугу—онлайн-продажу авиа- и железнодорожных билетов.

Письма фирм, которые у нас абонируют, сразу раскидываю по их отдельным ящикам. На остальных письмах (в общую коробку) с обратной стороны указываю присвоенный в электронной накладной порядковый номер и печатаю извещения для почтальонов. Бумаги, как всегда, не хватает. Чуть ли не на оторванных обоях приходится распечатывать... Зато у нас продают макароны и прокладки! Скоро до лекарств и алкоголя доберутся. И будут сотрудники почты за те же деньги выполнять обязанности провизоров, кладовщиков, мерчендайзеров, охранников и продавцов-консультантов. До поры до времени, пока Роспотребнадзор не грянет, потому что о нормах и условиях хранения продуктов питания и гигиены на почте никто не слышал. Но им сверху виднее. Пришли новые люди со стороны, с незамысленным, свежим взглядом, почтовой кухни не знающие, выпилившие с насыженных мест старую гвардию, которая начинала карьеру в отделениях с должностей почтарей и операторов. Как у рэперов читается, прохавали жизнь с самого низа. В наследство—регламент и инфраструктура. Но как бы маркетологи ни пытались провести ребрендинг, вычистить авгиевы конюшни, выпрыгнуть из совковых трусов, поднять почту с гноища и превратить её в современную доходную корпорацию—с нами срach, страх, невежество, нищета, глухота, грубость... Какой бы оптимизации и модернизации почту ни подвергали, суть останется прежней. Видимо, нельзя с нами по-людски. Со свиным рылом—да в калашный ряд. Оттопырив мизинчик, пытаться кушать ананасы и запивать шампанским, а в деревянном клозете подтираться собственным пальцем... Потому что, повторюсь, бумаги нет! И пломб нет! Для задела страховых мешков с ценными посылками, переслать которые в ценности и сохранности почта обязалась! Зато имеются в продаже печенюшки и мороженка...

Подшиваю накладные. Письма—по коробкам в страховой отдел. Посылки и заказные мелкие

пакеты—в кладовку на полки. С одним вот мелким пакетом, правда, беда. Упаковка чуть надорвана. По весу совпадает. Надобно оклеить и писать акт о внешнем состоянии дефектного отправления. А дело это гадкое и небыстрое. Смотрю на адрес. Получать придёт Сомова, ещё одна почтовая любовь Юры! Он от нечего делать павианит, любезничает, двуличничает перед ней, без очереди выдаёт пакеты. Она принимает его нечистоплотные замашки за чистую монету и по пьяни присылает срамные фотки. Он же с непроницаемым лицом долго разглядывает и показывает их нам. <...> Плюнула и пошла дальше почту обрабатывать.

Перехожу к простым ёмкостям. С этим проще: врубил штемпелевальную машину и пропечатали письма. Наша машинка сварливая, гудит, скрипит, визжит, дышит на ладан, готова зажевать пальцы и разорвать, как Тузик грелку, всякую чуть упитанную бандерольку. Отправления проходят через неё тяжело. Но мы любим нашу «старушку»: хоть сколько-нибудь облегчает труд, экономит время, и другой у нас нет.

На одном из конвертов занятая марка из серии «История почты». На нарезном стуле телеграфистка со строгой причёской и в наглухо застёгнутом мундире держит ленту. Рядом начальник в накинута на плечи чёрной шинели с жёлтой опушкой, в левой руке его белые перчатки. Под яркой двенадцатилинейной лампой сияют двуглавыми орлами форменные пуговицы, пенсне и чёрные начищенные ботинки. Видимо, собирался уходить, допустим, в театр с женой, но тут по телеграфу из департамента спустили циркуляр. Интересно, что давали в Мариинке в 1870 году? «Жизнь за царя»? За их спинами на стене плакат с изображением почтовых кибиток и график движения по тракту.

Кажется, бардак на почте случился не в девятнадцатом веке, не в девятностые и не в нулевые... Бардак на почте ведётся с тех самых пор, когда в древности возникла тягловая повинность, ямская гоньба. Потом много что менялось, в том числе форма правления, общественный строй, экономическая формация, а почта так и осталась догонять ушедший поезд. Почта—отрезанный от цивилизации остров невезения, страна царя Гороха, пародия на отсталое феодальное государство. Экономит на тех, на ком зарабатывает, на чьём горбу всю жизнь выезжает и чьими руками жар загребает. Пообещать процент от стоимости ускоренного отправления, устроить завал на сортировке из этих отправок, не справиться с контрольными сроками, не просчитать свои возможности и... обмануть операторов с сетевой премией. У нищих последнее отобрать. На почте нельзя выполнять и перевыполнять план. На почте его можно только курить. Всё равно не заплатят и сверху ещё накинута. «Душегубы, кровопийцы!»—кричал народ в семнадцатом, хватаясь за вилы,

поджигая барские усадьбы. Мы добавляем в адрес руководства: «Иждивенцы, паразиты!»

Отлепляю гашёную марку, заменяю на другую с тем же номиналом и кладу себе в карман. Ближе к сердцу. Дома в спокойной обстановке насмотрюсь.

Я люблю обрабатывать простую корреспонденцию. Иногда попадаются чудные открытки из Питера, Крыма, Испании и Ватикана... Орфография и пунктуация сохранены.

Привет, Рамиль! Я уже второй день гуляю по Мадриду. Это очень красивый город с широкими проспектами, большими и красивыми площадями, великолепными музеями. Не хуже нашего Питера (мне удалось посетить только Прадо, в котором провела около 5 часов). Но это того стоит. Особенно—залы с Эль Греко, Веласкесом и Гойей. При этом город очень понятный, а центр довольно компактный! Осталось отправить открытку. Купить хереса и хамона, а завтра—в путь—домой!

P.S. Кстати, тут всего +1°С был с утра! Апрель!

Люди на прогулках покупают их в закрытых переулках и на открытых площадях. Отправляют своим близким, чтобы поделиться частицей сиюминутного счастья.

Чао, Мишаня!  
Из Вечного города.  
Твоя Симаня:)

До близких не доходит, а читают чужие, то есть я. Ради чувства сопричастности.

Здравствуй, Пашка! Снова пишу из Севастополя. Я провела здесь всё лето, работала. Я водила туристов по улицам Севастополя и рассказывала истории о городе и людях. Ещё была проводником в крымских горах. Лето пролетело, и скоро я покину любимый Севастополь. Меня ждёт Грузия, Саратов и Петербург. Но в следующем году мы с Крымом снова увидимся.

Я их частенько присваиваю, будто мне писали. Солидная коллекция собралась.

Тимурчик! Привет тебе,  
самый что ни на есть Берлинский!  
Желаю найти тебе то, что ты ищешь в этом мире,  
и обрести внутреннюю гармонию!

Мне таких слов ни в жизнь не дожидаться. Полковнику никто не пишет.

Привет  
из  
ВАТИКАНА!  
Здоровья!!!  
Удачи!!!  
Везения!!!  
Отличной учёбы!!!

Любви!!!  
Исполнения  
желаний!!!  
Так велит  
ПАПА!!

Это вам не казённые судебки или административки, от которых заранее веет тленом и безысходностью. Их поток увеличивается по весне. С приходом тепла у людей открываются старые раны. Чтобы излечиться, они строчат иски и рассекают на больших скоростях. Мы знаем о наших клиентах не только по их разговорам, а главным образом по тем письмам, которые получают. Конверт при этом не обязательно вскрывать. Достаточно взглянуть на наименование отправителя. Вот, например, сутяжница из дома напротив — Абдеева. Или мой сосед Галиуллин — главный спонсор ГИБДД.

С одним из таких писем связан один из первых моих косяков на почте. Пришла тётка получать за мужа административку. Одна фамилия. В одной квартире проживают. Мои соседи. «Сделаю доброе дело», — рассудила я и вручила письмо, тем самым нарушила двадцать третью статью Конституции РФ. А на фотке из конверта муж с чужой фифой... Теперь имущество и детей делят. Судебки друг на друга регулярно получают. Со мной не здороваются. Вот тебе и «письма счастья».

Они хранятся, как все надежды, семь дней. А потом — назад к отправителю или в цех не розданных. Задержка с возвратом хоть на день — штраф в пятьсот рэ. Именно поэтому испытываю временное облегчение, когда невостребованное отправление по истечении положенного срока наконец возвращают отправителю. Письму не суждено выйти из круга жизни, закончить путь земной и покоиться с миром на дне урны, вскрытым и разорванным на мелкие кусочки. Его вернут к праотцам-отправителям, чтобы вновь войти в круговорот рождений и смертей, пережить ещё одно отправление: с тем же вложением, но уже в новой оболочке и с новым присвоенным идентификатором. А новенькие конверты такие чистенькие и гладенькие, как душа младенца, как ангелочки! Такое вот почтовое колесо Сансары, переселение душ, цикл перевоплощений... Да, мне не хватает живых впечатлений, потому на пустом месте возникают странные ассоциации. Что-то похожее испытываю с досылком заблудившегося письма по верному индексу. Оно, как горемычная душа, кругами шатается по аду, всё пристанища себе не найдёт. И дальше к адресату нельзя, и назад к творцу-отправителю не пускают. Это ещё хуже, чем невостребованность. Чистилище какое-то, а не почта.

После обработки у меня острое желание помыть руки. Мало того, что пальцы изгвазданы штемпельной краской. Достать чернил и плакать!

Ивешка говорит, что раньше все клиентские столы были измазаны фиолетовыми чернилами для заполнения бланков. Боже, теперь есть Интернет и множество конкурентоспособных курьерских служб. Дожили до 3D-сканеров... Почему продолжаю пачкать руки стойкой краской? Почему почта до сих пор существует? Почему жизнь не становится легче?

Та же Ивешка пугает меня пандемией коклюша. И письма в этом случае — потенциальные разносчики заразы. В старину их называли бы «погаными» и держали бы над уксусным паром... Мои пустые безответственные размышления на сон грядущий несут меня куда-то вскачь, но постепенно отпустила удила, клюю носом...

Перебивает звонок — как всегда, резкий и неприятный. Для газет рановато. Кто бы мог быть? Ломятся как не к себе. Надеюсь, не водитель? Не зря Юра остерегал меня.

Высматриваю опасно в глазок. За дверью на крыльце шатается Ивешка с двумя кавалерами. Больничная она, видите ли, принесла... Вообще-то в ночное время никого, кроме начальника службы безопасности при предъявлении удостоверения, впускать не имею права! Даже собственное начальство — Юру с Ивешкой. И уж тем более Ивешкиных случайных мужиков. К себе она их не таскает. Дома сын-старшекласник, к выпускным экзаменам готовится, на медаль идёт.

Эх, не поспать мне сегодня! Вздыхаю и отворяю подгулявшей компании. Те с порога быстро со мной знакомятся (на этот раз экспедиторы зоопарка, возят львам уколы), включают музыку на полную громкость, на столе раскладывают бутылки, салаты, нарезки в пластике... Люблю пожрать на газете!

Клиенты думают, что у нас на почте мухи от тоскидохнут. Днём-то всё чинно и благородно. А видели бы нас ночью! Даже стены заливаются краской при виде того, что иногда устраивает Ивешка. Открытки с молчаливым осуждением взирают на её бесчинства и отворачиваются, рассыпаются... Наутро раскладываем по новой. Завтра их продадут, и никто ничего не узнает. Главное, под камерами не засветиться.

Свободный экспедитор приглашает меня на медяк и заплетающимся языком уговаривает не влюбляться в него, так как он, оказывается, женат. Я клятвенно заверяю.

Наконец перед газетами, как перед третьими петухами, вся эта экспедиторская нечисть сваливает. А я горемычной золушкой возвращаюсь из кухни-дворца в доставку. Как же душно! Навалились, надышали, надымили... Приоткрываю кое-как окно, на подоконнике вездесущие подшивки, цветочные горшки и хрустальная ваза с чернильными потёками и какой-то засохшей дрянью внутри. Благодать за окном! Тихо, все

спят. Без авто и прохожих. Только из кладовки ровный приглушённый шум неугомонного моторчика. Закрутилась в танце с экспедитором и забыла посоветоваться с Ивешкой, которая положила бы на китайский фаллос наш метафизический «болт», а приличнее говоря — махнула бы рукой, и никакой акт под её ответственность я не составляла бы.

Утро вечера мудренее. Придёт вторая голова — посоветуюсь. А пока оставляю пустой пакет здесь же, среди королевских гераней, которые вообще-то нигде не приживаются, а у нас на каждом подоконнике чувствуют себя так же по-царски. Это Ивешка озаботилась, любит ухаживать за комнатными цветами и домашним сыном.

У казённой герани много поклонников. Вот злобная бабка Шалаева, думая, что её никто не видит, дёргает молодые ростки. У нас отделение даже крапивой и чистотелом осажено, а почту всё ругают: нечистая сила, нечистая сила... Это кто ещё нечистая сила? Вот эта самая бабка-воровайка, которая тырит герань и замахивается на нас клюкой, кого хочешь до белого каления доведёт. Она бывший главбух на литейном заводе. Теперь вот память как у рыбки. По несколько раз на дню донимает:

— Отдайте мою пенсию! Почта украла мою пенсию!  
— Да вы ж пятнадцатого числа получали! Вам лично начальник выдавал!

Уже и почерк её сличали. Уже и очередь её выучила наизусть. Сами готовы доплатить, лишь бы отвалить от себя! Она брошенная. Сын семейный, вечно занятый на работе. Ивешка ловила его пару раз на улице, предупреждала, проводила воспитательные беседы. Берегите бабульку! Подберут доверчивую старушку! Замучаетесь бегать по судам и отвоёвывать назад родительскую квартиру. Вот уже и участковый наш на неё облизывается. Но сын отмахивается беспечно: бабка официально недееспособная, её подпись ничего не стоит. А всё равно придётся доказывать справками да экспертизами. Увязнешь и не выберешься...

Так, остался один флэт. Тот самый, подозрительный. Почему-то у нас с флэтами (крупноформатными жёлтыми ящиками) всегда напряжёнка, чем с обычными синими. Потому смотрится как диковинный. Ещё большей диковиной кажется «акула» (пломба для затягивания и одновременного опечатывания тары). Для задела мешковой тары обычно используют верёвочный шпагат и круглые металлические пломбы, а для ящиков — пластиковые номерные. Зачем, спрашивается, пломбировать ёмкость с простой корреспонденцией, тем более «акулой»? У нас и страховые-то не всегда пломбируют. А простые письма — как макулатура в нагрузку, нигде не приписаны, не отслеживаются, выдаются без расписки, потому легко теряются.

У «акулы» есть специальное ушко для крепления ярлыка и удерживающие шипы. Поэтому её иногда называют не «акулой», а «крокодилом», у которого тоже на морде такие же впечатляющие гребни. Интересно, кто сильнее: белая акула или гребнистый крокодил? Размеры обоих — шесть метров в длину. Но акула по весу превышает на тонну. Она скоростная и отлично маневрирует. Зато её челюстная мускулатура, чтобы одолеть врага, недостаточно развита. И не подозревает она, что лишь по этой причине жители малайзийских островов используют её в качестве приманки для крокодила, который в схватке обязательно попытается перевернуть её на спину, чтобы разорвать горло и мягкое брюхо. Ну, или хотя бы нанести увечья, лишить плавников. Но сам рискует задохнуться под водой, если поединок задержится, не разомкнёт вовремя челюсть и не всплывёт на поверхность для спасительного глотка воздуха. А всплывёт на поверхность непременно брюхом вверх, чем окажет противнице, вернее, её зубам, незаменимую услугу...

Руки, как от моря, чешутся. Спать хочется. На всякий случай флэт взвесила. Подозрительно лёгкий. Не бывает таких расхождений! Будто пустой заделали. Интересно, что там? Пять апельсиновых зёрнышек? Трезвой не рискнула бы прикоснуться. Из врождённого чувства противоречия, пробуждённого алкоголем желанием насолить Юре, хватаюсь за ножницы, разрезаю пломбу, вскрываю... Не успела или не захотела разглядеть как следует: что-то вроде окровавленного вялого листа капусты или изжёванного комка серой бумаги. Зато в глаза бросился рисунок человеческой ушной раковины... В сердце моё, певшее недавно соловьём, пробирается жуткий холод. Ведь это в моём воспалённом воображении, да? Только не наяву! Ноги ослабли, не удержалась на них и, потеряв ощущение реальности, почвы под собой, провалилась с затуманенным взором куда-то в себя. Долго меня провожал вниз мутный потолок, пока я не потеряла его из виду, очертания размыло, и провалилась куда-то в подпол, где ничего, кроме противного тошного холода.

## Последствия

Очнулась от звонка в мою голову. Еле осматриваюсь. Едва соображаю. Каждое движение болью отзывается внутри. Будто кирпичом по голове съездили. Корчусь, извиваюсь и шиплю на грязном полу, как змея... Стоп, почему на полу?

Снова звонок, но уже в дверь. Почтальоны! Половина седьмого утра! Нехило в отключке провалилась. Кто-то подложил под голову стопку утренних газет, которых я, странное дело, не успела принять. Не иначе полтергейст сердобольный на почте завёлся. В жилых домах — домовый, на почте — почтовой. Забавно, но ладно. Потом наедине с собой

всё выясню, восстановлю в памяти все события ночи, как отсутствующие звенья в цепи. Ничего в голову не идёт, лишь смутные образы, вернее, даже не образы, а ощущения от них. С трудом что-то припоминаю и приподнимаюсь. Всё плывёт и кружится перед глазами. Подхожу к двери, с трудом целюсь в глазок и вижу, что почтари, устав ломиться, невозмутимо курят на крыльце доставки. — Ты чего, мать, заснула? Мало почты, значит, ночью привезли.

— В туалете сидела, не слышала,—прикинулась заспанной дурочкой, как оно есть, пожимаю плечами и чешу в затылке.

На затылке ощутимая такая шишка! Надо холодное приложить. И выпить холодного тоже не помешает.

Наши почтари сделали вид, будто поверили, а сами себе в подкорку записали, на ус намотали, козырь в рукав затиснули. Раис и Райса, пожилая бездетная пара, сочетавшаяся узами брака на почве общей страсти к «Салавату Юлаеву» и к рытью в мусорных баках, благодаря чему, подозреваю, обставили квартиру. То есть в свой единственный выходной день они либо на матче, либо на барахолке. Помимо башкирского хоккея, бессмысленного и беспощадного, почтари по отношению к существующему начальству находятся в вечной оппозиции. Эти скрытые диссиденты политически грамотны, жизнью, как их туристические свитера, изъедены, дорогами и ветрами помотаны. На всё имеют своё мнение, часто веское и не последнее, а если что-то непонятно, очень доходчиво и толково разъяснят. Они ненавидят власть в любых её проявлениях. Стоит догадаться, как они относятся к нашему пану директору, ярчайшему её проявлению. Им палец в рот не клади, и сами в свой дырявый карман за словом не полезут. Никогда не обольщаются и всегда готовы к худшему. Представляю, какие запасы соли и спичек у них дома! На случай ядерной зимы или пятого переизбрания. И это не может не обнадеживать. Предыдущего почтальона, старичка Сергея Сергеича, в день пенсии ограбили и убили в подъезде. Преступника до сих пор не нашли.

При этом, если любимая команда в кои-то веки победила или копанье на свалках принесло свои плоды, тогда почтари — душки! Они прощают пану директору его существование. И вообще-то, выясняется, умеют договариваться с клиентами. Они достаточно для этого гибкие и адаптивные. Но при этом ужасно злопамятные и мстительные. Тех, кто не желает находить с ними общий язык или, не дай Бог, пожалуется наверх, ждёт неминуемая расплата. Они затихнут, погрузятся в тёмную воду, как коварные аллигаторы, и в самый неподходящий момент... ничего не будут делать. Простые письма, платёжки, извещения — в общем, всякая корреспонденция, которую нельзя

отследить, канет в воду. И всё, тебя больше не существует. Ты ноль без палочки. Потому что в твой почтовый шкаф не приходит ничего! Тебя поставили в игнор! И кто? Какая-то почта... Как говорят стендап-комики в своих одинаковых выступлениях: «Чува-ак, да ты просто жа-алок!»

—...Сто сороковая квартира! В этом доме нет столько квартир! — ворчит перед «выпасом» (разносом на участке) Раис, вздевши длани. — Сто сороковая квартира?! Я на столько же кусочков его не разорву, — и грозит неодушевлённому письму: — Иди-ка ты на возврат, голуба моя... Семидесятый дом? Ага, приду, когда его достроят. Вали-ка ты подобру-поздорову тоже назад...

Мир почтальона сужен до его участка, другого не существует. И когда в этот тесный мирок ошибочно залетают другие адреса, у почтальона возникает сбой. Он сильно расстраивается, что его потревожили извне, спешно избавляется от навязанных интересов.

Это лучше, чем пойти «на экспресс-доставку», что на их циничном, безжалостном аргументе означает «на выброс». Не знаю, как правительство, а наши почтари определённо ратуют за убыль населения. Каждый житель — потенциальный получатель отправления. Меньше народу — меньше разноса, и нормативы по времени соблюдаются.

Чего-то не хватает. Неутомимая игрушка Сомовой не гудит из кладовки. Батарейки, видно, не выдержали... Вспоминаю о ночных бдениях и холодею от ужаса. Ни злополучного флэта, ни отрезанного уха... Будто приснилось. Может, не было ничего? Это в голове моей что-то испарилось? Короткое замыкание, не иначе. Встретив ночью Ивешкин пьяный зоопарк, от алкогольных возлияний пропустила границы яви и сна?

Но ведь машину принимала до того, как подгулявшая компания сюда заявила, и тогда трезвость свою не подвергала сомнению. Значит, был флэт! Как был и резиновый фаллос, на который в здравом уме и твёрдой памяти хотела составить акт! Кинулась к накладным. Вот он, этот мелкий пакет из Гонконга, вернее, его номер! Бросилась под стеллажи — вон он валяется сдохший! В поисках флэта обшарила все подоконники, столы, полки — всю доставку, всю кладовку, весь страховой! Даже на кухне искала! Даже почтальоны за меня переживать стали. Ничего не понимаю... Голова идёт кругом. Срочно домой. Отмываться и отсыпаться. Глядишь, после спасительного душа и исцеляющего сна всё станет на свои места, прояснится само собой. По старой привычке набрала в карман горсть канцелярских скрепок. Это мне напоминание о дедушке, который для своих разных поделок просил у меня... С тех пор хоть старый гвоздь, но с работы что-нибудь да унесу. На чём сажу, то и тащу в дом. В моём случае — гнутые скрепки.

Собравшись, в дверях столкнулась с Юрой. Что-то рано сегодня. Непонятно, кто из нас «птица перепил»? Чей перегар слышнее и свежее? Он мельком глянул на меня, растрёпанную и перепуганную, вернее, мы переглянулись, как сообщники и собутельники, я — на улицу, а он, не здороваясь, рванул к себе и там заперся изнутри.

Не к добру. Когда у пана директора хорошее настроение, то его кабинет — проходной двор, дверь нараспашку: всех запускает, всех выпускает. Запросто стрельнуть сигарету или конверт без спроса взять. В дурные дни попробуй зайти, ляпни или тяпни что-нибудь без разрешения. Четвертует, покромсает и в этот же конверт положит.

В своей согревающей хрусткой постели мыслями всё ещё на почте. Всё ещё себе чужая и противная. Есть фильм ужасов «От заката до рассвета», а есть почта ужасов «От зарплаты до зарплаты». Кажется, сегодня побывала и там, и там. Даже после прохладного душа ощущение, будто застряла внутри великанши, которая всё никак не отрыгнёт меня, наоборот, всё больше затягивает в утробу. В дрёме, как в её желудочном соке, растворяюсь и одновременно окунаюсь в знакомую атмосферу рутины и паники...

А вечером опять в смену. Делать нечего, не сразу встаю, долго собираюсь, нехотя ужинаю, сильно туплю и спускаюсь в свой личный ад!

Гуля днём одна работала. В злобной тишине закрывает кассовый день. В «царском» кабинете густо дымят и тоже мрачно отмалчиваются. Значит, не помирились. Хотя пану директору ничего не стоит растопить её сердце. Достаточно назвать её по имени. Но Юра не из тех, кто извиняется перед девочкой за помятое платье.

Чтобы ненароком не столкнуться с Юрой, помогаю Гуле заделать мешки и ящики. Не знаю, как поделиться с ним тем, что произошло ночью. Даже не заикаюсь. А какие подобрать междометия? Ведь только они и годятся для моего бессвязного рассказа. Пережитый ужас не поддаётся описанию. А если всё же облечь этот кошмар в слова, то получится ерунда... И ещё мне кажется, что он всё знает. И оба мы сходим с ума. Поодиночке. Из-за одного того же. Чувство какого-то досадного упущения не даёт покоя.

Закончив с кассой, Гуля демонстративно пулей вылетает из страхового. Даже не поблагодарила. Минут через пять звонок, как всегда некстати, подкидывает меня как на пружине. Будто с личным поймали! Странно, для машины ещё рановато. Привычно высматриваю в глазок: на крыльце доставки Шурик и Эдик. У Юры робко выпрашиваю: впустить? Он заметно напрягается и, поразмыслив, всё же даёт добро.

Шурка, днём такой балагур, входит темнее тучи, едва взглянул на меня, больно задел плечом и сразу, держа руки в карманах, двинулся в Юрин

кабинет. Ах ты, Шурка, деловая колбаса, подойди ко мне ещё!

— Исэнемесез,— глумливо здороваются с паном директором.— Как халляр?

— Вашими молитвами,— так же задиристо отвечает тот.

Следом за Шуриком — участковый Эдик, и тоже с видом пришедшего по конкретному делу. При этом дебильным голоском тянет:

Пи-иську, письку снова на почту несу,  
Сло-овно я роман с продолженьем ищу.  
Зна-аю, точно знаю, где мой адресат,—  
В до-оме, где резной палисад.

Вот из-за кого в пору чертить по ночам меловой круг. Участковый, бл\*\*\*! В какой шараге учат на таких участковых? Просто не похоже, чтобы человек, по его же словам, имел высшее юридическое образование. В его голове и в его телефоне собирается разный хлам. Он слушает пранк и смотрит порно. Короче, обожает человеческие мерзости. И ему не терпится поделиться этими мерзостями. Чтобы другим стало так же хорошо или плохо. В этом смысле с работой ему повезло. Где, как не в полиции, вынуждены копаться в адовой грязи? Почта в этом смысле рядом не стояла. По сравнению с полицией почта — институт благородных девиц. Хотя обе на «П». В этот раз у него в телефоне скандально известный актёр П. практикует пеггинг. Видео показал всем. Даже мне.

— Ладно бы там бабы участвовали,— не оценил Юра, поморщился.

— В отделе тоже сразу в пидорасы записали,— Эдик вынужденно убрал телефон.— Это же антикультура! Это протест, бл\*\*\*!

— Протест,— закашлялся Шурик.— Ты вообще-то представитель власти...

Всё это я слышу через приоткрытую дверь. Шурик спохватывается и закрывает её плотнее, но до меня в пустом клиентском зале, где в гулкой тишине шум кондиционера и холодильника и я безрадостно вожу по цементному грязному полу вечно сырую вонючую тряпку на палке, долетают некоторые вполне мирные обрывки:

—...А хорошие у тебя девочки работают,— оценивает Эдик.

— Плохих не держим,— отвечает пан директор.

— Особенно Гулька. Но седалище такое, что одному не справиться. Я худых люблю.

— А тебе много не надо — сто грамм да бабьей жалости чуток...

Интересно, что обо мне говорят, когда думают, что ничего не слышу?

Но постепенно от дежурных фраз переходят к крепким словечкам и открытым угрозам. Сердце заколотилось, и шум кондиционера с холодильником, кажется, усилился. Непослушная дверь

снова чуть раскрывается, и доносится больше необходимого:

—...Ты не огрызайся, мы вообще-то по старой дружбе предупредить тебя пришли...

— Ваша дружба, выходит, не старая, а бывшая? — подкалывает Юра.

— А ты как хотел? — возмущается Шурка. — Мы тебе такое место пригтели, к деньгам нормальным приучили, колбасу начал покупать... Но ты, Юрец, как всегда, на ровном месте всё похерил. Такую «дорогу» испортил! Нам эта «дорога» знаешь как досталась? — А всё потому, что ни хера дельного делать не умеешь, — объясняет Эдик, — руки не из того места растут. Почта — твой жизненный путь, такой же бездарный, как и ты сам.

— Только вот попрут его отсюда. Даже здесь ты не сгодишься, братан.

— И чтоб всю жизнь потом на хачей работал. Жили без тебя нормально, работали...

— Мы за тебя поручились, а ты нас так подставил со своим родственником!

— Он мне не родственник.

— Ты его привёл! — напоминает Шурка. — Ты его водилой определил. С тебя и спрос. А он всё это время крысил у тебя под носом — и знаешь у каких людей? А ты его прикрывал! И нас за собой утащить надеешься.

— Вовремя ты перевёл стрелки, Сань.

—...И х\*\*и им толку от ваших бесплатных жизней? — продолжает свою мысль Шурка. — Родственника уже наказали. А с тобой что делать, Юр?

— Короче, как ущерб возмещать собираешься? Как «недосдачу» отрабатывать будешь? Месяц тебе срок, понял?

— Ты мне сроки не ставь, понял? Эдила-мудила...

— Ну, значит, тебя поставят, — обещает Шурка. — Выбирай: или к стенке, или раком.

— Хайло своё завали, пока кадык не вырвал! — не выдерживает Юра.

Шурка, потеряв терпение, со всей дури заехал Юрцу. И Эдик следом за ним добавил, обрушив на голову бывшего друга табурет, на котором только что сидел.

Когда по е\*\*лу получает твой мужчина, когда слышишь, как клацают от чужого кулака его зубы (самый чудовищный звук), всё, во что верила и на чём стояла, рушится. И рушится, казалось бы, несокрушимое, незыблемое, основа основ.

Юра как ни странно, сдачи дать не пытается. Лежит нелепо в обломках стула. Не догоняет и не сопротивляется. Только, закинув голову, с хлюпаньем втягивает носом кровь. И проверяет на ощупь здоровенный гуль над глазом. Знает кошка, чьё мясо съела. Таков порядок. Субординация. Иерархия, где он, оказывается, не на первом месте. Всего лишь промежуточное звено, как бы влюблённым в него девушкам ни хотелось обратного.

— Тихо, Эдик, хребет ему сломаешь, — смягчается Шурка, обсасывая костяшки пальцев со свежими ссадинами.

— Ярый хребет. Он мебель на почте ломает, — жалуется Юра, приподнимаясь с пола.

— Юрец, тебя на бабки поставили, а ты о казённой мебели печёшься. Кто о чём, а вшивый о бане...

Я успела спрятаться на кухне, когда эти двое вышли и свалили окончательно. Через несколько минут выползаю из укрытия и осмеливаюсь заглянуть с аптечкой.

— Чего уставилась? — Юру бесит мой жалостливый взгляд. — Ищи давай!

— Кого?

— Что! Пакет мелкий, который прое\*ала! Сомова сегодня приходила, разорялась, массажёр ждёт невые\*енной, между прочим, цены. Ты ставила ночью на приход. А теперь ни пакета, ни полки присвоенной, ни извещения. Гулька всё обыскала сегодня.

Ах ты, гад! Самотык нимфоманки Сомовой дорожке зарплаты родного оператора! Уже и кровь из носа не течёт. Потому что у самого вода вместо крови. И воду из крана как ни в чём не бывало наливает себе из чайника, заваривает пакетик. Собирается чай с сахаром вприкуску пить, как старый хрыч! Его на деньги поставили, а он на меня стоимость срамного уда хочет спихнуть.

— Я не только массажёр потеряла. Ещё и флэт. С ухом...

По лицу пробежала тень.

— Ты про что вообще? — как можно беспечнее спрашивает Юра. — Дэвида Линча насмотрелась? Или просто мухоморов степных объелась?

— Про тот, что Пляка на сортировке заделал. И водила новый без накладной привёз.

— А про нашего водилу ничего не сказали? — вкрадчиво интересуется Юра, но голос при этом чуть дрожит.

Ну наконец-то что-то человеческое в нём происходит!

— На больничном. Пошёл к ухогорулоносу и... заболел.

— Так и сказали?

— Нет, сказали «к отоларингологу».

Шутка не удалась.

Он меняет тактику. Как бы между прочим, держа в руке горячую кружку, выходит из-за стола и присаживается на его край передо мной:

— И где же теперь этот флэт неприписанный? Я же просил оставить.

— Плохо мне стало, — признаюсь честно и делаю шаг назад.

— Дрыхла, наверное, — издевается он, спокойно отпивая из дымящейся кружки.

— А пока мне плохо было, — настаиваю, с опаской косясь на его кружку, от которой даже мысли будто ошпарены, а его губам хоть бы что, — кто-то пришёл

со своим ключом и забрал флэт,—многозначительно произношу, опустив очи долу,—а ещё принял газеты и стопку мне под голову заботливо подложил. Не иначе барабашка! Домовой-почтовой.

Всё это время он, закусив губу, бесцеремонно, как бы в задумчивости, изучает меня. Будто впервые увидел.

— Тебе это всё приснилось,—с насмешкой убеждает меня,—никакого флэта не было.

— Значит, массажёра Сомовой тоже в помине нет,—и на этом ставлю точку.

Юре сказать больше нечего. Вместо продолжительных споров вплотную подступает ко мне и другой рукой берётся за горло. Почти хватается. Клешня у него властная, а шея моя тонкая, почти усохшая от недосыпов и ночных переживаний, и кажется, что большой и средний пальцы его вот-вот соединятся в объёме. Это перед Шуркой и Эдиком он дал слабину. А меня заломать ничего не стоит. Мне не хватает воздуха. Но его это не смущает. Он сильнее сжимает руку и склоняется надо мной. Кажется, задыхаюсь. Зато есть возможность как следует рассмотреть его глаза, определить, почему такого сложного мозаичного цвета. Оказывается, при тусклом свете зрачок его расширяется, поглощая вокруг себя янтарный звездчатый ободок, остальная часть радужки из приглушённо-медно-зелёной, болотной окончательно становится сине-зелёной, морской. Если выживу на почте, то потом непьющими свободными вечерами обязательно буду мечтательно перебирать в памяти оттенки его глаз. Как невесты в старину, купеческие дочки, которые любовались перед камином своим приданым из сундуков—обработанными, сверкающими гранями уральскими самоцветами.

Но надолго меня не хватило. Вырываюсь в панике, он отводит руку от греха подальше, хочет поставить кружку на стол, но не успевает, кипятком выплёскивается на него, несколько капель достаётся и мне. Я кидаюсь к двери. А он в бешенстве кричит вдогонку:

— Вернись, падла! Прогул поставлю...

Но тут меня и видел! Не до прогулов теперь. Не до жиру, быть бы живу. Забегаю в свой подъезд мимо сирени, свидетельницы прошлого года Юриного трудоустройства. Когда он пришёл в сентябре, этот высокий зелёный куст будто с катушек слетел! Тогда на его разросшемся скрученном стволе, вопреки осени, распустилась нежным цветом ветка. Теперь же нынешней весной эта ветка окончательно засохла.

Прибегаю домой, свет не зажигаю, не раздеваюсь—сразу в кровать, которую с вечера не заправляла. Долго, как в родительской утробе, ворочаюсь, ищу удобное безопасное положение, пинаюсь... Но колотит под одеялом до жути! Всё кажется, что придут за мной, вызвонят в дверь и утащат вниз.

Сбилась режим. Не могу заснуть. Сбилась с курса. Как дальше жить? Что это было? Попытка изнасилования или попытка убийства? Эрос или танатос? И Шурка туда же! Обернулся зверем. Мы ведь на этой почте как родственники, пусть и дальние, но всё же... Не знаю, сколько времени прошло. Не высывая носа из-под одеяла, приподнимаюсь на локтях. В противоположном доме зажгли окна. А ведь Ивешка сегодня снова собирается кутить на почте. Привалят «цыгане шумною толпою», а там сидит чёрт лысый из другой сказки. А сказка у него страшная. Кажется, про золотого петушка...

Набираю ей, чтобы предупредить и заодно поведать о делах наших скорбных. Ивешка как раз собиралась с экспедитором на свиданку.

— Отмена! У нас «душманы» в отделении засели.

— Ага,—расстроилась.—Опять, значит, флэт неприписанный придёт?

— Вчера ещё приходил,—вздыхаю и плачу,—и пропал.

— Как пропал?—поперхнулась в трубку...

### Серьёзный разговор

Утром ноги сами идут в отказ—не желают больше спуститься в этот загхлый колодец. Из него я пила как из чаши забвения и пребывала в пограничном состоянии—между сном и явью, между небом и землёй. Будто любовного яду пригубила. И всё было мало. Неутолимая мазохистская жажда настоящей жизни, унижений и страха. На почте не могут работать нормальные люди. Там остаётся народ пропащий, конченный, живущий по принципу: чем хуже—тем лучше. Чтобы проверить себя на предмет поведенческих отклонений, совершенно не обязательно записываться на приём в ПНД. Вот пришла на почту, понравилось—всё! Без всякой справки диагноз налицо. Мы получаем удовольствие истязанием—оказанием населению почтовых услуг.

Юра—главное отклонение от нормы, под которую постоянно неестественно подделывается. Не умеет вести себя в соответствии с социальными установками. Не вписывается ни в одну схему. Вне рамок и вне системы. Под широкими веками и сдержанной рассеянной улыбкой скрывается главное—сильная потребность в свободе, авантюрный склад характера, который, как ни старайся, никуда насильно не задвинешь! Не будет всю жизнь копаться в цифрах и корпеть над бумагами. В этом его обойдёт усреднённая и усердная бухгалтерша Ивешка. Единственный выход—нарушение закона. С такими обходами загонит себя на край пропасти. Не удержится—и разнесёт его к е\*ням.

Сама я и пришла в отделение сразу после школы. Потому что не поступила. Звучит как заезженная, растиражированная исповедь проститутки из газетной статьи. Наверное, такие статьи я первое время и сочиняла бы, если поступила бы,

как мечталось, на журфак. Когда люди узнают, что работаю на почте, смотрят не то с откровенной жалостью, не то с затаённым ужасом, как на добровольного прислужника сатаны. А я ни в какой секте не состою, максимум в подпольной организации ТОТР.

Некоторые наивно полагают, что нет ничего проще: сидит почтовая тётка на попе ровно, марку клеит, очередь собирает, мир ненавидит, чертей вызывает... Неквалифицированный труд. Проще некуда. Я сама на это повелась. Думала, перекантуюсь. Оказалось, это всего лишь вершина айсберга или, наоборот, язычки адского пламени, пар из котла. Бездна разверзлась подо мной, но было поздно, чертенята бережно подхватили меня под локотки и понесли вниз. Первые полгода тряслась жутко. За день до смены портилось настроение. Чем ближе день «Д», тем учащённее сердцебиение, бледнее кожа, «деревяннее» мышцы. Не понимала, что за на х\*\* такой в моей новой жизни творится. Эта взрослая жизнь? Она такая, что ли? Обломись, бабка, ты на корабле! И невдомёк никому, как бьётся сердечко маленькой почтовочки в старушечьей синей юбке и мужских туфлях, которые по складской накладной идут как «дамские». Ощущение, будто почта боится, что у неё из-под носа уведут самых перспективных и многообещающих. Как Панас Петрович боялся за красавицу Людмилу Добривечір в «Королеве бензоколонки». Поэтому из года в год почта снабжает своих операторов формой из остатков дореформенного кроя.

Но теперь—баста! Одним росчерком расквитаюсь со всем ужасом и срамом. Расплюёмся со счастьем. Потом уже буду думать, куда податься и чем прокормить себя. Приглашение на творческое собеседование мне точно не светит. Журфак—не про меня.

Говорят, по статистике больше половины потом возвращаются. Помыкаются блудные дети и возвращаются за своей верной бюджетной копеечкой. А лучшей доли всё равно не бывает. О ней только в сказках пишут и в новостях врут. Я вот тоже с первого класса мечтаю о пенсии. На почту идут горемыки, не пригодившиеся, списанные в утиль. Или потому что график удобен. Потому что работа рядом с домом. Потому что зарплату вовремя выплачивают. Почта не кинет, как другие АО. Задерёт до смерти, но заработанную копеечку бросит на свежую могилку, никуда не денется. Ведь, кроме почты, никто не приносит пользу. В стране ничего не производят. Почта—последний остров стабильности. Все фирмы, которые у нас абонировали, постепенно закрываются. Их забрасывают судебками, они вроде сначала бодаются, ходят на все заседания, а потом затихают и вовсе исчезают.

Лишь бы подписал заявление. А куда денется? Пожалее ли обо мне? Заставит обрабатывать? И за положенные две недели они меня с Шуркой

и Эдиком и грохнут среди ночи. Кому нужны лишние свидетели?

Тяну себя на подъём. Я сломанная кукла, мне сломали жизнь, но по инерции, как заведённая, без умывания и завтрака, послушно поднимаюсь, одеваюсь и спешу вниз.

Неслыханное дело: пан директор уже на месте! В его кабинете снова разгорается свара. Неужели Шурка с Эдиком привалили? Или ревнивая Гулька сцены закатывает? Подкрадываюсь к двери, высматриваю в щели и чутко прислушиваюсь:

—... Ты хоть представляешь, с какими людьми мы связались? Кто над вами стоит? Этот Пляка со своей наркотой до греха вас доведёт,—Ивешка скорбным тоном проводит с Юрой воспитательную беседу. В качестве поддержки пригласила почтарей, которые пока соблюдают нейтралитет, отмалчиваются.—Совсем ты берега попутал, Юра. Не чувствуешь, что живёшь. Ничего полезного не делаешь. Только девок портишь. Ни та, ни другая не хотят больше работать. Каждый вечер выслушиваю... — Ты с дуба рухнула?—оскорбился Юра, про девку—мимо ушей.—Скажи ещё, что наркоту на приход ставлю и барыжу из-под полы потихоньку.— Вас же прибьют!—хватается за рыжую голову Ивешка, боязливо прижимает свои лисьи ушки.— Теперь ещё и нас зацепит.

— Юра, а уходи-ка ты с почты!—неожиданно предлагает Раис.— Не твоё это место. Иди сразу в «Газпром». Или в Кремль. Там таких желающих до хорошей жизни много. Там твоим имперским замашкам найдут ценное применение. А мы здесь, нищие и убогие, как-нибудь без тебя обойдёмся.

Юра, уходи... Не твоё это место... А то чьё же? Никто ведь с детства не мечтал о почте. Как в Спарте, побросали нас всех в яму «apothetae». Мечтали устроиться в школу, полицию, банк (хотя в сберкассах уровень самоубийств сотрудников бьёт все рекорды)...

— Мы тут орём друг на друга, косячим, теряем, бухаем,—продолжает Райса,—но никто ни разу ничего нарочно не вскрыл и не скрыл (у тебя же это часто наблюдается). Замечал, на посылках пишут: «Запрещённых вложений нет»? Читай чаще и внимательнее.

— И никто ни разу никого не ударил,—добавляет Раис.— А сейчас у меня стойкое желание загасить тебя.— Ну так в чём же дело?—приподнимает Юра бровки.

— И уж тем более ни разу к нам не приходили бандюки с угрозами. Всякое было, и в девяностые в том числе, но до такого только ты додумался! Со своими делами уходи-ка ты в другое место. Уходи по-хорошему. Мы связисты. А не бандиты. И не барыги. И не чинуши. А вот кто ты—мы до сих пор не разобрались...

А вот Юра, кажется, догадался, до него дошло кое-что, но вида не подал, а только изрёк скорбно:

— Я-то свалю с семьёй — и поминай как звали. Но они-то повесили деньги на отделение. Не найдут меня — и они сожгут это отделение вместе с вами.

Ивешка как заскулит, как взвояет да как залепит Юрцу пощёчину! Бедненький, что ж его несчастному рыльцу так не везёт?

Тем временем снаружи собрался страждущий народ, ломится в дверь, подгоняет нас, дармоедов. На часах восемь ноль одна. Хватаю связку ключей и бегу отворять.

— Почему вовремя не открываете? — с порога озадачивает меня Юрина Кураторша с почтатом, пропуская вперёд клиентов.

Молодящаяся стерва, принесла тебя нелёгкая! За ней ещё несколько человек с казёнными лицами и бейджиками на груди. Бурнаши на крыше! Проверка!

Мне нечего сказать. Вместо ответа растерянно развожу руками. В этот момент все как один устремляются взорами на страшный грохот и истошный вопль, перекрывающий общий гомон клиентов. Я оборачиваюсь: из Юрино кабинета, сорвав с петель дверь, раскидав операторские стулья, перекинувшись через операторские столы, вываливается в клиентский зал спутанный клубок извивающихся человеческих тел и катается по бетонному полу на глазах у всего честного народа. На потеху публике, к ужасу инспекторов... В наступившей сосредоточенной тишине мои коллеги с перекошенными лицами, выпученными глазами и разинутыми ртами кусаются, дрыгают ногами, размахивают кулаками. Их молчаливую возню изредка нарушают клиентские смешки, вспышки на телефонах и беспомощные крики Кураторши. Юра пытается отбиться от повисшей на нём совершенно невменяемой Ивешки. Раис со злобным оскалом набрасывается на него с другого плеча, пытается оторвать рукав и все имеющиеся пуговицы. Райса бьётся в истерике и безуспешно пытается отодрать своего благоверного от тела начальства, но в этом ей мешает Ивешка. Я запуталась, честно...

В мстительном запале, в накопившейся за несколько месяцев дикой злобе, ни на кого не обращая внимания, этот неразборчивый ком высыпается на крыльцо, где Юре удалось-таки вырваться, откашляться, оттянуть ворот и добежать до торца, чтобы спрятаться в доставке. Он, запыхавшись, судорожно пытается по памяти набрать дверной код, но неумолимые преследователи тут же сбивают его с ног, и они снова валятся друг на друга...

### Последняя смена

Вообще-то драки и пьянки на всякой работе запрещены. Наша почта — не исключение. Но работать работу некому — у нас хронический дефицит кадров. Потому всем досталось по выговору. Даже мне впяли. Но всё же дорабатываю две недели.

Юра подписал заявление. И глазом не повёл. Будто муха в окно улетела. С Гулькой помирился.

Но есть и свои плюсы. За оставшиеся две недели ни разу не докопался до меня. Даже в сторону мою не глядит. Уж лучше бы орал и придирался. Но ему не до меня. Потерял в весе, лицо осунулось. Думает, где деньги взять. Ума не приложу, как он будет это делать. А ещё Сомовой восполнять потерю. Ну, здесь-то он справится. Натуру никто не отменял. Драку, кстати, выложили в сеть. Куча просмотров. Клиенты до сих пор попрекают и злорадствуют. Почтальоны с синяками, начальство в царапинах... Друг друга ненавидят, но работают.

Так вышло, что последняя моя смена приходится на ночь. Долго отнекивалась, не хотела подписывать график, но меня заверили, что в Багдаде всё спокойно, можно не переживать. Обмена не будет — машина не приедет. Только газеты принять. Отлично! Сейчас «добью» последнюю ёмкость, которая с дневной машины осталась, — и до четырёх утра под усыпляющую морось спать! Но на пустой желудок не работается. Свою стопку «бутификов» ещё в обед сточила. Пошла на кухню «чифирить» и подьедаться.

Но на кухню лучше не заходить. Холодильник разморозили и отмыли. Ивешка, чистюля, бдит. А раз размораживали, значит, большинство продуктов на выброс. Поживиться нечем: ни вялым огурчиком, ни задумавшимися сосисками. Иду в Юрин кабинет, который не всегда ставят на сигналку и часто не запирают на ключ. Мысленно потираю ладошки: сейчас поживлюсь, раздобуду что-нибудь в ящиках или на полках.

Кто ищет, тот обрящет. В Юрином столе сухая ириска и какой-то травяной сбор, который он частенько наяривает для бодрости. Иван-чай, что ли? Не очень люблю все эти «фиточаи», от них давление падает, оно у меня и так ниже плитуса, как и моя растасканная к херам юная жизнь. Но, как говорится, на безлюдье и Фома дворянин. Не всё же кипятком обходиться, чтобы только чувство голода заглушить. Отсыпаю себе чуток в кружку — вряд ли заметит. Пока заваривается и остывает чай, просматриваю бумажки на столе: спущенные приказы, всевозможные отчёты, товарные накладные, информационные письма, служебные записки, черновики, на которых цифры, цифры, цифры... Они у Юры никогда не сходятся. И жизнь такая же — не сходится с задуманным. Боже, как всё это теперь далеко от меня! Вырвалась из плена и больше ни ногой!

Чтобы снова почувствовать обретенную свободу, подхожу к решетчатому окну, за которым сетчатый дождь, и курю в узкую форточку. На широкое крыльцо доставки выползает прохладно, мокро и боязно. На краю обширной лужи, под фонарным столбом, умывается серо-дымчатый котик в белых носочках, который на мгновение

зевнул, показав красненький треугольник пасти. Рядом в этой же воде с радужными бензиновыми пятнами голубь полощет свои когти и тут же пьёт из неё, хотя рядом лужа меньше и чище. Странно, котята в этом дворе каждый год новые и разные, а птицы всё те же. Так и дни наши, словно старые голуби, не меняются, вязнут в грязной луже, вечной выбоине для сбора осадков, которую наблюдаем круглый год, от которой нет спасения. Это наша метка, зарубка, её не латают, чтобы не забывали, кто мы есть и где живём.

Помню, несколько лет назад в СМИ полоскали новость: в каком-то отдалённом населённом пункте начальница одного из отделений вместе с гражданским мужем умыкнула несколько мультёнов, предназначенных для пенсионных выплат. Их очень быстро нашли, но лишь потому, что они особо не прятались и деньги не ныкали. Наоборот, жили открыто, на широкую ногу. Тут же махнули на юга, где отлично кутили, сорили деньгами: ночевали в пятизвёздочных отелях на шелковых простынях, в изысканных ресторациях заказывали элитные вина, закусывали морепродуктами, любовнику выбрали авто представительского класса, купались в тёплом море и грелись в джакузи. В общем, вели себя так, будто украденная сказка не закончится никогда. Хотя изначально это путь в никуда. Им не было жаль этих денег, потому что деньги им не принадлежали и их было вдоволь. Им не было жаль себя, не думали о наказании, ведь предыдущая нищая жизнь уже была сущим наказанием.

Общество разделилось. Одни на словах осуждали и молча завидовали. Другие жалели и возносили до небес. Для них эта баба стала кем-то вроде Робин Гуда. Её бессмысленный поступок — акт самоуважения, форма протеста в связи с региональной политикой, направленной на обнищание народа, несправедливым распределением финансов. И, как подтверждение, на заседаниях показательного суда через решётку — её глаза! Горящие адским огнём, удовлетворённые, насытившиеся, наперёд прожившие несколько полнокровных жизней, а не тянущие из года в год ту же серую прочную ляжку.

Интересно, что происходит в головах людей, которые так неоправданно рискуют? О чём они думают? Наверное, о том же, о чём сейчас болит голова у Юры. Решился бы он на подобную авантюру? И если да, поехала бы я за ним?.. А он позвал бы?

Один столичный журналист даже приезжал в тот убогий заштатный городишко, где увидел такую же миргородскую лужу перед отделением, как у нас, и коллег, все как одна, с химкой и в люрексе. Наша Ивешка не носит химку и люрекс. Стрижётся коротко, красится в рыжий цвет, хотя от природы пышные пшеничные волосы. У меня в голове тоже иногда попадается плотный кудрявый рыжий волос. Вырываю безжалостно и подолгу

разглядываю на свету. Потом перехожу к веснушкам на лице. Начинают одолевать сомнения... Но это, видимо, просыпается во мне прашур Сашка, которого в годы Крестьянского восстания женили на смуглой башкирочке Фатиме. Так яички казаки и южноуральские инородцы становились побратимами. Пугачёв одних вешал, а других объединял. Потом сгинул на войне казак, а вдову снова выдали замуж, но уже за своего, башкирца, а малолетнего казацкого сына раскрестили и дали новое имя — Абдулла. С него и ведётся наш род Абдуллиных. Но Сашкины веснушки дают иногда о себе знать.

Интересный вкус у чая, ну да ладно, пошла работу работать... Странное дело: пока таскалась туда-сюда, со мною приключился почти анекдот — на почте затерялось письмо. Нет его нигде, и всё тут. И акт уже не напишешь, потому что сверила и закрыла электронную накладную в программе. По количеству всё сходилось. Да и кто бы заметил это письмо, которое как капля в море, как иголка в стог сена? Лишь бы не судебное, мать его! За него придётся выложить пятьсот рэ. Там пятьсот, здесь пятьсот, и ещё раз пятьсот, а потом снова пятьсот... Вот и набезжала сумма — почти билет до какой-нибудь Москвы.

Не хочу крыжить до посинения эту иголку, вылавливать чайной ложкой из моря нужную каплю. Я ведь ухожу из отделения, вот пусть отвечают другие — например, тот же Юра. С него и так как с гуся вода. А с нас три шкуры. Ну, не шкуры, конечно, а всего лишь верхний слой кожи. Когда, случается, ищешь письмо, пальцы стираются в ноль. Уж не знаю, как правильно называется эта аллергическая реакция: то ли сухой дерматит, то ли экзема. Можно, конечно, при работе с тонкими письмами использовать строительные перчатки, которые нам выдают на складе, но подозреваю, что это не очень удобно. Наше высшее руководство вещает, что количество почтовых отправок, которые не доходят до получателей вовремя, превышает восемь процентов от общего объёма. Не исключено, эти восемь процентов сосредоточены именно в нашем отделении...

Когда сильно переживаю из-за чего-то, вырубаясь на ходу. И при этом медленно схожу с ума: заговариваюсь, все свои действия комментирую вслух, так что даже клиенты иногда нехорошо посматривают в мою сторону. Что-то совсем повело. Говорят, такое случается, если долго вдыхать нагретый сургуч или свежие утренние газеты. Но сургуч отменили, а газеты ещё не привезли. Зато я подкрепилась чужой заваркой! Юра, гад, что ты мне подсыпал? Обессиленная, одурманенная, еле на ватных ногах стою, чугунную голову кое-как держу, шатает из стороны в сторону, прилегла на транспортёр, а широкая чёрная лента конвейера как завелась, как начала меня перемальвать, прокручивать... Надо мной движется старый потолок,

он держится на дранке. Как бы он не обрушился на меня.

Вдруг звонок подкидывает меня как на пружине, и лента наконец утомилась. Отворяю люк обмена, в дождевой дымке не видно ничего, как бы ни шурилась от капель, уличный фонарь не горит, окна давно погасли, луна и не думает выходить. Лишь пляшет в измороси жёлтый свет фар бывшей машины. Как только глаза привыкли к мокрой темноте двора, с удивлением рассмотрела дребезжащую развалюху с деревянной кабиной, похожую на фургон «Хлеб» из «Места встречи...». Совсем почта обнищала: до старых зисов добрались. Автопарк не обновляется. Водители бегут...

Автомобиль в потёмках разглядеть удалось, а вот водила совсем какой-то неуловимый для зрения, будто слившийся с темнотой или из неё самой сотканный. Лишь светлые рукавицы, будто повисшие в воздухе, ловко работающие сами по себе, отдельно от хозяина. И глазки маленькие из-под козырька кепки выглядывают, поплёскивают во мраке. И серые облачка солдатской козьею ножки изредка выпускает изо рта. Надеюсь, это не тот самый, который привёз мне тогда чужое ухо... Вот он со скрипом отворяет дверцу фургона и с душевным ламповым матерком бросает мне на ленту ящик и стопку газет в толстом полиэтилене. Из утробы фургона веет могильным холодом.

Опять на ночь глядя начиталась Кинга!

— Говорили, не будет обмена. Опять ящик? — кутаюсь сильнее, кашляю в свой свитер.

Невидимый водитель, пожевав козью ножку, перекинув её из одного угла рта в другой, наконец пыхает мне в лицо вонючим дымом:

— А мне какое дело? Мы вообще-то Юрцу тут маленько решились подсобить.

Опять Юрец! Да что ж такое?! Опять угрожать приехал? И, как всегда, витиевато...

— Передай ему, чтоб на Акташ срочно ехал, — продолжает он.

— Ночью, что ли? — пугаюсь.

— Когда приедет, уже не ночь будет, — уверенно заявляет водила. — Ну, бывай!

— А как я ему скажу среди ночи? У него жена... Сами звоните!

— У меня двушки закончились, — сплёвывает тот себе под ноги и со всей дури хлопает дверцей фургона.

Боже, какие двушки? Что он несёт? В какую историю Юра опять угодил?

От грохота дверцы снова подбрасывает меня, почему-то уже лежащую на ленте. В ту же секунду с потолка у стены отваливается лепнина и летит на меня... Не помню, успела ли увернуться от неё, но прихожу в себя, когда за окном дождь уже давно прекратился. Первым делом ощупываю себя. Вроде всё в порядке: ноги-руки целы. Осматриваюсь вокруг. И снова дежавю: ни ящика, ни газет...

Последний огрызок мозга на этой почте оставила! Как ни моя смена, так какая-нибудь чертовщина. Не иначе домовой-почтовой со мной забавляется!

Пока находилась без чувств, от потолка по всей стене пошла трещина. У самого плинтуса расширилась, и образовалась щель. Подхожу чуть ближе, боясь, что оттуда выскочат мыши и тараканы. Но, наклонившись и приглядевшись, вижу уголки листов. Затаив дыхание, протягиваю дрожащую ладонь и осторожно тяну за один из уголков. Ко мне высыплются старые фронтовые письма, пожелтевшие от времени, с лиловыми чернилами или выцветшим карандашом...

Вытаскиваю все до единого и аккуратно, штук тридцать, насколько это возможно, боясь, что они рассыплются прямо на пальцах, кладу на середину начальственного стола и долго рассматриваю и даже любуюсь. Наверняка большинства отправителей нет в живых, но потомки обрадуются и прослезятся оттого, что почта всё же выполнила обязанность. Солдатские треугольники спустя больше полувека дойдут до адресата. Сколько шума будет! Приедет телевидение, о нас напишут в газетах... Жаль, что девятое мая прошло, а то бы приурочили к дате. Ничего, впереди двадцать второе июня...

Теперь уверена: надо звонить Юре! На Акташе Юре нужно срочно быть. Тот привидевшийся водила на зисе убедил меня. Такие гости зазря на ночь глядя не заявляются. У таких гостей одна охота — своевременно донести важную информацию.

Набираю Юрин номер. Продолжительные гудки. Наконец сонным недовольным голосом отвечает. Я неуверенно представилась.

— Васька, ты sdурела? Три часа ночи!

Ну как я ему скажу правду? Юра, мне приснился водитель, который передал, чтобы ты срочно ехал на Акташ. А ещё я нашла солдатские треугольники...

Да он меня по телефону придушит!

— У меня в посылке часовой механизм, — импровизирую на ходу. — Что делать?

— Батарейку, наверное, из часов забыли вытаскать, — неуверенно предположил он, но слышу, как привстал с постели.

— Не знаю, Юра. А вдруг взлетим? Останусь я тогда без дома и без работы.

— Звони начальнику службы безопасности. Нет, погоди... Я сначала сам приеду. Ты сама тоже никому не звони. Иди пока к себе. Я, как приеду, тебя вызвоню.

Я кивнула в трубку. Чувствую, что переживает. Но не за почту. За меня. Что-то участливое в нём проснулось, вернее, было изначально, но не имело выхода, не имело повода. А тут я сама... Теперь остаётся перехватить Юру на этом Акташе. А как я это сделаю? Общественный транспорт не ходит. Денег на такси нет. Но мне до Акташа ближе, чем ему...

Тихонько выглядываю во двор: полуночный гость дематериализовался. Срочно запираю почту и бегу к себе. Через некоторое время выкатываю из подъезда соседский велосипед. Ничего, до утра управлюсь, хозяева и не заметят.

### Акташ

Акташ (в переводе— «белый камень») — участок дороги на выезде из города, слыущий в народе аномальной зоной, сосредоточие явления странной силы. Именно здесь наблюдаются резкое ухудшение самочувствия, отсутствие птиц, задымлённость неустановленного порядка, изменение восприятия времени. Именно здесь чаще всего происходят аварии с жертвами, своеобразным памятником которым служит белый валун с ялыми гвоздиками, мягкими игрушками и траурными ленточками на фотографиях. Юра с семьёй живёт в коттеджном посёлке в получасе езды от этого Акташа, так что именно здесь мы должны с ним пересечься.

Туман Акташа — как продолжение снизу нарезанных слоями кучевых облаков, валом тянущихся над взмокшими полями. Машин нет, путь знаком, но всё равно страшно, жмусь к обочине, крепко держусь за руль, во рту сжимаю сигарету, а в голове под монотонный скрип ослабленных спиц вцепилась и всё никак не отвяжется строчка:

Еду степью — степь пою,  
Еду смертью — смерть пою.

Огонёк из фильтра вылетает и катится по дороге, подпрыгивая, рассыпаясь каскадом искр и окончательно пропадая над застланными туманом полями Акташа.

При первой возможности съезжаю на накатанную вдоль шоссе грунтовку, ненадёжно ориентируюсь на слух по мягкому шуршанию шин, а также по темнеющим в дымке редким перелескам искривлённых деревьев, похожих на расщелины безмолвного зловещего мира, из которой вышел какой-нибудь Пляка, которого ни разу не видела, но примерно представляю. Накатанная колея скрывается в тумане, и маленький кружочек велосипедного фонаря беспомощно пляшет и мечется по стелющимся облачкам.

Наконец впереди показываются очертания каменной глыбы, из-за которого на меня в толще тумана, как в неясных глубинах океана, флегматичной акулой вдруг выплывает легковушка. Она резко тормозит, но ударяет по моему заднему колесу, когда я почти увернулась от неё. Тут же сваливаюсь на мокрую траву, с облегчением выдыхаю, разжимаю зубы, выплёвываю потушенный бычок, потому что уже знаю того, кто чуть не сбил меня. Он выскакивает из машины, подбегает, тоже узнаёт меня, называет по имени, гладит по волосам, утешает, просит прощения... Я ведь не себя

ему под колёса бросила, а всё своё нехитрое, мало накопленное существование, наделяя его при этом неограниченными полномочиями распоряжаться моим телом, временем, волей.

Юра накидывает на меня куртку, будто зверушку поймал, поднимает. Я поворачиваюсь к нему, и, не стовариваясь, мы застываем в объятиях. Истосковавшиеся по человеческому теплу, разом обогретые друг другом, разомлевшие... Я еле сдерживаюсь: от переизбытка чувств у меня непреодолимое желание ущипнуть или укусить любимого. А он целует мои пальцы в штемпельной краске. Оба не помним, когда в последний раз могли позволить себе стоять так близко, запросто глядеть друг на дружку, обниматься... И всё это — не ожидая подвоха, злого умысла, обидных шуток. Мы — два горьких одиночества, и никого у нас нет.

Почты больше нет. И зла больше нет. Наконец Юра всё же выпрямляется, расправляет затёкшие плечи и подаёт назад затылок.

— У тебя свитер колючий, — оправдывается он.

— У вас — лицо, — сразу нахожусь, имея в виду покрытые тёмной щетиной щёки.

— Нет у меня лица. Ничего у меня нет. Нет меня. Я сундук чужих тайн. Вернее, флэт чужих тайн. Как ты теперь понимаешь... Мне бы многое надо рассказать, а я не могу. Мне и мерещится всякое, — он запнулся, недоверчиво оглядевшись по сторонам.

— Как вы с ними вообще связались?

— Не я с ними, а они со мной, — устало объясняет он. — Кто с малых лет вместе, те потом рядом всегда ходят. *В одном дворе, в одной школе, на одной скамейке, на одном турнике, с одними и теми же девчонками.* А я до последнего думал, что не при делах. А я, выясняется, один из них. Потому что никогда у них ничего не просил. Они сами приходили и сами всё давали. До сих пор не могут простить этого. Я всегда был везучим. Это мой единственный талант. Мне всё даётся легко. И в любой рискованный момент меня всегда что-то спасало... Странное дело, — он снова осмотрелся, — пока ехал к тебе по Акташу, впереди показался строй солдат, чуть ли не целый взвод, в гимнастёрках и обмотках. И главное, всё так правдоподобно: со скаткой через плечо, винтовки в такт солдатскому шагу покачиваются. Я было решил, что у нас кино про Великую Отечественную снимают. Я потому и затормозил вовремя, как раз перед тобой.

Я крепче прижимаюсь к нему. Не стала признаваться, для чего вызволила его сюда. А он и не спрашивает. Больше поглощён своей бедой, ему выговориться надо:

—...Теперь время платить за этот фарт. Уговаривать жену, лишать ребёнка дома, который не я заработал, выставлять на продажу...

Дом с участком подарили родители Анук Эме. Стоит ли сомневаться, что жену он уговорит?

У меня сердце разрывается от боли. Сильнее, чем если бы я сама от него уехала. Он будто читает мои мысли:

— Скорее и ты уедешь. А я бы тебя поднатаскал, сделал бы из тебя толкового зама.

В своё время ту же самую горе-карьеру он предлагал Гуле.

— Да куда я уеду? — усмехаюсь. — Меня не гонят и нигде не ждут.

— Куда мечтала, туда и уедешь — помяни моё слово. Свалишь в большие города, забудешь меня, сострижёшь косу... У моей жены тоже раньше длинная толстая коса была, — и показал, как если бы измерял толщину каната, — а галия вот такая, — и будто ниточку в игольное ушко вдел. — Она состригла косу и разлюбила меня.

— Вас разлюбишь! Сами кого хочешь разлюбите. Целая коробка ненужных женщин по городу валяется.

— Я никому не подхожу. Как на рынке выбирают: не такой, сякой, это не то, то не это... А я такой, какой есть. И таким никому не сдался. И никому не достанусь.

Юра, я заметила, когда общается с неохваченной почитательницей, преобразается в голосе, говорит очень бархатно. Но когда она успевает наскучить, то Юра незаметно сникает в тембре. Пассия поначалу вроде бы не слышит возникшую перемену, пока забытая окраска голоса не адресуется уже новой поклоннице.

— Я вряд ли уеду, но побриться под мальчика хочу, чтобы делать, как вы, вот так, — провожу руками по всей голове. — Так свободно себя чувствуешь. Ничего не мешает.

— Вот так? — со смехом повторяет за мной Юра. — Ну так в чём же дело?

— Голова большая. Большую голову надо прятать под волосами.

От долгого стояния в молочных полосах и разорванных обрывках становится зябко. Первый запал прошёл, эйфория сходит на нет, и всё уже не так естественно. А больше натянута и стыдно, что ли. Предлагает переждать туман в машине. Догадываюсь, чем мы будем заниматься в этой его машине. Юра знает своё дело, горбатого могила исправит, от привычек своих не откажется, природу его не изменишь. А я не знаю, как быть с ним, как не знает бедняк, куда деваться от свалившегося богатства. Лучше, конечно, пустить всё по ветру, промотать состояние — словом, поскорее избавиться, как от лишней головной боли, чтобы больше не бояться потерять его, не страдать по нему. Я всегда всем занудам и святошам предпочитала Долохова. Мне в школе наша училка много раз доказывала, что Долохов — дерьмо на огромной четырёхтомной лопате, а любить надо князя Андрея, но я, вслух согласившись с общественным мнением, продолжала любить эту тварь тайно, про себя.

Отворачиваясь, закрывая лицо, жмурясь от восторга, не веря своему счастью, я наконец беру себя в руки и, как большая, ни о чём не волнуясь, полностью доверяясь, проскальзываю в салон к Юре...

Акташ находился чуть на возвышенности, и на утренней заре с востока наблюдался огненный размытый обруч или полукольцо, поджаривающее начало дня. Пора выдвигаться, и Юра перед дорогой решил сделать свои дела.

У меня не было перед ним чувства неловкости, ведь мы не увидимся больше при любом раскладе. Интересного продолжения и болезненного расставания не будет. Я, пересев на переднее кресло, начинаю готовить прощальную речь. В ней пожелание счастья, уверения в том, что не собираюсь привирать о мотивах, побудивших меня вызвать его среди ночи. Дескать, чтобы в последний раз налюбоваться сонной физиономией...

На шоссе показывается одна из первых машин. Фирменный почтовый уаз с соответствующей символикой. Нарочно не придумаешь! Как плохой знак, чёрная метка, напоминание о том, что всё замечательное когда-нибудь заканчивается. Я бы и думать забыла об этой машине, катившей в город всё дальше и дальше, но с удивлением заметила, что двери кузова открыты нараспашку. И на повороте, прежде чем скрыться, из машины что-то вдруг выпало. Когда Юра появляется, вместо своей пронзительной речи по привычке докладываю о случившемся. Он, приняв обеспокоенный вид, внимательно выслушивает и тут же отправляется к тому месту. Я, оставшись на месте, с напряжением слежу за ним и за тем, не покажется ли ещё какая машина. Дойдя до места, быстро, почти не глядя, подбирает что-то и двигается обратно.

Это оказался опечатанный маркированный пыльный брезентовый мешок. Я всерьёз рассчитывала, что Юра предпримет какие-то священные начальственные действия. Но он, не расставаясь с мешком, сползает по спинке кресла вниз, прикрывает глаза и в этом положении находится некоторое время. Я слышу, как шумит в его голове, потому что у самой бьётся в висках кровь.

И вдруг уверенными движениями, какие использовал со мной, распечатывает мешок и вытаскивает в вакуумном полиэтилене денежную связку. Не составило труда прикинуть в уме, сколько денег Юра держит перед собой, если в этой пачке десять корешков по сто купюр с одинаковым номиналом в пять тысяч рублей. Очевидно, для подкрепления нескольких отделений. При виде денег Юра воровато смотрит на меня, будто сожалеет, что ночная любовница вдруг превратилась в ненужного свидетеля.

— Как ты думаешь, стоит пожалеть горе-организацию, которая не в состоянии перевезти из пункта А в пункт Б собственные деньги? — с горькой иронией интересуется.

Я пожимаю плечами. Это единственное, что я могу делать уверенно.

— И знаешь, что будет вознаграждением за находку? — продолжает он. — Бесплатная полугодовая подписка на «Мурзилку». Или на газету «Правда». Выбери: что по душе?

Не хочется отвечать. Хочется убраться скорее. Юра стал чужим и прежним. Туман ушёл, и ласковая часть Юриной души стаяла вместе с ним. Я понимала, к чему он клонит. Глаза его горят, на скулах выступают желваки.

— Мой дедушка выписывал «Правду», — вспоминается мне неожиданно.

— Дед помер?

— Умер.

— Значит, выбирай «Мурзилку». И вообще, считай, что это клад.

— Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении, не могут являться кладом, — напоминаю.

— В соответствии со статьёй Гражданского кодекса РФ под кладом понимаются зарытые в земле или сокрытые иным способом (внутри мешков) деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право.

— У нас есть реквизиты. Собственник может быть установлен.

— Что с воза упало, то пропало. Как говорила моя мама, государство само нас обманывает, — и решительно включает двигатель: мол, разговор окончен.

Я отворачиваюсь и больше не спорю. Что толку? Я не составлю конкуренцию бешеным живым деньгам. Я — как моя бывшая почта, несчастная и дармовая, с меня пользы клоч, и Юра для себя всё решил. Юру не вычислят. Юра умный. Юра отдаст часть в счёт уплаты долга, остальное спрячет до лучших времён. И даже в магазине или кафе в течение многих лет Юра не превысит свой средний чек. Если только «Пляка и партнёры» не вытрясут из него всё.

Я поехала к нему, желая стать любовницей, а возвращаемся на почту подельниками. Нам навстречу выбегает взмыленная, ужаленная под хвост Ивешка с алюминиевым ведром, от неё пахнет чем-то похожим на керосин, и направляется к мусорным бакам. Даже пропустила тот любопытный факт, что приехали мы вместе.

На ходу кричит:

— Юрий Максимович, там трещина на всю стену пошла. Развалится скоро здание. А тебе письмо, — обращается ко мне, — которое ты же ночью и прое\*ала.

— Я искала! — оправдываюсь.

— А в трёх метрах от фонаря искала?.. Я как раз убираться стала, мебель двигала, письмо между стеной и столом завалилось.

Юра снимает с крыши автомобиля велосипед, я быстро закатываю его в свой подъезд к соседям и возвращаюсь в отделение. В доставке на столе лежит моё пропавшее письмо. Я ахаю, глядя на отправителя: факультет журналистики! Дрожаящими руками распечатываю... Батеньки, приглашение на творческое собеседование! Милый дедушка всё же получил письмо от бедного Ванечки. Боженька услышал мои безадресные молитвы. Путёвка в жизнь. Шанс начать всё заново. Не придётся больше изводить себя работой на почте и отношениями с Юрой. Не придётся приводить себя в состояние пластилина, зависеть от его настроения и привычек, втихую рыдать и открыто подлизываться... Потому что мне по почте прислали часть моей души. Будто поймала за хвост жар-птицу. Будто на собственные именины позвали, накрыли богатый стол, усадили на почётное место, стали поднимать за меня бокалы, сочинять тосты... Письма — не только часть моей бывшей работы. Это часть моей будущей жизни. Это ответы на все заданные запросы.

Я поворачиваюсь к Юре, чтобы поделиться радостью. Но ему не до меня. Он изучает образовавшуюся щель. Он лично хочет её заделать. Я догадываюсь для чего. Чтобы в нише запрятать свой «клад». Ищу глазами солдатские треугольники. Их нигде нет. Вспоминаю об Ивешке с ведром и чем-то похожим на керосин.

Опрометью бегу во двор. Но поздно, Ивешка суетится у костра. Впрочем, огонь уже потухает. Подхожу: на дне ведра пепел да зола.

— Что же вы сделали? — плачу. — Это же наши письма. Их надо было доставить!

— Ага, чтобы родственники на почту в суд подали? — выпучила на меня глаза как на предателя родины. — Чтоб потом нам всем за это влетело?

Я смотрю на неё и понимаю, что ничего не исправить, что все мы обречены: мы все давно по колону в засохшем дерьме, но всё равно боимся обоср\*ться.

*Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения с действительностью случайны.*

## Олег Харебин

# Разведчик

### Пролог

...Конец двадцать первого века ознаменовался затянувшимся культурным, религиозным и военным противостоянием христиан и мусульман. Пожар сами разожгли недалёкие американцы, инициировав «арабскую весну» в начале того века. Их поддержали ведущие европейские политэлиты. За что поплатились расцветом терроризма от исламских радикалов и миллионными потоками беженцев из Азии и Африки. Европейский Союз развалился. Всё началось с Великобритании. Затем к власти в США пришёл Трамп, который разрушил многие международные организации и союзы: воз, юнеско, вто, нато... Каждый сам за себя...

А проблемы западной цивилизации далее усугубились пандемией коронавируса, которому «полюбились» жители крупных мегаполисов — Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Берлина, Мадрида, Москвы. В этих асфальтобетонных многоэтажных человеческих муравейниках уровень смертности в разы был выше по сравнению с меньшими человеческими поселениями. Экономический кризис, резкое падение цен на нефть и массовая самоизоляция. В итоге многие здоровые люди пришли к выводу, что чем меньше народу в одном месте, тем — безопаснее вообще.

...Еды для людей стало не хватать, потому что одни ажиотажно, массово стали скупать продовольствие, другие — его прятали в надежде на более высокие цены. Самыми востребованными и престижными стали медики и фермеры. Ну и, разумеется, расцвела виртуальная реальность. Все госструктуры, и не только, перешли в режим онлайн... виртуальные суды и виртуальные браки... Новая реальность — посткоронавирусная...

Сейчас мало кто помнит о европейском учёном-социологе Кернберге. А ведь именно он «добил» миллионные мегаполисы своей теорией «бессознательной внутривидовой популяционной стадной саморегуляции».

Якобы «суицид, наркомания, алкоголизм, педофилия, преступность вообще, захлестнувшая мегаполисы, суть инструменты внутривидовой саморегуляции!» И что «процессы бессознательной внутривидовой саморегуляции резко резонансно активизируются в мегаполисах-миллионниках»!..

Кернберг написал скучную научную диссертацию. Затем, через год, какой-то идиот (или умник?) выбрал из неё запоминающиеся куски, обработал их художественно и выложил всё это дело на потребу массовому информационному обывателю в Сеть.

По всему миру в городах с населением свыше миллиона люди стали спешно продавать жильё, производства. Бизнесмены перемещали офисы, штаб-квартиры в города поменьше или вообще в бывшую ранее глухомань.

### Часть 1. Преступления и наказание

#### 1.

Я, Александр Гаст (гость по-русски), родился в 2101 году в Берлине. Мои родители, Петер и Марианна Гаст, проживали тогда в деревушке Барут (район Цоссен), примерно в тридцати километрах от Берлина. Отец держал автомастерскую, мама работала агентом по продаже недвижимости. Попутно отец подрабатывал поставкой в Россию колбасных мини-заводов по производству элитных сортов колбас.

Мои предки были очень зажиточными. Я появился на свет с началом исхода, если не бегства, людей из крупных городов. Цены на землю и недвижимость в маленьких деревушках взлетели до небес. Отцу пришла идея продать наш дом с земельным участком и уехать в Сибирь. Почему в Сибирь? Потому что там, в Красноярске, жил его партнёр по продаже колбасных мини-заводов — Павел Зайденцаль.

#### 2.

Отец уехал в Сибирь в 2103 году. Там он взял в долгосрочную аренду пятнадцать гектаров тайги в восьмидесяти километрах от Енисейска, старинного сибирского центра в Красноярском крае, вместе с небольшим озерцом.

Вскоре на берегу озера вырос двухэтажный лиственный дом с хозяйственными постройками.

Районная администрация разрешила проложить через тайгу девять километров просеки до ближайшей межпоселенческой дороги. В общем, он обустроился, и в 2105 году приехали и мы...

Прошло двадцать лет. Папа скоропостижно умер, но оставил после себя крепкое, приносящее доход хозяйство: рекреационную зону на озере, колбасный заводик, производящий элитные сорта из мяса дикого зверя, звероферму по выращиванию сибирского соболя, лосиный заказник. Хозяином стал я. Мама мне помогала, на нас работало трое рабочих из местных жителей. Конечно, мы были очень богаты. Вряд ли в Германии удалось бы так разбогатеть.

Я выучился в городе Красноярске на магистра сельского хозяйства широкого профиля. Женился. Лина — зоопсихолог, мне большое подспорье. Не красавица, но симпатичная и толковая. Родился сын — назвали Максом. Я занимался прибыльным отцовским хозяйством: зверофермой и колбасным заводиком. Мама курировала озёрный кемпинг, Лина — лосиный заказник.

На семейном совете мы обсуждали наши дела, согласовывали общую стратегию. Кроме этого, был ещё источник сверхдохода — медвежья охота. Благодаря старым отцовским связям, хотя и не каждый год, удавалось взять две-три лицензии на отстрел медведя. Десятки заявок на медвежью охоту были на годы вперёд. Богатые любители пулянуть в косолапого платили бешеные деньги. В общем, мы процветали.

Для души я занимался различными йогическими практиками и выступал на соревнованиях по армрестлингу. Ударом кулака я мог убить если не быка, то телёнка точно. А ещё у нас было небольшое овчье стадо, голов двадцать — двадцать пять. Их мы держали для шашлыка...

## 3.

Все знают, что такое «информационное общество». Это когда все должны знать обо всём и иметь возможность судить-рядить — не важно, компетентны они в вопросе или нет.

...Права человека... «права личности». Когда в полной мере были реализованы права человека (кроме Индии, Китая и Республики Мадагаскар), мировое сообщество в массовом порядке занялось правами животных...

Скажу честно, я — не простой обыватель, озабоченный сытым брюхом и толстой мышцей. В университетские годы я довольно успешно занимался фехтованием на шпагах, на университетском чемпионате по шахматам занял второе место. Кроме этого, для усиления мозгового кровообращения довольно плотно почитывал немецкую классическую и неклассическую философию: Канта, Гегеля, Шопенгауэра. С любопытством прочитал чудака Ницше.

В голове стоял философский туман. И чтобы его рассеять, пришлось взять на вооружение собственное довольно простое кредо: не вреди другим (по крайней мере, сознательно). Но немецкие

философские хаотические тучки всё-таки беспокоили. Помог случай.

Однажды заболела Лина. Врачи затруднились с определением диагноза. Бывает и такое в двадцать втором веке. Я «нырнул» в Сеть и «нарыл» там известного во врачебных кругах тибетского йога Брамубашта. Так как я не стеснён в деньгах, то вызвал его к себе в Сибирь, и йог в течение недели поставил Лину на ноги.

Денег он взял с меня прилично.

— Зачем вам столько денег? Ведь йоги — аскеты или полуаскеты, — спросил я.

— На нужды храма в Тибете, где я провёл двенадцать лет, будучи мальчиком, — коротко ответил тот.

Неожиданно у меня мелькнула идея — оставить его у себя ещё на несколько недель и поднабраться йогических премудростей. Я сделал предложение Брамубаште, но тот вежливо отказался, мотивируя это тем, что ближайшие его месяцы востребованно расписаны.

Но от меня так просто не отделаться:

— Я компенсирую вам, уважаемый мастер, упущенный денежный эквивалент плюс добавлю столько же! Ведь даже такие мастера, как вы, могут заболеть, не правда ли?

Брамубашта рассмеялся и кивнул головой.

Он гостил у меня сорок пять дней. Я научился произвольно входить в транс и вводить в полубессознательное состояние других. Кроме этого, йог ознакомил меня с техникой произвольной остановки дыхания на несколько дней. Йог показал технологию. Закреплять её и совершенствовать мне приходилось самому. Кстати, с трансовыми состояниями я неплохо освоился. Но с каталептическими — дело не очень ладилось...

Вот такой я немец-колбасник. Общеизвестный факт: пиво у нас — чуть ли не национальный напиток. А я его вообще не пью... и вам не советую — оно делает человека глупее.

## 4.

Невозможно, да и нереально быть по жизни везунчиком все время. Мир и существует для того, чтобы менять человеческие судьбы.

Всё началось с собаки... С утра я был на соболиной звероферме и уже как час через монитор просматривал зверьков: не болен ли кто? Вдруг негромко прозвенел звонок, и компьютерный безучастный голос произнёс: «Внимание! Проникновение постороннего на объект!»

Ферма была оснащена квантовой (лазерной) охранной сигнализацией. Об этом предупреждали стоящие по периметру таблички. При подходе к табличкам раздавался предупреждающий звуковой сигнал. При дальнейшем продвижении вперёд человека начинало сильно, до рвоты, тошнить, а животное обычно сразу покидало охраняемую зону.

Со зверьков я переключился на периметр и увидел существо, преодолевшее охранный барьер. Это был пёс вроде ротвейлера. Он лежал на земле и тяжело дышал. Со свешенного набок языка стекала слюна.

— Ты как сюда попал, дружище?!—спросил я.

Но «дружище» тяжело захрипел, поднимаясь на задние лапы. Тут недалеко я заметил кучку дерма. — Пришёл в гости и нагадил?!—возмутился я.

Пёс привстал на четыре лапы и явно приготовился к атаке.

— Ах ты, сволоочь!

Я сделал шаг вперёд и ударил пса подошвой армейского ботинка прямо в пасть! Ротвейлер завыл и побежал назад, но тут сработали квантово-ультразвуковые лучи охраняемого периметра, и непрошенный гость потерял сознание. Заведя ЭКЦ (электроквардрокцикл), погрузил пса на тележку и вывез его за пределы своей фермы, поближе к кромке тайги. Очухается!

Но как он попал на территорию фермы через охраняемый периметр? Теоретически, с помощью специальных, в основном самостоятельно изготовленных приборов, мою охранную систему можно было расстроить на короткое время... Но кому это нужно и зачем?!

...Известная российская актриса организовала несколько лет назад общество защиты пушных зверей. Масштабно по всей России был декларирован отказ от ношения изделий из меха и кожи. Год назад активисты этого общества были у меня на ферме.

Им я объяснил, что имеется практический смысл в том, чтобы зверьков хорошо кормить и содержать их в комфортных условиях—получается высокое качество меха. Я предложил посмотреть, как происходит умерщвление животных. Те отказались. Хотя ничего особенного в этом нет: зверёк в очередной раз просовывает мордочку в кормовое оконце и получает удар электрическим током—мгновенная смерть. Что может быть гуманнее?!

##### 5.

Через неделю я получил на свой электронный адрес сообщение из Енисейского районного суда: «Районное отделение общества защиты животных „Выдра“ обратилось в суд с иском к Вам по факту жестокого обращения с животными...»—и далее на мониторе я увидел как бы со стороны, как мой армейский ботинок сорок четвёртого размера бьёт по пасти стоящего ротвейлера. Вот сволоочи—подставили-таки!

Я, конечно же, огорчился: придётся выложить кругленькую сумму штрафа, плюс в персональной базе данных надолго зависнет эта негативная для меня информация.

Через день рано утром я завёл свой ЭКЦ и поехал на таёжную озёрную заимку-кемпинг—успокоиться. Рыбная ловля—самый наилучший

антидепрессант. Сам я не большой любитель рыбалки, но раз в неделю, с сыном или без, обязательно выбираюсь на озеро с удочкой—исключительно для эмоционально-профилактических целей.

...Улыбин Александр Иванович—наш озёрный борец за права рыб, член общества защиты обитателей водоемов «Малёк».

...Озеро называлось Клюквенное. В ста метрах от побережья—благоустроенный кемпинг для рыбаков, грибников, ягодников. Была такая небольшая, на шесть лошадей, конюшня для продвинутых таёжников, ходящих в многокилометровые экспедиции... Окунь, карась, пескарь, таймень—пожалуй, весь таёжный ассортимент. Улыбин постоянно торчал на озере, следил, кто сколько рыбы поймал, какими орудиями. А какие тут орудия лова? Удочка да спиннинг. Иногда он что-нибудь записывал на своём комбре (компьютер-браслет). Я поинтересовался, что он пишет. — А как же? Всё требует учёту! Рыбы—они ведь требуют защиты. Дай человеку волю, он враз всё к гибели приведёт!

— Александр Иванович, неужели у нас в Сибири народ такой несознательный?

— А то! Вон и вы, Александр Петрович, окунька недозволенного размера поймали.

Я как раз вытащил из воды поплавок. Чуть ниже болтался небольшой окунёк.

— Чего ж тут недозволенного?

— Размер! Согласно постановлению Енисейского парламента номер четырнадцать дробь шестьдесят один от две тысячи сто девятнадцатого года, в это время года размер выловленной промысловой рыбы семейства карповых не может быть меньше пятнадцати сантиметров.

Я глянул на окунька. Действительно, двенадцать-тринадцать сантиметров. Плюс к тому же он не зацепился за крючок верхней или нижней губой, а просто-напросто проглотил его.

— Да, действительно, Иваныч!

Я попытался было вытащить крючок, но окунёк интенсивно замахал плавником.

Меж тем Иваныч нудно гудел о защите рыб, о гуманности, о человеческой несознательности. Его монолог не прекращался, а я всё никак не мог вытащить крючок.

И тут я вспыхнул, вытащил из-за голенища ботинка нож, перерезал леску и таким образом освободившегося окунька сунул за пазуху Иванычу. Мы стояли на листовном деревянном мосту в полутора метрах от кромки берега. Я увидел, как окунь забился хвостом под рубашкой Иваныча, который сначала вошёл в ступор, а затем неуклюже дёрнулся и упал в воду...

##### 6.

И опять «мыло» от Енисейского районного суда: «В отношении Вас предъявлен иск о причинении

морального и материального ущерба сотруднику общественной рыбоохранной организации „Малёк“ Улыбину Алексею Ивановичу во время исполнения им своих должностных обязанностей...»

Так-так. Опять кругленькая сумма штрафа!

Я вспомнил русскую поговорку: Бог любит троицу. А третий внештатный, так сказать, случай не преминул свершиться.

Максим—мой единственный любимый сынок. Сколько раз я ходил с ним на рыбалку, катал на лошади, ЭКЦ, учил немецкому, шахматам, фехтованию на рапирах. Максиму десять лет. За три года пребывания в школе всё то, что я ему привил: любовь к родным, природе, животным,—было отброшено, отодвинуто в сторону.

Макс в школе приобрёл новую подростковую мораль—культ эпатажного успеха среди сверстников. Хотел же я не отдавать его в школу. Однако этим вроде бы нарушал право ребёнка на социализацию и общение со сверстниками... Общество, видите ли, лучше меня знает, в чём Макс нуждается, а в чём нет...

Сентябрьским вечером, после ужина, я просматривал электронную почту, готовился к вечернему хозяйственному совету: я, Лина, мама. Вдруг в дальнем углу двора вспыхнули два вертикальных искрящихся огня и начали хаотично метаться. Следом послышалось бляение козы. Я выскочил наружу.

Увиденная картина меня шокировала. По двору бегала коза Машка, на её рога техническим промышленным скотчем были намотаны вертикальные бенгальские огни. Зрелище было одновременно и жутким, и фантастичным. Невдалеке стоял Макс и деловито снимал происходящее на камеру-сферу.

Я подскочил к нему, выхватил камеру, бросил её на землю и раздавил ногой. Затем надрал сопляку уши.

— Ты зачем над Машкой издеваешься? Для чего снимаешь?

— Для приколу, для хохмы. Пацанам в школе показать, поугорать!

— Для приколу, говоришь?! Вот я сейчас приколу устрою!

Я схватил электромобильный огнетушитель, с трудом догнав Машку, сбил пламя с её рогов. Затем отвёл наполовину обезумевшее животное в сарай и вылил на неё ведро воды. Животное дрожало, бляело и непрерывно мотало головой.

— Маша, Машенька! Прости засранца! Я ему сейчас покажу кузькину мать!

Я погладил её по вздрагивающим бокам и вернулся к Максимке. Тот ходил, всхлипывая, по кустам, искал камеру.

Подхватил его на руки и принёс на второй этаж, в детскую.

— Ты что, идиот?! Ты забыл, как ещё три года назад она катала тебя на санях?! А чьё молоко ты пьёшь сейчас?

Я поставил его в угол.

— В наказание будешь стоять два часа!

— Не буду!

— Нет, будешь! Я сказал!

Я сел на пол и закрыл его в углу своей широкой спиной. Максим начал колотить меня кулачками по спине, выкрикивая:

— Я сообщу в комиссию по защите прав ребёнка!

— Валяй! Но два часа ты отстоишь!

На крики пришли Лина и мама. Я их успокоил. Через полчаса Максим успокоился и уснул, обняв меня за шею. Я отнёс его в кровать.

В комиссию по правам ребёнка он таки сообщил о постановке в угол и применении физической силы. Весь в меня—как говорит, так и делает.

## 7.

Жестокое обращение с животными, причинение морального и физического вреда активисту общественной организации во время исполнения должностных обязанностей, причинение морального, физического и психологического вреда ребёнку, а также насильственное ограничение его свободы—три гражданских дела объединили, признали меня общественно-опасным и, в оконцовке, впялили полтора года лишения свободы общего гуманитарного режима!

Вот тебе на! Ехал на суд, прикидывая в уме сумму штрафов, а тут—«общественно-опасный тип»!

Вернувшись домой, я рассказал Лине о приговоре. У той от удивления расширились глаза: — Ничего себе! Подавай кассационную жалобу в краевой суд!

— Подам. Что толку? Я уже переговорил со сведущими людьми: девяносто пять процентов приговоров остаются без изменения!

Лина заплакала.

— Не ной. Подумаешь, полтора года! В моём случае возможно условно-досрочное освобождение через полгода!

Итак, через две недели после вынесения приговора мне предстояло отправиться в «Парадиз», исправительное экспериментальное гуманитарное учреждение—иЭГУ... почти йога...

## 8.

Ещё две недели свободы есть. Я нырнул в Сеть и навёл справки о «Парадизе». Находится в Юго-Восточной Европе. В одном из заброшенных людьми городов-миллионников. Экстрагуманитарный режим. Работать не нужно. Комфортное проживание вдвоём в городских квартирах. Продукты, правда, только синтетические,—свободно в гипермаркетах. Даже есть алкогольный лимит крепких и слабых напитков! Тем не менее, с утра

и до обеда—принудительно-вынужденное спортивное или культурное времяпрепровождение по выбору—так называемые Занятия! Четыре жилых зоны, дифференцированных по срокам и составу преступления: А, В, С, D.

Контингент со всего мира. Технический состав: двадцать тысяч роботов-андроидов и восемь тысяч надзирательного персонала. Плюс сложная система штрафных баллов за нарушение внутреннего режима. Да, какой-то детский мегасад, если ещё учесть тот факт, что разрешены сексуальные отношения!

— Смотри! Детский сад какой-то! Лучше бы я пару лет где-нибудь здесь на общественных работах отработал.

Лина сидела в гостиной комнате возле камина и вязала.

— Проветришься! Подружку какую-нибудь найдёшь. А то, сколько живём, ни разу вроде не изменял? Ну что ты за мужик? Где твоя истая полигамная сущность?

— Эх, Линусик, одно на уме. Я—мужик конструктивный. В изменах нет конструктива. Принципу удовольствия не подчиняюсь, а дружбу с головой...

Был конец октября. И я решил на пару деньков сходить в тайгу-матушку просто так. Побывать одному, набраться сил перед погружением в глобальное криминальное международное болото—иЭГУ «Парадиз».

9.

Мы с Линой воспитываем словами редко. Мы просто создаём консолидированный психологический климат, утверждая своё отношение к совершенным Максом поступкам. Пускай прочувствует моральную тяжесть своего падения. «Жилетка» для него есть—бабушка Марина. Сынок ходил за мной следом и канючил:

— Пап, возьми с собой в тайгу... А?

Я выждал паузу, затем ответил:

— Иди к своим школьным друзьям, купите баллончики с краской и на дверях комиссии по правам ребёнка напишите: «Да здравствуют права людей, животных, рыб и насекомых!» Тогда возьму! Может быть...

— Правда?

— Ты что, идиот? Иди к бабушке, пусть вытрет тебе сопли!

10.

Собак в тайгу решил не брать—будут мешать вдумчивому самоанализу. Экипировался я по полной: композитный костюм и спальный мешок «хамелеон», «умные» цвета которых соответствуют окружающей среде. Прибор ночного видения, голографические очки, дающие не только круговой обзор, но и фиксирующие то, что происходит над головой, спецназовские сапоги, в подошву

и каблучки которых вмонтированы реактивные заряды, реактивный ножной экзоскелет, управляемый кнопкой наручных часов! Даже если меня окружит целое отделение медведей, то, взорвав реактивную начинку титановых подошв, с шумом и грохотом, гаубичным путём я оставил бы любую звериную (а может, и человеческую) банду с носом! Плюс лазерное ружьё.

Тибетский мастер Брамубашта подарил мне небольшой глиняный пузырёк с бальзамом на непредвиденный случай: «Очень сильный бальзам. Несколько капель в воду или спиртное. Возможен сон на несколько дней...» Я капнул несколько капель во фляжку с водкой, она приобрела фиолетово-зеленоватый цвет с резким запахом полыни, можжевельника и ещё бог знает чего. Круче абсента будет, однако! Сублимированные продукты и соль—на неделю хватит...

## Часть 2. Дух предков

1.

Ранним октябрьским утром я двинулся на север параллельно Енисею. В своих местах я знал лосиные и медвежьи тропы, шёл уверенно. Услышав непонятные звуки, пару раз снимал ружьё. Пройдя километров двадцать, на газовой горелке вскипятил чай и перекусил домашним салом.

Нашёл небольшую поляну возле большой старой сосны, на готовой подстилке из травы с удовольствием растянулся в полный рост. Таёжная, насыщенная естественной жизнью чистота пьянила, била в мозг. Лепота! Хотя я был немцем, но думал в основном по-русски, потому что с детства дружил и учился с русскими пацанами.

Правильно, что фатер решил переехать в Сибирь. Ещё старик Ницше советовал немцам дружить с русскими, а не с плоскими англичанами. Англосаксы—далеко не дураки, но у них плоские души, заточенные на золотого тельца. Скучные людишки. То ли дело русские—у них широкие, подобно тайге, души!

Воздух был что надо. У меня коммерческая идея: в чистом виде продавать таёжный воздух куда-нибудь в Москву или другой мегаполис. Однако дело упиралось в баллоны. Металлические были безумно дороги, ну а соответствующей пластмассы пока не создали.

...Уже темнело, когда проснулся. Прошёл ещё с десяток километров, затем выбрал место для ночлега и, выдвинув металлические когти армейских сапог, залез на сосну.

На высоте примерно четырёх метров сделал себе ночное лежбище из напиленных заранее веток. На всякий пожарный пристегнулся монтажным поясом. Засыпая, на соседней ели, метрах в пятнадцати, я увидел неподвижно смотрящую на меня сову. Спокойной ночи!

2.

Проснувшись, я спустился вниз и на газовой горелке сварганил завтрак. Со стороны могло показаться, что я знаю, куда и зачем иду. На самом деле это не так. Когда какой-нибудь домашний пёс почувствует хворь, то идёт в лес, чтобы подлечиться с помощью лесных трав. Я тоже чувствовал какую-то душевную хандру и надеялся, что магушка-тайга восстановит мои душевные силы...

Я повернул на северо-восток и к обеду достиг Спящего озера, возле которого была гряда из трёх небольших сопков. Умылся озёрной водой, кинул удочку. Почти сразу пошёл клёв, и я выудил довольно приличного тайменя. Вот это да! Пожалуй, на уху и сегодняшнее пропитание хватит. Поднялся на ближнюю к озеру сопку. И примерно посередине между вершиной и подножием обнаружил некую поперечную выемку-площадку, центр которой был выложен булыжными камнями. Возле этого очага — нечто вроде лежбища, полукресла для одного-двух человек. Лежбище тоже было выложено камнями. На некоторых из них я заметил рисунки с изображениями, похожими на сову...

Натаскал валежник, развёл огонь, поставил на него котелок с ухой. Пока она варилась, принёс снизу еловых веток и поставил из них шалаш, плавно переходящий в кресло-лежанку...

С этой площадки вид на Спящее озеро был изумительный: на зеркальной глади отражались вершины сопков, ели, сосны, большие валуны, поляны, покрытые ярко-рыжей высохшей хвоей...

Глаз радовался, но на душе по-прежнему было беспокойно. Я решил добавить немного водки в уху — для вкуса. Тут же к запаху еловых веток добавился тибетский пряный запахок... Через некоторое время поел. Уверяю, вкуснее в жизни ничего не ел! А так как далее не знал, чем заняться, решил выспаться.

3.

— Вообще-то, уважаемый, это место силы ранее принадлежало мне!

Голос раздался непонятно откуда. А может, он и не раздался, просто мне передали такую информацию. Только кто и зачем?

Так как голос не причинил мне явного беспокойства, то я, наконец-то полностью открыв глаза, спросил:

— Вы кто, любезный?

— Я — дух шамана Эльге рода Совы тунгусов, жившего здесь около полутора тысяч лет назад.

Вокруг, разумеется, никого не было. Скорее всего — действие галлюциногенного тибетского снадобья.

— Этот эликсир, безусловно, улучшает качество контакта между человеком и сущностью из Нижнего мира. Но, тем не менее, инициатор контакта — я, дух шамана Эльге рода Совы.

— Ну и лексикон у вас, дух Эльге! «Контакт», «инициатор», — попытался я прояснить ситуацию.

— Это не лексикон, а прямая передача информации из подсознания в сознание в соответствии с твоим, Александр, образовательным и культурным уровнем. Можно сказать, что это — голос твоих психических глубин, куда сознательно попал чуждый тебе элемент из Нижнего мира. Я ждал тебя, это я внушил тебе прийти сюда после приговора суда, чтобы полноценно пообщаться и сделать тебе предложение, от которого ты без ущерба для себя можешь отказаться.

— Мы перешли на «ты», без всяких там «любезный», «уважаемый»?

— Дело очень и очень серьёзное — ирония, дурашливая вежливость здесь неуместны.

Этот призыв Эльге, или как его там, к серьёзности вызвал у меня обратный эффект:

— То есть речь идёт о спасении мира?

— Бери выше: речь пойдёт об установлении человеческой цивилизации нового типа. А теперь прикрой глаза и смотри!

Ну что поделать с этим Эльге! Я всё ещё воспринимал происходящее как фантасмагорию и, решив подыграть как бы духу шамана (я не сомневался, что происходящее — внутренняя шизофреноподобная реакция, вызванная судебным-моральным поражением), прикрыл глаза.

— Смотри!

Вдруг, словно с высоты птичьего полёта, я увидел Берлин 2101 года. Я почему-то знал, что это — две тысячи сто первый год! Изображение укрупняется — больничный комплекс «Шарите». Родильное отделение. Молодая красивая женщина двадцати с небольшим лет (моя мама в двадцать три года?) и мужчина в расцвете с волосами, чуть тронутыми сединой (мой отец в тридцать пять лет?), стоя в коридоре родильного отделения, в четыре руки держат закутанный в пелёнки свёрток (меня)! Между ними на полу букет роз, который отец уронил, боясь уколоть меня шипами...

Комок напряжения подступил к горлу, где-то с угла левого глаза выкатилась слеза...

— Это — не всё!

Не успел я прийти в себя — возникла новая картина. Гряды снежных пологих вершин, снизу наполовину одетых хвойным лесом. На довольно плоской вершине одной из горных сопков — толпа людей в несколько сот человек. Склепы. В одном из них обкладывают камнями гроб. Вокруг стоят молчаливые, скорбные люди. В одном из них узнаю знакомое лицо с седой головой. Я?! Нет! Мой сын... и хоронит он меня!.. С вершины горы к низу ведёт канатная дорога. Высокогорное кладбище... Тут же комментарий Эльге:

— Две тысячи сто восемьдесят третий год, Восточные Саяны. Географические ориентиры: пик

Грандиозный, истоки реки Кизир, международное экопоселение «Чистые Вершины».

Я был психологически, морально убит. Шок от будущего.

— А ты как хотел? Здесь не детский сад, и Нижний мир в лице моей сущности предлагает тебе такие вещи, которые не снились простым смертным, предел которых — сытое брюхо и здоровое потомство.

Я заплакал, взвыл от многих вещей сразу: от любви к родителям, жалости к себе, от невозможности уклониться от предначертанного...

## 4.

Успокоившись, я стал собран, как и положено немцу.

— А в чём, собственно, дело? Я что, кем-то для чего-то избран?

— Наша с тобой встреча предопределена множеством факторов. Главный из которых — самоактивация генно-родовой памяти человечества в связи с предстоящими природными катаклизмами. Лет через десять после твоей смерти произойдёт резкое поднятие уровня океана в результате трансгрессии тектонических плит. Половина Европы уже обезлюдела. Часть твоего народа прибыла в Россию, в Сибирь. В мире не очень много людей, которые могут работать с генно-родовой памятью. «Избран» — в устах людей звучит очень громко. Правильно сказать — технологически, функционально пригоден. Ты — не один. Мои сущностные «коллеги» — духи шаманов, мудрецов, йогов, гуру и прочих «учителей» — проводят аналогичную работу в других частях мира.

— Зачем такое дублирование? ООН и почти все государства приняли программы по противодействию океану. В чём смысл?

— Мы готовим новую цивилизационную модель — регрессивно-эволюционную, не индустриальную, а архаическую. Базой новой модели будет являться генно-родовая память человечества. А точнее, культ предков — отцов и матерей...

Почувствовав, что я перевариваю услышанное, дух шамана Эльге вдруг предложил:

— В нашем диалоге много пустых для тебя абстракций: генно-родовая память, шаманизм. У нас в Нижнем мире есть такое понятие — тотем племени, народа. Чтобы понять силу и мощь генно-родовой памяти, нужно пережить тотем своего народа. Тотем — экстремальный архетип. Он структурирует энергию племени в экстремальных случаях: при переселении, нападении на других, для защиты. Для понимания необходимо переживание. Ты согласен пережить тотем своего народа? Впрочем, очевидно — согласен. Ты ведь уже сидишь на шаманском ложе.

— Хорошо. Ну а что есть архетип с точки зрения Нижнего мира?

— Архетип есть генно-родовой пси-функционал, образованный в результате многомиллионнократного повторения однотипных переживаний!

Я молчал, усваивая услышанное.

Эльге посоветовал:

— Прими немного тибетского эликсира. Можешь уснуть. Редким из смертных давалось нечто подобное — «много званых, но мало призванных».

Я сделал глоток из водочной фляжки с тибетским бальзамом.

Вдруг Спящее озеро стало кружиться против часовой стрелки, а шаманское ложе, на котором я лежал, — по часовой. Глаза закрылись, я начал засыпать. Из душевных закоулков, атакованных духом шамана Эльге и тибетским бальзамом, вылезли мысли-сомнения насчёт генно-родовой памяти. Зачем всё это? Я ведь христианин. Но шаманский напор и тибетский бальзам сделали своё — я подключился к генно-родовой памяти своего народа, к его тотему...

## 5.

...Вижу горы, перемежающиеся с зелёными долинами. На одной из горных вершин — огромное орлиное гнездо. Оно кишит орлятами. В конце концов они начинают выпадать вниз и собираться в небольшие стайки. Стайки идут на запад и клюют по дороге мелкую живность...

Всегда подозревал, что прародина древних германцев где-то на востоке, в горной местности. В Европе мы, немцы, первыми обжили Альпы...

...Плоскогорье среди вечнозелёных лесов. В тени скалы лежит огромный сильный волк. Вот он поднимается, и внизу его живота вижу сосцы. Это волчица, вскормившая основателей Древнего Рима. Волчица — тотем великого римского народа... Орлят уже много. Многие взлетают, образуют стайки. Движение на запад продолжается. Вот стайки приблизились к плоскогорью и начинают атаковать волчицу. Она легко отбивается, бьёт лапами направо и налево. Орлят всё больше, они мужают. Атаки на волчицу усиливаются. Она постарела, устала. В конце концов она падает. На месте её падения возникает огромный крест. Молодые орлы тесно усаживаются на его перекладинах. Затем орлы стаями летят на запад, восток, на юго-восток... Нашествие древних германцев на Римскую империю, падение Рима, возникновение христианства, крестовые походы... Орёл — тотем германского народа. Воля к власти, к господству...

Вдруг крест от тяжести орлов разламывается. Образуется два креста — на севере и на юге... Реформация, раскол христианства, между крестами бежит кровавый ручей — гражданская война в Германии и Европе... Орлы вьют гнёзда в центре Европы. Они разобщены — каждый сам за себя... В этот раз христианству удалось справиться с архаичным тотемом. Но самое главное, что мне

удалось при этом понять и пережить самые невероятные для христианина вещи: эйфористическое возбуждение рвущейся в бой многотысячной толпы, радость грабежа, насилия... Радость убийства, свержения врага. Мне стало страшно, я взвыл, встряхнулся:

— Всё! Хватит! Больше не могу!

Наступила тишина. Дух шамана мне не докучал, я начал мыслить.

## 6.

Христианство не обуздало генно-родовую память, тотем Орла во времена фашизма в Германии. ГРП — самостоятельная психическая реальность, вторгающаяся в сознание людей, когда её длительное время игнорируют? Похоже, что так. Ведь и в России после Октябрьской революции произошло нечто подобное. Восстание тружеников серпа и молота против системного духовного и социального гнёта. Если бы рабы и гладиаторы Спартака были бы вооружены теорией, подобной теории Маркса, наверняка они бы победили. Ведь тружеников всегда больше. В чём принципиальная системная ошибка христианства? В его ограниченности личностью Христа. А как же предки за сто, пятьдесят, десять тысяч лет до Христа? Их не было? Нелюбовь организованных христиан к дохристианским предкам. Отвращение к ним. Отвращение человека к родителям — патология...

Христианство, за редким похвальным исключением, не работало с ГРП. Людей, попавших под эту психическую машину, просто-напросто сжигали. Затем массово уничтожали индейцев Северной и Южной Америки.

Христос стал экстраординарной духовной фигурой номер один на Западе, когда сам подключился к генно-родовой памяти во время сорокадневного поста в пустыне. Он пережил ГРП человечества и не сошёл с ума. Отсюда сила Его личности. Вот здесь — в подключении к генно-родовой памяти — истоки христианства. Добровольное подключение к ГРП — штука не для всех. Отсюда слова Христа: «много званых, но мало призванных»... Тогда становится понятным Его призыв: «Ешьте тело Мое и пейте кровь Мою...» — во время тайной вечери. «Подключайтесь к генно-родовой памяти через меня, мою личность».

Индивидуальное подключение напрямую к ГРП есть тяжёлое бремя. У старика Ницше съехала крыша. Кто подключился — обречён носить груз ГРП всю жизнь. Проблема лишь в том, чтобы смочь с этим жить. Кант, Гегель, Шопенгауэр — достойные примеры. Чем я хуже их?!

## 7.

Раннее утро. Второй день я в гостях у духа шамана Эльге. Он пока не выходит на связь. Правильно делает. Даёт возможность самому собраться

с духом, мыслями. Даёт возможность быть самостоятельным.

Рассвело. Пью чай у костра. Мир изменился. Потому что изменился я. Тело наполнилось силой, а душа — духом предков. Спящее озеро, тайга, сопки и само небо — всё ожило. Послышалось хлопанье крыльев: по правой кромке озера в чащобу тайги пролетела сова. В той стороне чащобы, где скрылась сова, раздался треск сухостоя и хруст валежника. На усыпанную рыжей хвоей поляну выполз медведь и направился к озеру. У кромки воды он остановился и, grimасничая, косо посмотрел на меня. Угрозы от него я не чувствовал. Он от меня, видимо, тоже. Затем медведь задрал морду в небо. Я тоже взглянул вверх. Над озером кружил орёл. Он парил кругами, не махая крыльями. Внутри что-то тепло ёкнуло — в смысле положительного резонанса. Потекли свежие, тёплые мысли...

Я — точка совпадения реальностей: физической и психической. Видение совы понятно: можно увязать с духом шамана Эльге рода Совы. Орёл — символ тотема германского народа. А медведь? Что делает здесь медведь? И тут меня осенило: Медведь — тотем народа России! Экстремальный архетип народа не проявился явно в 1917 году, после Октябрьской революции. Его прикрыли большевики-ленинцы политико-экономической теорией Маркса. Но сущность тотема осталась: поголовный тотальный коллективизм под красным цветом, цветом крови.

Гражданская война, кровопролитие. Тем не менее, приспособление к объективной реальности свершилось. Состоялись общемировые культурные феномены. Русские первыми в истории человечества вышли в космос! Затем тотем Медведя стал символом партийной (родовой?) принадлежности нефтегазовой партии власти — «Единой России» — в начале двадцать первого века. После развала мегагосударства СССР в августе 1991 года русские тоже не могли справиться с объективной реальностью! Ничего удивительного: когда сознание не справляется с объективной реальностью, на помощь всегда приходит тотем... Так было и в Германии во времена нацизма...

После поражения в Первой мировой войне сознание немцев было не в состоянии справиться с объективной реальностью, и тотем Орла пришёл на помощь. Здесь приспособление к объективной реальности не состоялось потому, что не было общемировых культурных феноменов. А были контркультурные, античеловеческие — концентрационные лагеря и национальная дискриминация других народов в самых жестоких вариантах. Гитлер — идиот и полнейшая скотина: так тупо и ничтожно распорядиться энергией тотема народа! Вместо того, чтобы сделать евреев агентами немецкого мирового духовного влияния (как это сделал Ленин во времена Октябрьской революции

1917 года), вместо того, чтобы приподнять их, оказать содействие в создании государства на Земле обетованной (что позже сделал Сталин), он начал их уничтожать в промышленных масштабах!

Не нужно было воевать с Россией, а ограничиться Европой и удерживать Северную Африку. Надо было на этом остановиться и, используя энергию тотема Орла, начать общеевропейский духовно-культурный процесс консолидации... Стоп, стоп... Я тормознулся, передохнул. Меня явно занесло. Почему? Я не сумел отделить свою личность от тотема Орла своего народа. Чтобы свободно мыслить, нужно уметь пережить тотем и выйти за его пределы... кажется, сейчас это удалось...

Медведь всё ещё смотрел в небо. Орёл по-прежнему кружил над озером.

Я—немец, живу в России, в Сибири. Медведь и Орёл—тотемы народов. Во время Второй мировой войны Медведь победил Орла—тотем русского народа оказался мощнее. Это интуитивно чувствовал и понимал Ницше. Поэтому он призывал немцев к интеграции с русскими!

Кто синтезирует тотемы? Вряд ли я. А вот сын Максим—смог бы, имея немца-отца и русскую мать?!

## 8.

День третий. Приснился сон: мама (сейчас живая) лежит в гробу, я подхожу с факелом и поджигаю гроб, огонь ярко вспыхивает. Сон мне понятен. Спящая мать—погружённая в сон ГРП... и она ожила (вспыхнула). Всё ясно: констатация психологического свершения, ведущего к большей внешней и внутренней жизненной активности. Но, кроме морального, требовалось ещё какое-то материальное, объективированное свершение.

Я спустился к озеру, умылся. Дух шамана был где-то рядом, я незримо чувствовал его присутствие. Мне не нужен поводок, достаточно толики душевной поддержки.

Снизу я смотрел на рукотворный шалаш, у основания которого лежали камни с тотемическими знаками рода Сова, и вдруг мне в голову пришла идея: построить небольшой каменный вигвам из камня и глины в честь или в память людей рода Сова и духа шамана Эльге! Я облазил окрестности озера и подножия ближайших сопок. Валежины для устройства каркаса, камни, глина—всё было в наличии. Из крупных камней, почти валунов, я устроил фундамент вкруговую диаметром четыре метра. На него установил конусообразный листовый остов высотой за два метра. Этот остов я тщательно и плотно оплёл еловыми ветками—сделал своеобразную опалубку...

## 9.

Четвёртый, пятый, шестой день пребывания на Спящем озере. Я монотонно таскал камни и глину

к своей стройке, мешая глину и выкладывая камни по периметру юрты Сова, так я её мысленно называл. Пока я таскал камни и лепил их по периметру, внутри также шла психологическая притирка к ГРП. Генно-родовая память предков, её связь с моей сознательной личностью должна была стать моей личной духовной опорой. И тогда сознание наполнится духом, духом предков. От этого оно расширится и углубится до границ, которые я не могу представить. Процесс камнеобложения юрты Сова я совершал в молчании—боялся лишней раз мыслить. Потому что если возникала какая-нибудь мысль—возникал ответ.

Как из животного возник человек? Когда возникла любовь к родителям и к умершим предкам. Труд? Труд есть первая организованная деятельность по погребению, устройству каменных мемориалов памяти, склепов. Язык? Язык—целенаправленная повторяющаяся вербальная деятельность для выражения любви, тоски, скорби по предкам... Сознание? Осознание факта смерти и восстание против неё путём постоянного поклонения духу предков... Культура? Постоянное поминание предков путём мифов, эпоса, танца, изображения на камне... Слово? Слово рода. Родословие: «Авраам родил Исаака...»

Первые выраженные человеческие коллективы—родовые, шаманистские. В роде две равнозначные фигуры: вождь и шаман. Вождь—это воля к власти, господству, войне, истреблению. Шаман культивирует любовь к предкам, к духу предков. Опора вождя—реальность настоящего, основанная на ощущении. Ощущение требует господства, комфорта. Опора шамана—дух предков, генно-родовая память предков. Шаман по праву врождённых способностей, в духе, входит в ГРП, получает образную или вербальную связь. Момент контакта есть экстаз или энстаз, которые вбрасывают его в будущее через образ или слова. Это интуитивная функция. Цель ощущения—комфорт, счастливое состояние в настоящем, культ тела. Внешняя эстетика формы, индивидуализм. Цель интуиции—безопасность в будущем, развитая духовная культура, развитая эстетика духа, коллективизм...

## 10.

...Во время процесса камнеобложения, устройства храма Сова я питался урывками: озёрной ухой или домашним сухпаем. Главное, что работа спорилась. Спорилось и мышление. Я легко вышел за пределы исторического христианства, миновал греческое историческое язычество...

Шаманизм. Родоплеменная культура как матриархата, так и патриархата. Пятьдесят тысяч лет существования вплоть до наших дней в Китае, Индии, Южной Америке, Корее, России (Тыва). Любовь к предкам, культ предков, дух коллективизма

рода поддерживались шаманом путём трансовых групповых ритуалов тождества.

Тотем как символ структурированно оформленной энергии. Поскольку у рода был один мифический или эпический предок, то члены рода вынуждены были относиться друг к другу по меньшей мере с приязнью. Шаман — духовный, моральный, культурный центр рода, имеющий произвольный доступ к генно-родовой памяти. Других опор в виде организованной догматической религии, науки, техники для людей не существовало...

## 11.

К утру седьмого дня пребывания на Спящем озере мини-храм Совы был готов, камни я выкладывал по черепичной технологии, что-то среднее между черепицей и птичьим оперением. Я спустился вниз, к озеру, и осмотрел снизу каменный продукт своего внутреннего душевного порыва. Почти правильный серо-бурый конус...

...Примерно десять тысяч лет назад произошёл морально-психологический раскол родоплеменных человеческих коллективов. Те, кто исповедовал волю к власти, культ ощущений, обосновались преимущественно на Западе, в небольшой Европе. Те, кто сохранил почитание предков, культ интуиции, — на Востоке, на огромных необъятных территориях. Последняя западная цивилизация, ориентированная на почитание предков, культ умерших, — Древний Египет. С падением этой величайшей цивилизации всех времён и народов с интуицией на Западе было покончено. Греческий расцвет ощущения, приправленный философским античным интеллектом. Воля к власти греков (Александр Македонский). Воля к власти Рима. Далее — крестовые походы, колонизация Нового Света, и католицизм сам попал под магию воли к власти, к духовному господству. «Я дверь овцам...» (Евангелие от Марка). Воля к власти через «любовь к ближнему»?!

После Реформации, раскола католицизма протестантизм обуздал архаическую первобытную волю к власти — на волю к наживе и комфорту. Неплохой ход. А как же быть с культом почитания предков, культом воскресения? Никак. Отца отцов и праотцов из внутренней психической реальности генно-родовой памяти организованное христианство отправило на Небеса! Там он не страшен, поскольку не является частью человеческой психики. Источник человеческой морали и нравственности, внутренний Отец отцов, ещё служит чистым моральным источником для иудеев. Почему фашизм с такой ненавистью начал масштабное уничтожение евреев? Потому что фашисты звериным чутьём почувствовали моральное превосходство евреев. Ведь евреи поклоняются реальным старозаветным отцам, фашист — мифическим арийцам.

## 12.

...Я вылепил из глины фигурку совы с наполовину распахнутыми крыльями. Просушил сначала на воздухе, затем — на углях догорающего костра. Внутри сделал углубление для водружения наверху. Фигурка в натуральную величину вышла не очень, но голова с большими круглыми и плоскими глазами была что надо...

После Библии, по итогам двадцатого и начала двадцать первого столетия, Фридрих Ницше — самый издаваемый автор на Западе. Почему? Потому что он реально первый нырнул на подоконник генно-родовой памяти, обнаружил там «волю к власти», архаическую основу первобытного ощущения. Эта «воля» — сущность Запада. «Воля к власти», от старших к младшим, как эстафетная палочка, передавалась европейцами друг другу: греки, римляне, германцы, французы, опять германцы.

Когда «эстафета» дошла до англичан, то протестантизм трансформировал её в «волю к наживе». После Второй мировой войны «воля» иссякла. Западная Европа лишилась моральной архаической опоры и стала стремительно деградировать. Европу стали заселять народы, исповедующие ислам. «Эстафету» подхватили США, последний оплот Запада в противостоянии с Востоком... Моральное бессилие и поднятие уровня Мирового океана сподвигли европейцев к массовому покиданию старушки Европы в настоящем — двадцать втором — веке.

Я остро ощущал моральную деградацию европейцев. Воля моральной личности к власти деградировала до воли толпы к домоганию всяческих прав и свобод, к массово-политической и массово-спортивной бесовщине. Возродился древнеримский культ «хлеба и зрелищ» — пива и футбола! Попытка возрождения Гитлером культа почитания предков в мифическом эпатажном варианте провалилась вследствие тупой моральной принципиальности, принципа «чистоты расы».

Плюс Гитлер не сумел отделить свою личность от тотема Орла (значит, он был не свободен!)... Дело закончилось тем, что немцы «полюбили» кошек и собак, а родители стали массово сдавать в приюты в двадцать первом — двадцать втором веках. Апогей деградации: борьба за права кошек и собак, наследования животными финансовых состояний, промышленная индустрия производства кормов, одежды для животных, животная погребальная ритуальная псевдокультура!

Толпа без моральной личности опускается — она становится аморальной. Аморальную европейскую толпу начинают замещать морально организованные коллективы, исповедующие ислам... Толпа и личность. Напряжение их отношений есть то, что образует, двигает мораль!

13.

Обед седьмого дня пребывания на Спящем озере. Дело сделано: мини-храм рода Сова построен. Её глиняный символ — на вершине рукотворного конуса. Я пообедал «чем Бог послал». В принципе, можно возвращаться домой, но внутри было чувство какой-то неполноты. И я решил остаться на день-другой. Перенёс тлеющие угли внутрь конуса, добавил валежника, улёгся на еловой перине... И стал смотреть и слушать огонь. Не заметил, как стемнело, как уснул.

Спал я плохо — видимо, давила тяжесть генно-родовой памяти общеевропейского духа предков. В третьем часу ночи меня окончательно разбудил какой-то шум, идущий снизу. Я вышел из шаманской хижины наружу. То, что я увидел, — поражало. Сине-чёрный небосвод был усеян яркими звёздами. Яркая, выразительная жёлто-коричневая луна, висящая над сопкой справа, бросила широкие блики на чуть подвижную поверхность Спящего озера. На фоне этой фантастичной игры водной поверхности с лунными бликами на берег вышел молодой красивый олень! Он вышел на берег и встрепенулся, вздрогнул всем телом, клубы водяной пыли озарились лунным светом. Его рога также отсвечивали волшебным буро-жёлтым золотом. Фейеризм и символизм происходящего ударили в мозг, душу... Я почувствовал, что внутри меня по всему психическому спектру зажглись невидимые духовные огоньки. Они подогрели мои мысли, чувства, ощущения. Те вознеслись и потекли за пределы реальности.

14.

Итак, Запад: снаружи — декларируемая христианская «любовь к ближнему», внутри — «воля к власти», трансформированная до воли толпы к правам и свободам. А что Восток? Сомнительно, чтобы я реально глубоко вошёл в грп Китая или Индии. А вот Россия... Русские мне близки. Моя жена Лина — русская. Друзья детства и юности тоже: Витя Малеев, Саша Грузцов, Андрюха Бассанов.

Я мысленно обнял души близких мне людей... И... у русских нет воли к власти (хотя есть воля к бунту)! Первые русские военные вожди — викинги-варяги Рюрики. Мне трудно представить, чтобы какой-нибудь древний германский род, к примеру, тевтонов, пригласил инородца-славянина в качестве вождя! У них другая воля! Воля к единству, к всеобщности: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (во времена СССР).

Только с такой волей народ может поклоняться немке Екатерине Великой или кавказцу-грузину Сталину подобно матери или отцу. Основные русские идейные, религиозные, философские искания и теории — от коммуно-анархиста П. Кропоткина до марксистской коммунистической утопии Ленина, философии «всеобщего дела» Н. Фёдорова,

учения Циолковского, «Ноосферы» Вернадского — суть проявления воли к всеединству, всеобщности. Противоположение воле!

А противоположности, как известно, притягиваются!.. Плюс и минус дают электрический ток!.. Ток жизни!..

Русские дружелюбны к иностранцам, непосредственны, жизнелюбивы. У них есть национальное достоинство, но нет национальной спеси, национального чванства, кои есть у немцев, французов, англичан.

Зато к самим себе они относятся жестоко: причина Ивана Грозного, пугачёвщина, «красный» и «белый» террор гражданской постреволюционной войны, охота на «врагов народа» в сталинские времена. Впрочем, после победы над гитлеровской Германией взаимная внутренняя жестокость смягчилась.

Во времена СССР у русских возник культ отцов в деградированном виде. Почему в деградированном? Потому что в ограниченном культе — ограниченная мораль Маркса, Ленина, Сталина отказалась от морали отцов христианских, языческих, родовых. Человек, отказывающийся от отца, — нечестивец! Так и народы!

Коммунизм в СССР — прямое вторжение генно-родовой памяти, психического родоплеменного строя в христианское сознание русских, в свою очередь, отказавшихся от языческих, родовых предков! Мавзолейное бальзамирование Ленина, Сталина — прямые указания на древнеегипетский культ почитания мёртвых. Вывод прост: если отказать предкам в почитании, то они приходят сами, едва прикрытые фашистской или коммунистической моралью!

Они «приходят» в виде духовного принуждения. Как избежать этого? Перво-наперво, нужно не бояться этого духа, а идти ему навстречу — переживать его в себе, как часть себя. А если в духе есть злое? «Не противьтесь злему!» Этот тезис Христа — верен. Нужно переживать злое, но не быть его орудием. Чем Христос и занимался сорок дней в пустыне! «Хлебанул» и я германской «воли к власти».

Дух предков, генно-родовая память — живая психическая реальность! Культ почитания предков, культурная ритуальная технология почитания есть сознательная попытка осмысления и регуляции этого духа.

15.

Дух предков — это не пустые слова! Эту реальность, этот дух я переживаю сейчас в одиночку на собственной психической шкуре!

Этот дух даёт возможность рывка, прыжка вперёд. В случае Германии (во времена фашизма) — промышленного, военного. В случае России (во времена СССР) — промышленного, культурного,

социального, научного. Именно этот дух выталкивает народы и личности в будущее: Германию и Россию, Шекспира и Гёте, Фрейда и Ницше, Достоевского и Толстого.

Если человеческое сознание ограничивает этот дух реальностью лишь «арийской» или коммуно-мавзолейной Маркса-Ленина-Сталина, то дух предков покидает народы и личности. Этому духу скучно пребывать с ограниченными людьми и народами!

Утро восьмого дня. Перед пробуждением — яркий, красочный, отчётливый сон. Я стою на берегу Спящего озера, смотрю наверх, на каменный храм Сова, и вижу там человеческую фигуру. Это — шаман Эльге. Худощавый мужчина ростом выше среднего. Темноволосый усатый человек с тонкими чертами лица. Карие европейские чуть прищуренные глаза, но всё равно видно, что в них играет солнце. Человек одет в серо-стальную кожаную пару. Верхняя часть одежды обрамлена шкуркой песца. На левой стороне, чуть выше сердца, выжженное чем-то калёным клеймо совы с распахнутыми крыльями.

В правой руке шаман держал нечто круглое, ситообразное, обтянутое кожей. Я понял, что это шаманский бубен. Вдруг правой рукой он бросает этот бубен мне. Описав полукруг, шаманский обруч-барабан падает на мои вытянутые вперёд руки. На гладкой кожаной поверхности бубна серого цвета вижу изображения животных, птиц и человека, мальчика, стоящего в центре. Главная обрамляющая фигура — Сова. Она набросила крылья над Орлом и Медведем, стоящими рядом. Напротив Сова внизу — рогатый Олень. Вдруг разрисованная поверхность вся вспыхивает не обжигающим прозрачным пламенем... И я просыпаюсь.

16.

После недельного одиночного контакта с группой у меня обострилась интуиция, и я легко понял значение этой символики. Я чувствовал себя так, как будто имел это знание врождённо... Итак, Сова — один из символов мудрости. Орёл — тотем западных европейских народов. Медведь — тотем восточных (медведь России, панда Китая). Орёл — воля к власти, Медведь (всеяден) — воля к всеединству. Олень (смена рогов) — символ обновления. Мальчик — я, а со мной и всё человечество.

Смысл сна? Некое задание (или задача) по очеловечиванию тотемных энергий Запада и Востока. Принятие их и придача этим энергиям общечеловеческого смысла — экстремальная задача. Прывок выше собственной головы. Я решил: прыгать нужно, потому что только таким образом произойдёт отрыв от поверхности земли и от поверхностной жизни — семья, работа, деньги... семья, работа, деньги, развлечения...

...Дело к полудню. Собрал вещи, притушил костёр, закопал мусор. Пора в обратный путь. Я спустился вниз, к Спящему озеру. Стоя к нему спиной, посмотрел вверх на мини-храм Сова. Чего я ждал? Повторения сна наяву? Небо потемнело, серые тяжёлые облака стали набирать движение над верхушками сопки. Замелькали «белые мухи». Начало ноября. Я пристально смотрел на небольшой треугольный вход каменного конуса, увенчанного глиняной фигуркой совы... ждал, что вот-вот появится шаман Эльге или его призрак, но никого не было.

Время остановилось. Нужно было идти, и я повернулся направо и пошёл вдоль берега озера. Вдруг случился такой ветряной порыв, что я даже покачнулся. В этот момент я получил в спину несильный, но резкий удар, мгновенно обернулся. На рыжей хвое, чуть присыпанной снегом, лежал круглый деревянный остов диаметром с полметра, шириной сантиметров пятнадцать. Потемневший от времени, гладкий до блеска остов делили на четыре части две внутренние, толщиной с палец, подпорки.

Что это? То, что осталось от бубна шамана? Или же это вещь хозяйственного назначения? Я вспомнил сон с шаманом Эльге и был склонен к первому варианту. Сначала события свершаются в психической реальности, а затем — в физической? Психическая реальность первична? Да! И тот, кто считает и понимает психические события, имеет доступ к будущему. Шаман, мудрец, поэт, певец, писатель, философ. Я поднялся обратно к храму Сова и водрузил непонятно откуда взявшийся раритет на вершину храма-конуса.

...Я стоял на том самом месте, где во сне видел шамана Эльге, и смотрел на Спящее озеро. Те чувства и ощущения, которые я испытывал, невозможно было выразить словами. Невероятный душевный подъём! Духи предков (и дух шамана Эльге) влекли меня в бесконечное человечество. Я ощутил привкус соединения противоположностей — мгновения и вечности, телесного и духовного. Я сложил руки рупором и крикнул: — Я и мир — одно!

Я был прав тысячу раз! И эхо это подтвердило: «Одно... но-о... о-о...»

### Эпилог

Через сутки я вернулся домой.

Меня не было десять дней, и через четыре дня мне должно было отправиться для отбытия полугодового наказания в ИЭГУ «Парадиз». Лина ничуть обо мне не беспокоилась: она знала, что для меня тайга — «мать родна».

Мы обнялись.

— Как Макс? Больше не дурковал?

— Нет. Переживает, что приложил руку к твоей будущей принудительной «командировке».

— Вот и чудно! Пускай поймёт простую вещь: нельзя в жизни руководствоваться первыми душевными порывами, нужно учиться думать о последствиях!

Матери не было—она находилась на озёрном кемпинге. Макс—в школе. Ближе к вечеру он нарисовался и, потупив взор, протянул правую ладонь для приветствия.

— Пап, прости меня! Если бы я знал, чем это всё закончится, не стал бы обращаться в эту комиссию по правам ребёнка!

— Gut!<sup>1</sup> Нет людей, не совершавших ошибки. Учись мыслить, сынок. Не поддавайся первым эмоциям! Пойми, зависимость от чувств, эмоций—прерогатива женщин. Мужской статус—прежде всего интеллект! А интеллект эффективен лишь тогда, когда свободен от эмоций. Поэтому эмоции переживай, но не действуй, пока они не пережиты! — Я понял, пап! Речь идёт о том, что нужно быть сдержанным!

— Именно! А вообще, ты кем хочешь быть?

— Разведчиком или каким-нибудь первопроходцем. Возможно, космонавтом—открывать новые миры!

— Похвально! Это самые мужские, самые мужественные профессии! Для этого нужно знать историю, культуру народов, иностранные языки, понимать психологию людей. Есть предложение: давай готовиться к будущему прямо сейчас! — Давай! А как?

— Этим летом ты заканчиваешь четвёртый класс. Кроме школьной программы, предлагаю тебе высший вид образования—самообразование. Короче: более полно изучаешь историю и культуру России и Германии. Подтягиваешь немецкий, чтобы говорить свободно. Klar?<sup>2</sup> Через год пишешь сочинение на тему: кто я есть—русский, немец или нечто новое?! Мама будет курировать русскую часть самообразования, баба Марина—немецкую. По итогам твоего самообразования, самообучения будет принято решение о возможной твоей поездке в Германию, на родину моих предков. Дело в том, что после окончания моего принудительно пребывания в «Парадизе» я решил перевезти хотя бы часть праха наших немецких предков сюда, в Сибирь. Ты мог бы поехать с бабушкой Мариной... — Jawohl! Jawohl! Fantastisch!<sup>3</sup>

Поздним вечером, после ужина, отправив Макса спать, я обрисовал перспективы нашей семьи на ближайшие полтора года. Мама, после некоторого раздумья, согласилась с предложением о перемещении части праха предков в Сибирь:

.....

1. Хорошо! (нем.)
2. Ясно? (нем.)
3. Да! Конечно! Офигенно! (нем.)

— Уровень океана всё поднимается и поднимается. Кто знает, что будет через десяток-другой лет?! Если после твоего освобождения идея сохранится, то её следует реализовать. Хотя всё будет безумно дорого... Я—«за»!

— Спасибо, мама! Кстати, когда будешь навещать отца, возьми с собой Макса. Папа любил Гейне. Пусть прочтёт ему раз-другой «Лорелай». Это пожелание. Будет кочевряжиться—не настаивай... — За оставшиеся несколько дней я посетил могилу отца.

...Рассказал о последних событиях в жизни... попрощался на время.

Ночами мы с Линей любили друг друга как муж и жена, по физиологическим и прагматическим соображениям—мы решили завести ещё ребенка. Макс растёт эгоистом и получает слишком много любви и тепла от нас и бабушки... а всё хорошо в меру...

О своих душевных приключениях я никому, разумеется, не рассказывал. Зачем?! Ведь чтобы меня понять—нужно это пережить!

Вроде бы всё шло как надо. Звероферму я передал Лине и пристегнул к ней Макса. Но изнутри шло какое-то давление. Затем и мысли: а в чём, собственно говоря, сущность моих отношений с генно-родовой памятью?! Как идентифицирует меня ГРП?! Мне нужен был какой-то знак, символ, образ. И я получил его...

В последний домашний вечер я на ЭКЦ ехал за хвоей, используемой в качестве подстилки для зверьков на звероферме. Скорость небольшая, почти бесшумное движение. Вдруг на повороте под колёса резко выскочил молодой дикий лосёнок.

Не раздумывая, повернул влево, левым колесом наткнулся на пень и полетел на старую сосну с толстыми ветками. Вытянутые руки лишь смягчили удар головой о толстый сук, остановивший мой горизонтальный полёт...

Я лежал у подножья сосны на спине. Очевидно, что была кратковременная потеря сознания, потому что мглистое небо и сосновые ветки качались в каком-то мареве. Тут же в голове возникло слово: «идентификация»... Затем возникло видение большой капли крови. Я приподнялся и, сидя, стал покачиваться из стороны в сторону. В этот момент покачивания потекли мысли: «Так-так. Значит, такое предназначение имеется в виду со стороны генно-родовой памяти. Кровь—внутренняя субстанция, питающая живые организмы. Может быть, мне предстоит морально питать людей?»

В обычных, нормальных условиях она не проявляется. Кровь снаружи проявляется только при экстремальных условиях. Очевидно, что мой выход «в свет» состоится при экстремальных или близких к ним условиях.

Что ж, символ мне понятен!

Я подполз к сосне и откинулся спиной на ствол. ЭКЦ лежал на боку, правое заднее колесо, по-моему,

крутилось. Есть контакт! Я опять нарвался на психическую реальность—ГРП—и решил этим воспользоваться, чтобы найти ответы на ещё не решённые вопросы...

Отношение к Христу и христианству?... Христу и христианству—быть! Быть «любви к ближнему»! А кто «ближний»? Предки! Их гены во мне... Я просто вынужден их любить... Что с того, что они умерли? Их гены-то остались! А если среди них были мерзавцы и негодяи?! Мерзавцев и негодяев, как и святых,—немного. В конце концов, прошлые предки, пускающие друг другу кровь, научались быть человечными. А кем я научаюсь быть?

Наверное—Человеком! Почему в Евангелии от Иоанна Христос сказал: «Я и Отец—Одно!»? Почему забыта Мать? А я говорю: «Я есть Одно—состоящее из Отца и Матери и бесчисленного

сонма их предков». И ещё верно будет другое: «Я есть бесконечность, потому что мои предки теряются в прошлой бесконечности, мои потомки переживут меня—они одной ногой в будущем!»

P. S. Я проник в реальность генно-родовой памяти, ГРП... Разведчик... Вот только с чьей я стороны: ГРП или людей? Человечество на разведку ГРП разнарядку мне не давало... вроде... Впрочем, от людей (кроме семьи) ничего хорошего я не жду... А вот ГРП может отблагодарить меня (за внимание к ней?) в самом конце жизни качественной приятной смертью—во время сна или в ходе какого-либо дела?!

Работа с ГРП и её разведка дают понимание ясного факта: я и все—не сами по себе!

ДиН СИММЕТРИЯ

## Осип Мандельштам Над Курою есть духаны...



Мне Тифлис горбатый снится,  
Сазандарей стон звенит,  
На мосту народ толпится,  
Вся ковровая столица,  
А внизу Кура шумит.

Над Курою есть духаны,  
Где вино и милый плов,  
И духанщик там румяный  
Подаёт гостям стаканы  
И служить тебе готов.

Кахетинское густое  
Хорошо в подвале пить,—  
Там в прохладе, там в покое  
Пейте вдоволь, пейте двое,—  
Одному не надо пить!

В самом маленьком духане  
Ты обманщика найдёшь,  
Если спросишь «Телиани»—  
Поплывёт Тифлис в тумане,  
Ты в бутылке поплывёшь.

Человек бывает старым,  
А барашек молодым,  
И под месяцем поджарым  
С розоватым винным паром  
Полетит шашлычный дым...

Анатолий Бимаев

## Золотая рыбка

## Финляндия

Когда Аня приехала в город учиться, она была совсем ещё юной, невинной девушкой, совершенно не знавшей той суматошной городской жизни, что ей предстояло вести на новом месте.

Её пугали в городе каждая улица, каждый тёмный проулок. Дорога от колледжа до общежития представлялась чуть ли не полосой препятствий из светофоров и пешеходных дорожек, которую необходимо было преодолеть и при этом остаться в живых. Столь привычная для горожан суэта приводила Аню в отчаяние, утомляя больше занятий и контрольных по химии, дававшихся ей всегда с великим трудом.

Она жила в непрестанной боязни чего-то ужасного, дурные предчувствия не покидали её ни на миг. Что говорить, если один только звук проезжавших мимо с пронзительным воем автомобилей вынуждал Аню вздрагивать и хвататься за сердце. А гул самолёта, заходившего на посадку, впервые услышанный на вторую ночь в общежитии, и вовсе чуть не довёл её до истерики, заставив девушку разрыдаться—столь явственно Ане вдруг представилась катастрофа и её собственная страшная смерть в огне полыхающих останков разбившейся о землю машины.

И всё-таки ей нравилось в городе. Ей нравилось ощущение свободы, незнакомого прежде чувства лёгкости и эйфории—следствия первых дней самостоятельной жизни вдали от родителей. Это напоминало детские походы в лес вместе с друзьями, когда они ночевали в палатках и разжигали костры. Только теперь она была старше, и вместо походной романтики её преисполняла романтика городской жизни, а в сердце, томясь, пробуждались неведомые прежде желания.

И одним из этих желаний было желание любви.

Подобно героине мелодраматических фильмов о приехавшей в город деревенской простушке, Аня мечтала о каком-то красивом, страстном романе, о чём-то таком, что могло случиться лишь в городе и только с ней и нисколько бы не напоминало того обыкновенного, подчас несовершенного чувства, которое она наблюдала в деревне. Ей всерьёз думалось, что симпатия между мужчиной и женщиной сродни зёрнам каких-то диковинных злаков, приносящих свои

урожаи только в особенной почве в особо удачные годы.

Ей уже нравилось несколько мальчиков, живших вместе с ней в общежитии, но никто из них не казался ей исключительным, никто не тревожил её душевного равновесия. Как назло, они и не замечали её, уделяя внимание другим, как ей казалось, более привлекательным девушкам. Всё дело в том, что втайне она почему-то всегда принижала силу собственного обаяния, считая себя некрасивой, глупой, неинтересной, особенно в сравнении с теми девочками, что прожили в городе всю свою жизнь. Во всём они разбирались решительно лучше её, будь то одежда или косметика, и в свои восемнадцать казались юными леди, в то время как Аня ещё лишь входила во вкус, постигая азы науки о женственности, смотрясь в своих пёстрых, по-попугаичьи ярких нарядах смешно и нелепо.

Всё чаще она не смыкала глаз по ночам, думая о своём будущем, которое ей представлялось всё мрачнее и безысходнее. Ей казалось, что она никому не нужна, что она проживёт всю жизнь старой девой. И постоянные шутки соседок по комнате относительно её одиночества лишь укрепляли девушку в этой мысли.

После первых экзаменов Аня совсем потеряла надежду. Только подумать: уже прошла целая осень и половина зимы, а она так ни с кем ещё не познакомилась, даже ни разу не сходила в кино. Её отчаяние усиливалось, когда она вспоминала своих однокурсниц, большинство из которых было счастливее её, потому что успело познать сокровенную тайну любви, превращавшую девушку в женщину и открывавшуюся только в первую ночь, проведённую с тем единственным, предназначенным самой судьбою, мужчиной.

Но вот, как это часто бывает в жизни, когда Аня от горя совсем уже было лишилась сна, долгожданная встреча свершилась. Это случилось на вечеринке, на съёмной квартире, в самом начале второго семестра, лишь Аня вернулась с каникул из дома.

Был ли он именно тем, кого она так долго ждала, храня его смутный образ в воображении? Возможно, и был. Во всяком случае, ей тогда показалось

именно так. На самом же деле она, скорее всего, просто увидела в нём сосредоточие определённых качеств и черт, которыми привыкла наделять в мечтах избранника сердца, несколько не анализируя своих предпочтений, и эти качества и черты на какой-то момент заслонили от девушки всё, что могло пойти бы вразрез с её представлениями об идеальном мужчине. О том образе полубога — умного, красивого, самоуверенного, каким не прочь прикинуться на один вечер любой, даже самый посредственный представитель сильного пола, как правило, к моменту достижения совершеннолетнего возраста без труда овладевавший как минимум одной из этих ведущих к успеху у женщин ролей.

Он подошёл к Ане в самый разгар вечеринки, когда она танцевала с подругами в комнате. И хотя всё это время мысленно она только и призывала его это сделать — заметив парня стоявшим подле неё с протянутой для танца рукой, она едва не лишилась сознания. Смешение страха и радости, трепета и восхищения, пробудившихся в ней с его появлением, сделали следующий танец похожим на сон, в котором Аня кружилась, не касаясь земли, невесомая, словно пушинка.

С каждой прошедшей секундой новый знакомый казался Ане всё лучше и лучше — до такой степени, что было страшно этому верить. Он будто читал её мысли, и если она начинала скучать, он тотчас же её веселил какой-нибудь милою глупостью, тихо прошёптанной на ухо. И, как ни покажется это странным, больше всего её привлекали с его стороны проявления откровенного равнодушия, которые, несмотря на безусловную расположенность к девушке парня, иногда всё же смутно угадывались в отдельных словах и улыбках. Именно равнодушие, говорившее о наличии у избранника пока ещё неподвластной ей воли, а точнее, усилия, которые она должна была применить, подчиняя себе это сердце, нравились Ане в первую очередь.

Однако без должного опыта обольщения завоевать незнакомца было никак невозможно. Поэтому Аня неожиданно для себя избрала обратную тактику: самой во всём подчиниться мужчине, пытаясь тем самым снискать его одобрение и интерес.

Когда она осознала всю гибельность этого шага, было уже слишком поздно. Увы, но Аня и сама потом не могла точно вспомнить, как могло так случиться, что, не сделав ещё последнего выбора, она будто досрочно пообещала себя, разрешив ухажёру делать всё, что ему пожелается. Ей, быть может, и хотелось порой возразить, но она не могла сказать «нет»: непокорный язык не желал её слушаться. К тому же, когда парень к ней прикоснулся, украдкой лаская груди и шею, она ощущала прилив такого сильного наслаждения, от которого было нельзя отказаться, не отдавшись ему до конца.

Между тем в квартире, где они веселились, становилось всё многолюднее и тесней. И Аня уже готова была отдать всё на свете, лишь бы остаться наедине со своим новым знакомым, не в силах больше себя контролировать.

Наконец он сказал:

— Выйдем? Здесь слишком шумно.

— Да-да, пойдём, — поспешно согласилась она, покорно проследовав с ним в соседнюю комнату, шатаясь и всё время ударяясь о мебель.

— Раздевайся, я не могу больше ждать, — прошептал он в каком-то экстазе, покрывая тело её поцелуями. — Ты меня сводишь с ума!

Он увлёк её на кровать, неловко шаря руками по джинсам в поисках молнии.

— Постой, — сказала Аня ему.

— Что? — произнёс он, продолжая её целовать.

— Да постой же! — повторила она, отстранившись насколько могла. — У тебя ведь нет другой девушки, правда?

В какой-то момент получить ответ на этот вопрос стало для Ани жизненной необходимостью. — Да нет же, конечно. Кто тебе это сказал?

— Правда? — переспросила она простодушно, как девочка.

— Разумеется, да, — заверил он Аню. — Что я, потвоему, не понимаю?

Чего он не понимал, Аня уже не думала разбираться. Счастливая, словно ей только что сделали предложение, она доверчиво прижалась к своему кавалеру, обвив его крепко руками.

Вся последовавшая вслед за этим неделя была преисполнена ощущением долгожданного праздника. Аня посвящала своей первой любви каждый свободный миг жизни, и если они бывали не вместе, она устремлялась к нему в мыслях и грёзах, не зная, что такое разлука. И всё-таки вскоре девушке стало казаться, будто любимый тяготится их встречами, позволяя себе быть холодным и невнимательным, что крайне её беспокоило, вызывая дурные предчувствия.

— Знаешь, — наконец-то признался он по телефону, — боюсь, но мне скоро придётся уехать отсюда.

— Да? И надолго? — спросила она, холодея.

— Скорее всего, навсегда.

Аня замолчала, как оглушённая, не веря ушам. — Я не говорил, но в Финляндии у меня живёт дедушка. Он предложил мне продолжить образование там. И, в общем-то, я решил, что будет глупо с моей стороны пренебрегать такой прекрасной возможностью.

Он так и сказал: «прекрасной возможностью», — словно здесь, с Аней, у него всё было плохо и безнадежно.

В следующий миг она разрыдалась. Она плакала, как казалось ей после, до самой последней минуты прощания, когда, торопливо чмокнув её в мокрую от слёз щёчку, любимый скрылся в вагоне скорого

поезда. Этот поезд Аня ненавидела как ничто в своей жизни. Он увозил все надежды её на любовь, оставляя ни с чем, поруганной и опустошённой, словно сокровищницу, из которой разбойники вынесли все драгоценности.

Каким же было удивление Ани, когда через месяц она случайно встретила беглеца в городе. Как ни в чём не бывало он гулял с другой девушкой, что-то мило шепча той смешное на ушко, как шептал прежде ей.

Он заметил Аню, но сделал вид, что они незнакомы.

### Золотая рыбка

Они жили втроём: Петя, мама и золотая рыбка.

Маме было уже тридцать лет, она была совсем старой. Пете исполнилось восемь — тоже вполне себе внушительный возраст, а золотой рыбке шёл только второй годик, она была ещё маленькой, и, честно признаться, когда Петя увидел её в первый раз в свой день рождения, он немало смутился такому подарку, не понимая, что ему теперь делать с золотой рыбкой и на кой ляд ему такая обуза.

Однако прошло несколько дней, и Петя переменил своё мнение. Бесспорно, рыбка была очень красивой и страсть какой занимательной, и мало-помалу любознательный Петя нашёл удовольствие в своих наблюдениях за питомицей, которая, важно надувшись, всё равно как какая-нибудь королева, неторопливо курсировала от одного конца аквариума до другого, словно осматривая своё обширное царство. При этом вид золотой рыбки был настолько серьёзен и основателен, что и вправду казалось, что она занята нешуточным делом, от успеха которого могут зависеть многие судьбы и даже его, Пегина, жизнь, что в конечном счёте внушило мальчику уважение к рыбке, такой крохотной и тем не менее уже озабоченной проблемами водного мира, решить которые она смело бралась в одиночку.

Осознание же, что он обладает совсем необычною рыбкою, пришло к нему постепенно. Конечно, Пете было известно, что золотые рыбки бывают волшебными, но поначалу ему попросту не приходила в голову мысль, что такое невероятное чудо, как встреча со сказочным персонажем, исполняющим любые желания, может случиться именно с ним, обыкновенным, ни чем не примечательным деревенским парнишкой.

Но вот однажды он заболел. У него были хриплый кашель и насморк и такая высокая температура, что Петя не в силах был даже подняться с кровати, уверенный в том, что не сегодня, так завтра его ожидает верная смерть. Он мог судить об этом наверняка, потому что как раз перед самой болезнью школьный учитель сказал на уроке, что от слишком сильного жара человек умирает, и Петя готов был биться сейчас об заклад, что

у него именно такой сильный жар, как говорил им учитель, и что, более того, если поднять одеяло, которым его укутала мама, он смог бы отопить целую спальную комнату, а может, и сразу весь дом вместе с кладовкою и верандой. В мысли о приближавшей смерти его укрепляла и мрачная обеспокоенность близких, бабушки и родной тётки, которые в этот день не отходили от него ни на шаг, вызванные мамой присмотреть за сыном, пока она была на работе. И хотя они нагло ввали ему на вопросы, когда он умрёт, отвечая, что он только чуть-чуть приболел и скоро поправится, это не могло сбить его с толку, ведь он уже был совсем взрослым и умел читать по глазам, которые, как он слышал, никогда не обманывают. Разумеется, в этом деле чтения глаз он считал себя непревзойдённым специалистом и, нисколько не смущаясь тем фактом, что он даже толком ещё не умел различать слова в книжках, смело брался за чтение самых сложных пергаментов человеческих душ, по правде сказать, видя в них решительно всё, что только приходило ему в бедовую голову.

Наконец, устав от мыслей о смерти, Петя был сбит тяжёлым, сбивчивым сном, и во сне ему привиделась рыбка. С тем же серьёзным, надменным лицом, с каким она обычно решала свои неизвестные мальчику рыбки дела, она сообщила ему, что избавит его от болезни, чтобы он якобы убедился в том, что она не какая-нибудь самозванка, но настоящая королева.

И действительно, проснувшись под вечер, Петя почувствовал себя лучше, найдя в себе силы подняться и самому, без чьей-либо помощи, сходить в туалет. А на следующий день он и вовсе позволил маме себя накормить неожиданно показавшимся на удивление вкусным куриным бульоном, который он до болезни ни за что не стал бы и пробовать, предпочтя ему излюбленный свой рацион из молока и хлеба с клубничным вареньем — обед сорванцов и маленьких непосед, которым всё время некогда и которые, будь на то их детская воля, верно б, и кушали стоя, а того и гляди — на бегу.

После этого случая Петя уже не сомневался в том, что его рыбка исполняет желания. Целыми днями он ходил ошарашенный, не замечая ни ночи, ни дня, снедаемый тайной своего всемогущества. То, о чём страстно мечтает любой человек, только лишь в нём зарождается беспокойство первых желаний, так неожиданно, ни за что ни про что, исполнилось в Петиной жизни, что он никак не мог избавиться от посещавших его против воли навязчивых мыслей о своей избранности. Точно чужой человек, гордый и самовлюблённый, бесцеремонно поселившийся в его голове, кто-то внушал ему такие мерзкие вещи, что порой он даже смущался, слушая их, что, однако, ничуть ему не мешало втайне с ними всегда соглашаться, не имея сил противостоять искушению.

Каждый день, лишь стоило Пете проснуться, он тотчас же загадывал очередное желание, а когда желаний не находилось, начинал мучительно их искать, лихорадочно роаясь в своём воображении, как если бы оно было бездонным колдовским сундуком, куда поглубже сунь руку — и обязательно вытащишь что-нибудь этакое. И, нужно признаться, воображение никогда Петю не подводило, рано ли, поздно ли, но обязательно его выручая каким-нибудь новым, всецело им завладевавшим желанием, более не дававшим покоя до тех самых пор, пока рыбка его не исполнит.

За несколько месяцев, что прошли со дня открытия Петей волшебных свойств золотой рыбки, он загадал решительно всё, что только мог загадать мальчик восьмилетнего возраста. Первым делом он пожелал, чтобы больше ему никогда не болеть, и действительно это исполнилось в точности. Потом он просил о каникулах и о весне, просил, чтобы мама его поменьше ругала, и о многом другом в этом роде, что непременно сбывалось, иногда сразу, иногда нет, но всегда именно так, как ему того и хотелось.

Вскоре, однако, его желания стали более конкретными, и, как ни покажется это странно, в них всё меньше и меньше оставалось места для кого-то другого, будь то бабушка, мама или в целом деревня со всеми людьми, составлявшими ближайший круг интересов мальчишки. Отныне Петя просил рыбку об удочке, о новых снастях и о совсем маленьком раскладном ножичке, который он, как на грех, подсмотрел у одноклассника Мити во время игры в казаков и разбойников. Он мечтал о футбольном мяче и кроссовках, о лыжах и о коньках, и всё это, в отличие от весны, каникул и солнышка, не могло принадлежать сразу нескольким людям, разве лишь по отдельности, что делало Петю несчастным, обособляя его от окружающих.

Теперь когда исполнение его желаний запаздывало и мальчик не получал в срок того, о чём просил рыбку, он, не имея терпения ждать слишком долго, страстно желал каждому человеку, кто обладал вожделенным предметом, скорее его потерять, чтобы хотя бы не чувствовать зависти, день ото дня становившейся всё нестерпимей и злее. И так как желал Петя до неприличия многого, то в конце концов его зависть распространилась на всех людей без исключения, будь то взрослые или дети, вынуждая его ощущать тёмную радость при их неудачах и огорчаться всем их успехам и радостям.

Рыбку же он и вовсе порой ненавидел. Пользуясь тем, что она находилась в его полной власти, он жестоко наказывал её за нерадивость, надеясь если не уговорами, то грубой силой заставить её исполнять все желания, отказаться от которых теперь, как чувствовал Петя, он уже ни за что

бы не смог. Мальчик по несколько дней морил рыбку голодом, нарочно забывал поменять воду в аквариуме и оставлял лампу, висевшую над её водной тюрьмой, включённой всю ночь напролёт, тем самым пытаясь лишить её сна. Но ничего из этого не выходило: рыбка оказалась крепким орешком и явно не желала сдаваться. С завидным мужеством она терпела все издевательства мальчика, своим невозмутимым царственным видом как бы давая Пете понять, что она его презирает и совсем не боится.

Наконец мальчик решил поставить рыбку условие.

Усевшись напротив аквариума на плетёную табуретку, специально для этого случая принесённую им из кухни, он торжественно объявил, положив руку на сердце, как того требовали обстоятельства:

— Клянусь перестать тебя мучить и немедленно отпустить, как только я получу в подарок велосипед, такой же, как у Васи Трещоткина. Честное слово, больше я ничего у тебя не попрошу, и ты станешь свободной, самой свободной золотой рыбкой на свете.

И Петя замолк на мгновение, наблюдая за произведённым его словами эффектом. Рыбка медленно плавала у самой поверхности мутной воды, то и дело широко раскрывая свой рот, словно хватая им воздух, и, казалось, даже не слышала своего экзекутора.

— Но если ты не исполнишь это желание, — продолжал грозно мальчик, подражая героям излюбленных фильмов, — тогда — «асталависта»! — сказал важно он, имея в виду нечто ужасное. — Так что хорошенько подумай об этом, если, конечно, ты дорожишь своей жизнью.

Озвучив эти нехитрые пункты своего соглашения, Петя тотчас же успокоился, понимая: против такой очевидной угрозы не устоять даже золотой рыбки. И, считая дело улаженным, он почувствовал себя так, будто велосипед уже стоял у него во дворе, весь день пребывая в приподнятом состоянии духа. Насвистывая под нос мотив какой-то весёленькой песенки, он, исполняя свою часть обязательств, почистил аквариум, поменял воду и накормил бедную пленницу, всё это время представляя в уме, как он быстрее самого ветра мчится по деревне на новеньком велосипеде, на серебряной пуле, и Вася Трещоткин, его ненавистный сосед, увидев Петю, багровеет от бешенства.

На фоне этой радужной выдумки все остальные желания Пети померкли, сделавшись несущественными, и он искренне уверился в мысли, что, став обладателем велосипеда, он и вправду уже ни о чём никогда не будет мечтать, как человек, обретший вечное счастье.

Две недели, последовавшие вслед за этим, прошли для мальчика точно во сне. Всё это время

он только и делал, что воображал своё будущее, неразрывно связанное с велосипедом. Вся жизнь, все её повседневные радости, все заботы виделись Пете теперь в каком-то новом, особенном свете, воскрешавшем былую их новизну. На велосипеде он ездил на речку, ходил за коровами и в магазин, что превращало эти занятия из обыденных, порядком наскучивших дел в увлекательные приключения. Сколько всего он теперь мог перечувствовать заново, сколько всего испытать, сколько сделать новых открытий там, где всё казалось безнадежно известным и скучным. И всё это благодаря обладанию одной-единственной вещью!

В мечтах о близком счастливом будущем он даже забыл про ход времени, не задаваясь вполне справедливым вопросом: когда же наконец-то осуществится желаемое?—словно это было не так уж и важно по сравнению с той великой мечтой, открывшейся вдруг перед ним. Красота фантазийной реальности была столь ослепительной и так легко поддавалась всем малейшим движениям Петиной мысли, принимая любую необходимую ему форму, что в какой-то момент она стала самодостаточной, безболезненно перенося разобщённость с действительностью.

Однако, когда однажды в окно их с мамой дома, выходящее в палисадник, кто-то неожиданно постучался, Петино сердце тотчас мучительно сжалось в предощущении чуда. В один прыжок он очутился возле высокой плотной гардины, откуда слышался стук неизвестного, и, отдернув её, с нетерпением взглянул за окно. Снаружи стоял невысокий коренастый мужчина с обросшим щетиной лицом, в котором Петя с испугом узнал родного отца. Отец что-то кричал ему, жестикулируя, прося мальчика выйти на улицу.

— Мама, — позвал маму Петя. — Батя приехал. — Что ты сказал? Я не слышу, — переспросила та из другой комнаты.

— Я говорю, батя приехал, — повторил мальчик.

И трудно было сказать, чего больше слышалось в его голосе в этот момент — разочарования или тревоги.

— Мама, он опять пьяный! — добавил Петя мгновение спустя, ещё раз взглянув на стоявшего в палисаднике человека.

В следующий миг мама вошла в комнату и, придерживая одной рукой не завязанный на талии халат, а другой убирая упавшую на глаза чёлку, подошла спешно к окну.

— Мама, зачем он приехал? Скажи ему, пусть уезжает.

— Уедет как миленький. Куда он денется, твой папаша? — ответила недовольная мама. — Я только спрошу, что ему нужно, а то он не успокоится. А ты жди меня здесь, пока я тебя не позову.

И она вышла на улицу, а мальчик остался один, жадно прислушиваясь к тому, что происходило

снаружи. Вот закричала, отворяясь, калитка, и Петя услышал родительские голоса. И хотя разобрать, о чём именно говорили родители, Петя не мог, однако смысл разговора понять было нетрудно. Отец хотел войти в дом, а мама его не пускала, отчего он кричал на неё и сердился.

Наконец ругань стихла, и, к своему ужасу, Петя услышал, как мама зовёт его выйти на улицу. Такого предательства с её стороны он никак не ожидал, но спастись бегством уже было поздно. — Ну и где это ты пропадал, спиногрыз? — спросил отец мальчика, когда тот вышел из дома. — Совсем, что ли, батю забыл? Без родного отца, значит, лучше живётся?

— Перестань, Витя! — попросила усталая мама. — А ты вообще молчи, сучка. Я с тобой не разговариваю, — пошатнувшись, огрызнулся отец. — И что, долго ты так будешь стоять? — вновь обратился он к сыну. — Подошёл бы хоть, батю, что ли, обнял после разлуки.

Отец стоял, опершись рукой о поленницу, расставив широко ноги, и мутными, воспалёнными с похмелья глазами недобро смотрел на мальчишку, отчего Петя никак не решался сдвинуться с места, словно парализованный этим взглядом.

— Кому говорят! Или ремня захотел схлопотать? — Ну, подойди к нему, Петя, сыночек. Это он так, только шутит. Не бойся, — заверила мальчика мама, всё так же придерживая рукою халат, чтобы он не распахнулся от лёгкого ветра.

— А ты почём знаешь, дура, шучу я или нет? — рассмеялся отец хорошо знакомым Пете злым смехом, которым он имел привычку заходиться, как казалось, в самый для этого неподходящий момент, точно смеясь над какой-то другой, не выказанной ещё шуткой, бывшей гораздо смешнее произнесённой. — Захочу — и кто меня остановит? Ты, что ли, женщина?

— Найдётся кому. Не одна живу я в деревне, — спокойно ответила мама.

— Ой-ой-ой, тоже нашлась мне принцесса. Да кому ты нужна — тебя защищать? Моя семья, что хочу, то и делаю с вами, понятно? — сказал ей мужчина и харкнул на поленницу. — Ну что ты, заснул, что ли, Петька? Долго я ещё здесь буду стоять?

Подойдя неохотно к отцу, Петя опустил голову, уставившись на его грязные сапоги, тяжело, словно две неподвижных колонны, попиравшие мутную лужу, оставленную вчерашним дождём.

— Ну и вымахал ты за это время. Скоро мне с тобой не справиться. Скажу что-нибудь поперёк, а ты сразу кулаком в дыню за всё хорошее, — сказал отец сыну, опять засмеявшись своим неожиданным смехом.

— Будешь приезжать к нему пьяным, так и вправду скоро получишь, — заметила мама.

— Замолкни, стерва, я с сыном беседую, — огрызнулся отец.

Опустив руку на голову мальчика, он потрепал его по волосам, вызвав в Пете целую бурю молчаливого негодования.

— Ты рожу-то сделай попроще, пока я её тебе не поправил,— дыхнул на сына отец удушливым запахом спирта и сигарет, продолжая трепать его, как собаку.— Не кривись, я сказал,— прикрикнул он и залепил мальчику подзатыльник.

— Мама!— воскликнул Петя.

— Что мама? А ну не реветь, сосунок!

— Я не сосунок,— сдерживая побежавшие было слёзы, ответил мальчишка.

— А кто ж ты тогда? Ревёшь, как девчонка.

— Я не девчонка!— выпятив грудь, крикнул он.

— Так-то лучше,— похвалил отец сына.— И рожу, я сказал, не криви,— снова ударил он мальчика по затылку.

На этот раз Петя перенёс затрещину стойко. Расправив плечи, он устремил на отца немигающий взгляд исподлобья, хрипло сопя, точно маленький зверь. Взглянув на них в этот миг, можно было лишь подивиться тому, как сильно они походили один на другого. Оба приземистые, сутуловатые, с широко расставленными ногами по сторонам, они напоминали двух рассвирепевших бычков, готовых вот-вот кинуться друг на друга. — Так-то лучше,— похвалил снова отец.— А то разверещался, как голодный галчонок,— произнёс он и опять засмеялся над собственной шуткой.— А я ведь, между прочим, не просто так сегодня припёрся из города. Если хочешь знать, у меня для тебя есть подарок.

— Спасибо,— всё ещё хрипло сопя, сказал Петя.

— Да ты подожди ещё благодарить-то. Я ведь пока ничего не подарил.

— Как скажешь,— равнодушно пожал мальчик плечами.

— Ну-ка пойдём. Я его сейчас тебе покажу. Он ждёт за оградой.

И отец вывел Петю на улицу. Чуть вдалеке, на обочине сырой, раскисшей дороги, по обеим сторонам которой тянулись деревенские одноэтажные домики с палисадниками и ржавыми черепичными крышами, стояли незнакомые «Жигули» жёлто-белого цвета с открытым багажником, откуда торчало огромное хромированное колесо новенького велосипеда.

— Эй, Жгут,— свистнул отец.— Доставай наш подарок.

В этот же миг из машины вылез высокий худой человек в спортивных штанах и футболке неопределённых оттенков и засуетился возле багажника, пытаясь распутать верёвку, протянутую от капота до заднего бампера.

— Ну что ты там возишься?— прикрикнул отец на приятеля, подходя к нему с сыном.

Он шёл, засунув руки в карманы, дымя сигаретой в зубах, а мальчик плёлся за ним, как на привязи.

— Узел, сука, тугой. Никак не могу развязать.

— Это руки у тебя из жопы растут, а не узел,— сказал отец, взглянув на верёвку.— Ну-ка, дай-ка попробую,— отстраняя Жгута, произнёс он.— А то ты так до вечера будешь возиться.

— Да пожалуйста, ваше высочество,— ответил приятель.

Руки у отца были большими и пухлыми, как у утопленника, сплошь в каких-то шрамах и ссадинах, в чёрных мазутных пятнах. Каким же было удивление Пети, когда эти самые руки, казавшиеся такими неловкими и большими, вдруг с проворностью фокусника стали развязывать крошечный узел величиной не больше горошины.

— Держи, спиногрыз, свою серебряную пулю,— добродушно сказал отец, доставая из багажника велосипед.

Оказалось, он был одной из последних моделей, с карбоновой рамой и восемью скоростями, именно такого цвета, как хотел Петя. Однако ожидаемой радости он не почувствовал. Его одолевала обида и злость и какое-то неуместное чувство тоски, как будто всё случилось не так, как ему представлялось до этого.

— Ну что же ты стоишь, не опробуешь свою пулю?

Удиви-ка папашу каким-нибудь суперским трюком. — Как-никак в такую даль пидорили эту херовину,— устало вздохнув, произнёс Жгут.

— Сам ты херовина! А этот велосипед— чудо современной инжиниринговой мысли,— ответил отец, произнеся последние три слова почти по слогам, выставив в небо указательный палец.— Во как. Понял меня?— спросил он, опять засмеявшись. — Понял, что в тебе продавец-консультант умирает спортивных товаров.

— Сам ты у меня скоро умрёшь,— отмахнулся отец от Жгута.— А во мне здоровья на десять быков. Вон какие ручищи, не то что твои плети,— сказал он, показав Жгуту мускулистые руки, и повернулся к мальчишке:— Ну же, Петька, давай прокатись, а я погляжу.

Мальчик сел на велосипед и, оттолкнувшись, покатился по грязи.

— Осторожней только!— воскликнула мама, всё это время молча стоявшая у калитки.

— Молчи, баба. Делаеть мне из мужика барышню,— рявкнул Витя в ответ.— Один хрен ниже земли не провалится.

— Это верно,— подтвердил Жгут.— А земля-то— она вон нынче мягкая.

— Вот именно,— не поняв, серьёзно тот или смеётся, повернулся Витя к приятелю, смерив его недоверчивым взглядом, но уже через секунду вновь смотрел на мальчишку, и по его беспокойным вздохам и бормотанию было ясно, что он хоть и по-своему, но переживал за своего сына.

— Эй, выворачивай на дорогу. Слышишь?— закричал он ему.

— Что? — раздражённо воскликнул Петя, не повернувшись к отцу.

— Я говорю, выворачивай на дорогу. Там суше.

— Не хочу, — ответил мальчишка.

— Петька, кому говорят! Выворачивай живо.

И снова нехотя сын подчинился, свернув на дорогу.

— Эх, один хрен не проедет, — сказал Витя Жгугу сокрушённо. — Грязь по самые ступицы.

— Да, сюда б вездеход в самый раз, как в прошлый раз на заимке.

— Ничего, мой сын справится, — гордо заявил Витя. — Не пальцем всё-таки деланный, — и, глядя, как его Петька на всём ходу форсирует огромную лужу, спросил: — Что у нас, кстати, там по припасам?

— По припасам полный порядок. Полдеревни хватит спойть.

— Давай начисли мне фронтовые для храбрости. Пойду брать старую крепость, — и он недвусмысленно взглянул на жену.

— Будет сделано, — сказал Жгут.

Достав из машины наполовину початую бутылку водки, он подал её другу, и тот, отвинтив крышку, жадно отпил из горла. Затем, привычно занюхав крепкий напиток ладонью, Витя с усилием выдохнул и, скривившись лицом, произнёс: — До чего же водка пошла нынче невкусная. Аж слезу выбивает.

— А пьёшь с аппетитом, — сказал Жгут, принимая бутылку обратно. — Даже самому захотелось попробовать.

— Ничего, погоди малость, скоро поедем.

— Я вот как раз про то и подумал. Не задержаться б нам здесь. А то ты уйдёшь сейчас — и с концами.

— Окстись, — отмахнулся мужчина и, выпятив грудь, пошёл вперёд нетвёрдой походкой, как будто под ним качалась земля.

Старая крепость оказалась не такой уж и неприступной, или Витя просто знал тайный ход, но через пару минут он уже громко смеялся с женой, рассказывая ей какую-то шутку, и Петя, круживший неподалёку, то и дело бросал на них тревожные взгляды.

Наконец отец крикнул:

— Эй, байкер. Давай скорее домой.

— Не хочу, — обернувшись, сказал Петя, привстав над седлом велосипеда.

— Что значит — не хочешь?! Давай без разговоров.

— Я только ещё пять минут, — канючил мальчишка, который, оправившись от приезда отца, уже начал себя чувствовать полноправным владельцем двухколёсного чуда.

— Дуй сюда, говорят. Будем чай пить. Я привёз торт.

— Не хочу, — повторил Петя и медленно поехал вперёд, всё время оглядываясь, точно боясь, что за ним побегут.

— Ты что же, торта не хочешь, что ли, гадёныш?

— Нет, — сказал Петя, удаляясь от дома.

— Так, — сделал вперёд один шаг, со злостью закричал отец, — а ну-ка живо назад! Иначе я тебе больше ни черта не куплю. Можешь быть в этом уверен. Помяни моё слово.

Петя молча катился вперёд, склонив голову, словно в раздумье.

— Никаких тебе больше велосипедов, ты слышишь? Никаких подарков на день рождения и Новый год, — отец кричал, грозно махая руками вслед мальчику. — Вот, значит, твоя благодарность отцу за всё хорошее!

— Витя, пойдём уже в дом. Он скоро вернётся, — сказала жена.

— Молчи, стерва. Нет чтобы научить сына отца любить, так ты ему ещё и потакаешь.

— Он ведь ребёнок совсем, — продолжала успокаивать женщина.

— Да какой он ребёнок? Я в его возрасте пахал от зари до зари, а он, понимаешь ли, на велосипеде катается. И не было у меня такого отца, который бы делал дорогие подарки.

В этот момент мальчик неожиданно развернулся, на что-то решившись. Быстро подъехав к отцу, он спрыгнул с велосипеда, едва успев остановиться, и стремительным шагом направился в дом, даже не обратив внимания на то, что, лишившись своего седока, его серебряная пуля упала на землю.

— А ну-ка вернулся и поднял велосипед, — приказал отец сыну.

— Сам подымай, — ответил мальчишка.

— Ах, вот, значит, как ты, гадёныш! Ну, держись у меня, — произнёс мрачно отец, направившись в дом.

— Нет, Витя, не надо! — попыталась преградить ему дорогу жена, но он её оттолкнул.

— Пошла вон, стерва. Я научу его уважать старших.

Дальнейшее было ужасно. Отыскав Петю в его детской комнате, отец снял со штанов страшный чёрный ремень и, схватив сына за воротник, принялся с пьяным остервенением стегать его всюду, куда только ложилась рука: по спине, по заднице, по ногам, очень скоро превратив тело мальчика в один сплошной истерзанный комок боли, пульсирующий обжигающим пламенем ссадин. Хотелось заплакать, но почему-то слёз не было, будто их выжгло страдание, и Петя только жалобно вскрикивал под каждым новым ударом.

— А теперь подумай над своим поведением, — сказал, задыхаясь, отец и, бросив мальчика на кровать, удалился.

Петя пришёл в себя только под вечер. Весь день он пробыл у себя в комнате, строя коварные планы отмщения, но ничего придумать не мог. Сначала ему пришла было в голову мысль сбежать из дома, но потом, расценив, что такой шаг навряд ли расстроит отца, который будет лишь рад тому, что Петя навсегда исчезнет со света, он отказался

от этой затеи. Затем он решил подложить отцу в сапоги куст крапивы, но вскоре тоже отступился от этого плана, вспомнив, что крапива будет ещё только летом.

И так он переходил от одного проекта к другому, в конце концов забраковав каждый, поскольку одни, по его разумению, были слишком просты и неэффективны, а другие было бы сложно исполнить. К тому же хоть мальчик и не признавался в этом себе, но он очень боялся отца, и то неизбежное воздаяние, что, как он предчувствовал, сразу последует за его мстостью, крайне пугало парнишку, сдерживая воображение.

Однако забыть о случившемся Петя тоже не мог. Масла в огонь лишь подливало присутствие отца. По какой-то непонятной причине он всё не покидал их жилища, нагло обосновавшись на кухне, и — самое страшное — мама была рядом с ним, заодно, словно в сговоре. Петя явственно слышал их голоса и даже смех, что делало его ненависть особенно острой, поскольку теперь к ней добавлялась и ревность, которую не могли успокоить редкие визиты мамы, что она совершала к нему в его комнату, чтобы проведать его.

А ближе к вечеру Петя вовсе лишился надежды. Приятель отца, приехавший с ним на машине, уехал, и отец остался с мамой один, решив, без сомнения, пробыть у них до утра.

Возмущению мальчика, казалось, не будет конца; невозможность что-либо сделать доводила его до безумия. Но тут он вспомнил о золотой рыбке, своей вечной пленнице, которая, разумеется, не откажет ему исполнить ещё одно небольшое желание. О каком именно желании Петя хотел её попросить, он сейчас сказать бы точно не смог, поскольку стоило только ему попытаться подумать о нём, как оно тот же час убегало из-под цепкого взора сознания, словно преступник от сыщиков. И всё-таки, обретя шанс на отмщение, мальчик мало-помалу стал успокаиваться, притворившись, что спит.

Только когда во всём доме был выключен свет и родители ушли в спальню, Петя перевёл дух в ожидании минуты, когда отец захрапит, чтобы он мог, не боясь быть услышанным, подойти к золотой рыбке. Но вместо этого из соседней комнаты вскоре послышалось нечто ужасное. Вероятно, отец разозлился за что-то на маму и теперь безжалостно мучил её, совершая над ней какие-то страшные действия, от которых она стонала и вскрикивала.

Первой же мыслью мальчика было немедленно броситься к маме на помощь. Его остановило лишь малодушие. Петино тело всё ещё ныло от ссадин и синяков, оставленных на нём трёпкой отца, что делало мальчика благоразумнее. Скрепя сердце он поборол свой порыв, решив действовать по изначальному плану, который теперь, после того

как отец покусился на маму, становился всё более безжалостным.

Через какое-то время отец, устав мучить маму, наконец-то заснул. Петя слышал его громкий с присвистом, храп и почему-то злился на отца ещё больше. Надеюсь, что этот храп оборвётся сию же минуту, лишь он попросит рыбку об этом, мальчик, встав на колени перед аквариумом, стал жадно молить её, чтобы отец его умер и уже никогда к ним не приезжал. Он просил рыбку об этом, называя её нежными именами: то милой волшебницей, то доброю феей, — заклиная её позабыть прошлое, и по его опухшим от детского горя щекам бежали крупные слёзы.

Молитвенный порыв мальчика остановила усталость. Почувствовав себя опустошённым, будто он проболтал с кем-то целые сутки подряд, Петя лёг на кровать, не сомневаясь, что сразу уснёт. Но сон почему-то не приходил. Сначала он просто ворочался, не находя себе места, сражаясь то со ставшей вдруг неудобной периной, то с как будто уменьшившимся размерами одеялом, из-под которого его ноги так и норовили вылезти наружу. Но потом Петей овладела тревога. Казалось, словно случилось что-то плохое и гадкое, что-то, о чём он давно позабыл, но что тем не менее продолжало его неосознанно беспокоить. Постепенно мысли об этом чём-то забытом, неясном неуловимо переключились на впечатления сегодняшних суток, отчего тревога усилилась. О сне теперь не могло быть никакой речи. Одно за другим Петя вспоминал мгновения ушедшего дня, пытаясь их тщетно осмыслить и найти наконец-то причину своего беспокойства.

Не мог же он, в самом деле, сожалеть о загаданном?

Этот вопрос Петя задавал себе снова и снова, но каждый раз находил его неоправданным. Однако забыть о нём почему-то не получалось. Словно чёртик из табакерки, мысль о сделанной им страшной ошибке возникала перед взбудораженным сознанием мальчика с навязчивым постоянством, страха его и волнуя, вынуждая перед кем-то оправдываться. И хотя это сделать было как будто так же легко, как в момент самого преступления, его обвинитель — та незримая личность, что молча ждала объяснений, — никак не хотел их принимать, точно больше не слыша его веских доводов.

Так прошла целая ночь. Только под утро мальчик заснул, а когда он проснулся, перед ним вдруг опять, но уже со всей очевидностью, предстал ужасный истинный смысл совершённого. Подскочив с кровати, словно ошпаренный, он побежал по комнатам дома, проверяя даже шкафы и за шторами, но отца нигде не было.

Наконец, уже не веря в счастливый исход, Петя ворвался на кухню. За столом сидели родители и не спеша пили чай.

— Ну чего носишься как угорелый?— спросил Петю отец как ни в чём не бывало.

Мальчик так и застыл на пороге, не веря своим же глазам.

— Ну-ка марш руки мыть— и за стол. На рыбалку пойдём после завтрака.

Внезапные слёзы затуманили Пете глаза. Едва держась на ногах, он то ли бросился, то ли упал к отцу на колени, уткнувшись лицом ему в грудь.

— Ну что ты, что ты?— похлопал отец его по плечу.— Из-за вчерашнего, что ли, так убиваешься?

— Нет,— промычал Петя, замотав головой.

— Ты давай это брось, понял меня? Всё-таки не хрустальный, ничего с тобою от двух тумачков не случится. Лучше уж я тебя воспитаю сейчас, чем потом за меня это сделает жизнь.

Помолчав с секунду, Петя спросил:

— Батя, а как мы пойдём, ведь вода коренная?

— Так мы с тобой поедем на озеро. Только бы мотоцикл мой не подвёл.

— Да? А на какое?— встрепенулся мальчишка.

— Вишь какой. Всё ему нужно знать. Мой давай руки, после и поговорим.

— Я сейчас, мигом,— спешно вытирая лицо, сказал Петя.

В следующее мгновение мальчик выбежал в коридор и хотел уже было бежать к рукомойнику, но вдруг, вздрогнув, остановился. Обернувшись с опаской назад, не смотрят ли на него взрослые, он на цыпочках прокрался в детскую комнату и, взяв лежавший на столе возле аквариума сачок, принялся вылавливать из воды волшебную рыбку.

— Ну где ты там? Заблудился, что ли?— крикнул из кухни отец.

— Нет, только футболку надену,— нашёлся находчивый Петя и, поймав рыбку, не раздумывая бросил её на ковёр, на верную гибель, чтобы она никогда не смогла уже больше исполнить его последнее желание.

ДиН СИММЕТРИЯ

## Демьян Бедный День прозрения

В руках мозолистых— икона,  
Блестящий крест— в руке попа.  
Вкруг вероломного Гапона  
Хоругвеносная толпа.  
Толпа, привыкшая дорогу  
Топтать к Христову алтарю,  
С мольбою шла к земному богу,  
К самодержавному царю.  
Она ждала, молила чуда.  
Стон обездоленного люда  
Услыша, добрый царь-отец  
Положит мукам всем конец.  
Царь услышал, и царь ответил:  
Толпу молящуюся встретил  
Его губительный свинец.

Великий, страшный день печали,—  
Его мы скорбью отмечали.  
Но— крепкий плод его дозрел.  
Так пусть же песни наши грянут!  
Победным гимном пусть помянут  
День этот все, кто был обманут  
И кто, обманутый, прозрел!

1920

Наталья Потапова

## Накануне Дня Победы

По будням я просыпаюсь в шесть утра под слова гимна: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...»

Обычно минут десять нежусь в постели. Сегодня вспомнилось, как мама рассказала мне такую историю из детства: «На Первомай сорокового мне было девять лет. Родители пошли праздновать к бездетным друзьям, потому меня не взяли, а велели лезть в яму: семенную картошку перебрать и в тепло положить. Я чуть не разревелась от обиды! А потом платьице нарядное и красную косынку надела и работала да песни пела...»

Отчего мне вспомнилась мамина история, я пытаюсь догадаться сейчас в школе, чтобы не заснуть на последнем уроке. Жидкие шторы не спасают от спящего солнца, а математик нудно объясняет новую тему. Сил хватает только механически переписывать теорему с доски, параллельно витая в облаках, мечтая о лете, пионерлагере с переплётным кружком и знакомствах с интересными мальчиками...

Скорее бы лагерь! Мне очень хочется отдохнуть: купаться, играть, читать. Осенью восемьдесят третьего наш седьмой «А» избрал меня старостой, и к концу года я изрядно устала.

Вот и дома «планов громадьё»! Например, завтра, девятого мая, мы с родителями поедem в деревню: поздравим дедушку-фронтовика и посадим картошку. А сегодня хочу отреставрировать бабушкин сборник Пушкина с засушенной незабудкой. Иначе совсем развалится, а бабушка им дорожит. И тут я вспомнила: она поведала мне, как в тридцатые годы по газетам и этому сборнику учила читать односельчан. Среди учеников был и её будущий муж, который стал моим дедушкой.

Витания в облаках прервал вежливый стук в дверь. Вошла наша классная руководительница, Ирина Маратовна, со своей объёмной сумочкой и спросила у математика:

— Игорь Олегович, позвольте сделать объявление? — Ради Бога. О! Вот и звонок. Ребята, до свиданья!

Учитель быстро собрался и вышел. Ирина Маратовна замялась, подбирая слова:

— Ребята! Завтра вы, наверное, проведёте со своими родными, радуясь отдыху среди недели, а ведь это — День Победы. Поэтому сегодня нам

доверили поздравить с наступающим праздником ветеранов, живущих близко от школы.

Она взяла в руки тетрадный лист. — Вот имена и адреса пяти фронтовиков, нужно от имени класса поздравить их. Понимаете? Но это ни в коем случае нельзя делать формально, а только прочувствовав, что совершили ветераны для каждого из нас. Это почётное поручение мы должны выполнить хорошо...

При слове «почётное» Розалия, сидящая впереди меня, фыркнула и вскинула руку, заявляя с места:

— Ирина Маратовна! Мне нельзя в музыкальную школу опаздывать. Мама говорит: «Вся семья из-за пианино по одной половине ходит! Не подведи!» — Ну... иди, — неуверенно разрешила учительница.

Я ждала, кто из одноклассников отзовется, чтобы помочь. Учительница, выложив на стол альбом и дефицитный набор фломастеров, продолжила: — Ребята! Нужно нарисовать открытки, они будут для ветеранов гораздо дороже печатных картинок. Вы согласны со мной?

Я подумала: «Ещё не легче! Так, по рисованию у меня — шаткая четвёрка, значит, каждый второй ученик справится лучше, чем я. Но даже интересно, чем дело закончится!»

Розалия, выходя из класса, успела махнуть подружкам, намекая: «А вы что ждёте?» Тут же над партами взлетели три руки.

— Вы пойдёте к ветеранам? — в голосе Ирины Маратовны звенела радость.

— Мне тоже в музыкалку...

— А нам в изостудию бы...

— Да... Конечно, это тоже важно. Идите.

Девочки быстро выскользнули в дверь.

— Мальчики! Может быть, именно вам, как будущим воинам, лучше поздравить?

Рыжий Вадим встал и серьёзно сказал:

— А у нас в хоккейной школе последний раз в сезоне — лёд. Тренер сказал, что прогульщики пусть пеняют на себя. Мы пойдём, ладно?

— М-да. Ну, идите. Не привязывать же вас.

Грохот отодвигаемых стульев вызвал шушуканье и переглядывание, словно Ирина Маратовна превратилась в учителя-новичка, не умеющего держать дисциплину. Она переминалась у доски и переводила взгляд с одного ученика на другого.

Учительница остановилась рядом со мной, а я демонстративно стала разглядывать свои наручные часы, думая: «Было бы чем поздравлять: цветы там, конфеты, книги,—я бы пошла... Но почему так поздно?» Она будто услышала меня и с трудом произнесла:

— Ребята, я прошу прощения, что такое поручение—и в последний день. Я... отвлеклась из-за оформления больничного листа, хотя должна была всё раньше подготовить.

В классе на пару секунд воцарилась гулкая тишина, а потом все оживилось и стали тянуть руки. Не дожидаясь, пока спросят, ученики называли причины срочного ухода:

— У нас пудель старенький. Не может долго без прогулки.

— Мы на кросс готовимся.

— К зубному!

— Папа ждёт. Едем могилы родных обиходить.

Ещё десяток разных секций, по словам одноклассников, непременно лишат воспитанников бесплатного спортивного инвентаря и посещения бассейна, если опоздать на тренировку.

Я понимающе усмехнулась: раньше была в такой секции, где еженедельного абонемента на бассейн лишали за прогул.

Двое пацанов с галёрки улизнули в дверь, на секунду оглушив нас шумом школьного коридора. Наверное, спешили в туалет.

Ирина Маратовна переводила потухший взгляд с одного ученика на другого и растирала висок—прямо как моя бабушка, когда у неё болит голова. Вдруг встал Эдик—кудрявый самоуверенный сын профессора—и развязно спросил:

— Зачем так лезть из кожи? Давайте подождем год, и на сорокалетие Победы поздравим как следует.

Я растерялась от этих слов. А Ирина Маратовна, смерив Эдика долгим взглядом, посмотрела на оставшихся ребят и заговорила проникновенным, но властным голосом. Голосом комиссара.

— Ты прав, Эдуард, сегодня есть лишь мои фломастеры и альбом. И что? Может, через двадцать лет поздравить? Или лучше через сорок?... Да поймите же вы! Они... они для нас каждый день из тысячи четырёхсот восемнадцати жизнью рисковали! И представить не могли, что под пулями ходят для таких... малоблагодарных. Нам же это самим необходимо: поздравить Победителей. А через год... не все старики доживут. Так давайте сделаем доброе дело вместе и сейчас!

— А я разве против?—смущённо прошептал Эдик и выскользнул из кабинета во время звонка на вторую смену.

— Ничего я не успеваю,—горестно вздохнула Ирина Маратовна.—Придётся самой после работы обойти ветеранов. Ты, Яна, иди тоже: и так субботники и дежурства подстраховываешь...

Но я всё сидела.

Когда ушли последние ребята, Ирина Маратовна вдруг распахнула окно. На её лбу блеснул пот.

Я уже понимала, что обходить ветеранов буду сама, и пошутила своей любимой фразой, прибавлявшей мне смекалки в трудностях:

— Ирина Маратовна, а знаете, «Чапай думать будет!»—и добавила:—Давайте адреса, фломастеры и альбом!

Она обняла меня и погладила по спине. Я смутилась от неожиданной нежности и скороговоркой выпалила:

— Правда, я сегодня хотела быть дома. Но это ничего! Для бабушки сборник переплету в другой день. Он лежит и есть не просит.

Я отчеркнула ближайший адрес ветерана. Села за парту и, убеждая себя, что «не боги горшки обжигают», нарисовала в альбоме салют и тюльпаны. На обороте красной ручкой написала самые добрые слова: «Дорогой Виктор Макарович, Воин, защитивший мир! Мы желаем Вам здоровья, счастья, любви близких и вечно мирного неба». Остальные открытки решила рисовать, сидя на лавочке у дома следующего ветерана.

До нужного дома я добралась быстро и, чуть поколебавшись, вошла в тёмный подъезд. Сразу противно запахло кошками: оказалось, тянуло из зарешеченного входа в подвал. Потом я чуть не поскользнулась, наступив на что-то. Мелькнула мысль: почему мы в подъездах мусорим? Площадку первого этажа я пробежала, задержав дыхание. Нашла!

На двери табличка: «Здесь живёт Победитель—Виктор Макарович Троицкий». Как хорошо назвали участника Великой Отечественной войны—Победитель! Жму на звонок. Тишина. Ещё раз жму, смотрю вокруг и замечаю, что на полу от этой двери вниз идёт пунктиром красно-зелёная тропа... из тюльпанов. Он что... умер?... Я опоздала!?

У меня пересохло в горле, и я побрела домой. По дороге я думала: зачем мне такое выпало? Тут я догадалась про Ирину Маратовну и подумала: так это же здорово! Это правильно, что именно я узнала эту скорбную весть, а не она. Если бы она поскользнулась на тюльпане и упала? Или ей бы открыли дверь, а она бы расстроилась и... Я стала додумывать эту мысль.

Вечером мы с девочкой из параллельного класса поиграли в бадминтон во дворе. Она убежала домой со своими ракетками, а я сидела на скамейке в рождающихся сумерках и думала: почему последние минуты игры—самые сладкие? Хорошо бы намазать воланчик фосфором, чтобы видеть его в темноте!

Вдруг в окошке первого этажа зажётся свет, и Розалия, распахнув раму, крикнула:

— Яна, как там ветераны? Если б хоть за день знать, помогла бы с открытками. Я же рисовать люблю.

— Розали! Ещё не поздно. Завтра всё вручим! Я тебе сейчас альбом и фломастеры передам?..

Она отпрянула от окошка, но через минуту вернулась:

— Хорошо. Давай приноси.

Пока я шла домой, всё думала о Розалии.

Я мало знаю её и завидую ей! Её бабушка и дед — известные в городе музыканты, и она к музыке способная!

Розалия — вовсе не «сухарь», но на обучение игре на фортепиано у неё уходит море времени.

Розалия открыла дверь, и я тихо выпалила:

— Розали, только по-честному: ты правда хочешь мне помочь?

— Хочу. Но завтра в музыкалке отчётный концерт... А кто тебе ещё поможет?

— Знаешь, у нас дома всегда в запасе пара купленных открыток. Я их заполню. Две нарисуешь?

— Легко! Яна, а когда вручишь? Вы же из деревни обычно затемно приезжаете.

— Постараемся вернуться раньше.

Пообещав это, я вышла во двор с ощущением восторга и желанием выплеснуть энергию. У меня так бывает: что-то не получается, а потом вдруг начинает удаваться, и в эти минуты я лезу на крышу родной пятиэтажки и любуюсь городом или спешу на школьный двор, разбегаюсь и прыгаю в яму с песком: бух! — почти визжа от мышечной радости.

Вот и сейчас я приземлилась и заметила в свете фонарей, что напротив ямы скоро расцветут сибирские ирисы. Вдруг жгуче захотелось их сорвать, и я решила: от двенадцати цветов не убудет! А зато ветеранов порадую не только открытками!

Бережно сорвав цветы, я опять прибежала к Розалии.

— Ух ты! Дай порисовать ирисы! — загорелась она.

— Держи... Ого, до чего открытку сделала красиво! А утром можешь ветерану сама вручить? Хотя одну из четырёх?

— Погоди, Яна, я не обещала разносить! Мне ещё костюм гладить.

— Хочешь, помогу? Руки помою и...

— Здорово! Я уже марлю увлажнила. Утюг поставь на «шерсть».

Мы занялись делом: я погладила юбку и блузку, а из-под кисточки Розалии, как живые, родились фиолетовые ирисы.

...Когда мы с папой и мамой посадили картошку, то поставили праздничный стол прямо в огороде, между колодцем и баней. Благодаря бабушке на нём было много еды: окрошка, разносолы и пирожки с разными начинками! Главным за столом был дедушка — отец моей мамы, чьими руками было построено здесь всё. Только скворечник сколотил папа с моим братом Олегом, который служит в армии.

Последние три года из-за инсульта деда плохо слушалась одна сторона тела, и речь была

нарушена. Бабушка и сейчас ласково ухаживала за ним, кормила с ложечки, а он благодарно гладил её по руке.

Мы все — папа, мама, бабушка и я — спели «Землянку». (Как здорово, что наш класс разучил её год назад!) Дед смахнул слезинку, а на этих строках даже попытался подпевать:

Бьётся в тесной печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза.  
И поёт мне в землянке гармонь  
Про улыбку твою и глаза...

Вскоре он устал, и мои родители, доведя его до кровати, ушли поздравить своих друзей, живущих на соседней улице.

Бабушка уложила деда.

Она вышла ко мне, и мы вдвоём стали рылить землю в цветнике, где росли тигровые лилии и мальва. Немного поработав, бабушка, охнув, распрямилась и села на открытую веранду, с которой было видно и деда в доме, и меня.

— Ты о чём задумалась, внученька? Или мне показалось?

— Я дома старый сборник Пушкина нашла. Помнишь, бабушка, он же твой, да? А почему он у нас в шкафу лежал?

Бабушка пристально посмотрела на меня, будто решаясь на что-то важное, позвала сесть рядом и тихо сказала:

— Яночка, я ведь уже доживаю. Когда-то закроются глазоньки мои. Вот и захотела все самые дорогие мне вещицы наперёд добрым людям отдать. Вот и старшей дочке книжку Пушкина как от сердца оторвала, ведь там...

Бабушка сверкнула глазами, щёки покрылись румянцем; я замерла в предвкушении истории, но её позвал дед. Попросив меня полить клумбу с астрой и календулой, она ушла в дом.

Я и не представляла, что пять минут могут показаться вечностью!

— Ведь там между страницами, — продолжила она, вытирая влажные руки о фартук, — первый шаг Паши ко мне... отразился.

— Как это? — выпалила я, равнодушная, как говорит папа, «к душещипательным историям».

— А так. Мы днём тракторный завод строили... Вам в школе рассказывали, он в войну танки Т-34 выпускал? (Я кивнула.) А вечерами я, как могла, молодёжи грамотёшку подтягивала: вместе писали, читали. Дак Паша на ночь книжку попросил, а вернул с закладкой, со значением. Ты, Яна, видела, что там?

— Незабудки?

— Точно! «Не забывай меня», значит. Ты бы знала, к какому стихотворению положил!.. У меня прям душа распахнулась.

— К какому, баб?

— А ты книжку сама прочитай да догадайся!

— Не могу, бабулечка. У меня сегодня поручение, и к школе надо готовиться. На неделе прочитаю... Знаешь, ба, я же умру от любопытства, пока не приеду сюда в воскресенье и не проверю догадку! Ты скажи, не томи, а?

— Экая пронира! Верёвки из меня вьёшь! — засмеялась бабушка. — Сначала ты расскажи: какое поручение?

Я кратко рассказала бабушке про вчерашний день, не забыв сорванные ирисы, но умолчав о приходе в подъезд покойного ветерана. Бабушка покачала головой и наконец спросила:

— А в прошлом году вы как справились?

— Тогда Ирина Михеевна попросила меня проводить её в школу, чтобы донести тюльпаны, привезённые из сада. Она приглашала ветерана... Павла Петровича на встречу с классом.

— Вот оно как, — задумчиво произнесла бабушка и, вздохнув, посмотрела на меня. — Волнуюсь за тебя, Яночка. Не обижают ли тебя соученики: мол, «белая ворона», перед учителем хочет выслужиться?

В первую минуту я растерялась, как ответить, не расстроив бабушку, а потом нашлась:

— В пятом классе меня немного дразнили: «деловая колбаса»... Потом дома ка-а-ак навалилось! Олечку забрали в армию. Папа, как говорит мама, не сразу одолел беса в ребре.

У меня вдруг комок подступил к горлу, не давая говорить. Я убежала в дом, хлебнула кваса, погладила рыжего Васку с рваным ухом, отдышавшего на сундуке, услышала ровный храп деда и, успокоившись, вернулась к бабушке.

— Вот я стала здесь за троих вёдра таскать, копать и укрепля... А когда я на уроке дальше всех прыгнула с места и выжала кистевым динамометром двадцать восемь кило, мальчишки чуть шеи не вывихнули, глядя из-за спины физрука в журнал на результаты!

Бабушка обняла меня и заплакала. Тут мне показалось, что синоним грибного дождя у людей — это радостные слёзы.

Улыбаясь и глядя меня по голове, она сказала: — Запомни же, каким стихотворением Пушкина привлёк меня твой дед:

Пустое *вы* сердечным *ты*  
Она, обмолвись, заменила  
И все волшебные мечты  
В душе влюбленной возбудила.

Я так обрадовалась, что мне показалось: могу свернуть горы!..

Попрощавшись, я поспешила на автобус.

В тот вечер у нас с Розалией получилось застать и поздравить ирисами и открытками всех оставшихся ветеранов: медсестру, двух танкистов и сапёра; кстати, сапёром воевал и мой дед. К счастью, все они жили в семьях и ходили на своих ногах. В квартире медсестры нас напоили чаем. Она, Анна Ивановна, рассказала нам про вагон-госпиталь, где служила. Я упомянула про insult деда и получила совет, как уберечь бабушкину спину...

Потом мы гуляли с Розалией по скверу, где горели фонари. Я была счастлива, что все четверо оказались живы и приятно удивлены поздравлением. А ещё эти беспокойные сутки помогли нам, таким разным девчонкам, подружиться!

— Знаешь, Яна, по сей день я не понимала слова: «Это радость со слезами на глазах». Подпевала, а не чувствовала, — шепнула подруга и зажмурилась.

— То же самое, — сказала я, чуть не заплавав, когда за мгновение пролетел перед внутренним взором сегодняшний день: мой дед с наградами на пиджаке, слёзы и объятия бабушки; эти четверо стариков, которых я уже никогда не забуду и, наверное, поздравлю через год. Или не успею?

Потом мы бросили две копейки в телефон-автомат и, дозвонившись, рассказали Ирине Маратовне, как выполнили поручение.

— Девчата, какие же вы всё-таки!.. — воскликнула она и добавила: — Мне придётся в больницу лечь. Держитесь все дружно, ладно?

Через неделю я сидела в кабинете водителя. Активисты школы планировали, как провести День пионерии, когда прозвенел телефон. Это Павел Петрович, выступавший в нашем классе год назад, просил помыть окна и срезать клёны-самосейки.

Я сразу сообщила классу о просьбе. Волшебные слова — «в любое время» — помогли наиболее занятым ребятам откликнуться на этот раз. Две подружки Розалии и хоккеист Вадик не подвели!

А спустя полгода у Ирины Маратовны родился сын, и она дала ему имя Виктор. Скорее всего, в честь родственника, а я хочу верить — в память того Победителя, навестить которого мы не успели.

## Екатерина Леонидова

# Будет ли утро?

### Будет ли утро?

Каждое утро, возможно, последнее.  
Стоит банально его провести?  
Завтрак холодный, автобус—посредник  
Между работой и домом пустым.

Стыть на работе, играя в возможности,  
Ждать обеспеченный завтрашний день,  
Не замечая, как в неосторожности  
Тает осмысленность близких идей.

Тлеют за стёклами блики вечерние,  
Солнце в ранении падает вниз.  
Я пролезаю сквозь улицы-тернии,  
Падаю снова, как будто на бис.

Будет ли утро? Возможно, впоследствии  
Выбьют в граните последний мой стих.  
След от меня так и будет посредственным—  
Или же что-то удастся спасти?

● ● ●  
Листва шелестела о тех местах,  
Где солнце танцует на стеблях трав,  
Где, клёкот небесных пичуг собрав,  
Прядутся рисунки в твоих стихах.

Реальности голос совсем затих  
В страницах, сжелтевших от сырости.  
Закрывать, позабыть, на чердак снести  
И не вспоминать до снегов густых.

Отступит жужжащая суета,  
Растает тревога, безликий страх,  
Когда увяданья придут ветра,  
Я просто останусь лежать в цветах.

● ● ●  
Меж протянутых рук изумрудной травы  
Видно тонкого купола синь.  
С дуновением ветра, тугим и живым,  
Плещут листья, клонясь от росы.

Под спиной горизонт, и небесных краёв  
Не найти, не хватает границ.  
Бесконечностью стелет лазурный покров  
Между белых витых черепиц.

В каждом шаге пути, в едкой пыли дорог,  
В тёплом камне, что на мостовой,  
Ясно слышится жизнь, её медленный ход,  
Равномерный, литой, вековой.

Пусть тропинка грядёт за крутой поворот,  
Тащит в степи, ущелья, холмы.  
Нас к востоку от солнца она проведёт  
И на запад сведёт от луны.

Дни идут, травы ткут разноцветный узор,  
Заплетая цветы меж собой.  
То полынью горчат вереницы из сор,  
То смеются пустой лебедой.

И не важно, откуда несу я букет,  
И не знаю, что будет потом.  
Потому что не важно, каков там ответ,  
А какой мы вопрос задаём.

Солнце тихо всходит из-за горизонта в небо цвета мёда и сухой травы.  
Ветер шепчет песни, ветки гладит сонно, да беззвучность льётся родником живым.

С ивою играясь, к озеру склоняясь, падает на воду медь прямых волос.  
Наблюдают очи, словно удивляясь тем, что донный камень тиной зарос.

Волны точат камень, тина тянет нити, с каждым днём всё дольше ладится коса.  
На пустые степи, голые граниты с ожиданьем робко зрят её глаза.

Вдруг она случилась в времени столь давнем, что ни слов, ни сказок не было вокруг.  
Нет людей и тропок, нет домов и ставен, только её песни слышно на ветру.

Что о ней осталось — искренняя радость, сказки, как сменялись солнце и луна,  
Горькие, как сажа, песни-причитанья, как ждала, что будет в мире не одна.

ДиН антология

## Владимир Луговской

# Гуниб

Тревожен был грозовых туч крутой изгиб.  
Над нами плыл в седых огнях аул Гуниб.  
И были залиты туманной пеленой  
Кегерские высоты под луной.

Две женщины там были, друг и я.  
Глядели в небо мы, дыханье затая,  
Как молча мчатся молнии из глубины,  
Неясить мрачно кружится в кругу луны.

Одна из женщин молвила:

«Близка беда.

Об этом говорят звезда, земля, вода.  
Но горе или смерть, тюрьма или война —  
Всегда я буду одинока и вольна!»

Другая отвечала ей:

«Смотри, сестра,

Как светом ламп и очагов горит гора,  
Как из ущелий поднимается туман  
И дальняя гроза идёт на Дагестан.

И люди, и хребты, и звёзды в вышине  
Кипят в одном котле, горят в одном огне.  
Где одиночество, когда теснит простор  
Небесная семья родных аварских гор?»

И умерли они. Одна в беде. Другая на войне.  
Как люди смертные, как звёзды в вышине.  
Подвластные судьбе не доброй и не злой,  
Они в молчанье слились навсегда с землёй.

Мы с другом вспомнили сестёр, поспоривших давно.  
Бессмертно одиночество? Или умрёт оно?

## Дмитрий Косяков «Мухи» Сартра — для бунтара двадцать первого века

### Глоток свежего воздуха

Меня давно тошнит от современного театра. Что бы ни ставили нынешние режиссёры — ультрасовременные пьесы или бессмертную классику, в лучшем случае выхожу из зала не слишком разочарованным. Но вот недавно я испытал настоящий восторг. Давно со мной такого не бывало: как будто распахнулись двери и окна в давно не проветривавшемся помещении. Это произошло после просмотра постановки по пьесе Жан-Поля Сартра «Мухи» в Красноярском театре юного зрителя.

В двух словах опишу сюжет пьесы, чтобы было понятно дальнейшее, а к идейному содержанию пьесы вернусь потом. Из дальних странствий в Аргос возвращается Орест. Он — сын и наследник убитого царя Агамемнона. Он воспитывался вдали от родины и вот возвращается, чтобы обнаружить трон своего отца занятым убийцей Эгисфом, свою мать Клитемнестру — замужем за убийцей, а свою сестру Электру — грязной служанкой в их доме. Это история мести, восстановления справедливости, бунта и освобождения.

«Неужели что-то изменилось? Неужели что-то сдвинулось с мёртвой точки?» — спрашивал я себя ещё долго после просмотра.

### Пьеса с революционным содержанием

В первую очередь, меня, конечно, поразил сам выбор материала. Сартр? Этот влиятельнейший мыслитель двадцатого века, которого не призывали в СССР и едва терпели у себя на родине, которого так неохотно и скупно переводят на русский язык и который тем не менее является признанным авторитетом для лучшей части нашей интеллигенции. О причинах неудобности Сартра для культурного официоза России и Запада мы поговорим ниже. Сейчас о постановке. Итак, в первую очередь меня потрясли выбор пьесы и её революционное содержание.

Во вторую очередь, удивительным оказалось то, что авторы спектакля, и прежде всего режиссёр Роман Феодори, остались верны авторской идее и провели её до самого конца. Это в наше-то время, когда невозможно поставить «Конька-горбунка»,

не сделав хотя бы половину персонажей геями, а вторую половину — символами Иисуса Христа! Пожалуй, единственной уступкой неписаному режиссёрскому кодексу пошлости, которую позволил себе режиссёр, стал намёк на инцестуальную связь Ореста и Электры. Но это не сильно бросалось в глаза и не становилось поперёк действию и смыслу пьесы. Можно даже предположить, что сделано это было исключительно ради того, чтобы собрать-режиссёры не высмеяли Феодори.

Хотя я прекрасно знал сюжет сартровской пьесы, весь спектакль я просидел как на иголках, потому что не верил, что авторы спектакля и актёры доведут линию Сартра до конца. Боялся: вот сейчас они сведут всё в слюнявую достоевщину. Не свели. Не свернули. Прошли до конца. Катарсис.

В третью очередь, понравилась сама постановка: костюмы, эффекты, хореография. Довольно неторопливая и скучноватая (при бесспорном богатстве содержания) пьеса «Мухи» сделалась захватывающей и динамичной, не теряя ничего из своих интеллектуальных и нравственных достоинств.

Прекрасным решением стала демонстрация настроений народа через танец: мечущаяся чёрная толпа становится единым организмом, полноправным участником разворачивающейся драмы. А ведь мы давно не видели народа на сцене — всё одиночки, созерцающие собственный пуп. Интересен и грим жителей Аргоса, превращающий их в зомби, живых мертвецов.

Очень грамотно использованы видеоэффекты, прекрасно подобрана музыка. Впрочем, Роман Феодори прекрасно известен своим умением делать эффектное шоу. И в случае с «Мухами», пожалуй, даже больше впечатляет то, что он сумел не переборщить с внешними эффектами, а найти оптимальный баланс, оставив достаточно пространства для актёрской игры. И я лишний раз убедился, что наши актёры способны играть убедительно и ярко, когда режиссёр даёт им такую возможность и правильно ставит задачу (увы, с этим в современном театре колоссальная проблема).

## Вселенский ужас и государственная добродетель

Теперь настало время поговорить об идейном наполнении пьесы «Мухи». Вот как описывает экспозицию сюжета один из лучших исследователей творчества Сартра Самарий Великовский:

«Жители Аргоса — жертвы... нехитрой операции. Их покорность зиждется на прочнейших устоях: страхе и угрызениях совести. Когда-то, заслышав доносившиеся из дворца крики Агамемнона, они заткнули уши и промолчали. Эгисф с иезуитской ловкостью превратил их испуг в первоначальный грех, раздул его до размеров вселенского ужаса, сделал не просто личной доблестью, но и государственной добродетелью. Духовное оскотление довершила пропагандистская машина, запущенная пятнадцать лет назад и с тех пор вдалбливающая в головы сознание неизбежной вины всех и вся. В ход пошло всё, от оружия стражников до проповедей жрецов, до разжиревших мух — укоров совести, от наглядных пособий в виде измазанного кровью деревянного идола, водружённого на площадях и перекрёстках, до личного примера самой Клитемнестры, чьи основополагающие, „конституционные“ прегрешения всем уже навязали в зубах и которая теперь, потеряв слушателей, выворачивает наизнанку грязное бельё своей души перед первым встречным. И как апофеоз государственного культа — раз в год ритуальные представления на празднике мертвецов, когда горожане, впадая в какой-то мазохистский экстаз, долго и иступлённо предаются самоубийству».

Вечно трепещущим аргосцам Эгисф кажется грозным и всемогущим владыкой. Одного его жеста достаточно, чтобы смирить взбужденную толпу. На деле же он пугало, устрашающая маска, напыленная на живой труп, — ещё больше мертвеца, чем истлевший в могиле Агамемнон<sup>1</sup>.

Тем, кто хочет понять философское содержание «Мух» во всей полноте, я рекомендую ознакомиться с работой Великовского «Путь Сартра-драматурга». Я же акцентирую внимание на некоторых важных моментах.

Сартр не просто показывает нам, как Орест возвращает себе трон. Напротив, техническая сторона дела автора не волнует. Сартр показывает, как именно Орест становится на путь, ведущий его к восстанию против несправедливой власти. Автор внимательно прослеживает все этапы внутреннего восхождения: от простого желания поскорее покинуть Аргос к готовности задержаться ненадолго инкогнито и далее — вплоть до убийства тирана и отказа занять его место.

## Шесть шагов к свободе

Сартр показывает и то, какие препятствия предстоит преодолеть революционеру Оресту. Самое первое — это страх за собственную шкуру. Казалось бы, чего же боле? Тот, кто не боится рискнуть жизнью, уже созрел для подвига. Оказывается, что всё не так просто.

1. Революционеру предстоит преодолеть общественное мнение, отбросить мещанские представления, пренебречь взглядами обывателей. Жители Аргоса расценивают сложившееся положение дел как справедливое. Они не намерены и не хотят ничего менять. Все двери и окна испуганно закрываются перед странным незнакомцем. «На что вы надеетесь? Думаете, вам ответят? Взгляните на эти дома и скажите, на что они похожи. Где окна? Они глядят во дворы — замкнутые и наверняка тёмные, — а на улицу эти дома выставляют свои зады». Орест остаётся чужаком в родной стране.
2. Революционер должен преодолеть авторитет властей — «убить в себе государство», как сказал бы Егор Летов. Это означает убить в себе преклонение перед тронном, короной, униформой — символами власти, убить в себе рефлекс исполнения приказов, научиться видеть под мантиями обычных людей с их собственными страстями и интересами.
3. Революционер должен перешагнуть через родственные узы (если они становятся препятствием). Орест не щадит преступную мать, поскольку она предала отца и помогла установить на Аргосе бесчеловечный режим, и остаётся глух к призывам сестры, когда она предлагает ему этот режим восстановить.
4. Революционер не должен бояться пролить кровь — свою и кровь врага. Орест убивает Эгисфа и Клитемнестру (а в постановке Феодори ещё и стражников). Современный мир жесток, он не оставляет никого незамаранным. Кто отказывается остановить тирана, вора, насильника, убийцу, тот оказывается испачкан в крови их жертв.
5. Революционер должен преодолеть страх одиночества и соблазн быть принятым назад в то общество, с которым он боролся, соблазн прощения. Именно на этом и ломается Электра. Она сдаётся, чтобы заслужить прощение и вернуться в прежнее общество.
6. Наконец, последний рубеж, последний соблазн — это искушение властью, возможностью занять место свергнутого тирана со всеми вытекающими отсюда выгодами. Современные авторы постоянно изображают нам революционеров как обычных властолюбцев, которые просто мечтают занять трон, а всё остальное оставить

1. Великовский С. Путь Сартра-драматурга.  
[https://scepsis.net/library/id\\_1020.html](https://scepsis.net/library/id_1020.html)

по-прежнему: репрессивный аппарат, принижённое и бесправное положение народа, роскошь для власть имущих. Орест отказывается занять трон и даёт людям свободу.

### Нечистая совесть

Стоит также сказать несколько слов и о том, в чём пьеса Сартра привязана именно к своей эпохе и расходится с современной ситуацией. Сартр написал «Мух» во время нацистской оккупации Франции. Отсюда такой акцент на темах нечистой совести, чувства вины, которые и воплотились в образе мух, терзающих жителей Аргоса.

Французы чувствовали горечь поражения, испытывали стыд за недостаточность своего сопротивления. Коллаборационистское правительство Виши стремилось превратить эти чувства в инструмент подавления и манипуляции, привить французам ощущение собственной ущербности и неискупимой вины. Сартр показывает, что вина может быть искуплена героическим поступком, что раб может в одно мгновение превратиться в революционера, встав на путь сопротивления и борьбы.

Актуальна ли эта идея сартровских «Мух» для современной России? Боюсь, что нет. Вряд ли многие современные россияне испытывают чувство исторической вины и ответственности за то, что происходит с нашей страной. И уж тем более нет необходимости их от этого чувства вины избавлять.

«Патриоты» винят во всём либералов, либералы — «патриотов». Россияне винят предательское и продажное правительство, не желающее слышать народ, кремлёвские чинуши и столичные журналисты винят во всём «неправильный русский народ», отравленный советским наследием и мешающий бюрократам и богачам строить «правильный капитализм».

### Экзистенциальное измерение наших квартир

На самом же деле вина каждого рядового россиянина, его доля участия в унижении страны и народа объективно присутствует. Российские аргосы равнодушно восприняли убийство своего Агамемнона, то есть развал СССР, и воцарение своего Эгисфа — Ельцина с компанией.

Допустим, к моменту своего заката советская власть и вправду представляла отталкивающее зрелище. Однако советские люди не включились в борьбу с новыми «демократическими» правительствами, которые представляли собой очередную ступень деградации сталинской партноменклатуры, не попытались выстроить более справедливого, более демократического, подлинно социалистического общества, хотя субъективно, может быть, именно о таком обществе и мечтали.

Вместо этого они включились в процесс разворовывания общенационального достояния, кинулись приватизировать квартиры и получать от новой власти дачи, покупать импортные тряпки и предметы роскоши. Сегодня многие россияне всё ещё живут в квартирах, приватизированных в девяностые, или в квартирах, купленных в обмен на те приватизированные квартиры, ездят на раздобытые в девяностые дачи. А кто-то даже заимел бизнес на приватизированных обломках предприятий.

Так что в современных условиях было бы полезнее, напротив, клеймить россиян позором, заставить их разглядеть-таки бревно в своём глазу, как писал классик, «не давать им ни минуты для самообмана», «сделать действительный гнёт ещё более гнетущим, присоединяя к нему сознание гнёта; позор — ещё более позорным, разглашая его», «заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу»<sup>2</sup>.

### Ни по-кремлёвски, ни по-поповски

Возвращаясь к теме сартровской пьесы, хочу ещё раз подчеркнуть, что тема подавляющей вины неактуальна для современных россиян, за исключением разве особо верующих христиан, но про антирелигиозное содержание пьесы поговорим чуть ниже. Теперь же самое время задаться вопросом: а как понял пьесу сам режиссёр-постановщик Роман Феодори, какое видение представил зрителям, и насколько был усвоен этот посыл зрителями?

А каким ещё могло быть прочтение политической в своей основе пьесы, если в российском информационном поле представлены только четыре типа политической идеологии: прокремлёвский патриотизм, монархически-православный религиозизм, западнический (нео)либерализм да сталинизм различной степени заскорузлости? Понятно, что бунтарскую и атеистическую пьесу Сартра было бы затруднительно прочитать в православном или в прокремлёвском духе.

Поэтому режиссёр выбрал именно навално-либеральную трактовку: заострил выпады против официальной пропаганды (верховный жрец вещает с экранов телевизоров), придал своему Оресту несколько хипстерский вид, а к образу Электры прибавил чего-то готично-неформального. В либеральном духе поняли пьесу многие зрители, с которыми мне удалось поговорить, а также многие интернет-комментаторы и критики.

В официальной аннотации постановка названа «спектаклем-антиутопией»<sup>3</sup>, в котором важное

2. Маркс К. К критике гегелевской философии права. [https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/philosophy\\_right/01.htm](https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/philosophy_right/01.htm)

3. <http://www.ktyz.ru/play/view/185/>

место отведено теме «общества в тоталитарном государстве». Подобные термины отсылают нас к западному либеральному идеологическому канону, сложившемуся в последние десятилетия: «свобода» против «несвободы», воплощённой в образе государства, поединок бунтарей-одиночек против нехороших «диктаторов» с народом в качестве безмолвной декорации или гудящей толпы на заднем плане. Такие «антитоталитарные» истории мы видели в «V значит вендетта», «Звёздных войнах» и т. д.

### Защитить город и помочь нуждающимся

Многие зрители увидели в постановке лишь антиправительственное послание. Однако сартровская пьеса очевидно выламывается из рамок либерального канона. Прежде всего тем, что персонажи постоянно вынуждены вступать в диалог с народом, задумываться над его настроениями, соизмерять свои поступки с его желаниями.

И то, что в финале пьесы Феодори заставляет аргосцев кидаться отмывать запачканный кровью трон, с одной стороны, говорит о либеральном недоверии режиссёра к народу, убеждённости в том, что «чернь» всегда служит тиранам, но также, помимо режиссёрской воли, может служить указанием на то, что нельзя освободить людей без их собственного участия, нельзя подарить или получить свободу—свободу можно только завоевать, только в борьбе обретается право на неё.

«Разве служить вам так трудно? Мои руки годятся, чтоб защищать город, у меня есть золото, чтоб помочь нуждающимся»,—говорит сартровский Орест. «Нам не нужны ни начальники, ни благотворители»,—отвечает Электра. Потому что городу нужны революционеры-подпольщики.

И в этом ещё один важный посыл драмы Сартра: борьба требует не карнавально-показушных акций, а реальной подготовки восстания. В этом смысле нашим либералам-навальновцам (да и значительной части леваков) гораздо ближе Электра, которая пытается воздействовать на жителей исключительно акционистским способом: она танцует в белом платье в траурный день мёртвых, стремясь изгнать соотечественников от страха.

«Взгляните на меня: я развожу руки, я поднимаю их, потягиваюсь, как человек, когда он пробуждается, я занимаю столько места на солнце, сколько мне нужно. Разве небо пало на мою голову? Я танцую, смотрите, танцую—и чувствую только ветер в волосах. Где же мертвецы? Или, может, они танцуют в такт со мной?»

Но Электра отступает перед страхом вооружённой борьбы. Она олицетворяет ту часть общества, которая мечтает о свержении несправедливого режима, но пугается настоящего дела. Электра предаёт своего брата и начатое вместе с ним дело

освобождения людей, облачается в траур и становится новой Клитемнестрой.

Орест же, даже совершив революционное действие, остаётся чужд народу, не понят людьми. Но это не значит, что Сартр исключает возможность взаимодействия интеллигента-революционера и народа, участия народа в революции. Он хочет сказать, что настоящий интеллигент должен видеть дальше, смотреть вперёд, чтобы указывать народу на отдалённые цели, пока только смутно осознаваемые. Обычные люди часто не видят за сиюминутными потребностями своих подлинных интересов. Этим пользуются популисты и диктаторы. Революционный интеллигент призван расшифровать, растолковать, помочь людям понять самих себя.

При этом народ у Сартра не одномерен и не однороден: в критические моменты из толпы раздаются противоположные голоса: «Голоса в толпе: Да, да! Пусть замолчит. Хватит, хватит! Другие голоса: Нет, дайте ей сказать! Дайте ей сказать». И это залог того, что в толпе есть готовые прислушаться к призыву, пойти против узурпаторов и увлечь за собой других.

### Люди и боги

Ещё одним очень важным посылом Сартра является атеистическая тема в «Мухах». Революционеру противостоит не только тиран, не только обольщённое и запуганное общество, но и сам Господь Бог (в пьесе превосходно сыгран Эдуардом Михненковым). Сартр—атеист, он знает, что Бога не существует, но в качестве великой иллюзии тот обретает плоть и становится полноправным участником событий пьесы. Бог всякой религии становится последним оплотом и прибежищем власти.

Боги существуют лишь до тех пор, пока в люди в них верят. И эта крайне важная и смелая для наших тёмных времён идея прямо озвучивается со сцены. Впрочем, в устах нашей либеральствующей богемы эта антирелигиозная идея может стать лишь выпадом против официальной (православной) церкви, но не против суеверия как такового.

Действительно, Российская православная церковь давно уже дискредитировала себя в глазах людей и потеряла в народе всякий авторитет, приобретя взамен значительную долю недвижимости, отобранную у детских садов, музеев и больниц. Православных иерархов уважают только их непосредственные подчинённые, а их проповеди никому не интересны. Но, увы, три десятилетия насаждения мистицизма и развала науки и образования сделали своё дело: очень многие россияне (особенно представители богемы) полны предрассудков и не придерживаются научного (материалистического) взгляда на мир.

Вот и Роман Феодори, разоблачив религию в одном спектакле, пропагандирует её в других—

«Хрониках Нарнии» и «Снежной королеве»<sup>4</sup>. Борьба с официальной церковью при сохранении мистических настроений является способом современной богемы заявить претензии на собственную гегемонию в качестве новых жрецов. Но это уже другая история.

Сейчас же мне хочется ещё раз порадоваться вместе со всеми посетителями спектакля «Мухи»,

поблагодарить создателей и выразить надежду на то, что данная постановка станет началом возвращения Сартра и близких ему по духу авторов (Камю, Брехта, Горького и других) на отечественную, и прежде всего провинциальную, сцену. И не в каком-нибудь «особом авторском», а в бережном и внимательном прочтении. В таком случае театр снова может превратиться из интим-шопа в рупор эпохи.

*Апрель—май 2019*

ДиН СИММЕТРИЯ

## Саша Чёрный Скорбная годовщина

Толстой! Это слово сегодня так странно звучит.  
Апостол Добра, пламеневшее жалостью Слово...  
На наших погостах средь многих затоптанных плит,  
Как свежая рана, зияет могила Толстого.

Томясь и страдая, он звал нас в Грядущую Новь,  
Слова отречения и правды сияли над каждым—  
Увы! Закрывая лицо, отлетела от мира Любовь,  
И тёмная месть отравила томление жажды...

Толстой! Это слово сегодня так горько звучит.  
Он истину больше любил, чем себя и Россию...  
Но ложь всё надменной грохочет в украденный щит.  
И люди встречают «Осанной» её, как Мессию.

Что истина? Трепетный факел свободной души,  
Исканье тоскующим сердцем пути для незрячих...  
В пустые поля он бежал в предрассветной тиши,  
И ветер развеял всю горечь призывов горячих.

Толстой! Это слово сегодня так гордо звучит.  
Как имя Платона, как светлое имя Сократа—  
Для всех на земле—итальянец он, немец иль бритт,  
Прекрасное имя Толстого желанно и свято.

И если сегодня у мирных чужих очагов  
Всё русское стало, как символ звериного быта,—  
У родины духа—бескрайняя ширь берегов,  
И муза Толстого вовеки не будет забыта...

Толстой! Это слово сегодня так свято звучит.  
Усталость над миром раскинула саван суровый...  
Нет в мире иного пути: Любовь победит!  
И истина встанет у гроба и сбросит оковы.

Как путники в бурю, на тёмном чужом корабле  
Плывём мы в тумане... Ни вести, ни зова...  
Сегодня мы все на далёкой родимой земле—  
У тихой могилы Толстого.

1920

4. В постановке была использована оригинальная сказка Андерсена, причём сделан акцент именно на религиозных образах (Герда читает «Отче наш», расколдовывает Кая с помощью рождественского псалма, к ней на помощь приходят ангелы). Хотя есть ведь и переработка этой сказки—пьеса Евгения Шварца, в которой акценты расставлены иначе.

Миясат Муслимова

## «...И настанет время, и это сейчас»

О поэзии Яна Бруштейна

Седьмого сентября 2004 года сто пятьдесят тысяч жителей Рима вышли ночью, чтобы пройти с горящими свечами в знак солидарности с пострадавшими от трагедии в Беслане. Люди всех возрастов, православные, мусульмане и католики, в полном молчании прошли по центральным улицам—от Капитолийского холма до Колизея. Молчание красноречивее любых слов говорило о том, что чувствуют люди. На одном из транспарантов была надпись: «Они не убьют наше будущее». Это невозможно забыть. Нет ничего выше единения людей в час скорби и больших испытаний. И сегодня, когда мы все оказались перед угрозой пандемии, мы объединяемся в нашей человечности, мы сострадаем и людям, и странам и понимаем, что есть одна единственно возможная политика—политика добра и взаимопомощи. Когда Россия пришла на помощь Италии, трудно было сдерживать и слёзы, и волнение, и гордость за страну: мы не могли иначе, и воля народа совпала здесь с волей страны. Италия больше чем страна, это воплощение величия человеческого гения и духа, колыбель мировой культуры. Можно ли было оставить её один на один с бедой?

Так получилось, что на фоне всех этих событий я вновь раскрыла книгу стихотворений «Тоскана на Нерли», которую мне семь лет назад подарил автор, Ян Бруштейн. Его поэзия давно пробилась к читателю, хотя в силу своей личной скромности и многосторонности талантов (кандидат искусствоведения, журналист, создатель первого медиахолдинга и так далее) он не ставил себе такую цель. В семнадцать лет поступил на отделение классической филологии филфака мгу. Это был уже излёт оттепели, и юный поэт попал под разгром смога. Выгнали во втором семестре и вскоре, уже из Пятигорска, отправили в армию. Судьба сводила его ещё в юности со многими выдающимися людьми: Э. Неизвестным, Б. Окуджавой, Е. Евтушенко... Начал ярко, был обвинён в формализме газетой «Правда», после статьи в «Правде» поэта разгромили в местной писательской организации, первую книгу рассыпали в Верхне-Волжском издательстве. Вот после этого Ян замолчал почти на четверть века. А вернулась Муза по-царски—пошли сборники стихотворений

один за другим: «Карта туманных мест» (2006), «Красные деревья» (2009), «Планета Снегирь» (2011), «Тоскана на Нерли» (2011), «Город дорог» (2012), «Керосиновое солнце» (2015), «Плацкартная книга» (2017). И какие стихи!—словно сразу уже вписанные скрижалями в летопись современной поэзии. Национальная премия «Поэт года», публикации в лучших литературных журналах страны, литературные премии, награды. С одной стороны, это поэт, который не нуждается в представлении, с другой стороны, поэт, о котором мало сказано, кроме блестящих предисловий Даниила Чконии и Владимира Алейникова.

Ян Бруштейн относится к тем поэтам, о стихах которых сложно говорить, потому что никакое слово о них не скажет лучше, чем говорит сам поэт, а все эпитеты обнаруживают свою беспомощность, кажутся банальными, потому что не объясняют индивидуальность поэтики автора. Впрочем, можно ли объяснить поэзию? Можно акцентировать какие-то грани поэтического мира, передать своё восприятие, но не больше. Тем более когда речь идёт о поэте такого широкого диапазона.

Ян Бруштейн родился в Ленинграде, вырос в Пятигорске, живёт в Иваново, никогда не был во Флоренции, но написал стихи о своих духовных странствиях по ней, а точнее, о себе и о России, а значит, и о её глубинных связях с Италией. Так, архитектура древних российских соборов и царственный облик двух столиц, росписи кремлёвских храмов основаны на флорентийском зодчестве. Не зря эту книгу издало Флорентийское общество, учреждённое в Москве в 2001 году, чтобы «способствовать возрождению идей и ценностей Возрождения в России». Умеют строки поэтов получать пророческое звучание. Начало меркнущих времён—так определено в книге наше время. Мы не можем знать точный ответ, как будет разворачиваться дальше эпоха, но есть особые имена, некие сакральные названия, в которые мы вкладываем представление о ценностях и их символах:

Флоренция—словно спасательный круг  
В летальной борьбе между болью и светом,  
А кто победит... я узнаю об этом  
В той жизни, где снова мы вступим в игру.

Тоскана, Флоренция, Венеция, Рим... Италия — один из кастальских источников мировой поэзии, это пронзительная связь с русской тоской по высокому и прекрасному, по искусству, в котором неразделимы эстетика возвышенного и этика гуманизма, с тоской по мировой культуре, говоря словами О. Мандельштама. Пётр Баренбойм, президент Флорентийского общества, в послесловии к книге «Тоскана на Нерли» уточняет, что тоска по Тоскане — это мечта о ней, и напоминает слова Бердяева: «Русская тоска по Италии — творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радости, по самоценной красоте. И Италия должна стать вечным элементом русской души».

Книга открывается циклом «Моя тоска на...», состоящим из восьми стихотворений, и первое из них — «На Нерли». В самом названии реки словно отражается Русь, всплывают ключевые для истории России слова: Клязьма, князь Андрей Боголюбский, храм Покрова Богородицы на Нерли... И сразу захватывает панорамное, широкое дыхание стихотворения, где удивительно сочетаются державная стройность ритма и лиризм, где чеканность согласных становится осязаемой и в то же время так смягчается звучностью и объёмностью гласных, что понимаешь: эти стихи невозможно читать про себя, они требуют воплощения, чтения вслух. Кто слышал, как читает стихи Ян, добавил бы: стихи требуют воссоединения с поэтом. И ты сам начинаешь читать вслух, уступая живой силе языка, отпускаешь звуки на волю и оказываешься в их ошеломительной и гулкой высоте. Фонетику Яков Гордин называет языковым эквивалентом осязания, и это точнее определяет смысл звукописи у больших поэтов. Можно бесконечно сгущать согласные и удивлять аллитерацией или погрешками звуков, демонстрируя виртуозность техники стихотворчества, но этим можно удивить разве что начинающих авторов или бескрылых технарей в поэзии. Мы удивляемся приёму там, где у автора не хватило сил для внятного поэтического высказывания. Ян Бруштейн — поэт мысли, поэт-зодчий, и в его стихах звуки — это такой естественный строительный и воздухоносный материал, что ищешь разгадку магии его стихов во всём и только потом осознаёшь, что поэзия — в порах каждой клетки и каждого звука. Всякое их фонетическое обеднение при чтении — это и потеря в семантике слова. Да и обеднить не сможешь: духовное обладает такой силой, что меняет и структурирует материю. Звуки выстраивают время и пространство. Их античная стройность выпрямляет позвоночник, стихи переформатируют твой дыхательный аппарат, дают широкое дыхание и с ним — высоту помыслов и чувств.

Автор не стремится поразить яркостью метафор, броскостью сравнений, особым синтаксисом, хотя таких жемчужин в его поэтике предостаточно.

Читаешь — всё просто, внятно, ясно. Да, воздействует потрясающая правдивость его строк, после которых перехватывает дыхание и невозможно говорить: таковы циклы о родословной, блокадном Ленинграде, одни из лучших стихотворений в современной поэзии. Но к этой правде добавляется и другая, неуловимая, но явственно ощущаемая каждым. Давайте проследим, как и чем рождается этот особый эффект реалистичной магии строк поэта.

На покрытой заплатами старой байдарке,  
Мимо сосен, создавших готический строй,  
Мы текли сквозь туман, ненасытный и жаркий,  
Там, где заняты рыбы вечерней игрой.

Так начинается стихотворение «На Нерли». Мерная неторопливость строк, в которых осязаемость и рельефность (готический строй сосен) сочетаются с воздушностью и его сгущением, где невидимое (туман) обретает плоть (ненасытную и жаркую) — так возникает эффект сотворения мира здесь и сейчас. Это одна из особенностей поэтики Яна: сочетание монументальности и подвижности, осязаемости и текучести, — и вот ты уже вовлечён в этой действо, ибо когда нечто творится на глазах, то творится и вместе с тобой, ты уже не сторонний наблюдатель чуда. Другая особенность создания образа — это сочетание его конкретности и символичности, откуда особая их пластичность. При этом вещь, материальность не теряется, не растворяется, а, наоборот, одухотворяется, наполняется внутренней энергией, ещё более упрочивающей материальное его духовной оправданностью или сущностью.

Читаем дальше:

В среднерусской воде растворялись посменно  
Все мои города, все мои времена,  
Их вмещала, не требуя тяжкую цену,  
Невеликая речка без меры и дна.

Обращает на себя внимание гармоничность переходов из пластики вещного в символическое. Два потока — вещный, материальный, и духовный, — как крепления, держат архитектуру стихотворения; при этом переходы одного в другое, их переключения незаметны — так органичен ход движения мысли с найденной точностью слова, формы, ритма, рифмы. Обычно у авторов такой эффект достигается переходом от логики строфы к логике движения души. У Яна обе эти логики так филигранно и органично взаимодействуют, что не знаешь: за этим стоит тончайший расчёт и отделка либо врождённое чувство гармонии. В любом случае это делает честь автору. Реальная «невеликая речка» мгновенно и естественно вмещает «все миры», и здесь нет перевода параллельных миров друг в друга, тут точкой опоры одного значения выступает другое, и эта неразделимость, единство

структуры даёт эффект, который невозможно описать, не впадая в высокую оценочную лексику, чего хочется избежать, ибо секрет остаётся вне понимания, а чудо поэзии — вот оно.

...Пусть ломало меня и по миру таскало,  
Но давно измельчали мои корабли,  
Только вижу: опять отразилась Тоскана  
В золотой предзакатной неспешной Нерли.

Можно отметить динамическую кинематографичность планов, картин в стихотворении, но точнее было бы говорить именно о феномене поэтического зодчества, создаваемого на глазах читателя и как будто бы с ним. Крупный план байдарки, на которой можно разглядеть заплату, — это горизонталь плывущего мира и начало вознесения («мы текли сквозь туман»), где лексический контрапункт («текли») соединяет воду и воздух, верх обращивается низом, и вознесение равно погружению, ибо дом верха — внизу: всё растворялось в воде — «все мои города, все мои времена». Однако это не только растворение, но и текучесть — воздуха, и воды, и неба; так невеликая речка без меры и дна самым зримым образом вытягивает и расширяет пространство и временные потоки. Поэт обладает этим редким умением — как писал Пастернак, стянуть к себе любовь пространства. И оно в его стихах — не географическая точка в линейной плоскости, приуроченная к определённому линейному времени, а явленная в зримо-чувственно-духовной реальности жизни «под», и «над», и «рядом»:

Погружу во Флоренцию руки по локоть...  
Промелькнула над крышами стайка плотвы...  
Мой попутчик наладился якать и окать  
И ругать испугавшую рыбу плоты.

Силой духовного притяжения из недр, усилием протянутой руки из потаённого выплывает Флоренция, мечта о которой была спасительной ноющей болью в проживанье земном со всеми его тяготами. Ещё одна особенность лирического героя — присутствие без присутствия, когда при минимуме биографических личностных данных ты всегда ощущаешь материальность героя, его личность, и творится она силой чувств и мысли. Трагические мотивы максимально сдержанны, скрыты, они приглушены, либо о них говорится введением одного-двух слов из разговорной лексики, снимающей возможный пафос драмы:

Давно бы сыграл я в отъезд или в ящик,  
Но разве сбежишь ты от нашей беды?

В такой прямоте речи — экспансия вещного мира в стихи, это тоже один из приёмов проведения данной темы. Но всегда в стихах звучит тема личного мужества и преодоления («мужское, отважное отношение к яви», как говорит В. Алейников),

хотя она не является темой лирических произведений, — это как неотъемлемая индивидуальность обертонов голоса, интонация, которую не спрячешь.

Написанное в лето 2010 года, когда удушливый дым пожарищ обернулся бедой для многих, оно проникнуто и горечью ностальгии по несбывшемуся (мечта о Флоренции — ноющая боль), и волей обретения, умением жить в ней не как далёкой абстракцией, умением силой духовного воображения и жизни души быть в ней всегда, где бы ни оказался. Промельк над крышами стайки плотвы — это увиденное при фокусировке взгляда на конкретной детали — движущихся рыбка, но в это же время внутренним взором мы охватываем и Китеж-град, и оживающие в памяти миры сказочной Атлантиды, и пока, как круги по воде, расходятся миры, вызванные к жизни одним словом, ассоциациями, памятью культуры, мы в это же время пребываем в вещной реальности, которая даётся почти с прозаической точностью:

Мой попутчик наладился якать и окать  
И ругать испугавшую рыбу плоты.

Сводя к минимуму интервалы между ними умением переключить восприятие через точно найденное слово, где переkreщиваются и срабатывают оба значения, относимые к миру реальному и идеальному, автор не даёт материи забыть о духовном, а духовному уйти в пустоту абстракции, сохраняя при этом цельность образа, он держит изящно и мощно два потока, и оно живёт — чудо.

В мире поэта сиюминутное живёт вместе с вечным, и вечное — это не застывший памятник, к которому надо вернуться, поскольку для нас прошлое, настоящее, будущее — линейная последовательность. В стихах вечное пронесётся сквозь нас, мы живём в нём, как в околоплодных водах матери, и ощущение этой прапамяти пробуждается стихами Яна Бруштейна. Таким образом, ренессансная архитектура стихотворений с их взлетающими фонетическими колоннадами, широкими арками притворов — лексических переключателей тем, сводчатыми перекрытиями движения мысли, создающимися переkreщением внешнего и внутреннего потоков осязаемого и духовного, визуального и незримого, двухслойными фасадами, редкими орнаментальными вставками прорисовывания деталей, чёткой системой ритмов, разбивок, лёгкостью соединений образов, — всё производит впечатление цельности, единства, гармонического равновесия всех элементов и пропорций. Подчинение частных целому создаёт единый поток движения, целостную картину. И в чеканности звуковых переключек и ровной силе каждого слова, кирпичика этих построений, где эпичность и лиризм растворены друг в друге, чувствуется традиция романского зодчества,

древнеримской скульптуры, положившей начало не только искусству итальянского Возрождения. Всё близко к человеку и кратко его масштабам

«Человек — мера всех вещей», — этот принцип по-своему трансформирован и укоренён в поэтике Яна Бруштейна. С этим связана такая особенность построения стихотворений, как наличие в каждой строфе, в каждом произведении центра, и этот центр — «Я» автора. Не как создаваемый образ самого себя, а как явление творца, без которого нет его творения. Та точка в пространстве, которую занимает автор, никогда не равна сама себе, и в то же время налицо эффект устойчивости. Это не вненаходимость в бахтинском понимании, а все-находимость: и вовлечённость в центр этого мира, поскольку у поэта нет ни одного произведения вне мыслей, чувств лирического героя, и абсолютная свобода по отношению к этому миру. И здесь не мир вовне, не грёза в нём, а своё внутреннее видение становится центром. Несвобода только от права мыслить и чувствовать по особому строю души — высокому, как могут только герои эпохи Возрождения. Разработанное в эпоху Возрождения как будто бы математическое понятие золотого сечения, явленное и здесь как в произведении искусства, было и эстетическим принципом, а оно включает нравственное как предмет оценки. Великий гуманист этой эпохи Леон Баттиста Альберти писал: «Есть нечто большее, слагающееся из сочетания и связи трёх вещей (числа, ограничения и размещения), нечто, чем чудесно озаряется весь лик красоты. Это мы называем гармонией, которая, без сомнения, источник всякой прелести и красоты. Ведь назначение и цель гармонии — упорядочить части, вообще говоря, различные по природе, неким совершенным соотношением так, чтобы они одна другой соответствовали, создавая красоту. И не столько во всём теле в целом или в его частях живёт гармония, сколько в самой себе и в своей природе, так что я назвал бы её сопричастницей души и разума. И есть для неё обширнейшее поле, где она может проявиться и расцвести: она охватывает всю жизнь человеческую, пронизывает всю природу вещей. Ибо всё, что производит природа, всё это соизмеряется законом гармонии. И нет у природы большей заботы, чем та, чтобы произведённое ею было совершенным. Этого никак не достичь без гармонии, ибо без неё распадается высшее согласие частей».

В стихотворении «Мечта о Тоскане» Россия и Флоренция сопоставляются как явь и мечта, соединённые болью. В яви («двенадцать шагов от окна до двери», безнадежно горящие леса, душливый дым, наша беда) — мечта как обитель души, как спасение от беды — мечта о Флоренции («спасательный круг»), являющаяся в «бесцензурных снах», где воздух чист, где есть воздух

для спасительного искусства, где обитают последние поэты, не спящие в ночи, куда ещё прилетают усталые музы. Да, тень яви коснулась мечты, её промежуточность (между болью и светом) опалает тревогами, её музы — усталые, поэты — последние, борьба — летальная. Трагедийность человеческого существования особенно подчёркнута в этом стихотворении, но в последней строфе, где говорится о невстрече в мире реальном как клейме избранных, выпадающих из привычного мира, звучат горечь и преодоление, с которыми, как с открытым забралом, встречает реальность и свою участь лирический герой.

Мечта о Тоскане покрепче вина,  
Но кто виноват в этой странной невстрече?..  
И пью за клеймо я, которым отмечен,  
И в кованом кубке — ни края, ни дна.

В поединке смертных с богами торжествует не только воля тех олимпийцев, о которых писал некогда Тютчев, но и мужание смертных перед роком, которое даёт автору право сказать:

Кто ратуя пал, побеждённый лишь роком,  
Тот вырвал из рук их победный венец.

Пока стоит мир, он обречён на страдания и поиск, на утешение и свет, на преодоление изначальной трагичности существования человека, смертного человека. В мире Яна Бруштейна борьба — это не борьба добра и зла, потому что для его героя здесь нет проблемы выбора: изначальность пребывания в добре открывает другие испытания. Кажется, у Мераба Мамардашвили есть мысль о том, что расщепление нашей тоски по мировой культуре предполагает наличие внутренней задачи. Внутренняя задача — это задача памяти вспомнить, восстановить нити, связующие с тем местом, где мы родились. Ощутить существование, вспомнить — это либо пережить некое эмоциональное, душевное потрясение, либо высказать мысль, рождённую переживанием, либо через текучесть и логику мысли обнаружить чувства — при любом варианте их сосуществования связь несомненна. И это и есть жизнь и смысл подлинного стихотворения, без которого все приёмы поэтической выразительности теряют смысл и повисают в пустоте бессодержательности. Встреча с прекрасным — это всегда острое переживание времени, конечности, небытия. И вечное «остановись, мгновение» — это, следуя мысли Мераба Мамардашвили, не проявление чувственного переживания жизни, а осознание странной, непонятной обречённости прекрасного.

Преодоление невозможного — этот императив высшего разума Возрождения — неотъемлемость высокой устремлённости строя души и мыслей лирического героя. Но и обладание высокой мерой возможного — это время, счастье и тяжесть которого не всегда уравнивают друг друга.

Лирический герой — он же человек искусства, он же атлант, остро ощущающий избыточность своих сил в этом мире, где востребована усреднённость, где мера дарованного свыше требует приложения сил, а мера признания другого — укрощения своих притязаний.

Стонут плечи от избытка таланта,  
Стонут руки от недюжинной силы.  
Небо держат все другие атланты,  
Ну а мне — не хватило.  
(«Монолог атланта»)

И тогда вступает самоирония, призванная снизить остроту выражения личного переживания:

Очень грустно чем-то вроде колонны  
Быть у всех на дороге...

Я красивый и вполне ещё юный,  
Я найду себе небо!

Как тут не вспомнить замечательные слова С. Лурье: «Чувство стиля совпадёт с чувством чести».

Художник, ощущающий в себе огромные внутренние силы, не может и не должен стараться быть ниже своего роста. Без дерзости ученика, бросающего вызов Мастеру, нет поиска и пути. В стихотворении «Ученик Пигмалиона» автор пишет о внутренней силе искусства, когда одно прикосновение и дерзновенность неумелого ученика рушат пределы умения. «Я и сумею, и посмею», — вот эта дерзость — и ученик превосходит учителя:

Её любовью напою,  
И белый мрамор станет смуглым.

Музыка живёт во всех произведениях Яна естественно, как система кровообращения, но сотворить произведение для него чаще всего — строение и лепка осязаемого, преодоление сопротивления материала во имя его же освобождения. В стихотворении «Джулиано» выразителен образ Микеланджело, изгоняющего из камня боль. Он создаёт свои шедевры вопреки реалиям:

Темна Флоренция в апреле,  
В тумане прячется, дичась,  
Но слышал он, что камни пели  
В последний день и в смертный час.

Здесь — оглушённость от грозной силы искусства и мощи творцов, в стихотворении «Просодии» — упоение возможностью быть причастным к великим, ловить тончайшие отблески света их искусства:

Я рядом на траве, мой голос тих,  
Ловлю я свет, дрожащий возле них.

Кстати, музыка — как раз тот тончайший инструмент, при помощи которого лечится душа, чтобы

укрыть боль и превратить в силу молитвенного слова:

Но музыка — тишайшая беда —  
Нас навсегда залечит, и следа,  
И шрама не оставит, и сомненья,  
И потому мы перед ней в долгу,  
И надо оглянуться на бегу,  
И, может, опуститься на колени...

Кровная связь с Россией, щемящая любовь к ней безусловны вне зависимости от где-то глухо, мимоходом, где-то жёстко выраженной боли за безответность чувства, за историю, в которой было много людских страданий. Поэт не рассматривает то, о чём пишет, с какой-то одной приемлемой для себя стороны. Он говорит жёстко, и в его строки вторгаются дух и воля поколения фронтовиков, тех, что ушли, недолгожив, тех, что навсегда стяжали славу поколению советских людей. Поэтому в стихах иногда непривычно для читателя соединяются разные исторические параллели: строки о любви к Флоренции продолжают строками:

Нас много били и ломали,  
Но нас задумали из стали  
Отцы на страшной той войне.

Раскосые седоки, кони, набег, поле Куликово, Полтава и Бородино — это не дань романтике воинской славы славян, это такое проживание судеб тех, чьей кровью полита земля, чьей несбывшейся жизнью она оплачена, что их подвиг и смерть всё длятся и длятся, как незаживающая рана, а строки — ещё немного, и, кажется, пойдут горлом:

...И бросали клинки, и бросались к земле  
И на гривы коней, одичавших от боя.  
И седой головой понимали — такое!  
В восемнадцать своих перечёркнутых лет.  
И, я знаю, до смерти кричали во сне,  
В горизонт посылая клинки и коней.  
(«То ли белым, то ли красным»)

История лишь условно делится на прошлое, настоящее, будущее. Так удобно обыденному сознанию, которому разорванность и ограниченность картинки помогает защититься от громады мира и даёт иллюзию защищённости. Но мужество в том, чтобы видеть целостность истории, тогда только и можно осознать ответственность каждого за происходящее. Народ, в сознании которого историческая ткань разорвана, до конца не может стать народом. Свою историю лучше постигаешь в контексте истории других, а иногда находишь утешение в истории чужого, испытываешь острое желание обладать тем, чем можно радостно делиться. И в разное время по-разному. И. Бродский так объяснил связь России и Флоренции:

«Ближе всех к Флоренции тот, кто любит... Счастье любви здесь благороднее, страдание прекраснее, разлука сладостнее... Всё, что здесь создано, создано любовью. Флоренция жива и говорит с каждым на языке его родины». А язык родины разный:

У инквизиции дела,  
И птица-тройка раздала  
Кому тугой свинец в затылок,  
Кому— Устьяга, лесоповал,  
Где доходяга остывал  
И где закат взрывался стылый...  
(«Время средних»)

Стихотворению «Роща Чистилища» предпослан эпитафия из Данте о диком лесе как перифраз современного настоящего. Само стихотворение передаёт концентрацию состояния, когда настоящее непригодно для существования души в мире перевёрнутых ценностей, где не остаётся места подлинному, «где ослиное копыто узаконено асфальтом» («Пепел выгоревшей рощи изнутри мне бьёт по рёбрам»). При прорывающейся экспрессии («можно плыть одним уродам») это не жалобы ночные— чуждый для автора жанр. Настоящее оказывается началом меркнущих времён; оглядываешься на прошлое, а оно оказывается длящимся настоящим. Хотя и прошла тьма средневековья, по-прежнему горят Джордано Бруно, Савонарола. Лирический герой обращает свой упрёк современности: Венеция, некогда сдавшая Джордано Бруно, теперь,

опустив свои крыла,  
Теряет яростных и юных,  
Флоренция, мечту поправ,  
Скрутила свой могучий нрав  
И жалкие играет роли.

Это портрет нашей эпохи:

Так и живём среди веков,  
И выбивает стариков  
Эпоха ворона и вора.

Какое горькое пророчество о стариках... Кто следующий? На тревожные строки:

А если завтра не настанет  
И снег не стает с наших век?

звучит ответ:

Но Санта-Кроче, как „Титаник“,  
Всплывает в двадцать первый век»  
(«Флоренция»)

Санта-Кроче, как известно,— одна из самых больших францисканских церквей тринадцатого века и один из лучших образцов готического стиля в Италии. В ней расположено шестнадцать капелл,

и каждая— произведение искусства. В стенах этой церкви упокоены самые знаменитые люди Италии: Галилео Галилей, Никколо Макиавелли, Микеланджело Буонарроти, Джоаккино Россини, Эрнико Ферми, Гульельмо Маркони, Михаил Огинский и другие. Искусство выступает как защита и гарант сохранения мира, но история «Титаника» бросает другой ответ на смысл ответа. Председатель Флорентийского общества в России Пётр Баренбойм пишет в послесловии к книге «Тоскана на Нерли», что чувство безверия в гуманизм не может победить, пока существует Флоренция. Но само существование перестаёт быть аргументом во времена, когда духовные ценности утрачиваются, а смыслы существуют только в плоскости потребления. Что может остановить угасание времени? Неужели только угроза всеобщности смерти?

Тема смерти важна для поэта, потому что смерть даёт смысл жизни или ставит перед необходимостью его осознания. Переживание смерти— тема, повторяющаяся не раз в книге, и её трактовка очень отличается от привычной мрачной или тревожной подачи авторами. Это смерть, легко переживаемая:

Как хорошо, я улетаю,  
Пока, родимые, пока!

и оказывающаяся сном в финале, либо смерть как последний дар усталого Пегаса, срывающегося в опрокинутый закат, либо прощание с Арахной, в гекзаметрическом ритме которого объявлено почти священнодействие:

Я увижу величие духа—  
Как ты, отпустив якоря,  
в свой последний полёт оборвёшься.

<...>

Лети, умирай на лету, стань покоем,  
закатом и ветром!

Мотив переживания смерти сродни обряду инициации, и кратность переживания соответствует кратности взросления и восхождения ещё на одну ступень роста.

Интересно, что описание смерти нередко дано как наблюдение со стороны за собой. В стихотворении «Когда я по лунной дороге уйду...» расставание с жизнью не есть смерть, оно дано в тональности потрясающей свободы, тревожной немного, но радостной:

Когда я по лунной дороге уйду,  
Оставлю и боль, и любовь, и тревогу,  
По лунной дороге, к незримому Богу,  
Искать себе место в беспечном саду,  
По лунной, по млечной...

Оборот «когда я уйду» вводит будущее время, однако далее вступает в действие настоящее:

И лёгок мой шаг,  
 Пустынна душа, этим светом омыта,  
 По лунной дороге, вовеки открытой,  
 Легко, беспечально, уже не спеша,  
 Уже не дыша...  
 И мой голос затих.  
 Два пса мне навстречу дорогой остывшей,  
 И юный—погибший, и старый—поживший,  
 И белый, и рыжий. Два счастья моих.

В следующей строфе в элегической тональности уходящего возвращается будущее время:

И раны затянутся в сердце моём,  
 Мы вместе на лунной дороге растаем—  
 Прерывистым эхом, залившимся лаем.  
 И всё. Мы за краем. За краем. Втроём.

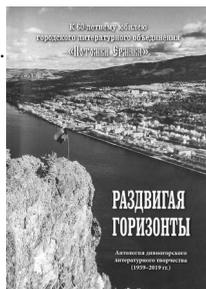
Тут надо перевести дух. Самое волшебное стихотворение. Как от другого Понтия Пилата. Праведного.

Даже не буду пытаться понять то потрясение, которое я всегда испытываю, читая его. Только о логике движения времени: будущее, настоящее

в будущем, когда даруются утраченные ценности («два счастья моих», собаки, преданностью которых проверяется сущность человека, его душа), возвращение в будущее (исцеление, «и раны затянутся в сердце моём»), а затем—взгляд вслед себе уходящему: «Мы вместе на лунной дороге растаем». Смерть в вечности превращается в жизнь вечную. В художественном мире Яна Бруштейна нет деления на жизнь здесь и там, на одно после другого. Другая жизнь уже вплетена в каждый момент этой жизни. И то время, которое мы ждём,—оно уже рядом.

Смерть—лишь замедленная разлука, а попытка выжить непрестанна, и каждый, как Голиаф, вступает в единоборство со временем, ведёт свою сансару. И жажда смысла—жажда полноты жизни: «Без смысла нет причины больше жить». И так же, как Флоренция-мечта давала силы жить, так и творчество возвращает её: «Но рвёт бумагу неподвластный свет...» И рубятся швартовы, вырываются из земли вцепившиеся корни, дом, как парус, гудит и готовится отплыть туда, где только Бог, Ветер и Судьба...

ДиН РЕВЮ



## Раздвигая горизонты

Антология дивногорского литературного творчества (1959–2019 гг.)  
 Красноярск: ип Феньков С. С., 2019

### Годы летят...

*Раздвигайте горизонты!  
 Пробивайте потолки!!!*  
 В. Н. Белкин

Городскому литературному объединению «Потомки Ермака» в 2019 году исполняется 60 лет. Эта дата определена первым заседанием литературной группы, которое состоялось 17 декабря 1959 года.

Кто они—первые летописцы истории строительства Красноярской ГЭС и города Дивногорска? Строители, бетонщики, водители и представители других рабочих профессий, полные молодого энтузиазма и ожидания светлого будущего.

Шестьдесят лет—это много и мало. Сколько интересного было сделано за эти годы: издан рукописный журнал «Счастливая юность», вышли

четыре книги «Потомков Ермака» о своеобразной литературной и исторической летописи строительства ГЭС и города, издана книга «Исполни на Енисее», вышли сборники дивногорских поэтов «Будем друзьями» и «Поэты Дивных гор», книги «Слушайте Дивногорию!», «Дивногорск», «Огни Дивногории», изданы авторские сборники прозы и стихов, подборки стихов и прозы печатались в периодических центральных, краевых и городских изданиях, в альманахах «Енисей» и «Новый Енисейский литератор», в краевом детском альманахе «Енисейка». Стихи членов литературного объединения включали в различные сборники краевого и общесоюзного значения, они звучали на радио и по телевидению, их использовали для кино- и театральных постановок.

ЛЮБОВЬ КАРЗНИКОВА  
 заместитель руководителя  
 городского литературного  
 объединения «Потомки Ермака»

Марьям Вахидова

## Интервью с Гоголем о литературных журналах и газетах<sup>1</sup>

*Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обращает и пускает в ход всё выходящее наружу в книжном мире, и которое без того было бы, в обоих смыслах, мёртвым капиталом. Она — быстрый, своенравный обмен всеобщих мнений, живой разговор всего тиснимого типографскими станками; её голос есть верный представитель мнений целой эпохи и века, мнений, без неё бы исчезнувших безгласно. Она волею и неволею захватывает и увлекает в свою область девять десятых всего, что делается принадлежностью литературы. Сколько есть людей, которые судят, говорят и толкуют потому, что все суждения поднесены им почти готовые, и которые сами от себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. Итак, журнальная литература, во всяком случае, имеет право требовать самого пристального внимания.*

Н. В. Гоголь

— Почему вдруг в середине тридцатых годов так остро встал вопрос о литературных журналах?

— Читатели имели полное право жаловаться на скудость и постный вид наших журналов: «Телеграф» давно потерял тот резкий тон, который давало ему воинственное его положение в отношении журналов петербургских; «Телескоп» наполнялся статьями, в которых не было ничего свежего, животрепещущего. В это время книгопродавец Смирдин, давно уже известный своею деятельностью и добросовестностью, который один только, к стыду прочих недалёкозорких своих товарищей, показал предприимчивость и своими оборотами дал движение книжной торговле, — книгопродавец Смирдин решил издавать журнал обширный, энциклопедический, завоевать всех литераторов, сколько ни есть их в России, и заставить их участвовать в своём предприятии... С выходом же первой книжки публика ясно увидела, что в журнале господствует тон, мнения и мысли одного, что имена писателей, которых блестящая шеренга

наполнила полстраницы заглавного листка, взяты были только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков.

— Разве эта «блестящая шеренга» писателей не догадывалась, что распорядителем журнала станет профессор арабской словесности г-н Сенковский, который потянет за собой редактора аж двух журналов («Северной пчелы» и «Сына отечества») г-на Греча?

— Главным деятелем и движущою пружиною всего журнала был г-н Сенковский. Имя г-на Греча выставлено было только для формы — по крайней мере, никакого действия не было заметно с его стороны. Г-н Греч давно уже сделался почётным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания: так обыкновенно почтенного, пожилого человека приглашают в посажёные отцы на все свадьбы.

— Если бы вы знали, как со временем расплодятся эти «посажёные отцы на все свадьбы»! Не станут менее предприимчивыми и Сенковские!

— Г-н Сенковский является в журнале своим как критик, как повествователь, как учёный, как сатирик, как глашатай новостей и проч. и проч... Как учёный, г-н Сенковский поместил довольно большую статью о сагах, статью, исполненную ипотез (так у Гоголя. — *Ред.*), не собственных, но схваченных наудачу из разных бегло прочитанных книг, ипотез, вовсе не принадлежащих русской истории.

— Наверное, г-н Сенковский был силён в критике?

— В разборах и критиках г-н Сенковский никогда не говорил о внутреннем характере разбираемого сочинения, не определял верными и точными чертами его достоинства: критика его была или безусловная похвала, в которой рецензент от всей души тешился собственными фразами, или хула, в которой отзывалось какое-то странное

.....

1. Интервью составлено на основе статьи Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», 1836.

ожесточение. Она состояла в мелочах, ограничивалась выпискою двух-трёх фраз и насмешкою. Ничего не было сказано о том, что предполагал себе целью автор разбираемого сочинения, как оное выполнил и, если не выполнил, как должен был выполнить. Больше всего г-н Сенковский занимался разбором разного литературного сора, множеством всякого рода пустых книг; над ними шутил, трунил и показывал то остроумие, которое так нравится некоторым читателям.

— *Похоже, читатель с тех пор мало изменился. Равно как и критика, которой не достаёт ни профессионализма, ни личного мужества.*

— Г-н Сенковский осуждал гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, как в этом случае он имел так мало сметливости и до такой степени считал простоватыми своих читателей. Неизвестно тоже, почему называл он некоторые статьи свои фантастическими. Отсутствие всякой истины, естественности и вероятности ещё нельзя считать фантастическим. Фантастические сочинения Б. Брамбуса напоминают книги, каких некогда было очень много, как то: «Не люблю — не слушай, а лгать не мешай», и тому подобные. Та же безотчётность и ещё менее устремления к доказательству какой-нибудь мысли.

— *За счёт чего так долго держался на плаву журнал г-на Греча?*

— «Северная пчела» заключала в себе официальные известия и в этом отношении выполнила своё дело. Она помещала известия политические, заграничные и отечественные новости. Редактор г-н Греч довел её до строгой исправности: она всегда выходила в положенное время; но в литературном смысле она не имела никакого определённого тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей её мнения. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякий всё, что ему хотелось. Разборы книг, всегда почти благосклонные, писались приятелями, а иногда самими авторами.

— *Такое ощущение, что речь идёт о некоторых современных журналах, напоминающих такую корзину... Но таким образом могли засветиться молодые таланты?*

— В «Северной пчеле» пробовали остроту пера разные незнакомцы, скрывавшиеся под разными буквами, — без сомнения, люди молодые, потому что в статьях выказывалось довольно удалства. Они нападали разве уже на самого беззащитного и круглого сироту... Сущность рецензий состояла в том, чтобы расхвалить книгу и при конце сложить с себя весь грех такой оговоркою: «Впрочем, желательнее, чтобы почтенный автор исправил небольшие погрешности относительно языка и слога», или: «Хорошая книга требует хорошего

издания», и тому подобное, за что автор разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастие рецензента. Впрочем, от «Северной пчелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, её делом было пригласить публику, а судить она представляла самой публике.

— *Но ведь были и другие журналы, с более громкими заявками в названиях, чем «Северная пчела»?*

— Журнал, носивший название «Сына отечества и Северного архива», был почти невидимкою во всё время. О нём никто не говорил, на него никто не ссылался несмотря на то, что он выходил исправно еженедельно и что печатал такую огромную программу на своей обвёртке, какую вряд ли где можно было встретить. В «Сыне отечества» (говорила программа) будет археология, медицина, правоведение, статистика, русская история, всеобщая история, русская словесность, иностранная словесность, наконец, просто словесность, география, этнография, историческая галерея и прочее. Иной ахнет, прочитавши такую ужасную программу, и подумает, что это огромное энциклопедическое издание, когда-либо существовавшее на свете. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка в три листа, начинавшаяся статьею о каких-нибудь болезнях, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тем ещё более живая и современная, не была в нём постоянною. Новости политические были те же сухие факты, взятые из «Северной пчелы», следственно уже всем известные. Помещаемые какие-то оригинальные повести были довольно странны, чрезвычайно коротенькие и совершенно бесцветны. Если попадалось что-нибудь достойное замечания, то оно оставалось незаметным. Имена редакторов, гг. Булгарина и Греча, стояли только на заглавном листке; но с их стороны решительно не было видно никакого участия.

— *А как обстояло дело с литературными газетами?*

— Издавалась в Петербурге в продолжение всего этого времени газета чисто литературная, освобождённая от всяких вторжений наук и важных сведений, не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница старого, но при всём том имевшая особенный характер. Название этой газеты: «Литературные прибавления к Инвалиду». В ней помещались лёгонькие повести, беседы деревенских помещиков о литературе... Г-н Воейков был чрезвычайно деятельный ловец и, как рыбак, сидел с удой на берегу, не теряя терпения, хотя на его уду попадалась большею частию мелкая рыба, а большая обрывалась. Г-н Воейков показал в «Литературных прибавлениях» что-то похожее на оппозицию; но оппозиция состояла в лёгких

заметках журнальных промахов, иногда удачной остроте, выраженных отрывисто, в немногих словах, с насмешкою, очень понятною для немногих литераторов, но незаметною для непосвящённых.

— *Существовала ли серьёзная конкуренция между литературными изданиями, как это бывает, например, с политическими газетами и журналами?*

— «Телескоп» в соединении с «Молвою» действовал против «Библиотеки для чтения», но действовал слабо, без постоянства, терпения и необходимого хладнокровия... Очевидно, что силы и средства этих журналов были слишком слабы в отношении к «Библиотеке для чтения», которая была между ними, как слон между мелкими четвероногими. Их бой был слишком неравен, и они, пишется, не приняли в соображение, что «Библиотека для чтения» имела около пяти тысяч подписчиков; что мнения «Библиотеки для чтения» разносились в таких слоях общества, где даже не слышали, существует ли «Телескоп» и «Литературные прибавления»...

— *Выходит, монополия «Библиотеки для чтения» была абсолютной? И никто не роптал?*

— Ропот на такую неслыханную монополию сделался силён. В Москве наконец несколько литераторов решились издавать какой-нибудь свой журнал. Новый журнал нужен был не для публики, то есть для большего числа читателей, но собственно для литераторов, различно притесняемых «Библиотекою». Он был нужен: 1) для тех, которые желали иметь приют для своих мнений, ибо «Библиотека для чтения» не принимала никаких критических статей, если не были они по вкусу главного распорядителя; 2) для тех, которые видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядителя, ибо г-н Сенковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в «Библиотеку». Он переправлял статьи военные, исторические, литературные, относящиеся к политической экономии и проч., и всё делал без всякого дурного намерения, даже без всякого отчёта, не руководствуясь никаким чувством надобности или приличия. Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина, не рассмотревши, что она и без того была с концом.

— *А как же «Московский наблюдатель»?*

— В «Московском наблюдателе» тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала. Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. Он написал доселе несколько сочинений статистических, имеющих много достоинства, но которых публика чисто литературная не знала вовсе. Литературные мнения его были неизвестны. В этом состояла большая ошибка издателей

«Московского наблюдателя». Они позабыли, что редактор всегда должен быть видным лицом.

— *Разве не против монополии Сенковского был запущен «Московский наблюдатель»?*

— Замечательные статьи, поступавшие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеленеющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нравится публике. Статьи часто хорошие делались скучными потому только, что они тянулись из одного номера в другой с несною подписью: «продолжение впрёд». Вот таков был журнал, долженствовавший бороться с «Библиотекой для чтения». «Наблюдатель» начался оппозиционно статьею г-на Шевырёва о торговле, зародившейся в нашей литературе. В ней автор нападает на торговлю в учёном мире, на всеобщее стремление составить себе доход из литературных занятий.

— *Разве литературные труды не должны были приносить дохода и кормить авторов, их семьи?*

— Статья сия была понятна одним литераторам, нанесла досаду «Библиотеке для чтения», но ничего не дала знать публике, не понимавшей даже, в чём состояло дело. Притом сии нападения были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась. Естественное дело, что при этом случае больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики ещё простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чём состоит обман, а не пересчитывать их барыши. Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это ещё не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и ещё хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г-ну Шевырёву на бедных покупателей, а не на продавцов.

— *Надо признаться, что время, к сожалению, оказалось бессильно перед «оборотливыми и пронырливыми» литераторами. Они и сейчас преуспевают... Но удалось ли Шевырёву привлечь внимание к проблеме?*

— Выходка «Московского наблюдателя» скользнула по «Библиотеке для чтения», как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, «Московский наблюдатель» замолчал, — доказательство, что он не начертал для себя обдуманного плана действий и что решительно не знал, как и с чего начать... Даже множество помещённых в журнале статей ничего не значит, если журнал

не имеет своего мнения и не оказывается в нём направление, хотя даже одностороннее, к какой-нибудь цели. «Телеграф» издавался, кажется, с тем, чтобы испровергнуть обветшалые, заматерелые, почти машинальные мысли тогдашних наших старожил, классиков; «Московский вестник», один из лучших журналов, несмотря на то, что в нём немного было современного движения, издавался с тем, чтобы познакомить публику с замечательнейшими созданиями Европы, раздвинуть круг нашей литературы, доставить нам свежие идеи о писателях всех времён и народов. Здесь не место говорить, в какой степени оба сии журнала выполнили цель свою; по крайней мере, стремление к ней было чувствуемо в них читателями. Но рассмотрите внимательно издававшиеся в последние два года журналы; уловите главную нить каждого из них: сей-то нити и не сыщете. Развернув их, будете поражены мелкостью предметов, вызвавших толки их. Подумаете, что решительно ни одного важного события не произошло в литературном мире...

— *О чём же писали ваши журналисты?*

— Они говорили о ближайших и любимейших предметах: они говорили о себе, они хвалили в своих журналах собственные свои сочинения; они решительно были заняты только собою, на всё другое они обращали какое-то холодное, бесстрастное внимание. Великое и замечательное было как будто невидимо. Их равнодушная критика обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания. Литературное безверие

и литературное невежество. Эти два свойства особенно распространились в последнее время у нас в литературе. Один рецензент роняет тех, которых поднял его противник, и всё это делается без всякого разбора, без всякой идеи. Иное имя бывает обязано славою своею ссоре двух рецензентов.

— *Но кто-нибудь же должен был говорить о настоящей литературе? Взять хотя бы друзей Пушкина, литераторов...*

— В это время не сказал своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, ни даже те, которые ещё не так давно издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих вкус и знание: нужно ли после этого удивляться такому состоянию нашей литературы? Критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден ещё более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования. Для истории литературы она неоценима. Наша словесность молода, корифеев её было немного; но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы.

— *Спустя эти самые годы и десятилетия ловлю себя на том, что могу лишь повторить вслед за классиком: «Наша словесность молода, корифеев её было немного; но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы». Может, начнём? Ау, критики! Мыслящие!..*

Илья Сельвинский

## Ты — убежище муки моей...

## Портрет моей матери

*Нехай маты усмехнётся,  
Заплакана маты.*

Шевченко

Она подымается на пятый этаж,  
Мелкая старушка с горькими слезами.  
Лестница та же, и дверь всё та ж...  
Но как волнуется! Точно экзамен.  
Прыгают губы. Под сердцем нудит.  
За дверью глухо звучит пианино.  
С медной таблички бесстрастно глядит  
Чужая жизнь родного сына.

Здесь кухня в шутку зовётся «лог»,  
«Рыцарской залой» — столовая,  
Послеобеденный чай — фэйф-о-клок  
(Кто его знает, что за слово?).  
И всё это комнатное арго  
Полно игнорирующего уюта.  
Она себя чувствует здесь каргой,  
Севшей на шкаф и взирающей люто.

Но наконец нажимает звонок.  
Его холодок остаётся на пальцах.  
Слушает... Вот! Это стук его ног.  
Да-да. Это он. Её мальчик.  
В последний раз поправляет платок...  
На лестницу бурно вырвался Штраус.  
Я ей улыбаюсь, снимаю пальто,  
Чмокаю в щёку. Стараюсь.  
Она так мизерна. Может быть, я  
Слишком басю? Я дьявольски кроток.  
Это лучшие миги её бытия,  
Она на минуту чувствует отдых.  
И вместе с убогой лысой лисой  
С души стекают ледовые оползни.  
Её вековечное лицо  
Опять становится симферопольским.

И слушаю этот милый слог,  
И крымский пейзаж оживает снова...  
Как в зимнем сене сухой василёк,  
В речи попадает татарское слово.  
Но вдруг исчезают «сенап» и «шашла»,  
Лицо старушки сведено драмой:  
Слышится внучкин голос: «Мама!  
Чёрненькая бабушка пришла».

И входит жена, и зовёт пить чай.  
И мы неестественно выходим из комнаты.  
Старушка идёт, как сама печаль,  
А мы с женой, как виновные в чём-то...  
И к «чёрненькой бабушке» из-за стола  
Розовая тёща встаёт и кланяется,  
Падчерица вскакивает, как стрела,  
Вспрыгивает жена племянница.  
И каждый считает, что он не прав.  
И все выстраиваются по линии,  
Как будто в воздухе летят Эринии,  
Богини материнских прав.  
Но гранд-парада почётный строй  
Старушка встречает горькой усмешкой:  
Она себя чувствует здесь турой,  
Стиснутой королевой и пешками.  
Корни обиды глубоко вросли.  
Сыновий лик осквернён отныне,  
Как иудейский Иерусалим,  
Ставший вдруг христианской святыней.

А что ей почёт? Это так... По годам.  
От победителей нет признанья.  
Она лишь попавшая к господам  
Ихнего сына старая няня...  
И дымная трудовая рука  
В когтях и мозолях — рука вороны —  
Делает к сахару два рывка  
И вдруг становится как бы варёной,  
Как пронзённой миллионами глаз...  
И так ей муторно, как от боли,  
Точно рука у неё зажглась  
Огненной казнью на Лобном месте.  
И всё молчит. То ли тема узка,  
То ли напротив: миф для трагедии.  
Берёт она два небольших куска,  
Хотя ей очень хочется третий.  
И я с раздраженьем хватаю ещё  
И, улыбаясь, кладу в её чашку.  
«К чему?» Она поднимает плечо —  
И всем становится тяжело.  
Потом жена её снова зовёт,  
Уложит, укроет оленьей шубой.  
И снится ей, что она живёт  
Вместе с сыном в таврической глубине;

Что нет у него ни жены, ни детей.  
Она в чулке бережёт его тыщи...  
К чему? Зачем? Неизвестно и ей.  
Просто так. Для духовной пищи.

Потом очнётся, как от вина,  
Вздохнёт, отлежится и скажет сторожко:  
«Дал бы, сынок, сахарку старушке,  
Но только пускай не знает она».

И я, подмигнув, забираюсь в «лог»  
И зазываю жену из «зала»:  
«Дай-ка, рыжик, для мамы кулёк,  
Но так, чтобы ты, понимаешь, не знала!»

И мать уходит. Держась за карниз,  
Бережно ставя ноги друг к дружке,  
Шажок за шажком ковыляет вниз,  
Вся деревянненькая, как игрушка,  
Кутая сахар в заштопаный плед,  
Вся истекая убогою ранкой,  
Прокуренный чадом кухонных лет,  
Старый, изуродованный жизнью ангел.  
И мать уходит. И мгла клубится.  
От верхней лампочки дома темно.  
Как чёрная совесть отцеубийцы,  
Гигантская тень восстала за мной.

А мать уходит. Горбатым жуком  
В страшную пропасть этажной громады,  
Как в прах. Как в гроб. Шажок за шажком.  
Моя дорогая. Заплакана маты...

*Ледокол «Челюскин», мыс Рыркарпий, 1933*

### Весеннее

Весною телеграфные столбы  
Припоминают, что они — деревья.  
Весною даже общества столпы  
Низринулись бы в скифские кочевья.

Скворечница пока ещё пуста,  
Но воробышки спорят о продаже,  
Дома чего-то ждут, как поезда,  
А женщины похожи на пейзажи.

И ветерок, томительно знобя,  
Несёт тебе надежды ниоткуда.  
Весенним днём от самого себя  
Ты, сам не зная, ожидаешь чуда.

1961

### Гимн женщине

Каждый день как с бою добыт.  
Кто из нас не рыдал в ладони?  
И кого не гонял следопыт  
В тюрьме ли, в быту, фельетоне?  
Но ни хищность, ни зависть, ни месть  
Не сумели мне петлю сплесть,  
Оттого что на свете есть  
Женщина.

У мужчины рука — рычаг,  
Жернова, а не зубы в мужчинах,  
Коромысло в его плечах,  
Чудо-мысли в его морщинах.  
А у женщины плечи — женщина,  
А у женщины локоть — женщина,  
А у женщины речи — женщина,  
А у женщины хохот — женщина...

И, томясь о венерах Буше,  
О пленительных ведьмах Ропса,  
То по звёздам гадал я в душе,  
То под дверью бесёнком скрёбся.  
На метле или в пене морей,  
Всех чудес на свете милей  
Ты — убежище муки моей,  
Женщина!

### Был я однажды счастливым...

Был я однажды счастливым:  
Газеты меня возносили.  
Звон с золотым отливом  
Плыл обо мне по России.

Так это длилось и длилось,  
Я шёл в сиянье регалий...  
Но счастье моё взмолилось:  
«О, хоть бы меня обругали!»

И вот уже смерчи вьются  
Вслед за девятым валом,  
И всё ж не хотел я вернуться  
К славе, обложенной салом.

1963

# Сон перед пробуждением

Лучшие работы участников фестиваля  
школьной публицистики «Суперперо» (Красноярск)

## Дарья Семёнова

Лицей №2, 9 класс

### Несладкая жизнь «сахарного ребёнка»

*Отзыв о книге*

«Сахарный ребёнок» — роман Ольги Громовой, написанный на основе воспоминаний Стеллы Нудольской, которая и стала главной героиней книги. Произведение честно повествует о страшных, жестоких и тёмных временах сталинских репрессий, о событиях, которые прошли через призму детского разума с его наивностью, чистотой и верой в хорошее. Это — детский взгляд на совершенно не детские вещи, который поражает своей искренностью и неожиданными для ребёнка мудростью, пониманием и зрелостью.

Эля Нудольская — счастливый ребёнок. У неё есть родители, которые бесконечно любят её и заботятся о ней. Однажды всё резко меняется — её отца арестуют по обвинению в измене родине. С тех пор жизнь превращается в череду тяжёлых испытаний — на них с матерью лежит страшное клеймо ЧСИР (член семьи изменника родины) и СОЭ (социально опасный элемент). Им предстоит отправиться на стройку лагеря для политических заключённых, где их ждёт непосильный труд, а затем ссылки, переезды, и везде — страх и новые «проверки на прочность», пройти которые дано далеко не каждому. Так Эля с детства учится молчать, ни в коем случае не задавать вопросов, не жаловаться и не нарушать запретов. Но даже там, где с ними обращаются как с рабами и принуждают к тяжёлой работе, мама учит Стеллу: «Рабство — состояние души. Свободного человека сделать рабом невозможно». В романе Эля проявляет себя как удивительный ребёнок: наивная, добрая девочка с богатым воображением, которая к тому же всё понимает, может постоять за себя, не боится испытаний, а однажды даже спасает своей маме жизнь.

Однако роман не цеплял бы так сильно, если бы в нём описывалось только всё плохое, что случилось с маленькой Элей. Казалось бы — не может

быть никакого детства и счастья, когда приходится каждый день бороться за право жить. Да, жизнь у «сахарного ребёнка» совсем не сладкая. Вопреки этому, Эля и её мама не сдаются: они по-прежнему шутят, рассказывают истории, играют и учатся находить счастье и радость тогда, когда нет даже уверенности в завтрашнем дне. И в эту тяжёлую пору, когда некому довериться и не на кого рассчитывать, помощь и добро приходят совершенно неожиданно. На их нелёгком пути им встречается много равнодушных людей, добрых поступков и человечности. «Хороших людей вокруг всё равно больше, чем плохих, надо только, чтобы твоя обида на жизнь их не заслоняла», — вот одна из многих важных вещей, которым научилась Эля за всё время жизни в ссылке.

Книга «Сахарный ребёнок» — это жестокая историческая правда глазами ребёнка, которая поможет узнать, что же на самом деле скрывалось за страшными словами «враг народа», это история о судьбах людей, обречённых на наказание за преступление, которого они не совершали. История о силе духа, умении быть счастливым среди хаоса вокруг, смелости и отваге. О семье, о жертвенной любви матери и дочери, которая спасёт от всех бед. Роман учит быть верным себе и своим принципам, думать, «слушать сердцем» и всегда, при любых обстоятельствах оставаться человеком.

## Владислав Скоробогатов

Лицей №28, 8 класс

### Сенсация!

*Homo habilis*

*Homo erectus*

*Homo sapiens*

*А что дальше?*

*Если вы не думаете о будущем, то у вас его нет.*

Сейчас или никогда! У нас появилась возможность узнать самое неизведанное — наше будущее! Узнать, к чему в конце концов приведёт нас наш

технический прогресс. Узнать, что будет с нами — поколением *homo sapiens XXI* — в двадцать пятом веке (если, конечно, таковые *homo* будут иметь место в будущем). Сегодня вниманию общественности представляется человек, сумевший сделать путешествия во времени возможными. Итак, доктор физико-химических наук, профессор кафедры паранормальных явлений Красноярской государственной академии внутренних дел России, главный специалист Красноярского края по связям с общественностью, лауреат Нобелевской премии 2399 года за достижения в области биоэтических наук, *homo* двадцать пятого века Эзоп Дизраэли. Да, действительно, он прибыл к нам из будущего, чтобы показать, куда катится мир. Что это мы всё о себе да о себе? Давайте предоставим слово нашему гостю.

Самая большая проблема, которая встала перед нами в двадцать пятом веке, — это проблема окружающей среды. Мы до сих пор не можем понять, зачем в двадцать первом веке на территорию Красноярского края завозили ядерные отходы со всего мира. Ради денег?.. Но нельзя же быть такими меркантильными. Ведь вы были одним из самых богатых регионов мира, а зарабатывали деньги таким путём. Ваш край располагал развитой промышленностью и активно участвовал в российском и международном рынках. В системе международного разделения труда край выступал мощным топливно-энергетическим комплексом с энергоёмкими производствами цветной металлургии, химической промышленности и машиностроения, добычей ценного минерального сырья, лесопромышленными отраслями. По экспортному потенциалу край входил в пятёрку лидирующих регионов России и занимал ведущее место в Сибири. По объёмам лесозаготовок край занимал третье место в России, по производству пиломатериалов — первое. В лесной отрасли края работало более двухсот предприятий. Древесина традиционно оставалась одной из главных статей красноярского экспорта. Но даже если вы решились на этот шаг, ничего не нужно доводить до крайности: человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует попытаться на другой день поутру. А истина, которую пытаются найти многие, — вещь дорогая. Чтобы добыть её, иной раз нужны усилия многих поколений; одной жизни на это может и не хватить.

Людам моего времени размер этой самой жизни сократился настолько, что дети идут в школу в пять лет, а в двадцать — мы уже обязаны иметь одного ребёнка. Кроме того, я не есть представитель *homo sapiens*. Мой этап развития человечества получил название *homo mutantos*. В моём мире очень тяжело найти двух похожих по биологическим признакам людей. Из-за ваших ошибок страдают

ваши дети. Стоит ли это каких-то деревяшек? Подумайте об этом. Ведь вы уникальные люди! В этом я нисколько не сомневаюсь, следовательно, ничего не имею против этого. Если вы безразличны к себе, подумайте о животных, которые ни в чём не виноваты. Животный мир края всё ещё богат и разнообразен. На его территории обитает триста сорок два вида птиц и восемьдесят девять видов млекопитающих. На берегах и во льдах Северного Ледовитого океана водятся белые медведи, моржи, тюлени, нерпы. В тундре живут песцы, волки, лисы, горностаи, ласки. В тайге можно встретить бурого медведя, лося, марала, соболя, рысь, белку, зайца. В реках водится около тридцати видов промысловых рыб, в том числе осётр, стерлядь, таймень, хариус и другие.

Поколение моего века не имело счастья видеть этих представителей фауны.

О самой главной проблеме я вам рассказал. Об остальном узнаете сами, когда придёт время. Но напоследок хотелось бы сказать:

— Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-нибудь тёплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере?

— Время... продолжает служить человечеству и всей Вселенной постоянно в одинаковой полноте и непрерывности.

— Если бы всё прошедшее было настоящим, а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, кто был бы в силах разобрать, где причины и где последствия?

— Мы никогда не знаем, что будет завтра, тем более мы не знаем, что будет послезавтра.

— Нельзя жить только в настоящем.

— Помните, что лёгкая жизнь может поставить в трудное положение.

Вполне возможно, что прошлое — всего лишь начало начал, а всё, что есть и было, — лишь первый луч зари.

Вполне возможно, что всё достигнутое человеческим разумом — всего лишь сон перед пробуждением...

## Ксения Мельникова

Гимназия № 3, 8 класс

### А что-то приходит со временем

Джону хоть и была отведена маленькая комнатка, но Нил не мог не отметить того, насколько же уютно ему было здесь находиться.

Упрофессора действительно много книг. По-настоящему много: в шкафу на полочке, склонившись корешками друг к другу, видимо, в хронологическом порядке, выстроились книжки по античной истории; на полу «башенкой» стояли три стопки

произведений из прошлого, названий и авторов которых не разглядеть было с порога. Даже на стуле, уместившемся между скромным шкафом и письменным столом, Нила встретила ровная стопка книг в разноцветных переплётах. Китинг, впрочем, переложил их на другой стул, чтобы позволить Нилу присесть для предстоящего разговора.

Наверное, профессор действительно был влюблён в литературу: взгляд ученика блуждает по комнате, желая зацепиться хоть за что-нибудь, что не стало бы так явно и откровенно напоминать о профессии мистера Китинга, и на столе обнаруживает фотографию в тонкой изящной рамочке. Девушка улыбается из-за гладкой поверхности стекла самой искренней улыбкой, но Нилу отчего-то кажется, что это совсем что-то личное. Однако он не может не обронить это милое слово «красивая», совершенно случайно смущая профессора Китинга.

— Да, но она в Лондоне, — профессор практически без промедлений отвечает юноше. — Далековато.

И правда, далеко — но не столько в расстоянии было дело, сколько в истории их знакомства. Джон Китинг никому об этом не рассказывал, почему — и сам не знал, но так уж вышло, что прошлое его оставалось туманным, покрытым чем-то прозрачным, но всё-таки осязаемым. Сдёрнуть он никому не позволял это «покрывало» — хотя, впрочем, никто и не пытался достучаться до самой сути, и, кажется, Китинг этому был только рад.

«Carpe diem» — «лови мгновение». Джон помнил об этом не всегда, далеко не всегда, но что-то должно приходиться со временем, как самый тяжёлый и важный урок.

Девушка с фотографии училась в колледже, когда Джон был моложе, глупее и совершенно точно красивее (последнее — только лишь по мнению самого Китинга, вне зависимости от возраста всегда отличавшегося замечательным чувством юмора). Они жили практически по соседству, конечно же, если расстояние в тридцать минут на велосипеде не мешает называть их колледжи «соседями». Она красивой была, нежной и трепетной, будто бы и вовсе не тронутая несправедливой родительской рукой, она училась словно в своё лишь удовольствие и занималась только тем, к чему действительно лежала её душа.

Джон был влюблён в неё до беспамьятства — но тогда всё думал, что некогда было, совсем не до этого.

Уткнувшись носом в колючий шарф красного цвета — то ли потерял его вскоре, то ли выбросил, — он читал тогда какую-то книгу о философии. Читал, слушал, но не слышал, о чём сквозь постаревшие страницы и пальцы английского переводчика ему пытался сказать Гораций, — но трепетно соглашался, совсем не думая, что же это за «carpe diem», что же оно в самом деле означает.

Она присела тогда рядом, смотрела из-под ресниц долго-долго, прежде чем Китинг осмелился поднять на неё взгляд и слишком громко хлопнуть книгой, — зато она улыбнулась. Говорили до сумерек, пока пальцы не стали замерзать и в тонких перчатках точь-в-точь под стать его красному шарфу.

— «Carpe diem»... Знаешь, что это означает? Я знаю ведь, что не знаешь! — она кладёт свою сумку, перекинутую через плечо, на колени и ищет в ней что-то недолго, едва ли потратив чуть больше пяти секунд. — Можешь взять её себе, Джон.

Китинг был очарован: в его красной перчатке оказалась фотография девушки, которой он так и не признался, с которой не разговорился и, что самое страшное, так и не поцеловался в тени октябрьского листопада.

В Лондоне её ждали, а девушке неприлично было делать первый шаг — да к тому же желание помочь, оказаться учителем для того, кто стремился им стать, ощущалось гораздо тяжелее и весомее, подобно чувству возможной горечи, если бы им пришлось расстаться, во всём друг другу сознавшись. Китинг был занят, как он считал, слишком важными вещами, чтобы поймать момент — и только потом смог понять, почему на её фотографии, вернее, на задней её стороне тонким почерком выведено аккуратное: «Carpe diem».

«Carpe diem» — «лови мгновение». Джон помнил об этом не всегда, далеко не всегда, но что-то должно приходиться со временем, как самый тяжёлый и важный урок.

— Как вы выносите это? — голос Нила Пэрри вытягивает из мимолётных воспоминаний, отразившихся на лице профессора тёплой улыбкой. — Вы вправе уехать из этой школы куда подальше.

— Мне нравится быть учителем. И места здешние нравятся, — Китинг бросает короткий взгляд на фотографию в тонкой изящной рамочке и отставляет чашку в сторонку. — Ну, так что стряслось?

Джону хотелось научить детей не только думать, но и понимать то, как устроено время — и чего может стоить потерянное мгновение.

## Мария Черных

Школа №10, 11 класс

### О дивный новый мир!

Сегодн... \*помехи\* кхм-кхм... \*акустические помехи\* Меня з... Демис Джо... \*ш-ш-ш-ш-ш\*

Приём! Наконец-то!

Надеюсь, меня хорошо слышно... Нашёл этот диктофон, постараюсь выжать из него все соки, пока он не сдох. Я нахожусь в том, что осталось

от рая, города будущего—Нео... Иронично, что это как бы новый... О дивный новый мир!

Все хотели начать всё с чистого листа. Заново. Как будто в людей это генетически заложено. Но, кхм... хех, это не так-то просто. Хр-р-р-кхм. Простите, проклятая лучевая болезнь. Не прошло и столетки... мы повторили судьбу тех, кто здесь когда-то жил. Кстати, про н... \*сильные помехи\*

Чёрт возьми, работай!!! Мне отец рассказывал, когда я был ещё совсем пацаном, что здесь когда-то был тоже город, столица древней цивилизации. Да, прямо как наш. И однажды здесь, в горах, на которых тот город и держался, учёные что-то нашли. Это что-то осталось то ли со времён древних войн, то ли от какого-то супердиктатора прошлого.

В общем, что-то такое, что все помешались на исследованиях в глубочайших уголках шахт... А их андройды уже не могли там работать, ну и сигнал терялся. И в ход пошли люди... Тысячи мужчин, женщин, затем детей и стариков— сначала добровольно, затем по призыву, ну а потом по принуждению, в том числе силой. Было, наверное, как на острове доктора Моро... Да, вы заметили уже, наверное, что я поклонник тысячетлетней классики. Никто не знал, что там творилось. Они работали—опять же, как чернорабочие или подопытные—неизвестно,—на нижних ярусах шахт до тех пор, пока их по самый верх не затопило кровью... Уровень поднимался всё выше и выше, пока кровавые реки не потекли в город. Представляете, выходите вы утром за хлебом, а по водостоку вместо прозрачной дождевой стекает багряная вода!.. Хм-хм-хр-кхм...

А вместе с этими реками пришла и Революция. Кровавая. Все натурально озверели... Семь дней, семь ночей—жесточайшая бойня... И вдруг в одночасье город вымер! Возможно, из-за оружия нового поколения или ещё чего... Опустел, ну и, само собой, потом рассыпался в пыль, как и вся цивилизация...

А затем здесь появились мы и построили город Нео. Все мечтали сюда попасть, а ещё больше—работать на «Айкс корп.»—могущественную бизнес-империю, словно государство в государстве. Очевидно, что они знали про тайны гор по соседству, и явно больше, чем простые смертные, потому что первые их исследовательские экспедиции отправились именно туда...

Они вернулись, да, но какой-то взгляд у них был... Не такой, как раньше. И наш мэр... Я тогда

понял, что что-то не так: он уже спустя месяц утверждал, что новый проект поможет познать все тайны мироздания—связь с космосом, телекинез, «мы не одни во Вселенной» и всё такое...

А потом люди начали исчезать. К дому подъезжала полицейская машина, человека просили подписать кое-какие бумаги, и больше его никто не видел...

Руководители «Айкс корп.» натурально сошли с ума! Их сообщения с галоэкрана с каждым днём выглядели всё безумнее, глаза превратились в узенькие щёлочки, сквозь которые на мир глядела необузданная злоба, иногда они даже на лай срывались во время прямого эфира... Это уже были не люди. За них говорил их новый сверхразум, который заставлял опасаться чужаков, даже своих соседей. Начался геноцид. Интересно, на каком круге Ада по Данте они сейчас?

Правительство, естественно, начало беспокоиться, приняло решение ввести в Нео войска, поэтому «Айкс корп.» объявила о создании тоталитарного государства и на базе захваченных правительственных военных баз начало разворачивать масштабную кампанию для обороны, а затем—атаки на внешний мир. Только до последнего не хватило совсем чуть-чуть!..

Двести восемнадцатого дня 3945 года вкс правительства сбросили на Нео две бомбы. Обе атомные. Одну в северной части города, другую в южной. Со времён японских трагедий такого ещё не было... Снова похоронили то, что дремлет в горных шахтах... \*ухудшение сигнала\*

...Прошло уже некоторое время, я нахожусь один в тоннеле метрополитена между станциями «Сансет-стрит» и «Гарден-Эйдж», где-то под бывшим главным офисом «Айкс корп.»—тем местом, где когда-то сидели нелюди, обладающие сверхразумом. Бесчеловечные и жестокие. Хуже животных. А я на них работал... Сегодня я вновь хочу предпринять вылазку на поверхность. Терять мне уже нечего.

Всё... Если кто-нибудь когда-нибудь найдёт эту запись... А я очень на это надеюсь... Отсюда нужно бежать без оглядки! Иначе вас также загонят в угол. Может, и вы тому будете причиной. Вы не будете испытывать недостатка в знаниях, у вас будет переизбыток их... и поедет крыша... Бесчеловечность, жестокость в глазах. Холод. Настоящий ад! Кто бы меня сейчас ни слышал, оставайтесь людьми...

Конец связи.

стр. 23  
Акимова Елена Васильевна  
Красноярск, 1960 г. р.

Археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН. Подготовила к изданию воспоминания Смирнова Бориса Павловича («День и ночь» №4–5/1998).

стр. 49  
Басалаева Елена  
Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. В 2009 году с отличием окончила филологический факультет Сибирского федерального университета. Преподаёт русский язык и литературу в Красноярской гимназии №13. Публикации на сайтах «Добрая лира», «Город детства», в журнале «День и ночь» и др. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Большой финал» (Мурманская область). Лауреат журнала «День и ночь» за 2019 год.

стр. 17  
Беликов Юрий Александрович  
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филфак Пермского государственного университета. Автор книг «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всероссийский фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и литературных премий имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель поэтических групп «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Был собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», «Литературной газеты», спецкором «Труда». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в альманахе «День поэзии. XXI век», в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России»,

«Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени и медалью «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе». Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 158  
Бимаев Анатолий Владимирович  
Абакан, 1987 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил юридический факультет Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Каганова. Публиковался в журналах «Абакан», «Сибирские огни», «Нева», «День и ночь», альманахе «Порог-ак», сборнике «Антология молодых авторов Хакасии», газете «Мол», интернет-изданиях «Пролог» и «За-За». Участник IX и XI форумов молодых писателей России и стран ближнего зарубежья. Участник совещания молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока (Томск, 2015). Участник регионального совещания сибирских авторов (Новосибирск, 2016).

стр. 185  
Вахидова Марьям Адыевна  
Гудермес, 1959 г. р.

Филолог, публицист и общественно-политический деятель, журналист, исследователь творчества М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и других. Родилась в Казахстане. В 1985 году окончила Семипалатинский педагогический институт имени Н.К. Крупской. Филолог по образованию, в Семипалатинске и области прошла путь от старшей пионервожатой до директора школы. С 1990 по 1993 год жила в Чеченской Республике. В Грозном в ноябре 1990 года выступала на первом Общенациональном конгрессе чеченского народа (ОКЧН), куда была приглашена оргкомитетом съезда в качестве гостя, где и познакомилась с Джохаром Дудаевым. С тех пор стала активной соратницей генерала, который лично ввёл её в члены Исполкома ОКЧН. В августе 1991 года, в дни ГКЧП, стояла в оцеплении перед Белым домом. С конца марта 1992 г. ушла в оппозицию к команде Дудаева. Как член Этнического совета, созданного вместе с Гойтемировым Рамзаном, отстаивала и защищала права русскоязычного населения в Чечне. С лета 1993 года занялась журналистскими расследованиями уголовных дел, заведённых в Москве и Ярославле на чеченцев в результате развязанной

в России античеченской кампании. Из-за затянувшихся судебных процессов вынуждена была остаться в Москве. Участвовала во всех антивоенных кампаниях, конгрессах, круглых столах и пресс-конференциях, проводимых российскими правозащитниками и чеченскими диаспорами. С 2004 года участвует в международных научно-практических конференциях и конгрессах по русской литературе, проводимых в Москве, Пятигорске, Махачкале, Пекине и др. Печатается в журналах «Наука и религия», «Сибирские огни», «Вайнах», «Нана» и др. Автор многочисленных политических статей, публицистических и исследовательских статей. На VI Всемирном научном конгрессе в Санкт-Петербурге 11–12 ноября 2014 года, организованном Международным университетом фундаментального обучения (МУФО), получила диплом почётного доктора философии (PhD) Оксфордского университета. Там же награждена медалью Достоевского «За красоту, гуманизм, справедливость» и орденом «Честь и мужество». В 2017 году получила диплом почётного гранд-доктора в области искусства и культуры. 9 октября 2018 года получила диплом гранд-доктора в области журналистики и литературы, избрана почётным членом Академии художеств Таджикистана. За книгу «Александр Чеченский» как историк-просветитель, по представлению Президиума Карачаево-Черкесской общественной организации ветеранов (пенсионеров), 9 мая 2015 года награждена памятной медалью «70 лет Победы». Лауреат второго Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость».

стр.  
109

Вацаев Олег Александрович  
Санкт-Петербург, 1970 г. р.

Родился в Норильске. В 1998 году окончил Московский Литературный институт имени А. М. Горького (поэтический семинар Евгения Борисовича Рейна). С 2009 года живёт в Санкт-Петербурге. Публикации: «День и ночь» (Красноярск, № 11–12/2005; № 6/2012), «Енисей» (Красноярск, № 1/2012), «Север» (Петрозаводск, № 3–4/2017), «Изящная словесность» (Санкт-Петербург, № 3(29)/2016; № 4(34)/2017), «Нева» (Санкт-Петербург, № 2/2018) и др.

стр.  
45

Данченко Елена  
Зейст (Нидерланды)

Член Союза писателей Москвы. Родилась в Кишинёве. Окончила Кишинёвский государственный университет (КГУ), факультет журналистики. С 2004 года живёт в Нидерландах, в городе Зейсте. Училась в Высшей школе переводчиков (специализация — перевод с нидерландского языка). Стихи публиковались в газетах и журналах «Молодёжь Молдавии», «Сельская молодёжь», «Модус Вивенди», «Москва», «Дружба народов»,

«Новая Юность», «Смена», «День и ночь», альманахах: «День поэзии» и «Год поэзии», на сайтах современной поэзии. Книги: «Стихи» («Риф-Рой», 1995), «Этот случай называется судьба» («Русский двор» совместно с «Э. Ра», 1998), «Жаркий ливень» («Грааль», 2002), «Где бы ты ни был» (в соавторстве с китайской поэтессой Мин Минг Ли, написана параллельными текстами: на нидерландском, китайском и русском языках; «Э. Ра», 2012).

стр.  
116

Климова Александра Александровна  
Санкт-Петербург, 1995 г. р.

Студентка 3 курса СПбГИКИТ (направление «Режиссура игрового кино»). Родилась в 1995 году в посёлке Межозёрный (Лужский район Ленинградской области). Пишет стихи, прозу и сценарии. Победитель областного конкурса «Здоровье глазами подростка» в номинации «Молодой поэт» (Луга, 2010). Победитель конкурса сценариев «Герой нашего времени» в номинации «Лучший сценарий фильма для детей» (Санкт-Петербург, 2017). Посещает лито «Обратная точка» при СПбГИКИТ, публикуется в одноимённом сборнике.

стр.  
36

Князев Сергей Александрович  
Подольск, 1959 г. р.

Родился в селе Шарчино Алтайского края. Кинорежиссёр, поэт, сценарист, продюсер. Среднюю школу окончил в Красноярске-26 (он же — Железнодорожск или Атомград). В кино пришёл из поэзии. Один из последних учеников ленинградского поэта Глеба Семёнова. Автор книги избранных стихов «Давний дневник», изданной в Красноярске в 1991 году. Стихи публиковались с 1978 года, том числе в журналах «Юность», «День и ночь», антологии «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)». Участник литературного движения «Дикороссы». Стихи переведены на армянский язык. Выпускник Ленинградского института киноинженеров и московского ВГИКа по специальности «режиссёр документального кино и телефильма». Первый профессиональный фильм «Как нам даётся благодать» снял в 1990 году на Красноярском филиале Свердловской киностудии. Обладатель гран-при на Международном кинофестивале «ВГИК-92» (фильм «Наш день. Стансы»). В 1998 году дебютировал в художественном кино короткометражным авторским фильмом «Двинский чай» по мотивам романа Сергея Клычкова «Сахарный немец». Среди отснятых впоследствии документальных работ — «Россия. Опыт молчания», «Приношение русским святым», «А гений — сущий дьявол», «На лугу пасутся кони», «Отченька», «Из небытия», «Аркаимское время в стране городов», «Повесть о сыне». В 2016 году — председатель жюри Первого международного кинофестиваля документальных фильмов в Красноярске.

стр. 42 Колчин Станислав Сергеевич  
Калуга, 1984 г. р.

Поэт, организатор литературного процесса. Родился в Ташкенте. Окончил энергетический факультет Ташкентского государственного технического университета. С 2015 года член Российского союза профессиональных литераторов. Лауреат конкурса XIII Международного литературного фестиваля «Под небом рязанским-2016» в номинации «Поэзия», проводившегося в Рязани 28 мая 2016 года, и второго тура Международного литературно-музыкального конкурса «Дары Муз» в номинации «Стихотворение» (Керчь, 2016). Лауреат областного конкурса патриотической поэзии имени Твардовского (Калуга, 2017).

стр. 31 Кольцов Георгий Николаевич  
1945–1985

Поэт, уроженец села Буреть Боханского района Иркутской области. В 1976 году окончил Литературный институт имени Горького (обучался в семинаре известного советского поэта-песенника Л. И. Ошанина). Печатался в журналах «Звезда», «Студенческий меридиан», «Пограничник», «Сибирь». Автор сборников стихов «Корни кедра» (1975) и — посмертно — «Спасательный круг» (2017). В 2018 году в журналах «Берега» №4 и «Молодая гвардия» №10 вышли подборки стихов. В 1985 году трагически погиб в возрасте 39 лет в городе Кашире Московской области. Там и похоронен.

стр. 173 Косяков Дмитрий Николаевич  
Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Стихи и проза вошли в лонг-лист нескольких престижных литературных конкурсов.

стр. 171 Леонидова Екатерина  
Красноярск, 2000 г. р.

Стихи пишет с детства. Данная публикация — первое выступление на страницах литературного журнала.

стр. 92 Макеева Любовь  
Украина, 1962 г. р.

Родилась в Красноярске. Училась в Ивановском университете (факультет романо-германской филологии), окончила Красноярский педагогический институт (филолог, иностранные языки). Работала переводчиком. Жила в Дивногорске, Красноярске,

Шарыпово, Киеве. Сегодня живёт под Киевом, в гоголевской Полтавщине.

стр. 178 Муслимова Миясат Шейховна  
Махачкала, 1960 г. р.

Проректор по научно-методической работе Дагестанского института развития образования, кандидат педагогических наук. Родилась в селе Убра Лакского района рд. В 1982 году окончила филологический факультет Дагестанского государственного университета, в 1999 году — юридический факультет дгу, в 1991 году — аспирантуру Московского государственного педагогического университета. Кандидат педагогических наук. Автор более 100 научных работ. Публицист, поэт, переводчик, обладатель высшей журналистской награды «Золотое перо России». Председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей, Клуба кавказских писателей. Автор 10 книг. Заслуженный учитель рд, почётный работник высшего образования рф. Лауреат республиканской журналистской премии «Золотой орёл» в номинации «Защита прав человека» (2003).

стр. 39 Новиков Андрей Вячеславович  
Липецк, 1961 г. р.

Родился в 1961 году в селе Алабузино Бежецкого района Тверской области. Первая серьёзная публикация состоялась в журнале «Подъём» в 1984 году. Стихи публиковались в газетах «Литературная газета», «Московский комсомолец», «Слово», «Литературный Крым»; в журналах «Студенческий меридиан», «Литературная учёба», «Дружба», «Сибирские огни», «Сура», «Симбирскъ», «Южное сияние», «Крым», «Литературная Киргизия», «Петровский мост», «Зинзивер», «Российский колокол», «Подъём», «Метаморфозы»; в альманахах: «Паровозъ», «Истоки», «Поэзия», «День поэзии», «Академия поэзии», «Московский Парнас», «Тверской бульвар, 25». Автор 5 книг.

стр. 119 Османова Кира Павловна (Кира Скиба)  
Санкт-Петербург, 1982 г. р.

Поэт, переводчик, эссеист, литературовед, преподаватель высшей школы. Член Союза писателей XXI века (Россия). Член Международной гильдии писателей (мгп, Германия). Живёт в Санкт-Петербурге. В настоящее время — преподаватель кафедры зарубежной литературы ргпу имени А. И. Герцена. Автор публикаций во многих периодических изданиях («Семь искусств», «Хороший текст», «Prosodia» и др.).

стр. 38 Порошина Анастасия Ивановна  
Челябинск, 1985 г. р.

Родилась в Москве. Живёт в Челябинске. Член Союза писателей России, кандидат филологических наук, поэт, литературный критик. Автор

публикаций в сборниках Челябинска, Екатеринбург, Москвы, двух книг стихов и двух сборников литературно-аналитических статей. Лауреат Литературной премии Уральского федерального округа в номинации «Литературная критика», дипломант Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь» в номинации «Славянское литературоведение».

стр. 167  
Потапова Наталья Васильевна  
Челябинск, 1972 г. р.

Поэт, прозаик. Родилась в Челябинске. Окончила Челябинский базовый медицинский колледж по специальности «медсестра» (1993), факультет специальной психологии Челябинского государственного университета (2005). Является внештатным корреспондентом газеты «Милосердие и здоровье» и волонтером МБУ «Центр „Аистенок“ — детский дом № 2 г. Челябинска». Выпускница Литературных курсов ЧГИК 2019 года. Автор книги стихов «Если сердце» (2000), сборника стихов и публицистики «Избранное» (2015), сборника очерков «Ныряю в прошлые года» (2019), сборника рассказов «Лекарство от боли» (2019). Финалист, лауреат и победитель различных конкурсов: «Литера Артель» (2017), «Прекрасен наш союз...» (2018), «Комсомолу—100» (2018), «Мгинские мосты» (2019). Мультфильм на её стихи стал лауреатом фестиваля «Словече». Участник IX и X Межрегиональных совещаний молодых писателей (Челябинск, 2018, 2019).

стр. 3  
Ромашков Юрий Валерьевич  
Енисейск, 1988 г. р.

Родился в Красноярске. Затем переехал в деревню Старая Кузурба Ужурского района. В конце 1990-х новый переезд — на этот раз Шарыповский район, деревня Александровка. В 2009 году окончил исторический факультет Енисейского педагогического колледжа. После службы в рядах Вооружённых сил РФ поступил на исторический факультет Красноярского педагогического университета имени В. П. Астафьева, который окончил в 2014 году. С 2011 года и по сей день работает научным сотрудником фондов Енисейского краеведческого музея имени А. И. Кытманова. Историко-литературные этюды Юрия Ромашкова, которые периодически печатаются в местных газетах, стали заметным явлением в культурной жизни Енисейска. В 2014 году вышел первый сборник стихов «Стихи из-под шкафа». Лауреат Фонда Астафьева (2019).

стр. 144  
Харебин Олег Сергеевич  
Красноярск, 1961 г. р.

Прозаик, публицист. По образованию — учитель немецкого языка. Служил и работал переводчиком в ГСВГ гдр (Wünsdorf), внештатным корреспондентом в газете «Вперёд» Уярского района Красноярского края. В 2012 году вошёл в финал

(лонг-лист) международного литературного конкурса имени В. Шнитке Международного союза немецкой культуры в номинации «Художественная проза — рассказ о российском немце, человеке искусства». Номинант Международного литературно-медийного конкурса имени Олеса Бузины (шорт-лист) в номинации «Публицистика» (2015–2016, статья «О чём предупреждали братья Стругацкие»). Шорт-лист Международного славянского форума «Золотой Витязь 2017» в номинации «Публицистика» («Разгадка миссии Ивана Жилина», «Ползи, улитка, по склону Фудзи»). Короткий список (шорт-лист) международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь 2018» в номинации «Публицистика» (подборка публицистических статей «Столица и провинция», «Энергетический феномен христианства»). Третье место Тютчевского международного литературного конкурса «Мыслящий тростник 2019». С 2015 года по настоящее время — постоянный автор-публицист общественно-политического журнала «Стратегия России» (Москва).

стр. 17  
Холмогоров Егор Станиславович  
Москва, 1975 г. р.

Российский политический деятель, публицист, блогер, обозреватель телеканала «Царьград», автор и ведущий сайта «100 книг». Родился в Москве. Родословную ведёт от старообрядцев. Яркий представитель русской идеи новой волны. Обучался на историческом факультете МГУ и библейско-патрологическом факультете Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Журналистикой стал заниматься с 1994 года. В начале 2000-х — один из самых известных журналистов газеты «Спецназ России». В 2004–2007 годах — политический обозреватель радиостанции «Маяк». С конца 2006 года — президент Академии национальной политики, организатор «Высшей школы политики» при РГУ. С 2008-го — главный редактор интернет-журнала «Русский обозреватель». В 2011 году принял участие в пермском проекте Константина Окунева и Романа Юшкова «Русские встречи». С 2012 по 2013 год совместно с Анатолием Вассерманом являлся соведущим передачи на НТВ «Реакция Вассермана». Популярный блогер, имеющий свои площадки во всех ведущих социальных сетях. Автор сотен публикаций, посвящённых текущей российской политике, русской истории, социальной философии, прошлому и настоящему Русской православной церкви, в том числе — научно-исследовательских работ по истории русской консервативной мысли. Среди книг Холмогорова — «Русский проект: реставрация будущего», «Реванш русской истории», «Карать предателей», «Защитит ли Россия Украину?», «Истина в кино».

стр. 34  
**Хомутов Сергей Адольфович**  
 Рыбинск, 1950 г. р.

Родился в городе Рыбинске Ярославской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал на предприятиях Рыбинска, в многотиражной, районной и областной газетах, был главным редактором журнала «Русь». Сейчас — директор издательства «Рыбинское подворье». Автор 10 книг стихов. Заслуженный работник культуры РФ.

стр. 121  
**Хусаинова Эльза Гирфановна**  
 Уфа, 1985 г. р.

Окончила вгик имени С. А. Герасимова (мастерская документального и научно-популярного фильма). Публикации в журналах «Сибирские огни», «Октябрь», «Кольцо „А“». Лауреат премии журнала «Сибирские огни» в номинации «Новые имена». Участник и победитель российских кинофестивалей.

стр. 114  
**Ческидова Татьяна Владимировна**  
 Троицк (Челябинская область)

Родилась в Вильнюсе, столице бывшей союзной республики Литвы. Автор трёх поэтических сборников: «Почемучки», «Небо из колодца», «Старенький футляр»; многочисленных публикаций в коллективных сборниках литературных проектов, альманахах. Участник X Международного совещания молодых писателей России (Челябинск). Выпускница Литературных курсов чгик. Участник совместного проекта молодёжной Литературной мастерской «Взлётная полоса» и Литературных курсов Челябинского государственного института культуры. С 2019 года член Союза писателей России.

стр. 112  
**Шаблахов Одиссей Александрович**  
 Москва, 1984 г. р.

Родился в Москве, рос в Подмосковье и на Нижегородчине. В 2006 году окончил Литинститут. Стихи публиковались в журналах «Гвидеон» (2015), «Урал» (2016), «Знамя» (2017).

стр. 13  
**Шанин Владимир Яковлевич**  
 Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края, в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при вцспс в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, в леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне...», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей главной книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

В. Н. Наговицын

**ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР**

Марина Наумова-Саввиных

**РЕЦЕНЗЕНТ**

Дмитрий Косяков

**ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК**

Олег Наумов

**КОРРЕКТОР**

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.  
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации пи №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

Александр Астраханцев

Красноярск

Наталья Ахпашева

Абакан

Юрий Беликов

Пермь

Глеб Бобров

Луганск

Елена Буевич

Черкассы

Вера Зубарева

Филадельфия

Александр Кердан

Екатеринбург

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Евгений Минин

Иерусалим

Виталий Молчанов

Оренбург

Миясат Муслимова

Махачкала

Александр Орлов

Москва

Олеся Рудягина

Кишинёв

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Андрей Тимофеев

Москва

Владимир Шемшученко

Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева

Челябинск

В оформлении обложки использованы репродукции с картин участников межрегиональной выставки «Родина—Сибирь», которая в 2018 году проходила в Красноярске.

**ИЗДАТЕЛЬ**АНО РИЦ «День и Ночь».  
ИНН 770 207 0139Расчётный счёт  
4070 3810 4004 3000 0496В филиале «Сибирский»  
банка ВТБ ПАО  
в г. НовосибирскеБИК 045 004788  
КПП 540 643 001Корреспондентский счёт  
3010 1810 8500 4000 0788Рукописи принимаются  
по электронной почте:  
dayandnight@bk.ruАдрес редакции и издателя:  
660049, г. Красноярск,  
пр. Мира, д. 3,  
т. +7 950 991 4349Наш сайт: [www.krasdin.ru](http://www.krasdin.ru)

Подписано к печати: 10.8.2020

Дата выхода в свет: 30.8.2020

Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит  
1 раз в 2 месяцаОтпечатано ИП Азарова Н. Н.  
в типографии «Литера-принт»  
г. Красноярск, ул. Гладкова,  
д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340  
эл. почта: 2007tex@mail.ru



*Александр Веснин* (Иркутская область) | Аршан. Октябрь | 60 x 100 | 2016



*Сергей Форостовский* (Красноярский край) | Октябрьский снег | 100 x 160 | 2015



*Алёна Горенская*  
(Республика Хакасия)

Белый Июс  
90 × 100 | 2018



*Андрей Гуренков*  
(Красноярский край)

Чёрная сопка  
80 × 120 | 2018

На обложке:

*Владимир Ельников*  
(Республика Алтай)

Вечные стражи  
80 × 100 | 2018